

Григорий Померанц
Зинаида Миркина
Работа любви

Центр гуманитарных инициатив
Москва-Санкт-Петербург
2013

УДК 94(47)“1917/1954”
ББК 63.3(2)6-4 П55

Главный редактор и автор проекта «НитапЯз» С.Я. Левит
Заместитель главного редактора И.А. Осиновская

Редакционная коллегия серии:

Л.В. Скворцов (председатель), П.П. Гайдено, И.Л. Галинская,
В.Д. Губин, Б.Л. Губман, П.С. Гуревич, А.Л. Доброхотов, Г.И. Зверева,
А.Н. Кожановский, Л.А. Микешина, Ю.С. Пивоваров,
И.И. Ремезова, А.К. Сорокин, П.В. Соснов

Редактор Г.Э. Великовская
Серийное оформление П.П. Ефремов

Померанц Г., Миркина З.
П55 Работа любви. Лекции, прочитанные на рубеже веков. М.; СПб.:
Центр гуманитарных инициатив», 2013. — 360 с. — (НитапНаз).
ISBN 978-5-98712-119-1

В книге собраны лекции, прочитанные Григорием Померанцем и Зинаидой Миркиной за последние 10 лет, а также эссе на родственные темы. Цель авторов - в атмосфере общей открытости вести читателя и слушателя к становлению целостности личности, восстанавливать целостность мира, разбитого на осколки. Знанию-силе, направленному на решение частных проблем, противопоставляется знание-причастие Целому, фантомам ТВ - духовная реальность, доступная только метафизическому мужеству. Идея Р.М. Рильке о работе любви, без которой любовь гаснет, является сквозной для всей книги. Впервые опубликовано под названием «Невидимый противовес» в 2005 г. в издательстве «Пик».

УДК 94(47)“1917/1954”
ББК 63.3(2)6-4

ISBN 978-5-98712-119-1

© Левит С.Я., составление серии, 2013 ©
Миркина З.А., 2013 © Центр
гуманитарных инициатив, 2013

А все-таки оно есть. Методология счастья

О поэтессе Зинаиде Миркиной и философе
Григории Померанце

В истекшее пятнадцатилетие писать о людях счастливых стало не только не принято, но едва ли не признаком дурного тона. Вспоминаю, как лет пять назад предложил одному солидному общественно-политическому журналу статью о Г. С. Померанце. Было это вскоре после дефолта. Редактор, пробежав глазами несколько строк, выразил явное недоумение: «Страна разваливается, а вы о Померанце!» Но страна, слава Богу, уцелела, а статья «Последний мудрец заката империи» вышла в не столь захваченной политическими страстями «Учительской газете». Анализировались в ней философские и культурологические воззрения мыслителя, сполна вкусившего от горечи века: фронт — лагерь — диссидентство и сумевшего выйти из этих испытаний с просветленной душой и ясным острым умом. Но с той поры меня не покидало чувство недосказанности об этом человеке чего-то важного, быть может, самого главного, и уж во всяком случае не менее ценного в его жизни, чем подвластные ему глубина мышления и поистине вселенская широта кругозора.

Имея честь из года в год близко наблюдать глубоко сокровенный личный, творческий союз Григория Соломоновича Померанца и Зинаиды Александровны Миркиной, я пришел к выводу, что оба они, пройдя через предельные испытания, научились быть счастливыми. «Я был счастлив по дороге на фронт, с плечами и боками, отбитыми снаряжением, и с одним сухарем в желудке, — потому что светило февральское солнце и сосны пахли смолой. Счастлив шагать поверх страха в бою. Счастлив в лагере, когда раскрывались белые ночи. И сейчас, в старости, я счастливее, чем в юности. Хотя хватает и болезней и бед» (*Померанц Г.С. Записки гадкого утенка. М., 2003, с. 213*).

Однако уместно ли говорить о возможности научиться счастью? Разве не даруется оно свыше, являя собой талант особого рода?

Моцартовское ощущение полноты бытия, переполняющее душу через край, изливающееся в гармонии звуков, — награда не

от мира сего. З. А. Миркина и Г. С. Померанц — люди исключительной одаренности. Но дар их, да простится этот невольный каламбур, не был ниспослан им даром, а обретен в результате собственной долгой, растянувшейся на десятилетия, напряженной духовной работы. Тем важнее педагогу хотя бы приблизиться к пониманию «методологии» обретения счастья, чтобы затем вооружить ею своих воспитанников. Записав последнее предложение, с большой долей самоиронии представил себе, как в планах воспитательной работы школы появляется новый раздел: методические рекомендации по обретению счастья. На память немедленно приходит хрестоматийная фраза Козьмы Пруткова: «Если хочешь быть счастливым — будь им!».

Но разговор на эту тему, волнующую любого человека и тем более подростка, немедленно вызывает напряженное отчуждение, как правило, прикрываемое иронией. Почему? Тому есть много причин: религиозных, философских, психологических. Все мировые религии подчеркивают хрупкость, ненадежность любых земных устройств: «Всё суета сует...». Философские построения и выросшие из них социальные утопии, ориентирующие человека на построение Царства Божьего на земле, к исходу двадцатого столетия окончательно дискредитировали себя. Но даже в разгар официально навязанного приступа счастья, когда едва ли не в каждом углу висела вырванная из контекста фраза Короленко: «Человек создан для счастья, как птица для полета», внимательные люди обращали внимание на то, что в рассказе писателя-демократа эту сентенцию произносит безногий, опустившийся инвалид. В ответ официальному оптимизму тогда родилась саркастическая шутка (в силу российской специфической истории), дожившая до наших дней: «С таким счастьем — и на свободе». Пожалуй, напрасно В. Каверин ради ложной красоты перефразировал для эпиграфа «Двух капитанов» известное изречение. У Каверина: «Бороться, искать, найти и не сдаваться». Но если уже нашел, то с чего же сдаваться? Радуйся и торжествуй. В подлиннике, у Романа Роллана: «Бороться, искать, не найти и не сдаваться». Согласимся, что в истинной, не искаженной редакции доблести все же больше.

Психологически можно понять людей счастливых, но предпочитающих умалчивать об этом редком состоянии души. Зачем говорить, когда и так все написано на лицах? Прилично ли ощущать радость бытия, когда вокруг всегда столько горя?

И, наконец, счастье счастьем — рознь. Как и несчастье — несчастью...

Зинаида Александровна Миркина рассказывала, что по выходе из

одного и того же лагеря у ее подруги поочередно побывали три его бывших узника. Первый, усевшись на табуретку, обхватив голову руками, произнес: «В лагере было ужасно!» Второй, более сдержанный в оценках, отметил, что в лагере было трудно. А третий, показавшийся ей тогда до крайности легкомысленным, заявил: «В Ерцеве было хорошо!». Это и был Григорий Соломонович Померанц. Перефразируя уже приведенную выше шутку, можно сказать: с таким счастьем и не на свободе! Сам бывший сиделец объяснял истоки своего состояния так: «Видимо, от рождения я был наделен чувством природы. А на Севере были удивительные белые ночи. Кто не видит природы, замечает лишь колючую проволоку». Особую достоверность и убедительность нашему разговору придавало то обстоятельство, что происходил он на палубе судна на обратном пути с Соловков, в самый разгар белых ночей. За двенадцать часов хода до Архангельска Зинаида Александровна проспала лишь час. Все остальное время она провела на палубе, вглядываясь в море и нескончаемый закат.

Даром созерцания природы они оба наделены безмерно. Хотя, что значит наделены? Кто-то ведь дал первый толчок, запустил, как выражаются психологи, дремлющий до поры механизм восприятия. Что касается Г. С. Померанца, то ответ на этот вопрос находим в его книге-исповеди «Записки гадкого утенка»: «Я помню, как мама в 1937 году показала мне на пляже поэта Нистора, часами глядевшего куда-то за горизонт. Я не пытался с ним заговорить, но искоса поглядывал на него... Что он там видел?». Вот так: созерцать созерцающего и постепенно учиться самому. Чем не методика? Последним из российских педагогов двадцатого столетия, кто осознанно, серьезно и последовательно учил своих воспитанников получать радость и испытывать счастье от волшебной встречи с природой, был В. А. Сухомлинский. Затем наступила эпоха экологического воспитания, отрицать важность и необходимость которого было бы в современных обстоятельствах, по меньшей мере, не разумно. Но в том-то и дело, что на одном разуме не строится личность человека.

Подобно князю Мышкину, Зинаида Александровна и Григорий Соломонович искренне не понимают: как можно видеть, к примеру, сосну и не быть счастливым? Для обоих (и они этого не скрывают) — природа выше музыки, поэзии и философии. Будучи, безусловно, людьми культуры, тонко чувствующими все ее ходы в прошлом и настоящем, они менее всего тяготеют к фаустовскому образу кабинетного мыслителя. Их кабинеты — лес с непременно костром, берег реки, морской залив. Именно там рождаются стихи, историсофские прозрения и религиозные интуиции.

Когда доходит до нуля Весь

шум и, может быть,
 все время,
 Я слышу, как плывет земля И в
 почве прорастает семя.
 И, обнимая небосвод Крылами
 неподвижной
 птицы,
 Душа следит, как лес растет И
 в недрах смерти жизнь
 творится.
 Я осязаю ни-че-го.
 И всё. - Ни мало и ни много -
 Очами сердца своего Я молча
 созерцаю Бога.

Помимо прочих достоинств, эти стихи избавляют от необходимости подробно объяснять, чем созерцание отличается от простого и привычного любования природой уставшего от суеты горожанина.

Созерцанье - не наслажденье.
 Это - слушанье и служенье,
 Зов архангельский, - звуки
 рога
 Сердце слушает голос Бога.
 Тот, что тише полета мухи.
 Это - богослуженье в Духе.
 Гармоничней, чем шорох
 лиственный.
 Это - богослуженье
 в Истине...

Два ярких творческих человека, соединенных семейными узами, - это всегда серьезная проблема. История культуры знает немало примеров плохо скрываемого напряженного внутрисемейного соперничества, приводящего к срывам, трагедиям, весьма запутанным отношениям. Блок и Менделеева, Ходасевич и Берберова - список можно продолжить... Но в данном творческом союзе никто не стремится к верховенству, интеллекту альному, моральному и психологическому доминированию. Ни тени попытки продемонстрировать свое превосходство ни друг другу, ни окружающим их людям. Здесь у Григория Соломоновича был долгий процесс самовоспитания. Обратимся к одному лагерному эпизоду, который

многое проясняет...

«Мой товарищ объяснил мне и Жене Федорову особенности своего ума; выходило, что он всех лучше, но выходило медленно, потому что Виктор был действительно умный человек и не хотел грубо сказать: «я всех умнее», а тактично подводил нас к пониманию этого. Я слушал и думал: „врешь, братец, умнее всех я“, — но вслух ничего не говорил. В этот миг Женя, дерзкий мальчишка, сказал: «а я думаю, что я всех умнее». Виктор опешил и замолчал. Мы подошли к уборной, вошли в нее. Через очко было видно, как в дерьме копошатся черви. Почему-то эти черви вызвали во мне философские ассоциации. (Может быть, вспомнил Державина: я раб, я царь, я червь, я Бог?) Что за безумие, — подумал я, — как у Гоголя, в „Записках сумасшедшего“. Каждый интеллигент уверен, что он-то и есть Фердинанд седьмой. Было очень неприятно думать это и еще неприятнее додумать до конца: мысль, что я всех умнее, — злокачественный нарост; надо выздороветь, надо расстаться с этим бредом, приросшим ко мне. И с решимостью, к которой привык на войне, я рубанул: „Предоставляю вам разделить первое место, а себе беру второе«. Я испытал боль, как при хирургической операции или при разрыве с женщиной, с которой прожил 20 лет (я жил с этой мыслью с 13 до 33). Но я отрубил раз и навсегда. С этого мига начался мой плюрализм. Я понял, что каждому из нас даны только осколки истины и бессмысленно спорить, чей осколок больше. Прав тот, кто понимает свое ничтожество и безграничное превосходство целостной истины над нашими детскими играми в истину». («Записки гадкого утенка», с. 20). Излагая устно этот эпизод, Григорий Соломонович обычно скороговоркой добавляет: «С этого начался путь к счастью». И когда я спросил: почему? Он ответил: потому что чувство превосходства, уверенность в своей правоте разрушает и любовь, и дружбу. Но если пробуждение от себя любимого произошло у него вследствие интеллектуального бесстрашия, привычки додумывать любую мысль до конца, какой бы неприятной она ни оказалась в итоге, то у Зинаиды Александровны оно связано с глубоким целомудренным религиозным чувством:

О, Господи, при чем тут я,
Когда вся глубина Твоя,
Вся бездна бездн растворена
И силы творческой полна?
При чем тут я? При чем?

Зачем,

Когда так целокупно нем
Простор бессолнечного дня

И он берет в себя меня?
 При чем тут я, когда есть лес
 И в нем последний крик
исчез
 Лишь дятел бьется,
сук долбя...
 О, пробуждение от себя!
 Наплыв великой высоты...
 При чем тут я, когда есть Ты?

На Соловках Григорий Соломонович поведал о своем давнем сне в те годы, когда переводились сказки острова Бали: «Я умер и предстал перед Шивой. Бог Шива восседал во всем своем блеске. Вдоль стен большой комнаты на длинных скамьях, как в сельском клубе, располагались праведники, взиравшие на Шиву. И я подумал: какое счастье видеть стольких достойных людей, неизмеримо лучших, чем я. Однако сразу же пришла другая мысль: но ведь есть достаточно тех, кто гораздо хуже меня. И сразу разверзлась пропасть... И я проснулся».

Шива пришел из сказок, но сновидение его приняло, не смутилось странным обликом Бога. Ведь Григорий Соломонович по своим религиозным воззрениям — суперэкуменист, т. е. человек, который видит и чувствует глубинную, сокровенную общность главных установлений всех мировых религий. Он, по его же слову, привык жить в пол-оборота на Восток. (Диссертацию по буддизму- дзэн в свое время диссиденту так и не дали защитить.) Прекрасно чувствуя себя в межконфессиональном пространстве, не боясь оторваться от перил богословия, он искренне убежден, что Бог выше и глубже наших слов и разногласий, а на самой большой глубине мировые религии сплетаются корнями. При этом ни малейшего стремления соединить голову овцы с туловищем быка, совместить несовместимое. А таких дилетантских попыток, связанных с поверхностной, наносной религиозностью, истекший век знал немало. Каждая великая религия — неотъемлемая часть великой культуры, но созерцание, медитация и молитва — это укорененные в разных культурах общие пути постижения вечности. Отсюда — равно уважительное, серьезное отношение и к евангельской притче и к буддистскому коану. У Зинаиды Александровны душа — христианка, что не мешает ей тонко чувствовать и переводить поэтов исламского суфизма, Рабиндраната Тагора и Рильке. Оба Дух ставят выше буквы.

И я уже не знаю ничего.
 Я - чистый лист, я - белая

страница.

И только от Дыханья Твоего
Здесь может буква зыбкая
явиться.

Да, Ты ее напишешь
и сотрешь,
И это - высший строй,
а не разруха,
Ведь есть всего одна
на свете ложь:
Упорство буквы перед
властью духа.

Непредвзятость и открытость разным религиозным и культурным традициям предопределили успех их совместной книги «Великие религии мира», выдержавшей два издания и ныне принятой в качестве учебника в ряде высших учебных заведений.

О таких людях обычно говорят: живут напряженной духовной жизнью. Но в том-то и дело, что чрезмерное напряжение, чреватое экзальтацией и срывами, им совершенно не свойственно. Высокий строй души и глубина мысли дарят спокойствие, сосредоточенность, умение, выражаясь словами Г. С. Померанца, подныривать под абсурд или жить, поднимаясь хотя бы «на два вершка над землей». Спокойствие это не назовешь надменным, холодным, олимпийским. Оно мудрое, терпимое, лишенное ригоризма мучеников всяческих догм. Потому-то десятилетиями к ним тянутся люди разных чинов и званий: молодые и зрелые, уже оставившие свой след в культуре и только постигающие ее глубины.

Среди прочих бывал в доме поэт Борис Чичибабин. В своих «Мыслях о главном» он писал: «Да будут первыми словами этих моих раздумий на бумаге, которые сам не знаю куда меня заведут, слова благодарности и любви. В начале 70-х судьба подарила мне близкое общение с двумя замечательными людьми — Зинаидой Александровной Миркиной и Григорием Соломоновичем Померанцем, вечное им спасибо! <...> Сейчас имена Миркиной и Померанца стали известны многим, а тогда, особенно если учесть, что жили мы далеко друг от друга, в разных городах, найти их и обрести в них родных и близких людей было чудом. На протяжении нескольких лет они были моими духовными жемчужинами. (Разрядка моя. — Е. Ямбург) Если он останется в моих глазах примером свободного и бесстрашного интеллекта, то она, Зинаида Александровна, на всю мою жизнь пребудет для меня совершенным воплощением просветленной

религиозной духовности, может быть, того, что верующий назвал бы святостью.

Величайшим счастьем моей жизни были их беседы, во время которых они говорили оба, по очереди, не перебивая, а слушая и дополняя друг друга, исследуя предмет беседы всесторонне, в развитии, под разными углами, с неожиданными поворотами. Хотя говорили она и он, это был не диалог, а как бы вьющийся по спирали двухголосный монолог одного целостного духовного существа, из снисхождения к слушателю, для удобства восприятия и ради большей полноты разделившегося на два телесных — женский и мужской — образа» (*Чичибабин Б. И все-таки я был поэтом... Харьков, 1998, с. 7*). Замечательно, что Г. Померанца и З. Миркину своими духовными вожатыми называет не юноша, обдумывающий житье, а зрелый, значительный поэт, много претерпевший в жизни: фронт — лагерь — отлучение от профессиональной литературы (до середины восьмидесятых работал бухгалтером в трамвайном парке г. Харькова). Как знать, может быть, под воздействием этих бесед появились его чеканные строки:

Еще могут сто раз на позор и
на ужас обречь нас,
но, чтоб крохотный светик
в потемках сердец не потух,
нам дает свой венок - ничего
не поделаешь — Вечность, и
все дальше ведет — ничего
не поделаешь — Дух.

Близкое общение с этой семьей судьба подарила поэту в 70-е годы, мне — в 90-е. Но смею уверить, что за два десятилетия мало что переменилось. Двухголосный монолог одного целостного существа, слава Богу, продолжается и по сей день.

Я, ты и небо перед нами —
Над нами небо, и вокруг
Рассвета тлеющее пламя
И сердца еле слышный
стук.
Чьего? Но нас уже не двое.
Мы в этот час одно с тобою
И с небом. И когда бы, где бы В
нас не иссяк всех сил
запас, -

Нам только бы застыть под небом,
Входящим тихо внутрь нас.

Как-то вскользь Григорий Соломонович заметил: «Пожилая женщина пишет как семнадцатилетняя девушка. Зиночка влюблена, влюблена в Бога!». Сказано было спокойно, без ревности. В самом деле, как можно ревновать к Высочайшему? Действительно, в редких стихах З. Миркиной местоимение «ты» не с заглавной буквы. Однако меньше всего хотелось бы представить обоих существами бесплотными, живущими в мире платоновских идей. Это совсем не так. Любовь к Богу ни в коем случае не отрывает Зинаиду Александровну от любви к мужу, а только бесконечно углубляет эту любовь. И возраст тут ни при чем. За 43 года их совместной жизни чувство это никак не изменилось.

Мы два глубоких старика.
В моей руке - твоя рука.
Твои глаза в глазах моих,
И так невозмутимо тих,
Так нескончаемо глубок
Безостановочный поток
Той нежности, что
больше
нас,
Но льется в мир из наших
глаз,
Той нежности, что так полна,
Что все пройдет, но не она.

Не боясь упреков в отжившем свой век сентиментализме, со всей ответственностью свидетельствую: их личные отношения — не благодатная идиллия старосветских помещиков, а глубокая взаимная страсть, облагороженная взаимной волей сделать счастливыми друг друга. Ее неослабевающий с годами накал — источник неиссякаемого вдохновения. Редко кому удается не утратить со временем «буйство глаз и половодье чувств». Есенинские строки всплыли в памяти не случайно. Поэт сожалеет об утраченной свежести, истерпанности чувств; растраченность и опустошение — состояние, которое неизбежно наступает вслед за буйством и половодьем. Как же может быть иначе? На то она и страсть, дабы быть альтернативой сдержанности, выверенной осторожности. Сдержанная страсть — что-то вроде несоленой соли. Оказывается — может!

«Легче было лежать живой мишенью на окраине Павловки, чем сказать Ире Муравьевой (И. Муравьева — покойная жена Г. Померанца, сгоревшая от туберкулеза всего через три года после их брака. — Прим. Е. Ямбурга), что я прошу ее не прикасаться ко мне тем легким, едва ощутимым прикосновением, одними кончиками пальцев, на которое я не мог не ответить, а ответить иногда было трудно, и потом весь день разламывало голову. Ира приняла это по-матерински. И очень скоро пришло то, о чем я писал в эссе “Счастье”: достаточно было взять за руку, чтобы быть счастливым. Сдержанность вернула чувству напряженность, которой, кажется, даже в первые дни не было. (Здесь и далее разрядка моя. — Е. Ямбург) Я стал уступать порыву только тогда, когда невозможно было не уступить, — и относился к нему, как к дыханию, которое должно пройти сквозь флейту и стать музыкой. Сразу осталось позади главное препятствие в любви (когда не остается никаких препятствий). А как долго я медлил, как не решался сказать! Как боялся выглядеть жалким, смешным, ничтожным, слабым!

Если бы все люди вдруг увидели себя такими, какие они есть, и прямо об этом сказали — какой открылся бы простор для Бога, действующего в мире!» («Записки гадкого утенка», с. 77).

Во времена всеобщего раскрепощения, в том числе и в чувственной, эротической сфере, нам больше всего не хватает не фальшивого казенного пуризма предшествующей эпохи, с его внешними запретами и ограничениями, а тонкого инструмента, той самой флейты, рождающей музыку любви. Точнее — воли настраивать самого себя как инструмент счастья. И тогда — возраст не в счет. В дивной музыке захватывает все, включая послезвучие... Но самое главное: в симфонии любви исчезает отчаяние, отступает страх перед неотвратимым, которые поэт прекрасно знает в людях и описывает в своей поэме «81a7a1 Malez»:

Как страшно вылезать
из сна!
Вдруг вспомнить: каждый
в одиночку.
Смерть лишь на миг дала
отсрочку,
Но - вот она. Опять она.

Так, значит, можно
разрубить
Сплетенье рук, срастанье,

завязь?!

Не может быть, не может быть!

Мы... милый мой, мы обознались!

Ведь это - мы! Какой судьбе Под силу
душу выместь, вылить?!

Мне больше места нет в тебе?

А где же быть мне? Или?.. Или?..

Крик оборвался. Стон затих.

Смерть глушит крик и всплески тушит.

Как может вдруг не стать живых?

Как может смерть пробраться в души?!

Так и живут вместе долгие десятилетия эти люди: философ и поэт, мужчина и женщина, живут неслиянно и нераздельно, являя собой зримый, осязаемый пример достойного Бога земного человеческого существования.

Читающий эти заметки вправе задать вопрос: а что, собственно говоря, здесь нового? Разве все великие книги человечества не учат смирению гордыни и сдержанности в проявлении страстей, не призывают к созерцанию и молитве как способам постижения Высочайшего, не настраивают на добросердечие? Нового здесь действительно нет ни-че-го! Но в том-то и существо незамутненного временем педагогического взгляда на вещи, что воспитание чувств не по части модернизации образования и не по ведомству, отвечающему за формирование ключевых компетенций. Здесь более уместно говорить об архаизации в смысле возвращения к вечным, нетленным человеческим ценностям. Это достаточно очевидно для любого вдумчивого педагога. Проблема в другом. *Многие из тех, кто сегодня отстаивает начала духовности и культуры перед натиском прагматизма, держатся не столько за суть, сколько за обветшалые формы, вызывающие естественное отторжение у нынешних молодых людей.* Буква в который раз превозносится выше Духа. Тем бесценнее опыт людей, умеющих *собирать себя* (выражение Г. Померанца) даже перед лицом великих испытаний. Есть разные пути самостроительства личности. Разумеется, у каждого человека этот путь в определенном смысле уникален и неповторим: для кого-то толчком для движения в нужном направлении служит вовремя прочитанная книга, другому помогает волшебная встреча, третий прозревает при обрушившемся на него несчастье. Но при любых

обстоятельства услышать может лишь имеющий уши. А это означает, что для постижения вечных ценностей на каждом временном отрезке от *каждого* требуются неимоверные личные усилия и личное духовное творчество. *Причем важными оказываются не только сами истины, но и созерцание процесса их бесконечного переоткрытия, личностного сокровенного обретения.* «Ни одна заповедь не действительна во всех без исключения случаях; заповедь сталкивается с заповедью — и неизвестно, какой следовать, и никакие правила не действительны без постоянной проверки сердцем, без способности решать, когда какое правило старше. И даже сердце не дает надежного совета в запутанном случае, когда двое и больше людей чувствуют по-разному, и тогда решает любовь. <...> Иногда я решал интересные вопросы; но самое главное, что меня толкает к бумаге, — кружение вокруг неразрешимого, бесконечные попытки дать безымянному имя (сегодня, сейчас: вчерашние имена недействительны). («Записки гадкого утенка», с. 193—195).

Мне кажется, что об этом же, но по-своему, прекрасными своими стихами сказала Зинаида Миркина.

Качнулся лист сырого клена,
И тихо вяз зашелестел.
Душа живет иным законом,
Обратным всем законам тел.
В ней нет земного тяготенья И
страха перед полной тьмой,
Ей все потери - возвращенья
Издалека к себе самой.
О, эти тихие возвраты...
Листы летят, в глазах рябя.
И все обрывы, все утраты Есть
обретение себя.

В эпоху безвременья, хаоса, смуты в головах и сердцах, когда мысли вразброд, а чувства растрепаны, стоит присмотреться к людям искушенным, отмеченным редким даром сотворчества с Вечностью.

Зинаида Миркина и Григорий Померанц, безусловно, из этой

Евгений Ямбург

когорты.

Предисловие

Эта книга — итог своеобразного начинания. В Ко (Коммуна Монтрё, Швейцария), на конференциях Общества морального перевооружения (впоследствии переименованного в «Инициативу перемен»), мне понравился «час общин», с 11 до 12 утра. Общины создавались каждые несколько дней заново, по мере приезда участников того или иного цикла занятий. Сходились по языку, на котором могли общаться без переводчика, и по привязанности к руководителю, по опыту прошлых лет. Я ходил к Хайнцу Кригу, старому учителю из Западного Берлина, инвалиду проигранной войны, для нас — Отечественной. К счастью, наша встреча в районе Сталинграда не состоялась. Увидев друг друга через полвека, мы сразу почувствовали симпатию друг к другу. Он стал одним из самых чутких слушателей моих докладов, а я — одним из самых активных участников его «общины».

Хайнц захватывал своей искренностью. Он рассказывал какой-то трудный случай из своей жизни (иногда прося не выносить сора из избы — «ведь мы одна семья»), а потом мы обсуждали аналогичные проблемы. За большим столом сидели рядом рабочий-электрик и профессор, но каждый находил что сказать, и всем интересно было слушать. У нас в Москве это бы так легко не получилось. Не было традиции, созданной основателем общества, Фрэнком Букманом (так по-английски произносится его немецкая фамилия Бухман, 1878—1961. Есть книга о нем на русском языке — «Поспеть за Богом», не говоря о книгах на европейских языках). Надо было создавать традицию, и я решил расширить вводное слово, превратить его в маленькую лекцию, способную задеть за живое.

Так родилась моя первая лекция «Возможна ли чистая совесть?». Но как только я кончил, вошла уборщица с ведром и метлой и велела убираться. Ее рабочий день кончился, и она не согласна оставаться сверхурочно. Обсуждение произошло в раздевалке. Обрывки разговоров никто, конечно, не записывал. К сожалению, и в дальнейшем, когда метла нам не угрожала, запись прений оставалась ахиллесовой пятой наших занятий. Обсуждение иногда затягива

лось часа на полтора, не уступая лекции по глубине, но сохранилось (если сохранилось) только в частных аудио- и видеозаписях, очень несовершенных.

Темы занятий, как читатель увидит, полистав содержание, все расширились. Некоторые занятия напоминали зародыш Религиозно-философского общества. Постепенно в его работу втянулась и Зинаида Миркина, сперва только помогавшая мне отвечать на вопросы. В конце концов Зинаида Александровна стала выступать и с содокладами. В книге эта переключка оборвалась на полуслове. По моей шутке, в которой есть доля правды, я разговаривал с историей, поглядывая с надеждой на Бога, а Зина разговаривала с Богом, поглядывая с ужасом на историю.

Кое-что из выступлений наших слушателей уцелело в аудио- и видеозаписях и может быть собрано, но у нас на это не хватает сил. Что есть, то есть. В книгу не вошли лекции «Созерцатели нашего века» («Уязвимость Антония Блума», «Вера и неверие Мартина Бубера», «Созерцание Томаса Мертона»), которые напечатаны в серии «Антология выстаивания и преображения» в 2003 году во 2-м томе «Неуслышанных голосов» (с. 344—375).

Быть может, книга даст толчок для нескольких дискуссий — более широких, чем наш маленький московский семинар. Мы с Зинаидой Александровной готовы принять в них участие.

Григорий Померанц
I. Лекции конца века

Работа любви

Возможна ли чистая совесть?

Что такое чистая совесть? Можно ли жить и действовать, сохраняя чистоту совести? Или прав Швейцер, и чистая совесть — уловка дьявола?

Когда мы говорим: «моя совесть чиста!»? Как раз тогда, когда дела идут плохо, не по совести, но ты думаешь, что от тебя ничего не зависело и ничего ты не можешь сделать. В этом возгласе есть нечто вроде алиби: не я убил, меня при этом не было.

Совесть может быть чиста там, где речь идет вообще не о совести, а о строго сформулированном праве: я уплатил за квартиру, за электричество, за газ, уплатил арендную плату... И то — если другие жильцы, другие арендаторы бойкотируют, отказываются платить, простой вопрос сразу становится сложным. А во всяком запутанном деле нельзя остаться чистым. Иван Карамазов уехал в Чермашню и оказался соучастником Смердякова. А если бы не уехал? Вот случай, о котором я недавно прочел: сын вычеркнул отца, фабриканта, из списка на высылку в Сибирь. Семья осталась в Литве — и погибла вместе с другими евреями в 1941 г. (в ссылке — могли бы уцелеть).

Чиста ли совесть у пенсионеров, клянущих Гайдара? Что пенсионеры думали в 56-м году, когда давили Венгрию, в 68-м, когда давили чехов? Одобряли и поддерживали. Между тем, я убежден: если бы реформы начались на тридцать лет раньше, когда не все насквозь прогнило, многих нынешних провалов удалось бы избежать...

Чиста ли совесть у демократов, у того же Гайдара? Он уверен, что чиста: его правильную теорию просто не дали правильно выполнить. А кто доказал, что русский человек, после 70 лет советской власти, будет действовать по правилам, установленным в Америке?

Чиста ли совесть у диссидентов, просто отказывавшихся думать, что делать в случае победы, какую проводить политику? Выйдя из тюрем и лагерей, они ничего не могли предложить и постепенно

успокоились на том, что это не их дело. Лариса Богораз признавала это своей виной.

Чиста ли совесть у солдата, выполнявшего приказ? В 1944 году я совершенно вжился в свою военную форму, приказ был для меня закон. Приказ разрешал рукоприкладство, и во время ночной смены позиций я ткнул в бок солдата, загремевшего снаряжением. Солдат, годившийся мне в отцы, выговорил свою обиду и пристыдил меня; до сих пор помню свой стыд. А потом стыд, что не помогли восставшей Варшаве. Мы без приказа стали сматывать палатки, как вдруг неожиданно: ставить палатки на место! И потом по радио: помочь Варшаве нельзя. По стратегическим причинам. Целый день офицеры, встречаясь глазами, отворачивались, стыдно было. На другой день привыкли: не наше дело — высокая политика, и я привык. Не стал додумывать мысль до конца. Хотя умел это делать и в 38-м, 39-м году не блял, как овца. Связал страх остаться одному против всех (все ложь Главнокомандующего проглотили). Пока я был один — мыслил, а укorenившись в стае, в почве, в народе, — лаю по-собачьи, блею по-овечьи.

Я образ и подобие Бога, и я наследник зверей, оставивших след в моих генах. Апостол Павел плакал об этом. Он не знал про гены, писал другими словами: в членах моих нахожу желание греха, плоть моя противится Божьему слову. В духе сознание Целого Вселенной, сознание капли, тождественной океану, — и во плоти сознание умного животного, ищущего, как обойти, обогнать другого, съесть другого.

Пушкин писал: не продается вдохновенье, но можно рукопись продать. А что, если мысль о продаже вмещивается в само вдохновение? И повернет перо так, чтобы выгоднее продать? Я пишущий человек, я это знаю.

Выгоды могут быть разные, очень иногда тонкие: желание славы, желание посмертной награды; думать о достойном ответе на Страшном суде — одно, а рассчитывать на награду — совершенно другое. Отец Сергей подгнил от любования своей святостью, и Силуану было сказано: «держи ум свой во аде и не отчаивайся!».

Есть общий смысл в христианском принципе «я хуже всех» и в буддийской теории иллюзорности «я», «анатта». Разные философские высказывания, но направленность у них одна: преодолеть обособленность «я», выйти из двойственности. Но преодоленная двойственность всплывает заново. Поиск выгоды неотделим от жизни. Целостность не может до конца поглотить частный интерес. Отсюда нешуточный ответ александрийского сапожника святому Антонию: «все спасутся, один я буду гореть в аду», и понимание Антония, что этот ответ выше всех его подвигов. Вот первый раскол: целостность и

частный интерес.

Второй раскол — внутри разума, сознающего Целое, внутри долга. Существует такое понятие — коллизия законов. Один закон велит, другой запрещает. Но так и с заповедями. Приведу сразу пример. Об этом было в газетах. Диссидент Болонкин получил срок — три года. Он не был сломлен, и в лагере ему пришили еще три года. За это время сын Болонкина подрос и стал заводить плохие знакомства. Письма в лагерь проходят сквозь цензуру, и гэбэшники знают, что у кого болит. Болонкину опять предложили выбор: или он покается по телевизору, или третий срок. Чувства отца столкнулись с гражданским долгом. Болонкин согласился, на него надели приличный пиджак, а брюки остались лагерные, их под столом не видно, и все нужные слова попали на голубой экран. Среди моих друзей было много диссидентов, никто Болонкина не осуждал. Осуждали Дудко, Красина, Якира: струсили. А здесь долг столкнулся с долгом.

Безусловная верность одному долгу оборачивается топтанием других долгов. Есть история 48 ронинов (т. е. безработных самураев-вассалов, оставшихся без сюзерена). Это подлинный случай, но он был пересказан Бакином, так что это и факт, и классическая японская литература XVIII в. Некий даймьё (лорд) вступил в конфликт с важным чиновником бакуфу (правительство) и был им погублен. Вельможа знал, что ему будут мстить, и нанял сильную стражу. Пришлось ждать несколько лет. Чтобы как-то прожить, многие ронины, оставшиеся без средств, продали своих жен в публичные дома. Наконец, подозрительность вельможи была усыплена, и он распустил часть стражи. Тогда ронины напали на его замок и выполнили то, что считали долгом чести. Потом они явились с повинной. Бакуфу вынесло приговор: всем 48 ронином сделать себе харакири, и 48 ронинов разрезали себе животы.

Это экзотика, но ничуть не меньшей была жестокость русских революционеров. Меня учили в школе, что Разметнов проявил недопустимую слабость, пожалев семью раскулаченного (это из «Поднятой целины» Шолохова). И дело здесь не в идеях революции, в идеях язычества, Востока. История христианства тоже полна подобными примерами. Пуритане, строгие исполнители религиозного закона, славилась своей жестокостью к чужому греху. На совести католичества — поход против альбигойцев, Варфоломеевская ночь. На совести православия — канонизированная царица Ирина, по повелению которой были перебиты сто тысяч иконоборцев (то есть христиан, верных заповеди «не сотвори себе кумира», нарушенной вселенской церковью — и католической, и православной).

Дьявол начинается с пены на губах ангела, вступившего в бой за

святое и правое дело. А совершенное отсутствие рвения, духовная и нравственная вялость, — тоже от дьявола. Обе крайности — от него. И безусловная верность одной идее, одному долгу — и отказ от всяких идей, от всякого чувства долга, беспечность современных сибаритов, ищущих одних только наслаждений.

Долг — это не просто заповедь. Это мучительная задача, как примирить *разные* принципы. Когда началась война в Чечне, я долго молчал. Мне хотелось понять всех: и чеченцев, и русское население Чечни, и молчаливое большинство русского народа, скованное страхом за распад державы. Я стал писать, когда все участники конфликта заговорили во мне на равных правах, когда сложился внутренний диалог принципов. Я не верил в правду одного принципа. Я верил в правду диалога, кружения вокруг пустого центра, пустого места для примирения принципов, потерявших жесткость, ставших текучими.

В поздние советские годы я балансировал между тремя принципами: гражданским долгом, профессиональным долгом и долгом семьянина. Я постоянно спотыкался, постоянно чем-то жертвовал, и совесть моя всегда была нечиста. Я легко решился протестовать против высылки Сахарова — но не решился, как Сахаров, протестовать против войны в Афганистане. Мне казалось, что для такого хода не было в руках подходящей карты — всемирной известности. Я протестовал против оккупации Праги в философском эссе, спустя несколько месяцев, в прозрачных, но не совсем открытых словах, и передал «Акафист пошлости» для публикации за рубежом, когда понял, что кроме меня некому выступить, всем заткнули рты, и сделал это не без расчета (на первый раз «предупредить»; меня действительно вызвали, промыли мозги и предупредили о применении какой-то статьи, кажется, 190-1). Выслушав «предупреждение», я обещал на будущее отказаться от прямых политических протестов, но сказал, что публикацию за рубежом моих статей литературного и философского характера санкционирую. Некоторые друзья считали, что я держался слишком откровенно. Другие — что всякие обещания им — слабость. Я сознавал, что кажусь дураком в одних глазах и слабаком в других. Подобного рода колебания были и в поведении ассистента Сахарова, Бориса Альтшулера, человека по натуре очень прямого, но не готового принести в жертву жену и детей. Он об этом рассказывает в своей статье, помещенной в сахаровский сборник.

Сейчас мне не грозит тюрьма, но однозначных принципов у меня и сегодня нет. Я понимаю доводы и за, и против смертной казни. Против — ближе моему сердцу, но даже в Израиле, где нет смертной казни, Эйхмана все-таки повесили. Я помню случай, когда стрелял (правда поверх голов), чтобы остановить бегство и уложить солдат в цепь. Мог

бы стрельнуть и по ногам, если бы меня не послушались, и в голову, при явном мятеже. Я допускаю, что при нынешнем размахе преступности вполне возможна «шоковая терапия». Я убежден, что в Сумгаите¹ надо было стрелять на поражение и не допустить погрома, что возможны другие подобные случаи. Я склоняюсь к презумпции отказа от смертной казни, от стрельбы по толпе и т. п. — но презумпция не мешает осуждать преступника, если вина его доказана, и презумпция прав личности не может мешать чрезвычайным мерам в чрезвычайной обстановке. Я сознаю, что *всякое практическое решение не безупречно*, всякое действие монет вызвать лавину зла, и действующий человек идет на великий риск. Но бездействие, сплошь и рядом, еще большее зло.

Во всяком столкновении с другим я вспоминаю Сартра: «Другой отнимает у меня мое пространство. Существование Другого — недопустимый скандал». Я признаюсь, что иногда сам так чувствую. Я знаю, что раздражение — знак моего внутреннего неблагополучия, что оно говорит о недостатке любви, но не сразу, не быстро, не мгновенно вспоминаю любовь, не сразу топлю раздражение в любви. И не с каждым человеком мне легко вспомнить про Бога (который любовь) и взглянуть на Другого Его глазами (в которых нет других). Перед всеми другими я виноват, что почувствовал их, как Другого. И каждый раз это вина перед Богом.

Без этой чуткости к своей вине доброе дело, начатое нами, легко становится источником отчуждения от Другого и зла, повернутого на Другого. Таким добрым делом была свобода прессы, радио, телевидения — и вдруг мы заметили, что свобода СМИ стала властью СМИ, свобода нации стада угнетением другой нации, свобода науки стала разрушением цельности культуры; и всякое частное добро где-то есть зло.

Зло — порождение жизни. Жизнь всегда — отдельная, и утверждая себя, она душит и поедает другие жизни. Даже деревья — загоразивая солнце. Еще больше — животные и птицы. И больше других — человек. Но человек — не только живое существо; он еще существо духовное, образ и подобие Бога, и сознание себя как образа Бога восстает против законов жизни, отменить которые до конца — не может. И все же ноет в груди, как совесть. Кажется, никто не понимал это лучше Тютчева: «И от земли до крайних звезд все безответен и поныне глас вопиющего в пустыне, души отчаянный протест».

Власть слов, идей возникает во имя духа — и загоразивает дух,

¹ Резня армян в Сумгаите длилась три дня при полном невмешательстве Москвы. Это дало зеленый свет всем сепаратистам. Без Сумгаита не было бы дерзости Басаева.

как икона загораживала Рильке от Бога. Это постоянный вопрос, стоящий перед цивилизацией, нагромоздившей очень много слов. И время от времени разгорается борьба с омертвевшим, дурно пахнутым словом. Время от времени больно назвать то, что чувствуешь, совестишься его назвать. «Мысль изреченная есть ложь. Взрывая, возмутишь ключи...» И все же наш долг — произнести слово. Долг, противостоящий другому долгу — молчания.

Солженицыну казалось, что все зло — от нарушения каких-то правил. Примерно так думал и Лев Толстой. Но есть еще благодать — чувство, когда закон добра становится законом зла, когда лекарство начинает давать противопоказания. Это чувство нигде не записано. Его постоянно ищешь и все время чувствуешь неточность, грубость своего понимания. Это чувство внушило мне мысль, что стиль полемики важнее предмета полемики, важнее правоты в споре. Ибо правота никогда не бывает совершенной и никогда нет такого ясного и твердого добра, что против его оппонента хороши все средства. Отстаивая добро, мы постоянно грешим против добра. Даже тогда, когда в формальном, правовом плане мы чисты, — кто знает все последствие своих действий? И, наконец, мы всегда грешим неисполнением первой заповеди: Возлюбите Бога всем сердцем, каждым помышлением своим. Прав Швейцер: чистая совесть — уловка дьявола...

Но поэт опытно знает состояние чистой совести:

Чистая совесть - дыханье простора,
 Чистое веянье духа, в котором Бог
 развернулся сплошною дорогой.
 Чистая совесть — согласие с Богом.
 Чистая совесть — согласие с мирами,
 К нам доносящими дальнее пламя,
 С каждой звездой и душою зеркальной,
 Той, что звездой была изначально.

Моя совесть не может быть чистой. Но совесть чиста, когда исчезло *мое*, исчезло это, со всеми его проблемами и грехами. Это состояние утраты «я» и полноты присутствия Бога. Только состояние. Но оно есть.

О Господи, меня ведь нет.
 Расплылись все черты.
 Все было суетой сует,
 Остался только Ты.
 Остались на исходе дня Вод

тихих зеркала.
О Господи, прости меня За
то, что я была.
За то, что тратила запас
Вселенской тишины.
Прости меня за каждый час,
Что мы разделены.

(Оба стихотворения Зинаиды Миркиной)

Москва, 16 марта. Коктебель, май 1997

Приобретения и потери

Всякое приобретение — потеря; или, по меньшей мере, — забота, как избежать потери и постоянная угроза потери, а всякая потеря, если вынести ее, становится приобретением. Иов заговорил с Богом только после всех своих потерь, и полный Богом, он стал больше самого себя, прежнего.

Есть два мифа, один печальный, другой утешительный. Оба они лгут. Первый миф — о золотом веке (а потом серебряном, медном и, наконец, о нашем железном веке). В золотом веке оставляют своих стариков и больных на съедение зверям, а лишних детей убивают. Следы этих обычаев сохранилась до наших дней в цивилизациях Дальнего Востока.

Второй, утешительный миф — прогресс. Сегодня лучше, чем в темные века; завтра будет еще лучше. Трудно сказать, что будет завтра; может быть, ничего не будет. Но мир становится сложнее и сложнее, и человек теряется в дебрях цивилизации. Чем больше новых частных, тем труднее уловить дух целого (а только в причастности целому коренится смысл жизни). Развитие постепенно разрушает приемы возвращения к простоте и цельности, разрушает символы целого, повисшие в пространстве, где нет ни одного факта.

Человечество прошло через несколько великих кризисов. Первым был кризис устного слова. Изобретение письменности создало таблицы, свитки, книги, которые можно было изучать, анализировать, сравнивать, толковать без непосредственной передачи мудрости из глаз в глаза, из уст в уста. Логика комментаторов стала почвой для логики философских систем, отбросивших предание. Несколько веков философского развития, — не зависевшего один от другого, в Элладe,

Индии, Китае, — кончились одним и тем же тупиком. Любой принцип можно развернуть в систему, но ни одна система не имела преимуществ перед другой. Споры философов кончились сомнением во всех принципах и упадком нравов, не находящих больше опоры в единых символах. Племенные религии повисли в пустоте. Выходом оказалось новое откровение, сперва устное, но быстро нашедшее свою плоть в новой книге, главной книге, Книге Книг, вокруг которой был выстроен духовный мир Средних веков. Он уже книжный, но рукописный. Книг немного; Фома Аквинский благодарит Бога, что не встретил ни одной, которую не мог понять.

Книгопечатанье создало объем книжности, недоступный даже гению. Новое возникало и распространялось в стремительном темпе. Сперва это вызывало ликование, а кончилось чувством заброшенности и запутанности в потоках информации. Наш современник Альфред Шнитке чувствует новое как демоническую силу. Человек теряется в непривычном, и дьяволу здесь легче подшутить. Чем больше средств достичь цели, тем труднее определить свою цель. Понятие смысла жизни отделялось от жизни и стало недоступным.

Достоевский писал, что жизнь надо полюбить прежде, чем смысл ее (сформулированный в каких-то отвлеченных словах). Ребенок не сможет объяснить смысл своей жизни, но его жизнь полна смысла. Взрослые могут хорошо рассуждать о смысле жизни, но это не значит, что их жизнь действительно имеет смысл. Скорее — «скучная история» чеховского профессора. Школа учит говорить о смысле жизни, но жизнь школьника гораздо менее осмысленна, чем жизнь ребенка. Смысл начинает переноситься вперед, после окончания школы, университета. Но приобретение профессии дает гораздо больше обязанностей, чем прав, больше забот, чем радостей, больше узости, чем широты.

Путь человека повторяет путь человечества: все больше информации, все меньше мудрости. Ребенок хочет в школу. Ему кажется, что очень интересно ходить с ранцем, пеналом, тетрадами. Но эти игрушки быстро надоедают. Школа отымает радость игры — и дает вышколенность. Говорят, что воробей — это соловей, окончивший консерваторию. Рисунки маленьких детей гораздо интереснее, чем рисунки школьников. Я сам мальшом неплохо рисовал, мне даже наняли учительницу рисования, но школа быстро вытравила во мне этот талант и взамен наделила скукой. Чем больше книг, чем больше знаний, тем больше скуки, едва книга отложена в сторону.

Есть сказка о рассеянном мальчике, вечно забывавшем, куда он дел куртку, чулки и т. п. Менаше (так звали мальчика) составил список, где что положил, и закончил строкой: «я на кровати». Утром Менаше

все собрал по списку, но кровать была пуста. Где же я? Помню картинку в детской книжке: мальчик в недоумении перед пустой кроватью. По-моему, эта сказка очень хорошо описывает, как мы теряем себя в своих интеллектуальных приобретениях.

Ученье — вход в лабиринт знаний и в лабиринт общества, где нет никаких предписанных ролей. Надо выбрать свою роль или создать ее заново. Этого мученья не было в доброе старое время. Тогда все было ясно. «Наших бьют!» Значит, беги и бей ненаших. «Моя страна, права она или нет», — говорят англичане. Так творилось много зла, но было и добро: не было мук свободы. Фортин-брас не колеблется, нужно ли выполнять законы чести. Колеблется и мучается Гамлет. Он приобрел свободу — и потерял уверенность в себе. Толстой увидел в сомнениях путь от предписанной решительности к *обдуманной решительности*. Но обдуманная решительность — скорее цель, чем положительное приобретение. Все время надо думать и заново решать. Это не твердая почва предписанного поведения, а только процесс, вечная незавершенность. Большинство людей к ней до сих пор не привыкли, и не знаю, привыкнут ли. Жизнь обгоняет способность ориентироваться в жизни.

Общество предписанных ролей хорошо ладилось с религией предписанных символов. А обдуманная решительность житейского выбора не ладится с догмами — разве что толковать догмы как иконы, как образы, не имеющие прямого логического смысла. Из всех средневековых религий ближе подошел к решению загадки буддизм дзэн, требующий от своих адептов великой веры, великого рвения — и великого сомнения (во всех словах о предметах веры, во всех символах, чтобы буква не загораживала дух). Начало христианства было восстанием духа против буквы, но очень быстро сложились новая жесткая буква и новое законничество,

Это было необходимостью для *народной* религии. Дзэн никогда народной религией не был, и неизвестно, сможет ли принцип великого сомнения стать общим правилом в ближайшие сотни и тысячи лет. Потому что обдуманная решительность и вера сквозь постоянные сомнения — тяжелый груз. Не всякий его подымет. И будущее здесь вряд ли может в корне изменить дело. Даже если развитие не пойдет — как оно идет сейчас — в сторону массы ви-деотов, мыслящих роликами и клипами.

Весной 1935 года нам предложили сочинение на тему «Кем быть». Предполагался выбор профессии, одной из предписанных ролей в обществе строителей социализма. Я с иронией перечислил профессии, увлекавшие меня в раннем детстве (извозчика, а потом солдата), и кончил словами: «я хочу быть самим собой». Это был бунт, это был

буржуазный индивидуализм. Задним числом признаю: возмущенный учитель отчасти был прав: я испытал серьезное влияние «эготизма» Стендаля. Но по сути я был мальчиком Менаше, искавшим себя утром на пустой кровати.

Я искал себя в Гамлете, в стендалевском Люсьене Левене, потом в героях Достоевского (ближе других мне был Кириллов, с его «памятью смертной»). И в музыке — та же память смертная: миледи смерть, мы просим вас за дверью обождать... О, верно смерть одна, как берег моря суеты... При этом к смерти у меня не было никаких склонностей; но жизнь без мысли о смерти была мелкой, неполной даже в самых ярких эротических образах, надолго застревавших в уме.

Трудно жить в обществе без предписанных ролей. Где даже роль мужчины и женщины не совсем твердо предписана. Несмотря на анатомию, физиологию и гормоны. Симона де Бовуар права: женщиной не рождаются, ею скорее становятся. И мужчиной тоже. Роллан в «Очарованной душе» пишет, что Марк не совсем понимал, чего ему хочется: прикоснуться к женщине или стать женщиной, почувствовать ее тело изнутри его самого. У девочек желание быть мужчиной еще чаще. Женщина рассказывала мне, что тело ее, почти мальчишеское до 11 лет, стало внушать ей отвращение, когда начались неотвратимые сдвиги. Она пыталась почти ничего не есть, чтобы сохранять мальчишескую худобу, но ничего не помогало. Потом воображение ее стало двойственным, перенося то в плоть мужчины, совершающего подвиги, то в плоть женщины, покоряющей мужчин своей красотой. Только годам к 15 женственное вполне победило.

Бисексуальность — не патология, скорее *норма становления* — в обществе, где роли выбирают; опираясь на свою бисексуальность, развивая ее, японские артисты играют женщин, а в европейском театре есть особое амплуа — травести, актрис на роли мальчишек. Некоторые актрисы играли даже Гамлета. Писатели превосходно умеют войти в женские чувства (Чехов восхищался, как замечательно это делал Толстой). В норме способность чувствовать Другого как себя ведет к семье, где женщина чувствует мужчину и мужчина женщину и Другой становится частью самого тебя. Но возможен эмоциональный вывих, задержавшееся мальчишеское восприятие только мужского как прекрасного и презрения к женской полноте форм; возможны подобные вывихи у женщин — отвращение к мужской грубости, отвращение к своей пассивной роли при близости, желание сыграть активную, мужскую роль еще лучше мужчины;

а у мужчин — отсутствие воли к активности, радость от пассивной роли в отношениях с любимой. Наконец, возможен травматический опыт неудачи при попытке исполнить то, что предписано, и след на

всю жизнь от этой травмы (у П. И. Чайковского, у Софии Парнок). Мне напомнила обо всем этом «Тетрадка Петры» во втором номере «Знамени» (1997). Стихи Петра Красноперова настолько выстраданы, что заражают и заставляют продумать чужой опыт как свой.

Я не стою за то, чтобы узаконить такие страсти. Если порядок природы создан Богом и носит на себе Его отпечаток, то можно требовать, по крайней мере, усилия следовать вселенскому порядку. В разделении на два пола есть духовный смысл, есть задача полюбить Другого, совершенно другого, как самого себя и в этой любви к Другому получить образ любви к Богу, совершенно иному, чем люди. В Индии подобная мысль хорошо разработана в некоторых формах бхакти, до полного уподобления религиозного чувства и половой страсти. Ни одна высокая религия не использует в качестве эротической метафоры однополую любовь, а любовь мужчины и женщины — и в Библии, и в разных толках индуизма, в суфийской лирике. Что же делать эротическим дальтоникам?

Кришнамурти¹ различал путь святости и путь мудрости. Он никогда не объяснял, что это такое, но насколько я могу понять, путь святости — это примерно то, что один из русских святителей назвал романом с Богом, а Пушкин описал в своем «Бедном рыцаре», во втором варианте, где профанация стерта: «С той поры, сгорев душою, Он на женщин не смотрел...». Путь мудрости не отвергает страсти, но сдерживает ее до решающего выбора любви, захватившей сердце, принимая ее сразу же как служение и как долг, и отвергает прихоти, капризы. На этом пути мужчина для женщины, а женщина для мужчины становятся образом и подобием Бога, а прикосновение друг к другу — причастием.

Другая ассоциация, возникающая при мысли о пути мудрости, это индийская лестница трех возрастных ступеней: брахмачарья (целомудренного ученичества), грихастья (семейная жизнь) и варнапрастха; вырастив взрослых сыновей, брахман, даже при живой жене, оставляет семью и уходит в лес, искать бессмертия (об этом в Майтри-упанишаде). Впрочем, третья ступень даже в традиционной Индии не всегда достигалась, а в обществе без предписанных ролей может иметь смысл скорее как внутренний уход, без «реализации метафоры», как при бегстве Толстого. Просто «пора о душе подумать».

Индийский религиозный мыслитель (1895—1985).

Все это в неразвернутой форме промелькнуло в моем сознании, когда я услышал от молодого человека, просившего моего совета, что его волнует не женское, а мужское тело. Я сказал, что если он сможет,

то лучше избрать путь одиночества.

На что я опирался? Это трудно объяснить. Я вижу открытое море без ясных ориентиров, куда плыть. Мой компас — сознание иерархии собственных духовных уровней. Я выбираю роль, выбираю путь на самой большой, доступной мне, глубине, и в часы оставленности духом глубины выполняю свою роль усилием воли. Здесь нет фальши. Когда говорят, что он или она играют роль, предполагается исполнение чужой роли, артистический обман или сознательный обман. Этого нет, когда играешь свою роль, самого себя, свою собственную глубину, не придуманную, а в иные часы совершенно реальную. Без такой установки на глубину, в которой Я не только я, выходит не путь святости и не путь мудрости, а путь своеволия. Беру нарочно крупный пример: Юлиа Цезаря. Когда он праздновал триумф, солдаты, следуя за триумфальной колесницей, распевали частушки: вот едет лысый развратник; берегитесь, римские матроны... Вот едет жена всех своих друзей и муж всех римских матрон... Это тот путь, по которому, кажется, следует современный Запад, увлекшись освобождением от всех предписанных ролей. Есть некое предписание, которое не должно нарушаться: глубина духа повелевает поверхностью души. Это неписаное, но великое правило нарушено мыслителями постмодернизма, поставившими глубокое и мелкое на один уровень.

Я понимаю тех, кто испугались своеволия и бросились назад, к строгим предписаниям религии, даже явно нелепым, как запрет регулировать рождаемость. Этот пример стоит разъяснить. Запрет имел смысл, когда жена обязана была родить своему индийскому мужу по меньшей мере шестерых детей. Опыт говорил, что из шести четверо умрут, из двух оставшихся один ребенок может быть девочкой а остается один сын, чтобы совершить поминальные жертвы. Такой же смысл имеет осуждение Онана, изливавшего свое семя на землю. Он обманывал Бога, велешего родственнику умершего мужа возлежать с вдовой, чтобы продлить род покойного (обычай, описанный в книге «Руфь»), Христианство оставило в забвении книгу «Руфь», но включило в свои запреты осуждение Онана — хотя это две части одного целого, одной заботы о потомстве, бесчисленном, как песок морской. При нынешнем взрывном росте населения древний запрет явно вреден, но его боятся тронуть, чтобы не повалилось все здание заповедей и запретов.

Видимо, надо мысленно отделить основное здание от пристроек, прилепившихся к храму. Но где четкий рубеж между тем, что можно и что нельзя «деконструировать»? Это задача философии, которая придет на развалинах, оставленных «деконструктивизмом». Пока такого ясного рубежа нет. Освободившись от предписанных ролей, мы

потеряли чувство собственной правоты.

Права молния любви, соединяющая человека с истиной или двух людей — в общем чувстве. Но молния не длится годами. Нужна *работа любви*, как выразился Рильке, превращение пути, по которому прошла молния, в надежный провод. Ненадежные провода легко рвутся. И тогда «одиночество хлещет реками» (стихотворение Рильке «Одиночество» несколько раз хорошо переведено на русский язык. Видимо, чувство разрыва близости очень многими пережито; несравненно чаще, чем любовь к Беатриче).

Дети торопятся стать взрослыми, не представляя себе, какое это хлопотливое дело. Они мечтают жить по своей воле, без предписаний папы и мамы. Они не понимают, что предписывать себе самому — постоянный духовный труд, постоянная забота.

Сколько мучений доставляет начало половой зрелости! Сколько в нем оскорбительного, физиологически грязного, как прискорбно лишение свободы детского воображения, порабощенность эротическими образами! Как немислимо соединить эти грубые образы с присутствием живой женщины, с общением мальчиков и девочек в школе! Счастливы те, кого захватила сердечная влюбленность и соединила душу с телом и очеловечила бурю гормонов; но если влюбленность задерживается? Как пережить эту борьбу ума с чреслами, в обход сердца?

А иногда, особенно у девочек, созревшее сердечное чувство противится «взрослой» любви, хочет на всю жизнь остаться с нежными поцелуями, как выросший ребенок — со своими игрушками. Этот страх очень обоснован. Только немногие пары не сталкиваются с искушением близости, когда плоть причастия заслоняет его суть. Большинство теряет больше, чем приобрели. Некоторые теряют человеческий облик, открывают в себе (или в своем партнере) «зевоту тигра» (что-то подобное писала Цветаева Бахраху). Оставляю открытым вопрос, кто дальше от Бога: пара, живущая в содомском грехе и в любви, или супруги, создавшие себе и своим близким семейный ад. Мне кажется, что иерархия тяжести грехов, установленная преданием, может быть пересмотрена — не отказываясь от понятия иерархии и греха.

Потеря детства — одна из самых тяжелых жизненных потерь. Я перенес ее сперва как пролог к драме, а потом уже как саму драму. Пролог был довольно смешным. Вернувшись к началу учебного года в Москву, мы начали какие-то забавы с Люсей, соседкой по квартире. Вдруг я заметил, что у Люси за лето образовались припухлости вокруг сосков. Я очень огорчился. Люся в свои 11 лет начала выходить из детства, становиться тетей. Она этого еще не заметила, но я понимал, что у тетенок и дяденок свои игры, в которых я, в свои 10 лет, ничего

не смыслил и для которых был не нужен. Я потерял подружку своих игр. Это не было трагедией, но мир стал холоднее. Дети — единый народ, а дяди и тети — два разных народа с какими-то очень сложными и болезненными отношениями (папа и мама непрерывно ссорились). Жизнь намекнула мне, что в этих сложных отношениях придется разбираться. А я был не готов.

Настоящей драмой был отъезд мамы в Киев. Я не просил маму остаться. Я был сознательным мальчиком и понимал, что ее призвание актрисы требовало уехать вместе со студией «Фрайкунст», влитой в Киевский государственный еврейский театр. Но до этого я жил в каком-то симбиозе с мамой, словно мне было не двенадцать, а семь или даже пять лет. И вдруг этот симбиоз оборвался. Вдруг оказалось, что я очень одинок. С одним бедствием совпало другое: мои сверстники как раз тогда (с 5-го класса) сдвинулись в сторону повышенной шумной развязности, а я не находил себе места и обособлялся, уходил в себя. Одинокий в школе, одинокий дома (отец все вечера пересчитывал свои бухгалтерские ведомости). Это было очень трудно. Но, кажется, именно в одиноком отрочестве я начал принимать решения, самостоятельно выбирать свою жизненную роль.

Вторым кризисом была потеря метафизической почвы под ногами, сознание себя песчинкой в бесконечности и невозможность с этим согласиться. Впервые это ударило в шестнадцать лет. Потом, по второму кругу, в двадцать. Чувство бесконечности пространства и времени рядом, прямо за стеной комнаты, где я сидел, с этих пор постоянно беспокоило меня и толкало мыслить.

Много позже я дружил с Петром Григорьевичем Григоренко, и как-то я подумал; он мыслит, чтобы действовать, а я действую, ставлю над собой эксперимент, чтобы лучше понять. И поняв что-то, чувствую себя удовлетворенным. А потом еще больше удовлетворенным, когда удавалось перенести свое понимание в текст.

Понимание своего амплуа можно считать ограниченностью. Но всякое дарование неизбежно ограничивает, дает силам одно определенное направление, без этого человек останется бесплодной смоковницей. Так же как артист должен сознать свое амплуа, набор ролей, которые может хорошо сыграть, и не пытаться играть не свое. Амплуа бывает узким, бывает очень широким, но парадокс в том, что Смоктуновский, играя Моцарта или Скупого рыцаря, больше раскрывается, больше верен себе, чем в частной жизни, когда он обедает или торгуется за гонорар. Быть самим собой — это роль, набор ролей, это своя дверь к целостности бытия. Потеря метафизической почвы под ногами была дверью в философию.

Третьей большой потерей было изгнание из гражданского об-

щества. Такой смысл имела в 1946 г. формулировка: «исключен за антипартийные заявления». Я потерял себя как советский человек и нашел себя как человек антисоветский. Эта потеря и это приобретение сделали для меня легкой четвертую потерю: тюремное заключение, лагерное заключение, утрату внешней свободы, приобретение свободы внутренней.

С внутренней свободой я легко перенес пятую потерю — потерю надежд на возвращение к профессии ученого-филолога, избранной в юности. Я принял свое положение люмпен-пролетария умственного труда и нашел в нем новые возможности для расширения *своей* области мысли и формулирования своего, неакадемического стиля мышления (один из друзей назвал его метахудожественным).

Наконец, как-то незаметно, среди всех своих потерь, я потерял что-то, мешавшее мне любить, и очень поздно, в 35 лет, открыл в себе юность чувства — странно, не вовремя, но очень глубоко. Совпадение поздней юности с неюношеским опытом мысли помогло мне избежать ошибок, которые губят раннюю любовь, и делать то, что Рильке назвал работой любви; тема, которая слишком велика, чтобы сказать о ней мимоходом.

И наконец, когда я преодолел эти пороги, когда счастье стало полным и совершенным — наше единое тело разрубила смерть. Я два месяца чувствовал себя разрубленным вдоль позвоночника и левую сторону — похороненной вместе с Ирой. Небо в моих глазах падало на землю. Я тысячу раз готов был поменяться с Ирой, чтобы она жила, хотя бы без меня. Я не согласился бы на ее смерть ради самой великой цели во вселенной. Но когда я вынес свою потерю, мне открылась вера Иова, и я почувствовал силу смотреть Богу в глаза и видеть его сквозь ужас песчинки, летящей в пропасть.

Бог рассыпает свои подарки и свои удары, думая о нас не нашим умом. Нам остается радоваться каждому неожиданному подарку и собирать силы, чтобы приобретением стала сама скорбь.

Углубление жизни

Есть что-то общее, соединяющее музыку, молитву, прислушивание к лесу, волну любви, вдохновение поэта. Это общее — углубление жизни. Иногда глубина раскрывается внезапно и полностью, в один миг. Так Рамакришна увидел стаю диких гусей, выхваченную лучом света на фоне черной тучи, и сразу на всю жизнь понял что-то главное, только не знал, как назвать. Но он жил в Индии, и традиция подсказала

ему слова. Серафим Саровский жил в России и осознал свой опыт в других словах. А иногда никакие термины не приходят в голову. Кришнамурти говорит о безымянном переживании...

У меня был свой опыт, который я долго не мог понять, опыт внутреннего света. Просто света, вспыхнувшего в груди и погасившего все предметы, ослепившего меня на несколько часов для дробного мира. Потом я читал разные книги и сравнивал это состояние с тем, что прочел у мистиков разных традиций и у писателей (Достоевского, Набокова). Мне кажется, что я увидел реальность целостного и вечного, как его ни называй. И в понимании разных учений я опираюсь прямо на свой опыт, пусть очень скромный и не идущий ни в какое сравнение с великим опытом пророков, святых и поэтов, потрясенных красотой. У меня в руках был пятак — но он дал мне понять, что такое монета.

Очень легко переоценить свою монетку и считать ее Монетой Монет. Мелкие монеты экстаза рассыпаны довольно часто — то есть сравнительно часто, сравнительно с великими событиями в духовной истории. Мышкин, Ставрогин и Кириллов — проекции одного человека Достоевского. К чему толкнет экстаз, зависит от нравственного склада личности. Я просто называю пятак пятачком. А другие монеты оцениваю на глазок. Я думаю, что единой шкалы оценок нет, и мне не хочется оскорблять никакую веру.

Так же по-разному можно понимать опыт тьмы, опыт бездны. Ибо чаще всего глубина раскрывается как бездна, в которую рухнуло все доброе, а целое еще не засветилось. И мужество вглядывается и вглядывается, пока не доглядит до зарниц света; а трусость прячется от страшного, как страус, засовывая голову в песок. Толстой не мог забыть чувства бездны. Тютчев постоянно к нему возвращался, и духовный взлет моей юности прошел под знаком его опыта ночи:

Пришла, и с мира рокового
Ткань благодатного покрова
Сорвав, отбрасывает прочь.
И бездна нам обнажена С
своими страхами и мглами,
И нет преград меж ней и нами...

Бездна смерти, бездна пространства и времени, бездна абсурда леденит и воспламеняет сердце. Арджуна не выдерживает и одного мига целостного созерцания. Гаутаму этот миг заморозил и не отпускал от себя, пока царевич не стал Буддой. Первая благодарная истина, которую Будда возвестил, была истина о страдании: все сущее

болезненно и несовершенно... «Мир во зле лежит», в переводе на язык христиан. Но то и другое — только *первая* истина, первый шаг от пестрой очевидности к целостной глубине. В мужественном созерцании ужас бездны вдруг исчезает, уступает место свету, смыслу, голосу Бога, голосу, к которому зовет Иов и которого требует теология после Освенцима.

Мы живем в век, когда все вечные вопросы поставлены заново и каждый ищет ответа по-своему. У Гумилева, в «Звездном ужасе», ответ — простая песня. Рильке отвечает песней Орфея. Но Орфей — Бог, и его песня — Божья Песня. Разница не только в словах. Ответ Рильке — песня, ставшая молитвой, и молитва, ставшая песней. Ответ — в той глубине, где сходятся параллели, где этика, религия, искусство, истина не разделились или, может быть, сходятся заново.

Тиллих называет всю эту глубину религией. Невозможно отвергать религию с предельной серьезностью, ибо предельная серьезность, или состояние предельной заинтересованности, и есть сама религия (*Тиллих П.* Теология культуры. М., 1995, с. 240—241. См. также с. 254). Собственно религия, с его точки зрения, — только напоминание об этой глубине, понукание — не забывать глубины. Вероисповедание — только частица непостижимой бездны религии, где есть и благочестие, и вызов на суд, и бунт. Поэтому Бог заговорил с Иовом и поэтому древние книжники включили Книгу Иова в Библию: ибо Иов отвергал благочестие во имя религии, отвергал *представления* о Боге во имя живого Бога. Отвергал постигнутое во имя непостижимого.

Можно понять как нового Иова и бунт Ивана Карамазова. Так его понял Сергей Иосифович Фудель (в своей книге «Наследие Достоевского»). Он не согласен с Сергеем Булгаковым, считавшим бунт Ивана Карамазова чем-то вне души самого Достоевского. «Бунт Достоевского существует, — пишет Фудель, — но он, так же как все его неверие Фомино, только углубляет веру его и нашу. Это „бунт“ Иова.

Не совсем только личные невинные страдания дают своей тайной Иова... „Почему... бедных сталкивают с дороги... (и) в городе люди стонут, и душа убиваемых вопиет и Бог не воспрещает того“. Разве это место Библии нельзя было бы продолжить рассказом о ребенке, затравленном генеральскими собаками?..

Не вера в Бога колеблется в Иове, а вера в божественный миропорядок.

«Не Бога я не принимаю, — говорит Иван, — я только билет ему почтительнейше возвращаю». В черновиках романа после изложения бунта есть такой диалог:

— Алеша, веруешь ли ты в Бога?

- Верую всем сердцем моим и более, чем когда-нибудь.
- А можешь принять? Алеша молчит.
- Можешь понять, как мать обнимет генерала?
- Нет. Еще не могу. Еще не могу.
- И Иов не может, а вслед за ним и Достоевский» (я пользовался машинописью, воспроизводящей текст автора без редакторской правки).

Нельзя благодарить Бога в газовой камере. Но можно понять, что Бог не извне страдальцев, что он вездесущ и страдает вместе со всей тварью, как Христос на кресте. На какой-то глубине мы вдруг выдерживаем взгляд на мир глазами Бога — одновременно внутри страдания и вне страдания. Взгляд, который Бог подарил Иову.

Мне некому вернуть билет,
 Мне некого проклясть.
 И у души отдушин нет,
 Куда б излиться властью.
 К никого на стороне.
 Никто не виноват,
 А я во всем и все во мне,
 Весь рай и целый ад.
 И смерть не выход. Нет как нет
 Во мне небытия.
 Перед собой держать ответ Всю
 вечность буду я.

(З. Миркина)

Бог откликается на вызов. Чем интенсивнее вызов, тем вероятнее ответ. Вызов на суд может быть ближе Богу, чем формулы благочестия. Когда вся душа вкладывает себя в вызов — Бог отвечает (не на формулы, созданные умом, а на порыв сердца). И явление Бога в сердце преображает его. И тогда приходит чувство собственной ответственности за весь мир. До этого Иван Карамазов не доходит. Он остается на пороге. Он колеблется в самой вере. Он мыслит: «Если Бога нет...» Тогда нигилизм. Тогда смердяковщина. Отсюда двойственное отношение Достоевского к Ивану Карамазову. И все же бунт Ивана Карамазова — это бунт Достоевского, и в Иване Карамазове он борется с самим собой. И эта борьба — плоть и кровь религии.

Благочестие, обряды, таинства ее не исчерпывают. «Чин» религии — только напоминание о глубине, только противовес дробности мира, в которой слишком легко затеряться. Религия позволяет понять

затерянность в мире как потерю Бога, как богооставленность, и толкает к молитве, к открытию Бога как собеседника. Для атеиста затерянность — это только затерянность, абсурд, потеря смысла, трагический тупик.

Ребенок играет, не думая о смысле. То, что его увлекает, еще не оторвано от смысла, от целостности бытия. Жизнь связана для него «Божественным узлом» (Сент-Экзюпери). Каждая игрушка — узел. Вопрос о смысле жизни — признак потери смысла. Взрослые осознают эту потерю, ставят вопрос о Смысле и находят ответы. Но все ответы, оставшиеся на словах, — выцветшие синие птицы. Они сверкают небесной синевой в миг открытия и блекнут, когда что-то, стоящее за словом, исчезает. На уровне слов всегда можно ответить человеку, нашедшему смысл: «А зачем?».

Арджуна не хотел выполнять свой кастовый долг воина, он не видел смысла в битве. Кришна отвечает примером: «Если бы я перестал действовать, исчезли бы все миры. И потому сражайся, Бхарата». Но может быть, они не многого стоят, эти миры, полные страдания, и лучше небытие, угасание мук? Внутренняя сила ответа Кришны не в логике, а в чувстве. Кришна захватывает Арджуну своим творческим огнем. Его ответ так же нелогичен, как ответ Бога Иову и так же захватывает.

Этот захват — едва ли не главное в искусстве. Художник нарисовал кувшин. Что нас остановило? Почему я простоял минут десять около натюрморта с селедкой (Сутина, если я не ошибаюсь). Всамделишная селедка интересна только одним: своим вкусом. Нарисованная — она становится символом. Символом Целого, присутствующего в любой дроби. Символом творческого состояния художника, увидевшего Целое сквозь дробь. Творческое состояние художника само по себе божественный узел, и в искусстве мир становится сетью божественных узлов, Божественной сетью, второй Божественной сетью. Первая божественная сеть — сама действительность: Бог — поэт наивысший, сказал Тагор. Но только поэт видит мир как создание Поэта. Откликаясь на красоту природы и доводя до красоты мир торопливо сделанных человеком, несовершенных вещей. Связывая заново мир, разорванный, рассеченный хлеба ради насущного.

Зачем мы идем в театр? Что нам Гекуба, спрашивает Гамлет. Что нам Гамлет? Почему мы выходим из театра обновленными? В чем суть катарсиса (не только в трагедии, во всяком искусстве)?

В творческом состоянии художника, которое искусство передает. В углублении жизни до уровня, на котором законы дробного мира слабеют и сквозь дробный мир проступает великое Целое. Все равно

— через спектакль из пяти актов или через тихую жизнь вещей, схваченную на полотне.

Зачем мы поднимаемся в гору и застываем на ее вершине? Чтобы увидеть картину кисти Иеговы. Почему это созерцание — важнейшее дело (или, как говорят аскеты, — делание)? Потому что без созерцательного делания дело становится рядом дел, потерявших связь, и теряется смысл. Герой чеховской «Скучной истории» занимался хорошими и полезными делами, но потонул в своих делах, потонул в дробности, потерял Целое, потерял смысл. Потому итог его жизни стал «скучной историей».

Выход не в безделье и не в пренебрежении грубой работой ради особой, одухотворенной. Думаю, что у чеховского профессора были часы одухотворенного труда. Но он не пропитал каждый свой день чувством Целого. А средневековый китайский поэт Пан Юнь, о котором я уже несколько раз писал, нашел Божественный узел в самом простом: «Как это сверхъестественно! Как чудесно! Я таскаю воду, я подношу дрова!».

Об этом же самом говорит суфийская притча. Учителю рассказали о человеке, которого дух возносит над землей. «Птицы летают еще выше», — ответил шейх. А такого-то видели сразу в двух местах, не унимались ученики. «Дьявол может быть сразу в тысяче мест». — «Что же есть высочайшее?» — «Пойти на базар, купить провизии, приготовить обед — и не забывать Бога».

Сегодня эта задача стала гораздо труднее, чем прежде. Очень уж далека от природы современная работа, очень уж разделилась на множество работ и требует полной отдачи всех сил частным, дробным задачам. Время для созерцания — только в паузах, и не во всякую паузу под руками природа, или картина художника, или великая музыка.

Молитва возможна всегда, молитва возможна и для верующего, и безо всякого символа веры. Я понимаю символы и догмы как словесные иконы, за которыми скрывается непостижимый лик Бога, так же как за хорошей иконой, писанной красками. Мне достаточно понимать, что целостная вечность не менее реальна, чем мир пространства и времени. И что Целое есть полнота бытия, максимум бытия, полнота всех качеств в простом единстве, ближайшее подобие которого — «сильно развитая личность» (выражение Достоевского, под которым он понимал подобие Христа). Целое может быть воспринято как личность, как божественное Ты, реальность которого раскрывается в диалоге с Я. Это Ты грозит исчезнуть, когда мы начинаем рассуждать о Боге в третьем лице¹. Но в молитве оно реально. И в молитве всплывают образы искусства, рожденные в

молитве и медитации.

Молитва и медитация веками сплетались с искусством. Каждая литургия — такое сплетение. Каждый культ обрастает искусством, и без искусства трудно себе его представить. Этот опыт истории стоит перед моими глазами, когда я вплетаю молитву или медитацию в созерцание природы и искусства. Возвращение к молитве не стало для меня разрывом с поисками катарсиса. Я думаю, что и в Греции катарсис нес на себе отпечаток религии, и в Новое время театр называли храмом. Меняются формы переплетения. Сегодня они могут быть и каноническими, и свободными от рамок канона; важен всегда только канон творческого состояния, внутренняя верность глубине, внутренний настрой на глубину.

Христианская молитва возникла в языческое время, когда искусство было языческим, а природа казалась полной демонов. И мир молитвы подвижников противостоял всему мирскому. Так же обстоит дело с медитацией в раннем буддизме. Потом ревнивая исключительность стала слабеть. До конца ее преодолел буддизм дзэн. В его живописи каждая травинка может стать иконой, каждый цветок единосущ Будде и связан с ним «неслиянно и нераздельно». В христианстве эстетическое и религиозное до сих пор не совсем слились. Достоевский подходит к этой задаче трижды: в словах «мир красота спасет», в статейке Ивана Карамазова о церкви, которая должна стать всем, и в Сне о планете смешного человека, где вовсе не было храмов. И лучи заходящего солнца становились для него, как для св. Василия Великого, «благодатью вечернего света».

А где-то, нет, совсем не где-то,
 А здесь, сейчас, бездонность света,
 И — вышел срок: совсем не где-то, не когда-го,
 А нынче может встать Распятый.
 Ты жив, мой Бог!
 О малолюбы, малovery!
 И нам без края и без меры Сплошной поток!
 О свет, ломающий запруды!
 Зачем просить у Чуда чуда?

См.: Бубер М. Два образа веры. Предисловие Г. Померанца. М., 1995.

Ты есть, мой Бог!
 Конец отсрочкам, расстояниям,
 Вымаливаньям, ожиданьям...
 Жизнь - это Ты.
 Та - затянувшаяся рана.

Ты есть! Так значит я восстану.
Гроба пусты.

(З. Миркина)

Как-то ко мне подошел человек и спросил, что ему делать. У него совсем нет интуиции, о которой я говорю. Я посоветовал принять любое вероисповедание и держаться его рамок. Канонические формы тем больше нужны, чем меньше непосредственное чувство глубины. Великие мистики почти всегда нарушают каноны. Поэту, в минуты вдохновенья, они совсем не нужны.

Православье, право славить.
Славить правильно Творца...
Только кто промолвить вправе,
Что навек и до конца Прав? Что
правду Божью зная,
В самом деле служит ей?
Разве иволга лесная,
Разве только соловей?

(З. Миркина)

Когда я глубоко живу, я вижу общую почву, из которой растут все высокие религии, все религии, обращенные к целостной вечности. Образом этой целостности света, еще не распавшегося на цвета спектра, может быть икона Христа или Троицы (как у Рублева) или незримый Бог Ветхого Завета, Бог Корана, аватары Вишну, буддийская Трикайя (три тела Будды — буддийский предшественник христианской Троицы). Можно создавать и новые образы. Достоевский создал новый символ веры в известном письме Фонвизиной, и я отношусь к этому символу совершенно серьезно. Бубер создал новый символ в своем учении о Я и Ты — о реальности, проступающей в молитве и исчезающей в размышлениях. Новые символы веры рождаются из сомнения в старых символах, как Афродита из пены. Все символы веры рождаются из чувства бездны, ставшего чувством света. Это слова, от которых раскрылись крылья и вознесли над бездной одного единственного затерянного человека, а потом уже традиция.

Есть люди, для которых религия — это ломбард, в котором хранятся семейные сокровища; для Достоевского это вечный кризис веры и вечный поиск выхода из кризиса. Его православие ближе к Ивану Карамазову, чем к Ферапонту (из того же романа). Но если искать образец, особенно близкий русскому писателю, то это Иов. Вера как

кризис объединяет подвижников разных вер, вплоть до буддизма дзэн с его великим сомнением накануне великого сатори (просветления). Целое, раскрывшееся в муках, может стать собеседником, как лицо, и окутать, как туман, стать светом и тьмой, чреватой вспышками огня. Образ Целого — и человек, подобный Богу, и дерево. «Старая сосна проповедует мудрость, и дикая птица выкрикивает истину», — написал японский поэт. И Мышкин говорит: «Разве можно видеть дерево я не быть счастливым?».

«Измерение молитвы», о котором я прочел у Антония Блума, так же реально, как долгота и широта. Но *одно* измерение, наряду с другими, а не единственный подступ к глубине. Благословенны все пути к ней. Молитва — помощница человеку во всем добром. В том числе — в созерцании красоты.

Мне запомнились слова Антония Блума: «помоги мне молиться». На первый взгляд — странно: просить Бога, чтобы Он помог молиться Богу. Но чем дальше, тем больше меня это захватывало: «помоги». Антоний почувствовал Бога-личность как помощника, и это вошло в меня. Я прошу *помочь* мне затихнуть в созерцании, помочь мне собраться под образом любви, помочь мне принять мир таким, каким Бог его создал, не умножая зла своим нетерпением. В юности я не имел этой помощи и очень долго созерцал бездну тьмы, пока в ней не забрезжил свет. Можно было свихнуться. Сейчас я вспоминаю чувство бездны, чтобы сразу же попросить поддержки, попросить помочь мне расправить крылья.

Я пытаюсь взять в предании то, что не обветшало, что и сейчас живет. Я не боюсь брать из нескольких традиций сразу. Я принимаю помощь отовсюду, где нахожу ее. Я не становлюсь рабом традиции и не участвую в споре: какая традиция лучше. Или что выше: религия в рамках догм, свободное от догм искусство, созерцание природы, любовь... Все может быть Путем, и все пути в глубину сходятся. Мой покойный друг Владимир Казьмин писал: всякая картина стремится стать иконой, всякое здание — храмом, всякое стихотворение — молитвой.

Граница между поверхностью и глубиной, тьмой внешней и царствием внутри нас не совпадает с границами церкви, уммы, сангхи. В каждой церкви есть свой темный двойник, свой Феропонт. Штейнер говорил об аде для любителей природы (для которых созерцание становится наслаждением, гастрономией). Так же можно сказать об аде для ревнителей буквы традиции, в ущерб духу, веющему всюду. Символы — наши помощники, а не господа. И каждый куст может стать символом — если наши глаза достаточно зорки.

Путь в глубину — постоянно открытый, постоянно вновь на-

чинающийся процесс. Каждый истинный путь — такой процесс: молитва, медитация, созерцание Божьего творчества в природе, любовь к ближнему... У художника таким путем может быть одержимость его искусством. И лучше всего, если несколько путей сплетаются вместе, — как у Рильке, как у поэта, которого я уже несколько раз цитировал:

Мой Боже, Бог мой... Из моих берез,
 Дождя, травы и звона дальней птицы В
 меня вошел и из меня пророс.
 Нельзя иначе Богу появиться Здесь, на
 земле. Есть место лишь одно:
 Внутри меня. И в радости, и в муке Вот
 это сердце выносить должно Тебя, и
 вынянчить вот эти руки,
 Мой Бог - мой сын. Я тварь Твоя и мать.
 О, Господи, сумею ли так много:
 Зачать, родить и, вырастив, отдать Тебя во
 тьму, чтоб Бог вернулся к Богу?

(З. Миркина)

Работа любви

«Работа любви» кажется странным сочетанием слов. Естественнее сказать свобода любви, поэзия любви, наконец — музыка любви. Естественнее потому, что мы воспринимаем любовь, прежде всего, как встречу мужчины и женщины. Этому научили нас трубадуры, миннезингеры и поэты, пошедшие по их следам. Но в ранней средневековой культуре естественнее было говорить об умилении любви (Богоматери к младенцу); а в китайской культуре — о долге любви (детей к своим родителям). Не видимый акцент на эротической любви — черта совсем не природная. Акцент принадлежит культуре. Порывы любви-страсти бывали всегда, но без поддержки песни, сказки, сказания, без своего рода культа любви страсть вспыхивала, прогорала и гасла, не передавая свой огонь потомкам.

Фукидид отмечает как странность, как индивидуальную черту Перикла — то, что он каждое утро, уходя из дома, целовал Аспасию. Греческий эрос совсем не предполагал нежности. По крайней мере, у мужчин. Потребность женщины в нежности оставалась не насыщенной, как муки Федры, опьяненной любовным дурманом. С этим, может

быть, связано изобретение лесбийской любви (предание приписывает это Сафо, жившей на острове Лесбос; впрочем, по другой легенде, Сафо бросилась со скалы от безнадежной любви к юноше Фаону).

Долгую, глубокую нежность мы находим скорее в Библии, в посмертной любви Руфи к своему мужу, в благочестивом желании продолжить род своего мужа, хотя бы не от него лично. Формы, в которых библейское благочестие связано с полом, для нас непривычны, но сама возможность начать брачную ночь с молитвы (как в книге Товия) — целое открытие, и современный писатель Башевис-Зингер возвращается к нему в романе «Раб». Наконец, в «Песни Песней» мы находим замечательные слова, вдохновившие Мейстера Экхарта на проповедь: «Ибо сильна, как смерть, любовь, свирепа, как преисподняя, ревность; стрелы ее — стрелы огненные; она — пламень всемогущий». От «Песни Песней» идет средневековая метафорика любви, — мистической любви с отпечатком земной страсти и земной — с отсветом неба.

Я говорю прежде всего о западной традиции, но известные аналогии можно найти в мусульманском суфизме и в индийской традиции бхакти. В Индии развитие было доведено до предела, до реализации метафоры, до полного тождества между соединением влюбленных и мистическим союзом души с Богом. Только в России и в Китае Средние века не были веками, открывшими поэзию любви. У нас это открытие сделал Пушкин; и в «Сценах из рыцарских времен» он создал своего Рыцаря бедного, смешавшего поклонение даме сердца с почитанием Богоматери. В первом варианте стихотворения это граничит с кощунством, но —

Пречистая сердечно
Заступилась за него И
впустила в царство вечно
Паладина своего.

Средневековый культ любви и средневековая аскеза связаны «неслиянно и нераздельно», как две природы Христа, божеская и человеческая. Церковь хранила образ Мадонны, бесконечно любившей Бога и своего Сына, но никогда не знавшей страсти. Церковь поддерживала патриархальную семью, мешавшую соединиться влюбленным — потому что он Монтекки, а она Капулетти, или потому, что он беден, как Перголезе. Церковь унижала земное и плотское перед лицом неба и духа. Но для романтической любви противостояние земного и небесного было чем-то вроде разъединения электродов, между которыми вспыхивает вольтова дуга. Без разъединения нет и

вспышки. Вольтовы дуги любви, сильной, как смерть, и возвышенной, как молитва, светят нам в восхождении Беатриче на небо. В стихах суфиев образ возлюбленной становится ипостасью Бога и любовная страсть — исполнением первой заповеди (поллюбить Бога всем сердцем). «Когда боги были человечней» (Шиллер), в Древней Эллад, небо любви еще не распростерлось над землей.

В судьбе Перголезе земное, казалось бы, полностью перегорает. Невеста, не получив родительского благословения на брак, ушла в монастырь и через год умерла. Перголезе тоже постригся и вскоре умер. Но в «*81a7a1 Maleg*» сочиненном незадолго до смерти, страдания Богоматери сливаются со страданиями возлюбленной и собственными мучениями. То, что разделено на уровне слов, сливается в музыке.

В Новое время любовь, шаг за шагом, обретала внешнюю свободу и теряла поэтичность. Атеист Стендаль, всю жизнь думавший о любви, делает героинями своих романов верующих женщин. Только глубоко веровавшая мадам де Реналь могла сказать любовнику: «Я чувствую к тебе то, что должна была бы испытывать к Богу: благоговение, страх, любовь». Рационалистка Матильда де ла Моль этого чувства не знала. И в любви Фабрицио дель Донго очень много значит его вера. На первый взгляд, религиозное служение препятствует чувству и делает невозможным соединение с Клелией Конти. Но любовь вырастает от препятствий, и Фабрицио умирает, как Перголезе, сплетая небесное с земным в своем последнем вздохе.

В течение всего Нового времени падали, один за другим, запреты; но одновременно вырастала другая сила, враждебная любви: пошлость. Только в конце XIX в. к этой опасной теме стали прикасаться: Мопассан в «Жизни», Толстой в «Крейцеровой сонате». Наконец, Рильке (уже в наш век) произнес странные слова о *работе любви*.

Первая часть этой непривычной работы — освобождение места для любви, утверждение веры в реальность любви. Иногда эта работа проходит в семье, где умные сердцем родители незаметно передают свой опыт ребенку и подростку. Главное здесь — пример. Мне рассказывала женщина о незабываемом следе любви, оставленном в ней отцом с матерью. Каждый день, проведенный без жены, отец считал вычеркнутым из жизни. У меня такого примера не было. Наоборот, папа и мама постоянно ссорились друг с другом, потом фактически разъехались и наконец формально разошлись. По отдельности они очень любили меня, но жить вместе не сумели, и опасность неудачного союза врезалась в мое сознание. А потом я остался без всякого примера и поддержки, мне было двенадцать лет, когда мама уехала в

другой город. Отец с утра до вечера был занят своей работой. В одиночестве стремительно развивался мой ум, и радости ума, радости яркой мысли, пробудившейся во мне довольно рано, вытеснили во мне воспоминания о нежности матери. Я хорошо помню, что чувство полноты жизни я испытывал какой-то точкой посередине лба. И меня выбирали в товарищи умные мальчики, искавшие собеседника; а девушки головастиков не любят. Я отвечал им тем же.

Лет с пятнадцати на меня наваливались острые приступы полового голода. Но именно голода, а не любви. Было стыдно выказать свое желание девушке. Что-то во мне осталось от детской нежности к матери, я не мог прикоснуться к женщине без нежности, попробовал раз — ничего у меня не получилось, обжегся, почти буквально обжегся от собственного грубого прикосновения и больше никогда не повторял, не участвовал в подростковых играх. А душевного порыва, захваченности женской душой я не испытывал. Может быть, просто не встречались в школьные годы такие, которые вызвали бы во мне потребность быть всегда вместе.

В институте были два случая, затронувшие меня. Первый длился один миг, но я его помню: острая жалость к девушке, неудержимо рыдавшей наутро после ночного ареста отца. Захотелось подойти, сказать какие-то слова... И тут же почувствовал, что не умею утешать, не знаю нужных слов, нет чего-то в моем сердце, жалость была, а слов не было. Простоял нерешительно минуту и отошел.

Другой раз восторг вызвала во мне Агнесса Кун — внутренней силой, с которой она царила при надоевшей тогда скучной процедуре исключения из комсомола «за потерю политической бдительности» (в отношениях с отцом, матерью и мужем). Меня залил восторг, а казалось бы — чего еще нужно для любви? Но был еще муж, и я не видел никакой достойной роли, кроме роли друга; усилием воли я повернул себя к дружбе.

Но вот вопрос: почему мне нужен был именно чрезвычайный случай? Почему не вышла тихая любовь к какой-нибудь обыкновенной девушке в обыкновенной, не чрезвычайной обстановке? Отчетливо помню одно: я боялся быть связанным и пропустить что-то... Что именно? Вызревавшее во мне самом? Готовое встретиться? *Обычная* семейная жизнь, без заложенной в ней духовной пружины, казалась мне ловушкой и может быть действительно была ловушкой... Особенно если ребенок связал бы нас вопреки чему-то главному, как я когда-то связал отца с матерью еще лет на десять после того, как мама внутренне ушла из семьи. Призрак неудачного союза, в котором я родился, стоял передо мной как запретительный знак и мешал накручиванию симпатии, а попросту говоря самообману, без которой

не обходится средняя любовная история. Может быть, а даже наверняка, я слишком высоко себя ценил, но я *не хотел* обыденного семейного счастья. Там, где обычно разгорается воображение, у меня оно гасло. Я возвращался к бесплотным идеям, кружившийся в моей одинокой голове

И вдруг — война. Ей нет дела до моих мыслей. Ей нужны солдаты, мои аналитические способности как-то сразу поблекли, и великая иллюзия завладела мною. Я перестал быть одиноким мыслителем, я стал рядовым необученным, ждавшим вызова, и почувствовал нужду, в которой не стыдно признаться женщине: нужду в существе, которое будет ждать меня, нужду в матери, которая родит сына, когда меня самого убьют. Для этого не требовалась подруга с необыкновенной силой и душевным богатством, довольно было мало-мальского понимания друг друга, и два раза за время войны дружеские отношения с девушкой перерастали в роман (разговорившийся в письмах). Одна из этих историй завершилась опытом совместной жизни, длившимся три года.

Я пишу о любви, но все время приходится вспоминать аресты. Такая была жизнь. Арест оборвал мою связь с Миррой: она послушалась матери, предостерегавшей ее от поездок на свидание. Мое чувство собственного достоинства было оскорблено, и после нескольких месяцев тягостных сомнений я решил все оборвать. Не имеет смысла восстанавливать семью, где я буду на третьем месте, после папы и мамы, при этом я понимал, что Мирра дождется меня, но не из-за глубокого личного чувства, а по примеру папы и мамы. Мне это было не нужно. Если я не способен вызвать настоящей любви, то не надо мне никакой. Останусь один. Я, по-видимому, просто создан не для любви, а для дружбы. И не надо садиться не в свои сани.

Между тем, судьба незаметно проделывала со мной работу, необходимую именно для любви. Сперва на войне, захватывая страхом и победой над страхом, втягивая в сердце душу, слишком переместившуюся в голову. Мне открылся мир простых радостей: солнца в синем небе в перерывах между боями, печурки в блиндаже, письма от девушки... Но я все еще был слишком полон собой. Освободил меня от этого груза лагерь. Началось, кажется, в один из первых дней, когда мне было велено собирать самодельные ножи, выброшенные в запретную зону. Скорчившись на этой работе, я очень отчетливо почувствовал себя рядовым рабом, ничем не отличающимся от других рабов, начиная со времен фараонов Древнего Царства. Но решающим был один смешной случай. Я уже рассказывал о нем в «Записках гадкого утенка». Мы бродили от вахты к столовой и от столовой к вахте и беседовали. В «Пережитых абстракциях» я дал трем

персонажам имена: Виктор, Николай и Евгений. Евгений — действительно имя Евгения Борисовича Федорова, будущего писателя. Николай — это я. Виктора так и оставил Виктором. Он очень мягко, вежливо и поэтому долго объяснял, что его ум обладает и способностью философствовать, как я, и одаренностью в позитивной науке. Женя (моложе нас на 11 лет — тогда это значило: на треть жизни) молча слушал, а потом коротко сказал: «А я думаю, что я всех умнее». И вдруг я с ужасом почувствовал нелепость положения: я ведь тоже считал себя умнее всех. Но ведь это похоже на Поприщина, уверенного, что он — испанский король. Сошлись три Поприщина и спорят, кто из них настоящий король. И все трое — сумасшедшие.

Разговор оборвался. Мы вошли в сортир по малой нужде. Через окошко было видно, как в жиже копошатся черви. Почему-то на этом фоне высокомерие трех интеллектуалов выглядело особенно жалким. Я почувствовал себя обязанным сказать и сказал: ну что ж, оставляю вас двоих спорить за первое место, а себе беру второе. Сказал и почувствовал такую боль, словно ножом вырезал из себя тщеславие. И я его вырезал. Впоследствии мне пришлось читать у Достоевского, что самое важное в жизни — найти в ней второе место после Бога. После любимого. Пока я не пережил этого, я читал об этом — и не замечал, не вчитывался, не вдумывался. Только пережив — понял. Задним числом.

Это понимание очистило место для любви. Она вспыхнула, когда первая встречная захватила меня сочувствием и жалостью. Здесь не было узнавания, не было догадки, что рядом с этой душой, вместе с ней моя душа будет расти. Только готовность всю себя отдать ей. Которой это было не нужно. Во время недолгих встреч я был сдержан и не возникало никаких проблем. Мы просто разговаривали друг с другом. Вспышка произошла, когда девушку списали с предприятия (она собственно заменяла заболевшую уборщицу). Взрыв чувства захватил меня ночью. Я плакал и в слезах написал первое письмо.

Выздоровевшая уборщица сидела по статье 58-12, недоносительство. Я доверил ей свое послание; на другой день получил ответ. Полетели письма-голубки. Роман тянулся года два. Вскоре я вышел на волю — и приехал к *ней* на свидание. Потом и она оказалась дома. Я съездил на Кавказ — тогда совсем мирный — и вдруг понял, что она права, объясняя мне, что мы не созданы друг для друга. Осталось только сознание, что во мне есть способность к большой любви, такой, о которой поэты пишут, а в жизни почти не бывает.

Эта способность дремала во мне года два, до случайно сложившихся, почти ежедневных, встреч с Ирой Муравьевой. Она болела, я ее навещал. Чтобы не скучать, мы стали читать стихи; и меня

захватило, как она их читала. Я почувствовал ее по интонациям в стихах Ахматовой, Гумилева, Цветаевой. Она не просто читала. Чужие стихи становились ее стихами, слово становилось плотью. Выглядела Ира плохо, губы посинели, одета была небрежно, но все это не имело значения. Захватывала личность, захватывала судьба, жившая в этом смертельно больном теле.

Все это подробно описано в моей книге «Сны земли». Я написал странички «В сторону Иры» лет пятнадцать после ее смерти и почти столько же лет после счастливой встречи с Зинаидой Миркиной, но все эти годы во мне жила задача — написать об Ире, и думая об этом, я становился писателем. Мне говорили, что на страничках об Ире я косвенно описал самого себя, но впрямую писать о себе мне было неинтересно. Прошло еще десять лет, пока, по просьбе читателей, я взялся за «Записки гадкого утенка».

За три года жизни с Ирой я понял вторую работу любви: борьбу с «самым большим препятствием», с отсутствием всяких препятствий. Ира несколько раз повторяла французскую поговорку: самое большое препятствие любви, когда не остается никаких препятствий. У нее был опыт угасания любовной вспышки. Я столкнулся с задачей впервые и долго бился, пока решил ее; порою доходил до отчаяния: ускользала, угасала любовь, оставалось только чувство связи с больной женщиной, которую нельзя было просто бросить и начать другую историю.

Шаг за шагом я изучал работу любви. Перво-наперво — сдержанность. Усталость превращает близость в сладкую каторгу. Прикасаешься к женщине с мыслью, как завтра будет болеть голова. Но никакого чуда сдержанность не дает. Только здоровье. А как же чудо, которое обещали стихи, обещали глаза, встретившиеся с моими глазами? Я верил, что глаза не лгали, и искал, как подтвердить правду, которую знала моя душа и не знало тело. Разгадка была в музыке осязания. Но здесь нужно долгое отступление — о музыке.

Однажды сидел я в кино. На экране «Чапаев». Еще не заигранный, еще не ставший анекдотом: психическая атака каппелевцев, Анка-пулеметчица, артист Бабочкин выразительно тонет в реке... Я был захвачен. И вдруг, на волне захваченности, меня перехватила «Лунная соната». Играл белогвардейский полковник. Он был несколько тучен (так полагалось эксплуататору в 1934 году; генералов рисовали с брюхом Тараса Бульбы). И, конечно, интеллигентская внешность прикрывала зверя: доиграв, он приказал пороть пленного шомполами. Но Бетховен выдержал; он перешагнул через сюжет.

Я не был приучен к серьезной музыке. Читал в книгах, как она заполняла и переполняла душу, но понимал это — одним умом. Попытки слушать кончались одним и тем же: звуки рассыпались, я не

улавливал музыкальной мысли. И вдруг — сложилось! Этот кусок «Лунной» я понял. Разумеется, слово «понял» здесь имеет другой смысл, чем при понимании математической задачи. Когда говорят о понимании музыки или живописи, речь идет скорее о передаче чувства, об углублении жизни до того уровня, на котором жил художник. Понять, чувствовать, любить здесь синонимы. Адам познал Еву: тут сразу и любовь, и знание души...

Я попросил знакомую девочку, немного брэнчавшую, сыграть «Лунную». Увы! Под ее пальцами волна рассыпалась на отдельные неуверенные всплески. Все же я иногда просил поиграть, напомнить *то* впечатление. Больше того: я нашел учительницу и стал брать уроки музыки (дома стояло заброшенное фортепьяно). Мои пальцы не слушались, поздно начинать в 16-17 лет. Пробовал ходить на концерты — и скучал. Наконец — повезло. Мне было уже 18. В Москву заехал дирижер Вилли Ферреро. Исполнялось (помнится, в Доме ученых) «Болеро» Равеля. И оно взяло сразу за шиворот. Колдовство не прерывалось и нарастало, нарастало... Повторялась одна и та же музыкальная фраза, мне не в чем было запутаться, ритм не отпускал, и я отдался этому ритму, как в море — покачивая- нью мертвой зыби. Все было прекрасно.

Однако на другие симфонические концерты этот контакт не перешел. Музыка опять была сама по себе, и я сам по себе. Пришлось ограничиться оперой и старинными романсами. Пантофель- Нечецкая, Доливо (кажется, Анатолий), почти хрипевший вместо пения, но я прощал ему хрип за верную интонацию: «Миледи смерть, мы просим вас за дверью обождать...» И в опере меня захватывал трагический текст вместе с музыкой: «Пускай погибну я!..», «Что наша жизнь? Игра! Добро и зло — одни мечты...» Без слова, в стихии чистой музыки, я по-прежнему шел ко дну. И встретившись со стихами Мандельштама, не понял их. Понимал Блока, в ритмах которого скрыт романс. А «Моцарт на воде и Шуберт в птичьем гаме» не доходили до меня.

Война здесь ничего не изменила. Только снизила уровень запросов — до «Землянки» Суркова, до «Темной ночи» (не помню чьей). Хотя — кто знает! Очень может быть, что привычное обострение чувств под огнем, острое восприятие красоты земли и неба особенно в дни затишья, но иногда и в бою — сказались на восприятии природы много лет спустя.

Неожиданно помог моему музыкальному образованию лагерь. Я попал туда в июне и сразу окунулся в белые ночи. Входить в игру света и цвета меня научили импрессионисты (в студенческие годы я каждую неделю, как в церковь, ходил в Музей Нового западного

искусства). А здесь платье «Обнаженной» Ренуара, небрежно брошенное на кресло, развернулось в целое небо и зажило, меня и меня свои переливы. С вечера до полуночи я не мог оторваться от симфонии, которую импровизировал свет, и, прячась от надзора, продолжал бродить после отбоя. Жалкие человеческие затеи — бараки, вышки, колючая проволока — тонули в северном небе, «как урна с окурками в океане» (метафора, которую я впоследствии подобрал у Кришнамурти).

Потом фестиваль света кончился. Началась тоска черных зимних ночей. Только музыка, лившаяся из репродукторов, доносила переливы духа. Тогда народ приучали к русской музыке XIX века, передавали по радио симфонии Чайковского, одну за другой. Народ жался поближе к печке и забивал козла. Даже моих друзей, интеллектуалов, тридцатипятиградусный мороз загонял в бараки. Нашелся только один меломан, молча бродивший — взад и вперед, от вахты к столовой и от столовой к вахте. Вторым был я. Качество звука на морозе было сносным, но конечно, хуже, чем в консерватории. Что же помогало моему восприятию? Тоска по Москве. Симфонии были приветом оттуда, они так же перешагивали через колючую проволоку, как белые ночи. И привычка созерцать абстрактное искусство света помогло войти в абстрактное искусство звука, войти в прямой разговор с Богом и судьбой, мимо всех человеческих уродств.

Вернувшись в Москву, я в одном из первых домов, куда зашел, увидел на столе томик Мандельштама, сборник 1930 года. Стал читать — и все понимал. Понимал так, как белые ночи, как музыку зимой. Мандельштам уходит корнями в ту самую серьезную музыку, где я раньше терялся. Мне открылось целое измерение действительности, как бы наряду с тремя измерениями физического пространства, исчерпывающими школьное представление о бытии. Я думаю теперь, что европейская музыкальная классика была ответом на вызов бесконечности пространства и времени, испугавший Паскаля. Раскрытие внутренней бесконечности уравнивало внешнюю, дурную бесконечность, тьму внешнюю. «Прекрасное, — писал Рильке, — это та часть ужасного, которую мы способны вместить», страх «всепоглощающей и миротворной бездны» (не могу не вспомнить Тютчева) музыка вместила внутрь, и он стал трепетом вечной жизни.

С этих пор я стал чувствовать музыкальное измерение во всем, в том числе в любви. Музыка взглядов не требует никакого мастерства, она возникает, как птичье пение; сохранить музыку, когда встретились не только глаза, действительно трудно. То есть трудно на первых порах. Трудно *учиться* музыке, потом складывается что-то вроде искусства флейтиста. Меня учила любовь, бережность к любви,

желание сохранять любовь. Какой-то минимум мастерства сложился. Он очень невелик: чтобы сдержанная чувственность слушалась сердца, а сердце слушалось музыки. Шопен писал Жорж Санд, что в только что сочиненном ноктюрне он записал пережитую с ней ночь. Я его понимаю.

К сожалению, эти простые истины совершенно не стали общим фактом культуры. А между тем, они просто снимают ряд надоевших моральных проблем. Пара, связанная музыкой, так же устойчива, как содружество Казальса (виолончель) и Хоршовского (фортепьяно), десятки лет концертировавших вместе, безо всякого желания сменить партнера. Хотя в таком, музыкальном складе нет ни брачных уз, ни заботы о детях: достаточно общего чувства музыки. Сколько несчастий можно было бы избежать, скольких надрывов, разрывов, самоубийств!

Почти что стали поговоркой стихи Надсона:

Только утро любви хорошо. Хороши
Только первые, робкие речи...

Хотя это опыт рано умершего юноши, так и не успевшего втиснуть свою страсть в строгую музыкальную форму. Или опыт человека, до старости не сумевшего сладить со своими страстями, — как герой «Крейцеровой сонаты». Все, что я здесь пишу, — спор со Львом Толстым, опыт, противопоставленный опыту. Опыт целой жизни — от юности до старости.

Вопреки общему мнению, близость мужчины и женщины может быть не только музыкой, но и молитвой. Вся жизнь может стать музыкой и молитвой: прогулка в лесу, закат на берегу моря — все измерения твоего бытия. До конца это удастся немногим, я не волшебник, я только учусь. В шорохе ветвей, в кружении осенних листьев и в пении птиц весной я учусь слышать музыку, дыхание Целого, где хаос фактов связан «Божественным узлом» (Сент-Экзюпери). Костер в лесу может дать мне радость, сравнимую с любовной встречей, и в тишине я слышу «хоры ангелов» (Миркина). Я гляжу на Троицу Рублева и вижу в ней не только образы ангелов, а волны музыки, переливающихся от правого ангела к среднему и от него к левому, — музыки, замыкающейся в кружении вокруг незримого центра. В этом кругу бесконечность страдания и сострадания тонет в бесконечной радости творчества, в творческом огне. Я собираю себя под образом этой внутренней бесконечности и не чувствую хворей, не чувствую убывания сил; есть только волны божественных энергий, разлитых вокруг и переливающихся во мне. Я думаю о бедных людях, не

слышащих этой музыки, и молюсь за души, не сумевшие затихнуть. Я вспоминаю стихотворение Зинаиды Миркиной:

Тишину измеряют сердцем.
 Тишиной измеряют сердце.
 Все, кто стихли, — единовержцы.
 Все мы слушаем Одного.
 Нам открылись такие дали!
 Мы с тобой в этот миг узнали,
 Не придумали, а узнали
 Сердцем Господа своего.

Работа любви не прекращается ни в праздники, ни в будни. Без этого праздник кончится похмельем, а будни все поглотят. Работа любви — это соблюдение первой заповеди (всегда помнить). Это собирание себя под образом любви, чтобы не оставалось никакой почвы для столкновения самолюбий, для раздражения, срывов, ссор. А если нечаянно случится ссора — спохватиться и собраться и помириться еще до вечера, со всеми поводами ссоры, потонувшими в любви, на той глубине, где есть только любовь.

Только пережив все это, я смог понять странные слова Рильке о работе любви. И слова Сент-Экзюпери — о том же (французский писатель не расставался с томиком «Записок Мальте-Лауридса Бригге»).

В этих «Записках», неожиданно переходящих с одной темы на другую, Рильке несколько раз возвращается к одному клубку идей, сплетающихся в его понимании любви. Первая — превосходство женщин, взявших всю работу любви на себя, оставив мужчинам самую легкую долю (наслаждение). «Разве мы не могли бы сделать попытки хоть немного развиться и мало-помалу, постепенно, взять на себя свою долю работы в деле любви?» («Записки», перев. Горбуновой. М., 1913, часть 2, с. 6).

Почти никогда этого еще не было. И в переписке Гёте с Беттиной фон Арним величие любви — не на его стороне: «Все читают его ответы и верят им больше, нежели тебе самой, потому что поэт для них понятнее... Но, может быть, когда-нибудь окажется, что в этих ответах сказалась граница его величия. Ему была ниспослана воплощенная любовь, а он не смог вместить ее... При всем своем величии, он должен был бы смириться перед нею и, как Иоанн на Патмосе, стоя на коленях, писать то, что она диктовала ему» (там же, с. 94).

Вторая идея — то, что «такая любовь не нуждается во взаимности, в ней самой заключается и призыв, и ответ на него» (там же, 94). «Возлюбленная всегда выше возлюбленного, потому что жизнь выше

судьбы. Ее самопожертвование жаждет быть безграничным — в этом ее счастье» (с. 55).

Третья идея — что любящий всегда выше любимого: «Плохо живет тем, которых любят, и всегда им грозит опасность. Ах, если бы они побороли себя и стали любящими! Любящие находятся вне опасности... в них тайна приобретает единство, в них она не распадается на части, и они, подобно соловьям, всю ее целиком разглашают вокруг. Оплакивают они одного, но вся природа присоединяется к ним: в них говорит тоска по вечному. Они бросаются во след исчезающему, но с первых же шагов обгоняют его и оказываются перед лицом Бога» (с. 130).

Эта идея — что в любящих говорит тоска по вечному, по Богу, — развита в «Цитадели» Сент-Экзюпери (Соч. М., 1994, т. 2):

«Нет языка, на котором ты мог бы выразить себя. Говоря о царстве любви, ты говоришь «она» и веришь, что и впрямь говоришь о ней, но на деле ты ведешь разговор о смысле вещей, и «она» для тебя — Божественный узел, благодаря которому все вокруг связано с Господом, а Господь и есть смысл твоей жизни, поэтому ты и служишь ей» (с. 269).

«Теперь я знаю, полюбить — значит разглядеть сквозь дробность мира картину, любовь — это обретение божества.

Пусть на один короткий миг ты стал сочувствующим, и земля, статуи, царство, любимая, Бог слились для тебя воедино, — я назову любовью окно, что распахнулось в тебе. И скажу, что любовь умерла, если вокруг ты видишь дробный мир, хотя вокруг ничего не переменялось» (там же, с. 294).

«И я подумал: „даже те, кто умеет видеть за вещами Божественный узел, связующий дробный мир воедино, временами видят не картину — немые вещи. Чаще всего душа спит. Не утруждающая себя душа спит еще крепче. Так можно ли надеяться на молниеносное озарение? Если ты готов увидеть, если вызрело в тебе еще не известное тобой решение, молния озарит тебя, ты воспламенишься и постигнешь. Поэтому я и przygotowляю их к любви долгой молитвой. Этот przygotowился, и робкая улыбка срывает его, будто меч“» (там же, с. 293).

Любовь углубляет жизнь, и углубление жизни открывает дорогу любви.

Подлинное и призрачное счастье

Первый раз я написал о счастье в 1958 году. Моей задачей было убедить молодого человека, что ничего пошлого, недостойного в счастье нет. Что это даже долг — быть счастливым, уметь быть счастливым при малейшей возможности, в самых скверных условиях (на войне, в

лагере), при малейшем просвете радости, и делиться с людьми счастьем, а не своим мрачным видом и срывами больных нервов. Впоследствии я написал о счастье статью для словаря; приведу оттуда первый абзац:

«Счастье — понятие, сложившееся на опыте миллионов людей, чаще созерцавших счастье извне, чем испытывавших его. Отсюда разные синонимы счастья: удача, успех, благополучие. Это первый ряд значений. Такое счастье — незаслуженная милость судьбы или Бога (дуракам счастье). Другой ряд синонимов счастья встречается в поэзии: полнота жизни, полнота любви, блаженство. В понимании идеологов и политиков счастье народа означает благополучие (часто мнимое). Пушкин, говоря о Юсупове, называет счастьем жизнь в свое удовольствие: “Счастливый человек, для жизни ты живешь!”. Свое собственное счастье он (в зрелые годы) понимает иначе: “О, как мучительно тобою счастлив я!”. У героев Достоевского счастье всегда смешано со страданием, и это не только его личная черта. Мы находим и у олимпийца Гёте, в песенке Клерхен: “Быть полным радости, страдания и мысли...”».

На протяжении почти сорока лет мое представление о счастье очень мало менялось. И вдруг его поставил под вопрос Фазиль Искандер. Герой маленького рассказа «Сон» просыпается и думает о непрочности семейной жизни. «И хотя они с женой жили дружно, он подумал: в жизни всё может случиться. Чего-то главного им всегда не хватало.

Но чего? Он подумал: люди связаны прочной близостью, только если вместе молятся или вместе совершают преступление. Ни того, ни другого у них не было. Да, подумал он, прочно людей связывает или небо, или ад. Всё остальное непрочно. И даже имеет право на непрочность. И он затосковал о Боге и ощутил свою вину, что не затосковал о нем раньше.

Внезапно он вспомнил, что несколько дней назад распалась семья его друга. Не этим ли объясняется его сон? Он считал, что это счастливая, верующая, озвученная громкоголосыми детьми семья. И вот все рухнуло. Вера не помогла.

Да и есть ли счастливые семьи? Он крепко задумался. Да, вспомнил он, одну такую семью он знал с самого детства. Это была патриархальная крестьянская семьи. В этой семье муж и жена не только не стремились к какому-то счастью, но даже не подозревали, что оно существует (существует!) и к нему надо стремиться. Для них добросовестное выполнение долга и было счастьем, но они не знали, что это так называется. Само стремление к счастью греховно, подумал он. Счастье как бы предполагает тайный, только для меня солнечный

день. *Счастье — это утопия, направленная на самого себя, в неисполнении которой мы обвиняем других. Все шире охватывающая мир наркомания — ответ на идеологию счастья*» («Континент», № 92, с. 196).

Я подчеркнул то, что меня поразило. Рассуждение, ведущее к неожиданному выводу, слабое, а вывод сильный. Что-то здесь Искандер припечатал, какую-то болезнь времени. И скорее всего вывод пришел в голову раньше, чем рассуждение, скачкообразное и переходящее от одного спорного тезиса к другому. Общее преступление чаще связывает бандитов, чем супругов, и неверно, что адские связи так же прочны, как небесные. Ангелы солидарны в своей любви к Богу, а черти скорее грызутся между собой — как Сталин с Гитлером. У них было общее преступление (раздел Польши); но продержалась заклятая дружба менее двух лет. Замечу как бы в скобках: я не думаю, что адское — это небесное наизнанку и в аду такая же строгая иерархия, как на небе. Небесная иерархия замешена на любви; иерархия власти — всегда только до поры, до времени.

Что может связать супругов, кроме любви? Чувственная привязанность? Она слабеет с годами. Общие дети? Расходятся, бросая детей. Общие денежные интересы? Они не всегда сильны. Общая молитва? Искандер в ней разуверился. По-моему, молитва молитве рознь. Если она связывает с Богом, то все свяжет. А если бормочут люди привычные, с детства выученные слова, то такая молитва — разговор по выключенному телефону (беру этот пример у Габриэлы Босси²).

На чем основана крепость патриархальной семьи? На традициях, не всегда хороших. В том же Чегеме — кровная месть. И еще на одном: на патриархальном терроре против нарушителей порядка. Мне запомнился фильм «Древо желания»: девушку выдали за нелюбимого, и когда она не сумела скрыть своих чувств, ее убили. Те же идеи у купца из «Крейцеровой сонаты» Толстого: женщине надо дать «укорот», забить до совершенной потери грешных желаний.

Любопытно, что в повести «Морской скорпион», написанной до перестройки, Искандер ставит тот же вопрос, о непрочности семьи, но положительный пример у него другой: приятель, полюбивший девушку за что-то прекрасное в душе (и, видимо, она его за то же); рассказчик удивлен, чем эта курносенькая, с косичками, могла пленить, а потом корит самого себя: почему он думал, что за ямочками на щеках непременно скрывается чуткая, нежная душа? Так что виноватым оказывается не идея семейного счастья, а поверхностный выбор подруги, и напрашивается итог: прочная семья основана на другом вы-

² Бельгийская писательница, издавшая книжку своих разговоров с Христом.

боре, на захваченности всей полнотой личности и судьбы...

Что изменилось за 15—20 лет? Почему сама идея счастья попала на скамью подсудимых? Я думаю, непосредственный личный опыт остался тем же; но изменилось общество. Рассыпалась связка ценностей и целей, где рядом со счастьем, переключаясь с ним, были долг, достоинство, вера в лучшее будущее и т. п. Связка, в которой ни одна ценность не была всемогущей, а все поддерживали друг друга и ограничивали друг друга. Эта связка слабела, слабела и наконец совсем распалась, как веник на отдельные прутьики. И люди стали хвататься за отдельные прутьики. А каждый пруттик по-отдельности легко сломать. Взамен распавшейся советской связки нам широко раскрылся Запад. Но там медленно развивался другой кризис, частью которого (острой формой болезни) был и наш российский кризис. Право на поиски счастья было официально записано в текстах американской революции, более 200 лет тому назад. Но в этих текстах была записана и воля Божья. Для американских протестантов это не было простой фразой. Бог велел Адаму в поте лица своего зарабатывать хлеб свой, а Еве в муках рожать детей. Никаких контрацептивов, никакого вольного секса. Право на счастье означало право на свой участок земли, на свой малый бизнес, на выбор подруги по своей воле, но при общей вере в Бога и при общем понимании семейных обязанностей. Идея счастья в этих условиях вдохновляла на труд и помогла создать гигантскую промышленную державу.

Потом общество производителей, шаг за шагом, превратилось в общество потребителей. Труд перестал быть радостью, радость переместилась в досуг. И из связки ценностей выпал, стал самостоятельным пруттик счастья, и счастье стало мыслиться как непрерывное наслаждение, как сладкая жизнь.

Известно, что при продолжительной жаре белые грибы становятся ядовитыми. Так произошло с идеей счастья — и с другими идеями. Всякая идея, ставшая идеологией, подмявшая под себя другие идеи, становится отравой. Например, идея справедливости. Из нее логически вытекает террор против несправедливых, оставшихся безнаказанными, и против всего несправедливого порядка. Благородная Вера Засулич стреляет в генерала; а дальше пошло-поехало: верующие ирландские католики взрывают девочек-школьниц в Тауэре. Верующие мусульмане взрывают автобусы с женщинами и детьми в Израиле...

Значит ли это, что справедливость сама по себе перестала быть добродетелью? Нет, не перестала! Но надо быть с ней осторожным. Иначе она легко становится, по словам Волошина, «самой кровавой из добродетелей», всякая добродетель, всякая ценность хороша только в связке с другими и до тех пор, пока она не стала самодержавной идеей,

Мее йхе.

Писатели с грустью вспоминают «счастливую невозвратную пору детства», когда счастье вспыхивало от самого ничтожного повода и без всякого повода. Потом рассудок загоняет воображение в угол, и от огромного материка счастья остаются только островки. «Три счастья знаю я в этой ахинее, — пишет современная поэтесса Людмила Чумакина, — три осознанных счастья: первое — выздоровление на подушке, когда в трех метрах от лица блестят корешки книг, и обманная струйка силы пробивается через тромбы и ленивую кровь в вялых сосудах, обманом возбуждая радость жить и знание как жить — обманное также. Второе счастье, конечно, самое совершенное — любить, но так... бесконечно, как только оборвалось в любви, только пригрелилось... Третье счастье у меня самое сложное, вернее сложенное из трех ощущений: слушание безлюдного моря, степи, дерев — это как встреча с Богом — не видишь, а узнаешь... Три моих счастья. Я их не путаю с радостью и довольством. И никому не советую путать».

Счастье всегда — остров. В тяжелые дни, когда чувства счастья нет, ребенок плачет, а у взрослого действует воля, действует долг. (Перед собой, перед другими, перед Богом.) Писатель Анатолий Бахтырев говорил, что не может «жить в плохом настроении». Он искал «искусственных стимуляторов» счастья и умер тридцати девяти лет от алкоголизма¹. Но иногда человек, совершенно потерявший, способность к счастью, вдруг обретает ее заново. Жюльен Сорель счастлив перед казнью. Пьер Безухов счастлив в плену. Можно выучиться тому, что дает счастье: работе любви и созерцанию красоты. Можно увидеть образ и подобие Бога в человеке и десятки лет испытывать счастье бесконечной нежности от простого прикосновения друг к другу...

Из островов счастья, указанных Чумакиной, первый — только миг перехода. О нем хорошо писал и Анатолий Бахтырев: «Улица, весна, иду танцующей походкой. И беречь эти первые минуты, откуда бы ни возвращался. Из больницы, из карцера, из эвакуации в Москву, из тюрьмы в Ленинград, в деревню и даже утром из отделе-

Об А. Бахтыреве в моей книге «Сны земли» (М., 2004).
ния милиции». Миг перехода немного похож на «высший миг» Фауста, на счастье первопроходца, ученого, на счастье нелегко давшего себя открытию. Но нечаянное счастье перехода — даром брошенная милость. Она не заслужена, не связана с волей к пути, на котором откроются новые острова счастья. Вспышка, а за ней провал.

Архипелаг счастья сам собой не дается. От острова к острову нужно плыть и плыть. И ересь не в желании счастья, а в желании

счастья дарового и вдобавок подаренного каждый час заново. Это ересь не новая, она возникла и стала философией еще в древности, при распаде архаической эллинской культуры, и тогда же получила имя гедонизма.

В архаическую пору все было связано, счастлив был человек, ставший героем своего полиса. И когда Крез спросил Солона, кто самый счастливый человек на свете, Солон назвал имена юношей, павших в бою за отечество. Потом человек выпал из архаического роя, стал атомом, окруженным пустотой. Эта теория возникла не из физики, а из зачаточной тогдашней социологии, и была только опрокинута на физический мир, с переносом порядка человеческого бытия на порядок космоса. Из атомизма Левкиппа, Демокрита и Эпикура логически вытекал гедонизм. Если человек — изолированный атом, если нет ничего высшего, то о чем же думать, кроме наслаждений? То, что Демокрит назван смеющимся философом, уже содержит в себе зерно гедонизма. Из этого зерна выросло учение Эпикура, перенесшего акцент с натурфилософии на этику и создавшего гедонизм как разработанную теорию.

Теория гедонизма, как все греческое умозрение, не была вульгарной. Эпикур прекрасно понимал, что чувственные наслаждения ведут к страданиям, и советовал избегать таких наслаждений и находить удовольствие в созерцании красоты, в беседах с друзьями и великодушии: ибо приятнее давать, чем получать. Но вне узкого круга философов эпикурейство приобретало довольно мрачные формы. Можно судить о них по образу Клеопатры в «Египетских ночах» или по исторически достоверному образу Нерона, декламировавшего стихи о пожаре Трои, глядя на Рим, подоженный по его приказу.

Учителем Нерона был стоик Сенека. Он пытался передать своему питомцу другой вариант этики, связанный с другим вариантом физики. Человек, осознавший себя мерой всех вещей, не обязательно становился атомистом и эпикурейцем. Он мог чувствовать космос как целое и мысленно предстоять космосу (хотя и немому). Идеалом стоика была невозмутимость. По преданию, хозяин пытался испытать стоика Эпиктета (оказавшегося рабом) и стал ломать ему руку. «Ты ломаешь мне руку», — сказал Эпиктет, не повышая голоса. Тот не прекращал свой жестокий эксперимент. «Ну вот ты и сломал ее», — продолжил философ. Однако стоицизм вовсе не был философией рабов. Рабам редко удавалось философствовать. Философствовали свободные люди. Гедонизм и стоицизм — две философии, боровшиеся за душу человека, потерявшего опору в мифе. Но стоицизм с трудом поддавался вульгаризации, он слишком решительно противился грубым страстям. Нерон казнил своего учителя.

Стоицизм и гедонизм искушали и мою юность. То и другое пришло в стихах русских поэтов. Меня глубоко волновали «Два голоса» Тютчева:

Мужайтесь, о други, боритесь прилежно,
Хоть бой и неравен, борьба безнадежна!
Над вами светила молчат в вышине.
Под вами могилы — молчат и оне.

Пусть в горном Олимпе блаженствуют боги:
Бессмертье их чуждо труда и тревоги;
Тревога и труд лишь для смертных сердец...
Для них нет победы. Для них есть конец.

Мужайтесь, боритесь, о храбрые други,
Как бой ни жесток, ни упорна борьба!
Над вами безмолвные звездные круги,
Под вами немые, глухие гроба.

Пускай олимпийцы завистливым оком
Глядят на борьбу непреклонных сердец.
Кто, ратуя, пал, побежденный лишь Роком,
Тот вырвал из рук их победный венец.

Героический пессимизм Тютчева хорошо ладился с диалектическим материализмом Энгельса: «Вселенная порождает свой высший цвет, мыслящий дух, в одном месте — так же неизбежно, как уничтожает его в другом». Безликая вселенная нашла у Тютчева свое лицо, перед которым я предстоял со своим трагическим чувством бытия, — лицо сфинкса:

Природа — сфинкс. И тем она верней Своим
искусом губит человека,
Что может статься, никакой от века Загадки
нет и не было у ней.

Не было загадки, а лицо было, и было отношение Я (сей мыслящий тростник) и Ты (сфинкс). Впрочем, в иные минуты мне близок был и Эпикур — в стоическом понимании Баратынского:

В глуши лесов счастлив один,
Другой страдает на престоле;
На высоте земных судьбин И в

незаметной, низкой доле

Всех благ возможных тот достиг,
Кто дух судьбы своей постиг.
Мы все блаженствуем равно,
Мы все блаженствуем различно;

Уделом нашим решено,
Как наслаждаться им прилично,
И кто нам лучший дал совет,
Иль Эпикур, иль Эпиктет?

Спор Эпикура с Эпиктетом возрождается во все эпохи неверия. Он идет и сегодня, массовая культура тяготеет к грубому эпикурейству, творческое меньшинство (лишенное веры!) — к стоицизму. Александра Мелихова можно назвать современным стойком. Он принимает современную массовую культуру стоически, как отвратительную неизбежность, и с этой шаткой позиции пытается удержать ее от саморазрушения, убедить в красоте безнадежной борьбы с роком. Его филиппики против идеи счастья сложились независимо от Искандера; но бросаются в глаза общие черты: «Возьмем, к примеру, наркоманию не только опаснейшую, но, на первый взгляд, и абсолютно нелепую, «противоестественную» социальную язву: человек обменивает неисчерпаемое богатство реального мира на кратковременный иллюзорный «кайф», с катастрофически высокой вероятностью приводящий его к мучительной гибели. Однако этот обмен не так уж и нелеп для того, кому во внешнем мире все абсолютно безразлично, а потому неинтересно, кому сильные эмоции дает лишь самоуслаждение. Скажем, любовь издавна считалась кайфом очень серьезным, но — если каждое дело, каждый дар внешнему миру для тебя чистая обуза, то и любовь быстро окажется тебе не по карману. Это же сколько хлопот (с риском унижительного поражения), чтобы завоевать свой «предмет», да и победа тут же навлекает на тебя новую мороку: ты должен сделаться защитником, кормильцем... Не проще ли оставить от любви одну лишь приятную сторону — секс? Но ведь и секс требует чем-то поступаться, хоть на полчаса убажить и партнера, — спокойнее перейти к мастурбации, чтоб уж совсем никому ничего не давать, совсем ни от кого ни в чем не зависеть. Однако и мастурбация требует каких-то усилий, какой-то специфической готовности — ну, так сделаем укол, и будем иметь все сразу и без хлопот.

Позволю себе рискованную гипотезу: наркомания есть закономерный итог мастурбационных тенденций европейской культуры.

Выражаясь осторожнее, я вижу некую преемственную связь между многовековым и столь плодотворным дрейфом литературы от эпоса к лирике и стремительным скольжением личности от эгоцентризма к героину. В былые времена боевую песнь слагали и пели не для того, чтобы воодушевиться и разойтись — её пели, чтобы воевать. Вольнолюбивой поэзией упивались, чтобы бунтовать, а любовной, чтобы любить. И когда искусство провозгласило себя собственной высшей целью, не начались ли в нем процессы, родственные тем, которые происходят с отвернувшимся от мира человеком? Может быть, ничто не должно служить целью самому себе — ни человек, ни народ, ни ведомство, ни культура? Может быть, не случайно в искусстве так часто становился королем тот, кто соглашался быть всего лишь слугой?»

Мне хочется подчеркнуть совпадение двух свидетельств, двух диагнозов: Искандера и Мелихова. Что-то накапливалось, накапливалось — и вдруг стало очевидным. Дело не только в наркомании. И не в доступности химического рая, сравнительно с сексом. Доставать шприцы и все прочее — тоже хлопотливое дело, примитивный секс иногда обходится дешевле, отдельный атом-индивид может выбирать и водочку. Страшен весь клубок дешевых наслаждений. Но наркомания, вместе со СПИДом, многократно ускорила процесс распада культуры. Если западная цивилизация не встряхнет, не найдет сил для возрождения, — Китай, расстреливая торговцев наркотиками, без боя выиграет четвертую мировую войну. Черную работу проделает Черная Смерть. Страны христианской цивилизации опустеют, как некогда Западная Римская империя, и мирно (или почти мирно) будут присоединены к Поднебесной. Которая одним махом покончит и с экологическим кризисом, и с взрывным ростом населения, и с правами человека, и со СПИДом.

Единственная альтернатива искушениям призрачного счастья — путь, на котором мы встречаемся с подлинным счастьем. Я этот путь испытал. Трудность — в том, как передать свой опыт. Как передать свое чувство иерархии, свое понимание Себя как многослойного начала? Где на величайшей глубине действует Божья воля, поближе к поверхности — творческая воля и только да самой поверхности — воля к простым радостям. Которые тоже не дурны, если знают свое место.

Слово «счастье» имеет множество оттенков. Фауст, опьяненный молодостью, видит свое счастье в Гретхен — а потом не знает, что делать с бедной девочкой. Фауст зрелых лет ищет счастья в классическом искусстве, старик — в осушении болот. Но есть глубинный смысл, заложенный в самом слове «счастье»: со-частье, собор всех частей, целостность бытия. В противоположность участи, у-части,

затиснутости в какую-то часть жизни, как в каземат. Счастье — чувство целостности, полноты бытия. Оно не может быть ровным, оно зависит от очень многих обстоятельств, оно ускользает, как солнце за тучами, а потом снова сверкает. Но оно не ложь, не обман. Ложь и обман — только в подростковых представлениях о счастье. От *этих представлений* отказывался Пушкин, когда писал:

На свете счастья нет, но есть покой и воля.
 Давно завидная мечтается мне доля - Давно,
 усталый раб, замыслил я побег В обитель
 дальнюю трудов и чистых нег...

Я думаю, что творческий труд Пушкина сам по себе давал часы счастья. С оттенком еще какого-то особого чувства, незнакомого юности: верности чему-то высшему по ту сторону счастья и несчастья. Об этом писал и Блок:

Пройди опасные года.
 Тебя подстерегают всюду.
 Но если выйдешь цел - тогда
 Ты, наконец, поверишь чуду,
 И, наконец, увидишь ты,
 Что счастья и не нужно было,
 Что сей несбыточной мечты И
 на полжизни не хватило,
 Что через край перелилась
 Восторга творческого чаша,
 И все уж не мое, а наше,
 И с миром утвердилась связь, -
 И только с нежною улыбкой
 Порою будешь вспоминать О
 детской той мечте, о зыбкой,
 Что счастьем привыкли звать!

Рассеялся призрак дороги, усыпанной цветами, в розовом облаке наслаждений. Вместо него — «короткий миг и тесный», не многого стоящий. Но чаша творческого восторга, переливавшаяся через край, но творческое состояние — это, по-моему, другое имя полноты жизни, полноты бытия, то есть счастья в самом глубоком и истинном смысле слова. Самое общее во всех случаях счастья, которое я пережил, — это, кажется, творческое состояние. Оно впервые пришло ко мне лет в двадцать, за курсовой работой о Достоевском. Оно, по-моему,

приходило и на фронте как чувство полета над страхом. По большей части, поразительная ясность мысли, связанная с чувством такого полета, не находила себе внешнего выражения, но один раз я несколько часов руководил боем и делал это толково, хотя совершенно не учился тактике. Я думаю, можно назвать творческим состоянием и любовь, «работу любви»¹, создание музыки человеческих отношений. Без вдохновения, без творческого состояния музыка любви так же не напишется и не исполнится, как симфония.

Есть, однако, еще нечто высшее, чем творческое состояние. Святой Силуан говорит в своих записках: «Я пишу, потому что со мной благодать. Но если бы благодать была большей, я бы писать не мог». Эту благодать, при которой ничего не напишешь, Серафим Саровский назвал «стяжанием Святого Духа», суфии называли словом «шатх». Есть легенда о суфии, к которому Бог обратился со словами: «Проси у меня всего, что хочешь!» Суфий ответил: «Мне ничего не надо, мне довольно того, что Ты есть». В сверхтворческом состоянии нет никакого стремления, никакого усилия, ничто не творится, — но преобразается душа самого творца. Это не его творчество. Он здесь глина в чьих-то руках... Я думаю, слово «счастье» неприложимо к таким состояниям; скорее — блаженство. А может быть (беру слова у Кришнамурти), «безымянное переживание». То, что можно прочесть в глазах рублевского Спаса.

На уровне безымянного переживания человек уже не ищет счастья. У него есть нечто большее. Я, впрочем, об этом только догадываюсь, судя по некоторым текстам. Но я уверен, что химия этого безымянного переживания не дает; хотя экстаз или нечто вроде экстаза может дать. Некоторые племенные и восточные культы пользуются архаической химией, чтобы дать экстатическое переживание религиозных символов. Будда отверг этот путь (существовавший и в его дни). Он, видимо, считал химический экстаз чем-то иным, сравнительно с просветлением; а также не считал экстаз необходимым для каждого и за любую цену; и наверное предвидел неизбежные злоупотребления опасным средством. Оценка архаических техник

См. одноименное эссе в наст. издании.
экстаза в архаических обществах — дело науки. Ритуальные напитки могли иногда применяться веками без пагубных последствий. Но эти примеры из прошлого не оправдывают своевольные эксперименты с наркотиками в современном обществе, где нет никакой иерархической дисциплины и каждый сам себе хозяин.

Об экстазе трудно говорить. Есть несколько форм его — с видениями, созерцанием нестерпимо яркого внутреннего света и

созерцанием природы, даже городской улицы, но подсвеченных изнутри. Есть различие степеней глубины — от самой большой, преобразующей человека и сразу дающей новое направление его жизни, до случайной вспышки, оставляющей только тоску по новым вспышкам (Кришнамурти считал эту тоску соблазном). Очень многое зависит от строя души, испытавшей экстаз, и строя культуры, с которой душа связана. Экстаз дает толчок, но как бы по разным рельсам. Экстаз в часы любви углубляет любовь, в часы молитвы и медитации — углубляет молитву и медитацию. Экстаз открывает христианину лик Христа, а индуисту — богиню Кали. Вне культа, вне любви, вне созерцания природы экстаз — своего рода мастурбация, разрушение божественной связи вещей своевольным поиском удовольствий. Это соблазн. И чем больше дьявол дает, тем больше он возьмет. Героин дает больше водочки, и плата за химический экстаз взимается быстрее...

— Ну и что же? — возразит мне умный наркоман, герой повести А. Саломатова «Синдром Кандинского». — «Неисчерпаемое богатство реального мира!» — Где Мелихов его взял? Чем его «Роман с простатитом» лучше моего романа с дьяволом? Разве что длиннее... Все в этом мире иллюзия. И дьявол — иллюзия, и Бог. И то, что называют реальностью, — тоже иллюзия, сон. Долгий, скучный сон, тягомотина, от которой хоть в воду броситься...

Атом, окруженный пустотой, сделал свой выбор. И ему решительно нечего возразить. Человек перестал себя чувствовать рабом Божьим, рабом Долга, и не научился чувствовать себя сыном Божьим, воплощением воли Целого в дробном мире. Нет у него ни чувства иерархии желаний, ни чувства задачи, голоса сократовского Демона. Все, что я могу сказать, для него не имеет смысла. И все-таки я повторяю: счастье — дар Божий на Пути. Путь задается изнутри, из глубины, стремление к которой поддерживается культурой. На глубине, в одной связке — и нравственная воля (долг), и чувство собственного достоинства, и воля к любви со всеми ее трудами, и воля к жертве во имя высшего.

Желание счастья, улыбки счастья на Пути, подсказанном из глубины, не было разрушительным. Оно стало разрушением общества и саморазрушением, когда распалась «ценностей незыблемая скала» и массу захватил «гедонистический реализм» телевизионного экрана, поток видеонаркотиков (об этом, хорошо говорил Эрнст Неизвестный на своем выступлении в Ко, Швейцария, летом 1997 г.). Убивает счастье, ставшее синонимом сладкой жизни. Эту, новую реальность, реальность ночных телепередач, почувствовал Искандер, почувствовал Мелихов. Все, что они говорят о счастье, не имеет никакого отношения к

полноте жизни, к творческому состоянию, к радости от *преображения желаний*, когда вместо задуманной цели вдруг достигается Божья цель.

Мелихов ошибается, считая источником зла сосредоточенность на внутреннем, на переживании — в ущерб делу. В анализе причин катастрофы он так же неточен, как Искандер. Упор на внутреннем, в ущерб внешнему, не обязательно создает сибарита. Тот же упор у аскета. Но внутренняя жизнь аскета *воспитывает* волю, а не разрушает ее. Так это в любом вероисповедании, в том числе — в православном «умном делании» (то есть в делании, внешне не выявленном, остающемся в уме). Умное делание выводит на снежные вершины духа, где сам вопрос о счастье исчезает, уступает место другому: о богооставленности и благодати. Место счастья — пониже, где «рощи, зеленые сени, где птицы щебечут, где скачут олени». И еще ниже, где «люди гнездятся в горах», в трущобах больших городов возник призрак сладкой жизни. Беда не в избытке, а в недостатке подлинной, иерархически выстроенной внутренней жизни. Если нет иерархии, если все вынесено на плоскость, различие между деятельной жизнью Мелихова и саморазрушением наркомана сводится к произвольному выбору: ты любишь химию, я люблю яблоки.

Новое время началось с бунта против средневековой аскезы во имя земного счастья. Но оказалось, что без прицела «выше счастья» подлинное счастье сползает к счастью призрачному, к сладкой жизни. Мы вынуждены заново открыть, что созерцание, медитация, молитва — накопление творческой силы, накопление творческого состояния, полноты жизни. Как бы ни достигать этого — физически карабкаясь в гору, откуда открывается красота мира, или внутренним карабканьем. Молитва и медитация — такое внутреннее карабканье, подъем на внутреннюю высоту, с которой дробный мир схватывается одним божественным узлом. Подлинное счастье неотделимо ото всего этого, от возвращения к цельности.

Нельзя удержаться на уровне, где встречаются острова счастья, оазисы счастья, без стремления выше счастья, без внутреннего усилия вверх по шкале ценностей.

Счастье — итог пути, который каждый должен пройти в одиночку. Даже счастье любви невозможно без одиноко накопленного чувства тайны. Рильке писал Цветаевой: «Боги обманно влекут нас к полу другому, как две половинки в единство. Но каждый восполниться должен сам, дорастая, как месяц ущербный, до полнолуния». Это дорастанье можно продолжить вместе, но начинать — непременно самому.

Счастье творчества — в самом творчестве, даже без признания, без

успеха. Счастье любви — в самой любви, даже без взаимности, способность к этому — часть той тайны, которой обмениваются любящие.

Счастье любви, счастье творчества, победы над препятствиями — не кайф, а путь, сквозь боль и труд, как счастье матери.

Счастье — соединение внутреннего огня с топливом. Слабый огонь гаснет без сухих щепок. Сильный огонь схватывает и сырые бревна.

Счастье грозит исчезнуть каждый день, и каждый день за него надо бороться. Две или три повести Грина кончаются словами: они были счастливы и умерли в один день. Это редко случается в жизни. Невозможно уберечь счастье от ударов судьбы. Что делать, если Эвридику укусила змея? Из самого счастливого Орфей становится самым несчастным. Он идет в подземное царство, но Эвридику оттуда не вывести.

Когда на то нет Божьего согласия,
Как ни страдай она любя, - Душа,
увы, не выстрадает счастья,
Но может выстрадать себя...

(Ф. Тютчев)

Орфей выносит из Аида новое, более глубокое понимание жизни, полноты жизни, полноты счастья — сквозь смерть. Орфей выносит из Аида внутренний огонь не мыслимой прежде силы, зрелая душа на все отвечает любовью.

Одного хасидского юродивого спросили: как это можно — принимать горькое как сладкое? Юродивый ответил: я не встречал в жизни ничего горького. Спрашивающие остолбенели. Они видели больного нищего старика (его звали — Зусей), но он был счастлив.

Я запомнил лицо женщины, которую показали по телевидению на одну минуту (шел опрос публики, как она справляется с инфляцией), женщина ответила: «Я молюсь, и мне хорошо». Ее лицо сказала мне, что она не лжет. Ей было хорошо.

Есть тайный смысл в поговорке: «дуракам счастье». В Евангелии некоторых дураков называли нищими духом. Блаженны те, которые опустошили себя перед Богом и Бог наполнил их.

Что значит счастье? Счастье - это
«Не я». - Исчезновение «я».
Совсем чиста душа моя, совсем
порожняя посуда, в которую
втекает чудо из половодья бытия.
«Не я, не я», а только это живое
половодье света, наплыв

проточного огня.
Есть только он, и нет меня!
Вопросы? Но к чему вопросы,
когда костер души разбросан по
всем мирам, и угольки его то здесь,
то в поднебесьи, - то звездной
россыпью, то смесью лесов
весенних и реки!..
О, этот ветер меж мирами,
раздувший маленькое пламя души
за страны, за края!
Великий ветер благодатный - мой
дух... Так этот необъятный И
вездесущий - это я?!

(З. Миркина)

Если не будем как дети — не войдем в Царство. Но современная цивилизация не может допустить детей к атомному реактору. У пульта может стоять только человек, доверху нагруженный инструктивным знанием: что, как, когда сделать. Это инструктивное знание разрушает знание Целого — совершенно так, как Смешной человек разрушил счастье своей планеты. Перегруженный инструкциями, потерявший за ними самого себя, человек ищет инструкций счастья, быстро действующих таблеток счастья (телевизор, секс, алкоголь, героин). Увлечшись таблетками, увлечшись идеей кайфа, он погибает.

Наше спасение — в глубине, где вовсе не каждый миг высший. На этой глубине человек, отбросив иллюзии, остается один на один с проклятыми вопросами, со страданием и смертью. Но я не променяю зарю, которую надо ждать, на электричество, вспыхивающее от нажатия кнопки. Я верю в зарю, и я не раз видел ее.

Счастье — это не суррогат жизни. Это сама жизнь, открытая глубине, со всеми ее бедами, но и с той силой, которую дает глубина. Бог, скрытый в глубине, не страхует нас от несчастий, но он дает силу переносить несчастия и, потеряв все, начинать жизнь заново.

Продолжая путь, мы опять должны войти в темное ущелье, но знаем, что выйдем снова на свет и обрадуемся свету и эту радость будем нести сквозь тьму — до следующего взрыва света.

Авторитет любви

Мы живем среди обломков авторитетов. Сперва это показалось свободой. Теперь приходит понимание, что свобода неотделима от системы ценностей, от известного порядка подчинения низших ценностей высшим. То есть от иерархии. Но где найти иерархию, которая не исключает свободы?

Присматриваюсь к статьям, которые затрагивают роковой клубок вопросов: семья, школа, религия, культура, формирование личности, судьба России... Две статьи сцепились в моем сознании и подтолкнули писать этот отклик. Первая — статья С. Аверинцева о его опыте семьи, в двух июньских номерах «Русской мысли» (№ 4131, 4132), вторая — статья Владимира Ошеров «В нравственном тупике» («Новый мир», 1996, № 9). Аверинцев сразу захватывает исповедальным тоном и не теряет его до конца, даже когда исповедь постепенно становится проповедью. Переход от исповеди к проповеди здесь не прием, не риторическая фигура. Так сложилась жизнь человека, очень необычная для его поколения. Сын старого интеллигента, к счастью не расстрелянного и прожившего достаточно долго, Сережа в семь лет получил в руки Евангелие и рос в микроклимате, защищавшем его от советской власти. Совершилась прямая передача традиций веховской интеллигенции в советское пространство. Библейские цитаты вписываются в статье Сергея Сергеевича не из его обширной начитанности, а из сердца, из собственной глубины, в которую все это вошло задолго до начала его сознательной творческой жизни. С ним невозможно и просто не хочется спорить. Разве только дополнить. Ибо «нельзя на одном языке описать никакое сложное явление» (Нильс Бор. Цитирую по статье Никиты Моисеева, «Литгазета», 1996, № 37).

То, что я пишу, — дополнение к эссе Аверинцева, бесспорного как опыт его жизни и его прочтения Библии. А спор — с Владимиром Ошеровым. Слишком мало в его статье опыта и слишком много принципов. Принципы, как говорят в народе, — глупая вещь. Ошеров прав, показывая глупость либеральных принципов, вдохновивших американские реформы законодательства о семье и школе. Но он не видит глупости консервативных принципов.

Он так же охвачен иллюзией законотворчества, как его противники. И я надеюсь это показать; но прежде мое дополнение к опыту Аверинцева. У него ничего не сказано о первой ступени любви, до семьи. Не только не сказано, а сознательно отброшено как что-то романтическое, субъективное, не нужное, если возродится жизнь в Церкви. Нет ничего о встрече, об узнавании, об открытии, что с этим человеком хочется прожить до самой смерти.

Я не сомневаюсь, что при глубокой вере новобрачных само таинство венчания становится своего рода встречей, и чувство единой

плоти приходит само собой; меня трогает признание Аверинцева, что к нему оно пришло после 25 лет брака. Но я не могу смотреть на этот случай как на обязательный, обязывающий. В сердцевине жизни — в том, что называют частной жизнью, — нет никаких общих правил. Одни исключения, над которыми царит дух любви. Или дух отчуждения и ненависти, если любви нет. И мир героинь Петрушевской, которым бесполезно проповедовать Евангелие.

К числу библейских цитат, припомнившихся Аверинцеву, хочется прибавить еще одну. Ужасно несовременную. Современные церковность или секс. Одно вместо другого или одно пополам с другим, но только эти два. А я вспоминаю ни то и ни другое: «Ибо сильна, как смерть, любовь...» И древние книжники не ошиблись, включив «Песнь Песней» в Писание вместе с другими книгами мудрости. Хотя в страстной любви есть и свои опасности, и благочестивый страх перед нею можно понять так же, впрочем, как страх ко всему мирскому, от которого одно спасение — монастырь.

Между обещанием полета в небо, которое влюбленные читают в глазах друг друга, и действительной полнотой бытия, свивающего вместе небесное с земным, есть множество пропастей. Не только «стрелы огненные» ревности. Самое большое препятствие на пути любви, когда не остается никаких препятствий. По моему опыту, за счастье в браке надо цепляться зубами, когда руки и ноги уже потеряли опору. Я писал об этом в эссе «Исповедь Ставрогина и „Крейцеровой сонаты“» и еще раз в «Записках гадкого утенка». Вряд ли мне теперь, на старости, удастся пересказать это лучше, чем по сравнительно свежим следам. Но три человека, не сговариваясь, попросили меня это сделать, и я почувствовал себя обязанным перед читателями. Прошу прощения у тех, кто хорошо помнит мои опыты 70-х и начала 80-х годов, и повторю самое важное. Прежде всего из книги «Открытость бездне. Встречи с Достоевским» (М., 1990): «Позднышев подчеркивает роль своих привычек, приобретенных в публичном доме. Однако тема „Крейцеровой сонаты“ древнее публичного дома. Она есть уже в мифе о зубастом влаге-литтте. В шиваитской интерпретации мифа демон чувственности, Ади, рождается от брачных игр Шивы и Парвати. Подобно шаману, он может менять обличье и пол. Приняв облик Парвати, Ади хочет извести Шиву, но он разгадывает план демона. Молния Шивы проскакивает сквозь сомкнувшиеся зубы и убивает чудовище. После этого Парвати возвращается и семейное счастье божественной четы восстановлено.

Текст шиваитской пураны не похож на «Крейцерову сонату», но за обоими стоит, мне кажется, одно: синдром молодых супругов...

Чувственность, раскованная браком, профанирует и разрушает любовь, отымает у любви ее святыню и сохраняет только привычную близость двух товарищей по постели. Без сдержанности, хранящей место для тонких и тихих движений сердца, связывающих человека с человеком, любовь гибнет, облако нежности рассеивается.

У героев «Крейцеровой сонаты» нет ни викторианской чопорности, ни поэтической меры. И ограничением становятся ссоры. Перестав разговаривать друг с другом, супруги отдыхают, потом (снова почувствовав желание) мирятся... За проблемой пола выступает еще одна: проблема эгоизма. Ни Позднышев, ни его жена не умеют взглянуть на конфликт глазами другого, перешагнуть через замкнутость на себе. Близость не сблизила их... Им не удалось восстановить в браке то чувство родного прикосновения, которое было у ребенка с матерью и должно заново сложиться у супругов (как сказано в Книге Бытия: «Да оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей»), А без этого родного прикосновения, без общей души семьи — оболочка семейной жизни тягостна и враги человеку домашние его.

История семьи Позднышевых — это воронка нарастающей враждебности, углубляющейся трещины брачной жизни. Половая энергия женщины резко меняется в зависимости от ее плодовитости. Когда Позднышева носит, кормит, не спит ночей с больным ребенком, роль любовницы ей часто невмоготу, и ее перенапряженная нервная система становится источником истерических взрывов. Но в другие периоды устает муж. Прямо это нигде не сказано, но жалобы Позднышева иногда напоминают Агура, сына Иакиева, слова которого включены в Книгу Притч царя Соломона (гл. 30, стихи 15 и 16):

«У ненасытимости две дочери: “Давай, давай!” Вот три ненасытимых, и четыре, которые не скажут: “Довольно!” Преисподняя и утроба бесплодная, земля, которая не насыщается водою, и огонь, который не говорит: “Довольно!”...»

Пока Позднышевы молоды и плодовиты, периоды мужского перенапряжения уравниваются циклами беременности, родов, кормления. Но потом жена перестает рожать, а муж стареет. Позднышев чувствует облако желаний, которым окружена его жена, им же разбуженная, выведенная из равновесия девственности и оставленная без любви. Он смутно угадывает, что ей нужно что-то вроде музыки прикосновения, а не только привычные чувственные отношения, и в то же время сводит дело к порочному капризу и к красным губам Трухачевского. Он, не сознавая, знает, что не было у него никогда отношения к своей страстной силе как к материалу, из которого должна быть создана духовная мелодия, — и с ненавистью угадывает в

музыке то, чего ему не хватало».

Критическую часть моего анализа подтвердила на современном материале Татьяна Клименкова в ее интервью, опубликованном «Общей газетой» (1996, № 43): «Культивирование идеала мужчины в образе „гиганта большого секса“... ведет к „чрезвычайной невротизации людей». Мужчину можно только пожалеть. Маскулинная культура создала такой образ эталонного мужчины, соответствовать которому весьма трудно. Он должен быть сильным, он должен быть добытчиком, он должен быть агрессивным. А каково требование: „Делайте это триста раз в году!«?.. (цитата из «популярной молодежной газеты». — Г. П.) Это же какой должен быть гигант, чтобы совершить столько подвигов за 365 дней! Не по этой ли причине невиданное распространение получили мужские неврозы, импотенция, короткая и все укорачивающаяся жизнь — зашифрованная мольба о пощаде существа, которое вот-вот ухнет под непосильной ношей».

«Мы наблюдаем все признаки крушения патриархальной культуры. Она держится из последних сил, на чрезвычайной невротизации людей». Я склонен согласиться с г-жой Клименковой, что нынешний нравственный кризис имеет очень глубокие, древние корни. Продолжу из того же моего эссе, с постоянным акцентом не на сам кризис, а на *выход из кризиса*. «Аскетическое христианство Средних веков вознесло материнство и принизило любовь мужчины и женщины. Но если говорить о возможностях извращения, то они есть и в материнской любви. Мать может любить слепо, безнравственно, любить убийцу, насильника, негодяя. Во встрече мужчины и женщины больше возможностей духовного выбора. Половая любовь может быть порочной... но она может быть и чистой, непорочной, святой, может быть созерцанием вечного света в другом, как в иконе, прикосновением к нему как причастию. Известный немецкий историк Ранке говорил, что все эпохи находятся в самостоятельном отношении к Богу. Так и здесь. Близость мужчины и женщины и любовь к детям — две сферы, каждая из которых находится в самостоятельном отношении к Богу. Владимир Соловьев, споря с Трубецким о смысле любви, толкует христианство лучше, чем Лев Толстой»³.

В «Снах земли» и в «Записках гадкого утенка» я пишу о том же своем опыте, просвечивающем через анализ текстов, в открытую, от первого лица. Я признавался, что подняться под визгом снарядов, разрывавших людей на части, мне было много легче, чем сказать любимой женщине: не делай тихого знака, что ты хочешь сейчас

³ Трубецкой считал, что смысл брака - потомство. Соловьев возражал, что любовь имеет самостоятельную ценность.

всего... Продолжая любить Иру Муравьеву, я хотел, чтоб и она чувствовала это в каждом прикосновении, я хотел такой близости, о которой писал Шелли (в моем переводе: «Если жизнь нас разлучит, мы встретимся в смерти, соединив наши последние вздохи»). И я стал думать, как использовать свою умеренную страстную силу не на манер дурака, орущего на площади, а как флейтист, у которого дыхание становится музыкой.

Несколько лет спустя — уже после смерти Иры — приятель со смехом рассказывал мне о письме Шопена Жорж Санд: дескать, в ноктюрне он передал музыку только что проведенной с ней ночи. Приятелю это казалось странным до смешного: музыка и это! Я подумал: «Ну и дурак же ты!».

У Ковальджи есть такие стихи: «Девочка — веточка, женщина — скрипка». Можно заменить эту метафору другой: парного танца и т. п. Но чем-то скрипка мне дорога. В ней скрыта музыка. Господство мужчины в близости очень условно: он, так же как и женщина, подчиняется инстинкту, или, так же как и женщина, исполняет свою роль под образом вечности. То есть разгадывает ту музыку, которая уже заключена в женщине, в ее душе, неотделимой от ее тела.

Мужчина и женщина — глубоко другие, во всем философском смысле другого. В мужчине больше возможностей развития в разных направлениях, он больше может успеть в любой почти отдельной области, но почти всегда за счет целого, вплоть до разрушения целого. Отсюда потребность восстанавливать свою цельность, отсюда влечение к вечно женственному. Женщина настолько же превосходит мужчину в цельности, как он ее — в развитии. (Я говорю, конечно, не об отдельных людях, а о статистике.) В женщине дух неотделим от тела, любовь от материнства, ум от сердца. Китайцы нагроулили огромным метафизическим смыслом символы инь и ян, хотя в первоначальном своем смысле инь — влагилице, ян — член детородный. А в просветленном смысле — нечто вроде ипостасей Дао, Пути вселенной. Ибо дух воплощается, становится плотью, и плоть может стать причастием духу.

Этого решительно не понимал Дон Жуан и — заодно с ним — герои сексуальной революции. Либо они дураки, либо трусы. Дураки, если не понимают, что тайна женщины, как правило, не раскрывается в первую ночь, что к этой тайне надо иногда идти годами *с одной и той же женщиной*, все глубже ее разгадывая, вплоть до образа и подобия Божия, по которому мы все созданы. Либо же современный Дон Жуан — трус, испугавшийся порогов, через которые надо проплыть на пути к морю.

К счастью, традиция сохранила не только этот образ. Есть еще бес-

смертные пары: Тристан и Изольда, Лейла и Меджнун, Данте и Беатриче... И в суфийской традиции, и в традиции бхакти, и в «Божественной комедии» любовь мужчины и женщины — один из путей к небу.

И я благодарен поэзии (включая и прозу), что она показала мне возможность встречи, научила дожидаться встречи и, дождавшись, не пропустить ее. Я убежден, что всякая подлинная встреча свята, где бы она ни произошла — в церкви или в аптеке.

«Сценка в аптеке. Женщина, очень милая на вид, лет сорока от роду, одетая плохо, по-рабочему, что, впрочем, не умаляет ее мягкую красоту, покупает аллохол, а мужчина лет пятидесяти говорит ей, как старой знакомой: “А чтой-то вы аллохол берете? Печеноч-ка?” — “Да, что-то, — отвечает и она так же. — Тянет что-то!” — “А ведь небось и не знаете, как его употреблять. Давайте-ка я вам расскажу все по порядку...”»

И вот уже семнадцать лет рассказывает, усыновив ее мальчишку, который стал уже взрослым и сам женился. Внучка у них Анечка, и счастливые они, как если бы знали друг друга с детства. Он уже старик, да и она немолодая. Но рядом с ним просто молодка. Жизнь ее благодаря аллохолу повернулась к ней всеми своими радостями и засветилась радугой в дождистом небе. И он ей говорит иной раз в минуту расслабленности душевной: “Я как увидел тогда тебя, так понял, что мы наконец-то встретились. Ничего о тебе не знал — и в то же время все знал. Мне с тобой сразу легко стало. Боль душевная отлегла, и я успокоился. Я сразу знал, что у нас с тобой долгая жизнь впереди. Это как перед дальней поездкой: сборы, волнение, проводы на вокзале, а поезд тронулся — и есть захотелось. Ха! И усталости как не бывало. Так и мне с тобой. Все еду, еду, смотрю в тебя, как в окошко, и насмотреться не могу. Ты очень разная! Все мне в тебе интересно, ей-богу, не вру. Нравится мне жить с тобой, а до тебя все не нравилось, все не по мне...”» (*Семенов Георгий. Убегающий от печали. «Новый мир», 1996, № 9, с. 186. Это одна из лучших публикаций журнала.*)

Тут самая главная фраза: «... смотрю в тебя, как в окошко, и насмотреться не могу». В тебя, а не на тебя. Встреча пожилых людей надежнее. Молодость часто сбивает с толку то, что французы называют «чертовской красотой». Ранние браки — это *попытки* семьи, попытки с добрыми намерениями. Но благими намерениями вымощен ад. Что делать, если семейная жизнь стала адом? Пример — католическая семья в «Земляничной поляне» Бергмана. Аверинцев рассказывает о браке двух молодых людей, для которых духовная близость значила все и действительно стала всем, так что личный опыт естественно слился с опытом церкви. Но ранняя духовная и нравственная зрелость — не частый случай.

Мы живем не в том мире, где каждое поколение повторяет в самом главном отцов и дедов, а в потоке нового. Отцы и деды не пережили его и редко могут наставить, как пробраться сквозь перемены к вечной оси, вокруг которой вертится время. Приходится самому собирать себя — из жизненных впечатлений, из прочитанных книг, заставивших пережить чужую жизнь, как свою собственную, из волн музыки.

В 17 лет я понял, что меня еще нет, и поставил себе цель «быть самим собой»; этими словами заканчивалось сочинение на тему «Кем я хочу быть». Я собирал себя сквозь 37-й год, сквозь войну, сквозь лагерь — и пожалуй, только годам к 38 стал готов к встрече. А ведь сходятся, покоряясь влюбленности, в 18, 20 лет. Что делать, если переключка двух пар глаз, двух душ, святящихся в глазах, оборвалась?

Здесь законы сталкиваются. Я был свидетелем спора между З. и ее приятельницей, отстаивавшей католический нерасторжимый брак. Для З. любая близость без любви была *духовно и нравственно* невозможна. Католичка жила в таком браке, и ее тянуло к новым приключениям. Она уговаривала саму себя.

Я думаю, хорошо то, что помогает росту души. Плохо то, что мешает. Очень многое дает встреча с другой, подхватывающей своей внутренней жизнью. Можно ошибиться (особенно смолоду), но если догадка была верна, то действительно возникает одна общая жизнь, о которой романтически наивно говорит формула Александра Грина: «Они были счастливы и умерли в один день». К сожалению, вторая часть этой формулы — возвышенный обман, но первая — правда. И счастье разделенной любви — это тепло, от которого раскрываются все почки в душе. Хрупкое тепло, если можно так выразиться. Особенно если ему не предшествует более трудное счастье, одинокое, способность радоваться и весне, и лету, и осени, и зиме. Но именно разделенная любовь создает облако любви, в котором раскрываются сердца детей. И хотя любовь никогда не для чего-то, всегда сама по себе радость, блаженство, благодать, — каждая счастливая пара вносит в мир свое тепло. А каждая несчастная — свои комплексы, свои неврозы, свои подавленные взрывы ненависти.

В шестнадцать лет я был призван в арбитры между отцом и матерью. Отец женился в тридцать четыре года с ясным сознанием, что с этой женщиной хочет жить всю жизнь, но так и не сумел завоевать ее любовь. Мать вышла замуж 18 лет «из уважения», потом стала актрисой, вышла совершенно в другой мир, и возвращение к брачным узам стало пыткой. До формального развода она уже несколько лет играла в киевском театре, а жили мы в Москве. Я вспомнил все ссоры, шедшие непрерывной чередой, и высказался за развод. Отцу было очень больно, он терял контроль над собой и рассказал мне много

лишнего. Потом примирился и вспоминал только хорошее. Из лагеря я писал свои дозволенные письма ему, а он пересылал маме. Это тот опыт, который надо прибавить к опыту Аверинцева. Не противопоставить, а просто прибавить. Неверно, что все счастливые семьи похожи друг на друга. Все и счастливы, и несчастливы по-разному. И в счастье, и в несчастье есть свои стандарты и есть свои неповторимые случаи.

К несчастным семьям и несчастным школьникам повернуто внимание Ошерова. Но оно какое-то безличное. Эссе Аверинцева — голос, рядом с которым могут звучать другие голоса. Статья Ошерова — окрик: только так! Мышление Аверинцева, за исключением одного случая, который я оговорил, исходит из прямого чувства блага, из того, что есть. Мышление Ошерова чисто реактивно, оно повторяет знакомые рывки: справа налево и обратно, слева направо. Запад нашел равновесие «натиска пламенного» с «отпором суровым». Ошеров порусски хочет «натиск пламенный», либерально-социалистические веяния, изничтожить «до основания, а затем...». Статья посвящена критике американского опыта, но напечатана в «Новом мире», в пример и поучение нам, и вызывает в памяти давно знакомый выкрик Белинского: «Нет, что бы вы ни сказали, я никогда с вами не соглашусь!».

Даже запрет пользоваться розгой вызывает сердитую воркотню: «Если точно следовать букве и логике этой статьи (речь идет о ст. 12 Конвенции ООН о правах ребенка. — Г. П.), дети не только могут игнорировать мнение родителей по поводу содержания школьных программ и множества других вопросов, но родители не имеют права и нашлапать строптивное чадо по мягкому месту!» (с. 159).

Вспоминаются прения в бундестаге по вопросу о телесных наказаниях. Социал-демократы были против, христианские демократы — за.

«Почему бы детям чуть-чуть и не бояться родителей? — пишет Ошеров. — Страх Божий всегда почитался одной из великих христианских добродетелей. В страхе самом по себе нет ничего дурного, не следует его путать с трусостью» (с. 159). Последнее верно: храбрость — не отсутствие страха, а полет над страхом. Все остальное, по-моему, путаница. Немецкий язык здесь против христианских демократов. Немец для богобоязненности употребил бы слово *RigSB1*, а не *Ap§81*. Страх оскорбить святыню — нечто иное, чем страх порки. В Новом Завете неразличение двух страхов преодолевается: «совершенная любовь изгоняет страх». И именно любовь вызывает страх второго рода, боязнь оскорбить свою любовь даже нечаянной грубостью, нечаянным срывом.

Учить любовью, учить страхом *обидеть* труднее, чем отшлапать,

но иногда все-таки удается. Меня так выучили в раннем детстве — не бросать чашки с балкона и любоваться, как они красиво разлетаются на осколки. Охотно признаю, что в мягком воспитании бывают неудачи. Но Ошеров отрицает у либералов даже добрые намерения. Он видит только мотивы корыстные и злые. «Запрет на школьную молитву — прямое и недвусмысленное проявление враждебности к религии», — пишет Ошеров (с. 175). Не хватает только масонского заговора. Между тем посещаемость американских церквей *в несколько раз* выше, чем в Европе. Трудно поверить, что все американские законодатели и судьи — воинствующие безбожники. И скорее всего мотивом запрета общей молитвы было *уважение* к религии, к религии меньшинства, вынужденного присутствовать при *чужой* молитве.

Мартин Бубер вспоминает в своих автобиографических заметках: «В 8 часов утра звонил колокольчик, входил один из учителей и поднимался на кафедру, над которой на стене возвышалось большое распятие. В ту же минуту ученики вставали со своих скамей. Учитель и польские ученики крестились; он произносил символ веры, и все они вслух молились. Мы, евреи, стояли молча и неподвижно, глядя в пол, пока не разрешалось сесть...

Я не могу припомнить учителя, который не был бы терпим или не хотел казаться терпимым. Но ежедневное обязательное стояние в классе и слушание чужого богослужения действовало на меня хуже, чем мог бы задеть какой-либо акт нетерпимости. Это отпечаталось во всем моем существе» (Тыле рЫИю8орЪлу оГ Майш ВиЪег. Ей. Бу Р. А. 8сЫИрр а М. Рпейтап. ^а 8а11е — ^., 1967, р. 8).

Для Ошерова нет неразрешимых проблем, нет вопросов, с которыми люди бьются веками, подходя к ним то так, то эдак. На все есть свой беспспорный ответ: плохо решала проблему абортов Америка, хорошо — Германия. Там «в конституции страны ясно говорится о Боге, о высшем авторитете, стоящем над всеми мирскими, человеческими — научными, политическими, социальными, экономическими — и прочими интересами. Не случайно, например, в объединенной Германии абортыв были объявлены Конституционным судом *фундаментально неконституционными*. Причем за такое решение было подано подавляющее большинство голосов — шесть против двух. В своем решении суд заявил: «Женщина должна знать, что неродившийся ребенок имеет свое собственное право на жизнь». И: «К абортам можно прибегать только в исключительных обстоятельствах». Это не значит, что абортыв, сделанные в первые три месяца беременности, будут считаться преступлением. Но на них не будет распространяться государственная медицинская страховка. В итоге каждый действительно поступает согласно велению совести и несет

личную ответственность за свои поступки» (с. 162—168).

Метафизически все концы сошлись с концами. А практически дело сводится к деньгам, к «иметь» и «не иметь». Имеешь — и тебя карает только совесть. Для менее состоятельных — огромная дыра в бюджете. А для бедных, да еще неопытных — неразрешимая проблема. А что значат «исключительные обстоятельства»? Почему восемь мужчин вправе решать, что для женщины абсолютно исключено? Я подозреваю, что все восемь судей (или по крайней мере шесть) — мужчины, и думаю, где у них совесть? Где была совесть у Леха Валенсы, наложившего вето на закон сейма, разрешивший аборт?

В этом вопросе даже в книге «Папа римский Иоанн Павел II» автор ее, Елена Твердислова, позволила себе (единственный раз) свое женское возражение авторитету: «Можно, разумеется, оспорить некоторые позиции Ватикана, к примеру закон об абортах, хотя он по природе своей правомерен: должна изначально существовать ответственность за человеческую жизнь; но закон этот бессмыслен и трагичен для стран, где материнство не о б е с п е ч е н о с о ц и а л ь н о , а только при таких условиях он может разумно действовать, иначе начинаются поиски его обойти, которые, как известно, заканчиваются бедой» (Твердислова Е. Папа римский Иоанн Павел II. М., 1995, с. 56. Разрядка моя. — Г. П).

Церковь вправе и обязана учить прихожанок, что аборт — крайняя, нежелательная мера. Но безнравственно пускать против женщин юридическую машину, сыщиков и полицию. Здесь нравственные импульсы сталкиваются. С одной стороны — жизнь зародыша. С другой — жизнь и здоровье женщины. В праве это называется коллизией законов: один запрещает, другой разрешает. Я думаю, что нам, мужчинам, лучше воздерживаться. Наша ответственность — в другом: позаботиться, чтобы подруге в момент близости не пришлось думать о последствиях, а потом (не подумавши вовремя) — как избежать последствий. В девяти случаях из десяти это на совести мужчины. И здесь моя совесть вступает в противоречие с Библией. Библия запрещает предупреждение беременности.

Однако почему церковь сохранила этот ветхозаветный запрет? Почему не отменила его вместе с субботой, обрезанием, покрыванием головы перед Богом? Потому что эллины и без истории Онана привыкли доводить половой акт до конца, а к обрезанию относились с отвращением, да и к другим еврейским обычаям. И Павел решил еврейскими святынями пожертвовать. Это вызвало раскол: не все ранние христиане согласились пренебречь прямым словом Христа: «Я пришел не нарушить (закон. — Г. П), а исполнить». Иудео-христианство дожило до IV века. Но история решила спор в пользу Павла.

Мы подходим здесь вплотную к пониманию очень важной вещи: авторитет без внутреннего простора свободы так же хрупок, нежизнеспособен, как свобода без координат авторитета. Павел был искренен, когда писал, что умер и жив в нем Христос. И я не сомневаюсь, что внутренний голос Христа разрешил пожертвовать очередной «буквой» во имя «духа». Но такие коллизии повторяются вечно. Пророки доходили до полного отрицания культа. Хотя культ был святыней и ни одна религия без этой святыни не обходится.

В Средние века тяжелый кризис вызвала заповедь «не сотвори себе кумира». Церковь учила десяти заповедям и сама с ними не считалась. Эллинам и римлянам нужен был зримый Бог. Первый шаг навстречу им был сделан уже в формуле: «Бога не видел никогда и никто. Единородный сын, суший в недрах Отчих, — Он явил». И пока христиане оставались гонимым меньшинством, им хватало мысленного образа. У энтузиастов, готовых на казнь во имя веры, вся жизнь была сосредоточена на внутреннем образе Христа. Но все переменялось после Константина и Феодосия. Государственную религию приняли массы полуязычников. Им нужен был вполне зримый, чувственно зримый культ — с иконами и статуями. Меньшинство в любой культуре способно сжечь, чему поклонялось, и поклоняться тому, что сжигали; большинство консервативно и по своему праву. О нем говорит традиция культуры. Сталкиваясь с этнически чужой верой, культура вступает с ней в диалог, и прямой победы одного почти никогда не бывает. Церковь не отказалась от диалога с современностью V века и создала новый живой культ.

Однако были племена, чуждые греко-римской традиции чувственно-зримой святыни. Таких племен немало (например, все арабы). И случилось так, что престол в Константинополе достался исаврийской династии, вышедшей из глубин Малой Азии. Опираясь на незыблемое Слово Бога, продиктованное на Синае, императоры-иконоборцы запретили почитание икон и статуй. Греки пытались бороться с запретом. Св. Максим Исповедник провел различие между кумиром (идолом) и иконой (символом Бога без прямого подобия). Однако иконоборцев он не убедил. Помог случай. Гречанка Ирина, избранная за красоту, воспользовалась ранней смертью мужа-иконоборца, ослепила сына (лишив его таким образом прав на престол без смертного греха сыноубийства), короновалась в мужском роде василевсом и восстановила почитание икон. Иконоборцы, сопротивлявшиеся этому, были истреблены. Погибли около 100 000 человек. Что касается латинской церкви, то она просто выкинула «не сотвори себе кумира» из Декалога. Но ничего не помогло: протестанты, читавшие Библию в подлиннике, вернулись к авторитету

Писания. И вот что любопытно: средиземноморские народы остались верны культуре зримой святости, протестантизм победил только там, где античность не оставила заметных следов. В столкновении заповеди с культурой победила культура.

Ошеров сожалеет, что американским детям не преподают десять заповедей. По какому Декалогу учить? Католическому (отредактированному в Риме)? Православному (с комментариями Максима Исповедника) или протестантскому без святоотеческих разъяснений? И как быть с иудаистами, мусульманами, буддистами? Они живут в христианской, по своим основам, цивилизации, но хотят оставаться самими собой. Америка — страна религиозных меньшинств, и она первая столкнулась с этой проблемой. Но постепенно в городах всех развитых стран складывается та же обстановка. Мы живем в неслыханно тесном мире с огромными скоростями передвижений и перемен. Каждый волен избрать в авторитеты пророческий монолог одной религии, но миру в целом не избежать диалога.

Современный эфир — диалог пророческих монологов, и постепенно таким же становится религиозное сознание. Государственная школа, общая школа не может вернуться к одному катехизису, просто игнорируя другие. Ей нужна книга — много книг, в которых одинаково сочувственно рассказывается обо всех великих религиях и сам материал подталкивает подростка к переживанию реальности единого Бога за всеми исторически сложившимися образами, но ни один не навязывается как безусловная реальность. Мы с Зинаидой Миркиной попытались написать такую книгу («Великие религии мира», М., 1995), она тоже вызвала недоразумения и обиды¹. Нужны новые попытки. Жизненные потребности заставляют создавать суперэкуменическую книгу для школьников до того,

Которые мы попытались учесть во 2-м издании (М., 2001). как вполне сложилось экуменическое и суперэкуменическое богословие. О совершенстве здесь не может быть и речи, да оно и в идеале неосуществимо: процесс религиозного развития никогда не закончится, никогда не достигнет окончательных форм. Надо учиться жить в духовно открытом мире, находить новые духовные лекарства против новых болезней, искать пути восстановления цельности во все более сложном, все более дробном техногенном мире. Ибо суть дела в этом. Одно из имен Бога — Целое (имя, заново найденное Достоевским в «Сне смешного человека»).

Как противостоять лавине раздробленной и дробящей личностью информации? Как противостоять силам, вытягивающим человека из его собственной глубины на поверхность, к голубому экрану?

Великие законодатели причастились Богу, познали его реальность и действовали не от себя, а «творили волю Пославшего»... Но всякое слово переносит нас из сферы абсолютной целостности в раздробленное бытие, где одна правда непременно противоречит другой. Всякое высказывание воли Божьей неполно и неточно, несет на себе отпечаток языка, времени, места, наконец — пола. Дух Божий по ту сторону всякой двойственности, но патриархи были мужчинами и считали превосходство мужчин чем-то установленным свыше. У евреев есть даже молитва: благодарю тебя, Господи, что ты не создал меня женщиной. В нынешнем нашем мире это неловко звучит.

Советский опыт сталинских лет показал необходимость заповеди «не предай». Во времена Моисея она еще не понадобилась. Но уже в I веке, в оставленную щель влез грех: на Христа донесли, что Он оскорбил величие Кесаря Тиберия. А потом умыли руки. У евреев, веками не имевших собственной власти, самый характерный образ зла — не Иван Грозный, не Малюта Скуратов, а доносчик (так и в романе Башевиса-Зингера «Раб»). Правдивый донос за грех не считался.

В Библии нет запрета употреблять наркотики. Это не значит, что Моисей и Христос наркотики разрешили. Просто им нечего было запрещать, не было в Палестине этого обычая, а в Индии он был, и Будда наркотики запретил. Жизнь религии — это процесс, в котором все время идет борьба духа со все более изощренным злом. Какие-то заповеди ветшают, какие-то возникают вновь. И понимание закона, заповеди тоже меняется. Буквальное исполнение табу, заповеди, закона уступает место нравственному творчеству, выходу из положения, в котором законы сталкиваются, противоречат друг другу (а такие положения все чаще). Идет диалог между законом и совестью (пример — суд присяжных, способный вынести приговор «не виновен» при явном и доказанном преступлении).

Идет и другой диалог: между религией в узком смысле слова и святынями, складывающимися вне этой сферы. Один из ведущих теологов нашего века, Пауль Тиллих, пишет: «Религия в самом широком и фундаментальном смысле есть предельный интерес... Он проявляется в сфере морали как безусловная серьезность моральных требований. Следовательно, если кто-либо отвергает религию во имя моральной функции человеческого духа, он отвергает религию во имя религии (далее то же повторяется о науке, об искусстве. — Г. П.)... Невозможно отвергать религию с предельной серьезностью, поскольку предельная серьезность, или состояние предельной заинтересованности, и есть сама религия. Религия — это субстанция, основание и глубина духовной жизни человека.

Но тогда возникает вопрос: как быть с религией в более узком и

привычном смысле слова? Если она присутствует во всех функциях духовной жизни, почему человечество развивало религию как особую сферу, в мифе, культе, поклонении, церковных институтах? Вот ответ: из-за трагического отчуждения человеческой духовной жизни от своего собственного основания и глубины. Согласно визионеру, написавшему последнюю книгу Библии (Откровение св. Иоанна Богослова. — *Г. П.*), не будет храма, ибо Бог будет во всем...

Религия открывает глубину духовной жизни человека, обычно скрытую пылью повседневной жизни и шумом нашего секулярного труда. Она дает нам опыт священного, того, к чему нельзя прикоснуться, что внушает благоговейный ужас, предельный смысл, источник предельного мужества. В этом слава того, что мы называем религией. Но рядом со славой мы видим ее позор. Она возвышает себя и презирает секулярную сферу. Она придает своим мифам и учениям, ритуалам и законам предельное значение и преследует тех, кто им не подчиняется (тогда как животворит дух, а не буква. — *Г. П.*). Она забывает, что ее собственное существование — результат трагического отчуждения человека от его истинного бытия (отчуждения, совпавшего с самым началом цивилизации, с разрушением культуры примитивно-целостной. — *Г. П.*). Она забывает, что возникла в качестве выхода из чрезвычайной ситуации» (*Тиллих Пауль*. Избранное. Теология культуры. М., 1995, с. 240—241).

Либеральные реформы — попытка отделить славу религии от ее позора. Попытки, сплошь и рядом ведущие к временному торжеству атеизма. Высшая сила, которую мы называем Богом, «предшествует всякому разделению и делает возможным всякое взаимодействие, потому что она точка тождества, без которого нельзя помыслить ни разделение, ни взаимодействие. Это относится главным образом к разделению субъекта и объекта, а также к их взаимодействию как в познании, так и в действии. Рпй§ (предшествующее. — *Г. П.*) субъекта и объекта (абсолютно целостное. — *Г. П.*) не может стать объектом, с которым теоретически и практически соотносится человек как субъект. Бог — не объект для нас как субъектов. Он всегда то, что предшествует этому разделению. Но, с другой стороны, мы говорим с Ним, мы действуем по отношению к Нему и не можем избежать этого, так как все, что становится реальным для нас, вступает в субъектнообъектную корреляцию. Из этой парадоксальной ситуации возникло наполовину богохульное мифологическое понятие „существование Бога“. И отсюда пошли бесплодные попытки доказать существование этого „объекта“. Атеизм — разумный религиозный и теологический ответ на это понятие и на подобные попытки. Это было хорошо известно наиболее глубокому благочестию во все времена.

Поражает атеистическая терминология мистицизма (например, «и Бог преходит!» у Мейстера Экхарта. — *Г. II*). Она ведет за пределы Бога к безусловному, трансцендируя всякую фиксацию божественного как объекта. Но мы находим то же самое ощущение неадекватности всех ограничивающих имен Бога и в немистической религии (опирающейся не столько на непосредственный опыт причастия Богу, сколько на авторитет. — *Г. II*). Подлинную религию невозможно представить себе без элементов атеизма. Не случайно, что не только Сократа, но также евреев и ранних христиан преследовали как атеистов. Для приверженцев „сил“ они были атеистами» (там же, с. 253).

«В этом смысле всю историю религии можно рассматривать как борьбу за религию конкретного духа, борьбу Бога против религии («буквы» религии. — *Г. II*.) внутри религии. И эта формула — борьба Бога против религии внутри религии — могла бы стать ключом к пониманию чрезвычайно хаотичной (или по крайней мере кажущейся хаотичной) истории религии» (там же, с. 449).

Внутренний авторитет ведет нескончаемый разговор с внешним. Иногда они приходят в согласие (как в эссе Аверинцева), иногда решительно сталкиваются, и тогда решают внутренние «присяжные». С почтением к закону, но не забывая, что формально правы были Каиафа и Анна, а не Христос.

Открытое общество — это общество открытых вопросов. Их вызов нельзя упразднить. Надо ежедневно искать новые ответы на новые проблемы.

Бог — это любовь. Бог — это совесть, голос, который мы слышим в тишине, в молчании, в созерцании целостности природы, в созерцании иконного искусства (т. е. не только икон, но искусства иконного духа), в переживании книг, которые будят совесть, в припоминании детской и отроческой боязни оскорбить любовь. Единственный бесспорный авторитет — это авторитет любви. Этот единый и нераздельный дух любви — к родным людям, родной стране, к творческой силе, создающей родство, — надо хранить, поддерживать, как хрупкий кустик, которому угрожает много-много барашков (я продолжаю здесь тему, начатую Аверинцевым, но делаю это языком сказки Сент-Экзюпери).

Если не будет сознания важности этого, если не будет помощи в этом, никакие законы не спасут, ни либеральные, ни консервативные. И больное общество будет рождать своих могильщиков.

Говорят, что истина рождается в споре. Это и так, и не так. Новый подступ к истине, веточка, брошенная в перенасыщенный раствор и сразу обрастающая кристаллами, часто падает откуда-то в тишине, в одиноком созерцании, и в споре только гранится, рассыпается на множество частных истин, как истины Евангелия в богословском диспуте. Но бывают разговоры, в которых дух истины витает над всеми репликами, и здесь действительно что-то рождается. Это и есть диалог, спор, в котором новое, рожденное сейчас, признается выше всего, рожденного ранее и вынутого из запасов памяти.

Такие диалоги вел Сократ. Этому научился у него Платон. На старости лет он, к сожалению, увлекся логическим развитием идеи и сохранил диалог только как оболочку философской истины. Диалог не выстраивает никакой системы, не дает никаких инструкций. Он дает *чувство* истины, высшей истины, связывающей спорщиков. В этом смысл *перехода к диалогу*, провозглашенного II Ватиканским собором. В этом дух философии диалога, разработанного Бубером, Марселем, Левинасом и Бахтиным.

Наше время — одно их тех, о которых говорил Кришна в «Бхагават Гите»: «Когда падает добродетель, когда торжествует порок — тогда я воплощаюсь!» Но мессия уже приходил. И Будда уже приходил. И я не могу себе представить новых, глубже прежних. А если не лучше и не глубже, то старых нельзя просто отодвинуть, как Христос — греческих богов. Христос останется в святая святых, и Будда останется. И поклонники Будды и Христа по-прежнему будут поклоняться Будде и Христу. Возможно только дойти до глубины, в которой откроется Дух, веющий всюду, и выйдут из забвения слова Христа: «Всякому простится слово на Сына, не простится хула на Святой Дух». Хула, которой часто грешат ревнивые исповедники *своей* веры, не замечая Святого Духа в чужих одеждах.

Наше дело — идти по выбранной дороге, но не хулить чужие дороги. Они расходятся в долинах, а наверху сходятся и совершенно сливаются там, где время становится вечностью, а пространство — точкой целого. И почувствовав эту точку в груди, мы чувствуем любовь к другому, идущему другим путем, и не даем ревности и ненависти отвлечь от пути вверх.

Баха-Алла не был самозванцем, и теософы не сделали, если можно так сказать, «кадровой» ошибки, избрав в мессии Криш-намурти. Но когда Кришнамурти достиг зрелости, он отказался от своего звания. Он понял, что оно противоречит духу времени. А успехи бахаизма очень невелики. Огромное богатство духовных путей, накопленное «старыми» мировыми религиями, удерживает в их кругу, несмотря на трудности в толковании древних символов веры. Старые мировые

религии тысячами нитей связаны с культурой своих регионов, а бахаизм противостоит им как отвлеченная религиозная идея, та же идея монотеизма без старых, но прекрасных икон, старой музыки и т. п.

Творческие меньшинства разных культур может объединить только дух диалога, дух понимающей переключки вероисповеданий, дух любви, внушившей Владимиру Соловьеву его статьи о Талмуде и Магомете. Не каждый способен писать такие статьи, но я считаю религиозным долгом *знакомство* с другим: оно помогает любить. Нет любви к Богу без широкой, охватывающей весь мир любви к другому. Св. Силуан писал: « Тот, кто не любит своих врагов, в том числе врагов церкви, — не христианин».

Через понимание другого приходит и понимание самого себя. Мне, на пути самоучки, это помогло осознать то, что я смутно чувствовал. Другим это помогало осознать скрытые, дремлющие возможности своего вероисповедания. Александр Мень распространил среди своих духовных чад католический катехизис — чтобы знать другую ветвь вселенской церкви и не судить о ней свысока; при этом переход одного из духовных детей в католичество его глубоко огорчил как свидетельство поверхностности, суетности, предпочтения одних букв другим — вместо движения от буквы к духу.

Я говорил о диалоге — но мог бы говорить о духовном хороводе, о духовном кружении, в котором Отец становится Сыном и Сын — Святым Духом, прошедшим сквозь смерть и прильнувшим к Отцу. Так это написано красками в «Троице», и я верю в интуицию Рублева. В иудаизме и исламе я вижу религию Отца, в христианстве — религию Сына и в буддизме — религию бесплотного, веющего всюду Духа, разрушающего все ставшее, рожденное, сотворенное. Я чувствую все эти религии ветвями одного дерева.

Диалог в политике — это прислушивание к другому и поиски компромисса. Диалог в искусстве — любование другим и превращение чужого в свое. Диалог в религии — поиски пути вверх, на высоту, где буква теряет силу. Бубер, исповедник иудаизма, любивший Христа как последнего пророка Израиля, рассказывает о своем споре с христианином — кто лучше понимает Иисуса из Назарета. После ответа Бубера «христианин встал, я также стоял, — вспоминает Бубер в «Диалоге». — Мы посмотрели в глаза друг другу. “Забыто”, — сказал он, и мы братски обнялись в присутствии всех. Выяснение отношений между евреями и христианами превратилось в союз между христианином и евреем, и в этом превращении совершился диалог. Мнения исчезли, произошло во плоти фактическое».

«Мне можно возразить, — продолжает Бубер свой рассказ, — что

там, где речь идет о существенных, “миросозерцательных” взглядах, разговор нельзя обрывать таким образом ... Я отвечаю: Ни один из спорящих не должен отказываться от своих убеждений, но ... они приходят к чему-то, называемому союзом, вступают в царство, где закон убеждений не имеет силы...

Я не могу осуждать Лютера, отказавшегося в Марбурге поддержать Цвингли, а также Кальвина, виновного в смерти Сервета, ибо Лютер и Кальвин верят, что слово Божье настолько проникло в души людей, что они способны познать его однозначно и толкование его должно быть единственным. Я же в это не верю, для меня слово Божье подобно падающей звезде, о пламени которой будет свидетельствовать метеорит ... Я могу говорить только о свете, но не могу показать камень и сказать: вот он. Однако различие в вере не следует считать только субъективным ... Изменилась сама ситуация в мире ... Изменилось отношение между Богом и человеком» (все цитаты по моему предисловию к книге: *Бубер М. Два образа веры. М., 1995, с. 8*).

По Буберу, само предстояние перед Богом реально только как диалог. В мае 1914 года, обдумывая свой разговор с ученым пастором Гехлером, веровавшим буквально в пророчество Даниила, Бубер внезапно осознал: «Если вера в Бога означает способность говорить о Нем в третьем лице, то я не верю в Бога. Если вера в Него означает способность говорить с Ним, то я верю в Бога ... Бог, который дал Даниилу ... предвиденье..., не мой Бог и вовсе не Бог. Бог, к которому Даниил взывал в своих мучениях, — это мой Бог и Бог каждого» (там же, с. 4). Другими словами, Бог — это реальность, которая раскрывается в молитве и исчезает в «объективном» мышлении, в суждениях богословов, которые исходят из принципов и ненавидят тех, кто не разделяет их принципов. Так одна моя знакомая, женщина по натуре добрая, ненавидела Льва Толстого («Толстой — гад», говорила она), ненавидела Лютера, расколовшего единство католической церкви. Ненависть добрых людей вдохновляла *дела веры Средних веков* (в обратном переводе на испанский — ауто да фе).

Это не значит, что не надо иметь никаких принципов, никаких убеждений. Человеку нужны инструкции — как быстро и организовано действовать в критической обстановке. Но в тишине мы сознаем, что целостная истина — по ту сторону принципов. И один из подступов к ней — диалог.

Однажды на даче завязался горячий общий разговор. Я никак не мог вставить свою реплику — и вдруг почувствовал, что она перестала меня занимать. Захватило что-то новое, рождающееся; я привязался к этому новому, еще не рожденному, и стал помогать ему родиться, а свою реплику положил назад в сундук памяти. Чем было

рождающееся, я не помню. Главной новостью был дух диалога — не как формы поиска истины, а как формы самой истины.

Недавно мне попалось на глаза эссе, в котором Сергей Воронцов разбирает незаконченную статью Баратынского о разговоре. Приведу оттуда отрывок: «Разговор, оживленный истинным разговорным вдохновением, то есть взаимною доверенностью и совершенною свободой, — не есть светская перемолвка». Он будет тем «полнее», чем полнее его участники чувствами, мыслями, сведениями. «Возможно полный разговор требует тех же качеств, как и возможно полная книга. Автор берет лист бумаги и старается наполнить его как можно лучше: разговаривающие желают как можно лучше наполнить известный промежуток времени и тем же самым изделием». Для обоих нужно особенное (одно и то же?) дарованье. «Автор углубляется в свою собственную мысль, стараясь удалить от себя все постороннее, разговаривающий ловит чужую и возносится на ее крыльях (здесь и далее разрядка моя. — Г. П.). Что развлекает первого, то второму служит вдохновением. Тот же ум, то же чувство, особенным образом разгоряченные, проявляются в быстром обмене слов, с красотою, физиономией, отличной от красоты их и физиономии на бумаге». Когда возникает «общий вопрос», то поскольку «обозревать его можно различно», к обыкновенным условиям разговора „я прибавляю искреннюю и религиозную любовь к истине, сколь возможно ослабляющую упрямую и самолюбивую привязчивость к нашим собственным мнениям потому только, что они наши». Такой разговор — «дитя какого-то душевного брака и требует между разговаривающими сочувствия, взаимного уважения, без которых он не заключится, следовательно, не принесет своего плода — возможно полного разговора» (Воронцов цитирует книгу: *Баратынский Е. А.* Стихотворения. Письма. Воспоминания современников. М., 1987, с. 254—255. — Г. П.).

О таком диалоге говорил Бахтин, анализируя роман Достоевского. В студенческие годы я понял мысль Бахтина поверхностно: будто роман Достоевского вообще лишен единой точки зрения, будто он похож на парламент, в котором автор играет только роль спикера. Только лет через 30 мне бросилось в глаза, что в центре романа — молчащий Христос, и все герои кружатся вокруг Него, по-своему пытаются превратить в слово Его молчание, и этот общий порыв подводит к мерцающему во мгле свету, к огненным следам, прочерченным метеоритом. Когда я дал Бахтину прочесть «Эвклидовский разум», он похвалил текст. Думая, что ничего нового я ему не сказал, что он сам угадывал что-то подобное. Достоевский раскрыл тайну своего

романа в разговоре Великого инквизитора с Христом, дал нам в руки ключ, и конечно, Бахтин этот ключ брал в руки. А не сказал всего — потому что время не пришло. Должно было пройти полвека ...

Глубинное понимание — это не решение математической задачи. Это кружение вокруг непостижимого, медленно, век за веком приближаясь к центру. Откровение приходит за откровением. Один за другим приходили пророки Ветхого Завета. Одна за другой накатывали волны бхакти. И Евангелие — не последний христианский текст. Величайший уровень глубины был сразу достигнут Христом, достигнут Буддой, но слова их принадлежат языку времени, и новые времена находят новые слова. Слова принадлежат пространству культуры и окрашены особенностями этой культуры — особенностью Индии, особенностью Иудеи. Вечен только дух, тленны все буквы, даже в заповедях, вышедших из уст Бога.

Привязанность к букве, смешение слов с полнотой истины привело Европу к тяжелому религиозному кризису XVI—XVII вв. За яростью религиозных войн пришло похмелье, цельность веры рухнула, уступила место амальгаме из христианства и гуманизма. Доля христианства в этой амальгаме менялась. Для романтиков она возрастала. Для просветителей и позитивистов падала. В конечном счете, современную цивилизацию часто называют постхристианской. Веру в традиционном смысле, исповедание известных символов веры размывает, с одной стороны, наука, а с другой — мельканье разных образов веры, сложившихся в разных культурных мирах. От этих сдвигов никуда нельзя уйти. Можно только попытаться свести мелькающие образы в стройный хоровод и понять духовный *хоровод* как образ целостно-вечного, понять мудрость народов, еще не потерявших своего древнего, доисторического наследия. Они превосходят нас в цельности духа. Не надо ничего изобретать заново. Все элементы нового духовного космоса уже налицо. Остается только соединить их воедино, и все живое останется в живых.

Умерло то, что можно назвать архаической астрономией, архаической наукой. Нет плоской земли с твердым верхом и низом. Нет хрустальных сфер, за которыми живет Бог. Есть бесконечное пространство и время, и место Бога по ту сторону пространства и времени. Оттуда, из непостижимой точки вечности, Он входит в наш мир. Есть понимание пространства и времени как вечности, вывернутой наизнанку. Есть понимание света, который можно пережить, почувствовать в груди, но нельзя описать точным научным языком; только метафорами поэтов или молчанием мистиков.

Умерло отождествление Бога с Писанием, текстом. Это сильнее всего бьет по иудаизму и исламу. Но выход есть и для иудеев — его

показал Бубер. В исламе по сходному пути шли суфии. Сегодня среди мусульман задает тон война с современностью, и бомбы хес-болла пытаются взорвать — начиная с Израиля — всю современную цивилизацию. Придет время — и эта волна схлынет.

В каждой религии есть духовно открытое меньшинство и есть свои твердолобые, боящиеся потеряться, повиснуть в пустоте, если расшатано прямое, буквальное значение слова. Оставим мертвых погребать мертвых, будем вести разговор живых с живыми. Язык этого разговора — язык любви. Бог в этом разговоре есть любовь. Для христиан — любовь Христа. Она важнее, чем лик Христа, лик Иисуса из Назарета. Попав на другую планету — в другую культуру, отдаленную от нашей, как Марс от Земли, — можно нести с собой только дух любви. Достоевский очень любил лик Христа. Но он понимал, что на планете Смешного человека Иисуса из Назарета не было и бесполезно говорить о нем. Иисус из Назарета принадлежит нашему миру. В других мирах приходили и будут приходиться другие воплощения духа любви.

Дух любви един в вечности и разделен в пространстве и времени. Превосходство принадлежит той религии, которая в это время и в этом месте полнее верна целостно вечному духу. И пусть это превосходство видят другие, а мы будем думать о своих нерешенных задачах. Нерешенных, несмотря на все наше великое наследие.

В одном из своих интервью Семен Липкин рассказал о кружке верующей молодежи в Одессе 20-х годов. Там были иудаисты, православные, католики, лютеране. Их объединило то, что они верили в Бога. Догматические различия не мешали дружбе. О них не спорили. Их просто не обсуждали. Кругом были безбожники, а они — верили. Но ведь сегодня мы, чувствующие действительность целостного и вечного, чувствующие, а не только заставившие себя повторить символы веры, — такой же маленький островок, окруженный морем безбожия, не сознательного, идейного безбожия, а структурного, заложенного в характере современной цивилизации.

Ибо склад нашей цивилизации напоминает модель разбегающейся Вселенной. Она непрерывно расширяется, уходит в дробь и теряет цельность. И человек не умеет уравновесить центробежное движение центростремительным усилием, почувствовать реальность Целого. Он остается в мире дробей, где нет Бога, и не умеет связать дробность «Божественным узлом» (Сент-Экзюпери).

Никто не придет к Отцу мимо меня, говорит Христос. Но что значит Я человека, сказавшего о Себе: «Я и Отец одно»? Только дух любви. И христианин, желающий нести другим своего Христа, ничего не добьется, если не понесет, прежде лика Иисуса, дух любви. Только

в этом духе Христос может стать своим для всех. Так же как Будда и Кришна Бхагават Гиты. Диалог верующих передает всем любовь каждого, учит любить то, что любит другой, и соединяться в любви ко всем воплощениям высшей святости. Так же как мы любим всех трех ангелов рублевской Троицы.

Не надо сравнивать, кто выше. «Не сравнивай, живущий не-сравним!» (Мандельштам) Как имя и форма, они неповторимы. Как дух любви они одно. И потому еще раз повторю: «всякому простится слово на Сына. Не простится хула на Святой Дух» (Лк. 12).

Не надо противопоставлять религии закона религиям благодати. Нет таких религий. В каждой религии есть «закон», структура, и есть порыв к благодати, смыывающей все законы. И в каждой религии есть эпохи великого духа и эпохи законничества, обрядоведения. Сравнить надо взлет со взлетом и падение с падением. Тогда мы увидим, что у всех одни соблазны и одни победы над соблазнами.

Дух целостной вечности связывает всех верующих «неслиянно и нераздельно». Так же как он связывает всех любящих одну родину, любящих отца и мать и единых в этой любви. Все, что связано друг с другом неслиянно и нераздельно, обречено на диалог: мир веры, мир нации, мир семьи. Правило любящих — ставить себя на второе место, уступая первое другому. Только так торжествует дух любви.

Мучительный и зыбкий образ

Образ твой, мучительный и зыбкий, Я
не мог в тумане осязать.

Господи! - сказал я по ошибке,
Сам того не думая сказать...

О. Мандельштам

О Боге мы можем только лепетать.

Св. Василий Великий

Опыт христианской цивилизации после двух мировых войн похож на опыт Достоевского-каторжанина: вдруг раскрылись такие бездны мрака, такая непосредственная реальность зла, что душа, еще не веруя, рванулась от них к Богу как к противовесу, без которого мир тут же, на глазах, разваливается на части. У Достоевского таким противовесом стал Христос. Мир красота спасет — скажет впоследствии князь Мышкин. Это не красота Настасьи Филипповны, не красота Грушеньки, а именно та, о которой Достоевский писал Фонвизиной в 1854 г., едва выйдя на волю; та, с которой Достоевский готов был оставаться даже вне истины. Это его *каторжное христианство*, по ту

сторону богословия (православного, католического, армянского, лютеранского, какого угодно). Христианство Марии Магдалины, еще ничего не знающей о единосущности Сына Отцу, о нисхождении Святого Духа от Отца (или также от Сына) и т. п. тонкостях. Просто увидела Христа и пошла за ним.

Достоевский шел от Евангелия, а там нет никакой системы. Есть легенды о Рождестве, рассказ о страстях — и бесконечный диалог Христа (целостной истины) с непониманием людей, застрявших в дробном мире. Ряд притч, из которых целое складывается только интуитивно, помимо логики. Нет системы, а есть союз души с Богом, на грани отчаяния, перед лицом апокалиптической тьмы, грозящей поглотить свет. Суть этого союза не в отдельных словах Христа, за которые цепляется разум, и не в историческом облике Иисуса из Назарета, а в духе Христа, в духе Божьем, который присутствует во всех великих религиях. И потому Достоевский так популярен среди людей нашего века, почувствовавших вызов тьмы, не православных и даже вовсе не христиан (в Израиле, в Японии). Союз с Богом стал необходимостью, союз через любой образ — освященный преданием или созданный поэтом, верным только самому себе.

Может быть, это точка безумия.
 Может быть, это совесть твоя,
 Узел жизни, в котором мы узнаны И
 развязаны для бытия.
 Так соборы кристаллов сверхжизненных
 Добросовестный свет - паучок,
 Разбирая на ребра их, сызнава Собирает в
 единый пучок.
 Чистых линий пучки благодатные,
 Направляемы тонким лучом,
 Соберутся, сойдутся когда-нибудь,
 Точно гости с открытым челом.
 Только здесь, на земле, а не на небе,
 Как в наполненный музыкой дом,
 Только б их не спугнуть, не изранить бы...
 Хорошо, если мы доживем...

(О. Мандельштам)

Здесь нет образа, имени Христа, но есть сущность того, что апостолы увидели в Христе, — образ света, который во тьме светит, и тьма не объемлет его. Можно найти любой другой образ — лишь бы что-то найти. И основная проблема нашего времени — как сделать это, как высветить точку в груди, где живет ум сердца. Как судить умом

сердца принципы, руководящие действием. Как помнить, что лучше оставаться с Христом вне истины (вне принципов), чем с истиной (с принципом) без Христа, заглушив сердце, не помогая ему опомниться, давая страстям помрачить его и завалам памяти — похоронить под своими горами. В том числе — и богословским страстям и горами богословского мнимознания.

Помрачить сердце может и ярость, и вялость. Ярость, вызванная мировыми войнами, продолжилась в большевизме, нацизме, кипит до сих пор в Азии и Африке. И вялость, охватившая дух Запада, отшатнувшегося от возможности новых взрывов. Для постмодернистской культуры всякая убежденность, способная захватить собеседника, есть зло. Допустима только верность прихотям своего вкуса. Нет никакой сверхценности, никакого «во имя!». Элита замыкается в своей башне Иронии. Это очень чувствуется в современном искусстве.

Моя приятельница, Анна Раппопорт, предложила простой способ отличать классическое искусство (хотя бы созданного только что, в наше же время). Достаточно вспомнить две строки Пастернака:

... здесь кончается искусство,
И дышит почва и судьба.

Классическое искусство сохраняет в себе что-то сверх искусства, что-то от древней нераздельности с религией. Постмодерн хочет быть чистым искусством. Ни почвы, ни судьбы. Только игра формой (словом, краской, звуком).

Есть элитные игры (семиотика — та же игра в бисер). Есть массовые игры (с компьютером, с телевизором). Обе ветви с одного дерева, корни которого очищены от земли, сохнувшие ветви. И элита, и масса бежит от почвы и судьбы, сушит ум сердца.

Как прорваться сквозь эту сушь? Какие слова заставят посох цвести? Бог — это любовь, но как *сказать* о любви? Попробуй хоть раз, не солгав, сказать о любви, — написала Мария Петровых. Это не только о любви мужчины и женщины. И стихи Тютчева относятся не только к светскому слову:

Скрывай все то, чем ты живешь.
Мысль изреченная есть ложь.
Взрывая, возмутишь ключи.
Питайся ими - и молчи.

Слово, став буквой (выговоренное, написанное), умирает. Буква мертва. Буква передает только дробный смысл. Целое живет в ритме

слов, кружащихся вокруг Бога, в непрерывном кружении, в потоке. В кружении, где ни один образ не сам по себе и только целое имеет смысл:

Я кружусь вокруг Бога года и столетья,
 Как вокруг башни...Так кто же я есть?
 Сокол в небе? Иль крылья раскинувший ветер?
 Или великая песнь?

(Рильке; перевод З. Миркиной)

Мусульмане не зря запретили переводить Коран. Слова, оторванные от ритма арабского стиха, уже не Божьи. Поэтический перевод Писания никогда не может быть вполне совершенным. Достаточно вспомнить нелепости, связанные с буквальным переводом первых слов Евангелия от Иоанна (логос — слово). Но главная беда в том, что и подлинник — только перевод (с Божьего на человеческий). И «то, что написано Святым Духом, может быть прочитано только Святым Духом» (Св. Силуан).

Ли Бо — через тысячу лет после Лаоцзы — задал мудрецу вопрос: «Если знающие не говорят и говорящие не знают, зачем же ты написал трактат в пять тысяч знаков?» Но в «Даодецзин» есть ритм, есть сила потока, смыывающего древний, инструктивный смысл отдельных слов. Парадокс (ложь в инструктивном плане, никуда не ведущая нелепость) становится отсылкой к целостно-вечному. Во всяком священном тексте есть эта отсылка, есть эта магия подобий, парадоксов, внезапного замолкания перед тайной; и на волне магии — инструктивное слово, закон, заповедь. Ветхий и Новый Завет — единое целое. Христос мог парить над Законом, потому что стоял на его почве, опирался на Моисея. И Евангелие — чистый порыв к благодати. Но когда Павел вышел за рамки Закона, ему тут же пришлось создавать новый Закон. Ни в одной религии нет закона без благодати или благодати без закона. В каждой есть закон — и порыв к благодати. Пророки в Ветхом Завете, мистики в христианстве, хасиды в позднем иудаизме, суфии в исламе — все они рвали к благодати и никто не отрицал закон.

Мохаммед дал простой жесткий закон — и одновременно дал толчок мистикам прорываться сквозь закон. Закон утверждал разрыв между Богом и человеком, никакого богосыновства, только покорность. А суфии утверждали полное тождество с Богом.

Законники объясняют Иову, что он наказан — значит согрешил. Законники в православии объясняют женщинам, что на том свете их встретит шеренга выкидышей, достигших облика мужей и жен 33 лет,

и будут с укоризной смотреть на свою мать (тоже в возрасте 33 лет). Мистическая поэзия ничего этого не знает. Она просто кружится вокруг Бога.

Истина целостно-вечного покоится на инструктивном смысле Писания. Истина *живет* в ритме текстов, образов, в паузах молчаливого созерцания. Я говорю о всей совокупности ритма: и звуков, и смыслов. Здесь священное и поэтическое нераздельны. Когда я пишу, я вычеркиваю фразы, имеющие частный смысл, вычеркиваю уточнения, чтобы сохранить ритм целого. Инструктивная мысль — ложь о целом. Чем более инструктивна мысль, тем дальше мы уходим от целостно-вечного. Сохранение ритма требует несовершенства в инструктивном.

Шнитке говорил Ивашкину: « Я нахожу, что очень многое в нашей речи страшно одномерно, плоско. Плоскостность, в частности, возникает и от того, что наша мысль привыкла выстраиваться в каком-то *выглаженном*, пространственно выглаженном измерении. Мысль имеет множество измерений. А мы все время как бы выпрямляем ее». Я чувствовал не раз что-то подобное. Каждая полноценная фраза дает целый пучок ассоциаций, целый пучок возможных продолжений; а мы все эти возможности обрубаем, кроме одного, чтобы мысль имела вид логически необходимой. Шнитке, как музыкант, чувствовал возможность мыслить полифонически, мыслить аккордами, сохраняя целые темы в перекличке многих звуков. Он продолжает: «Но бывают моменты, когда удастся выглянуть из этой выстроенной мысли и заглянуть в совершенно другую духовную конструкцию.

Например, нет никакой абсолютной временной точки. Эта временная точка — лишь логическая абстракция. На самом деле, это, грубо говоря, аккорд точек, который длится не секунду, а часы и дни (когда прошлое длится в настоящем и в настоящем рождается будущее. — *Г. П.*). Одно и то же — оно не одновременно. Существует какой-то способ охвата этого в одновременности, но не в физическом мире (не в мире пространства и времени, а как бы ступив ногой в вечность. — *Г. П.*) И тогда можно представить секунду, в которой есть все — и прошлое, и будущее. Весь мир вдруг сворачивается в одну точку. А потом опять эти бесчисленные времена и места — расходятся, разбиваются, разворачиваются...

Какова природа этого ощущения? (спрашивает Ивашкин. — *Г. П.*) — Воспринимаешь ли ты его как религиозное? Или оно присутствует повседневно?

Оно и присутствует, и отсутствует (отвечает Шнитке. — *Г. П.*). Оно может вдруг почему-то открыться, и я сам удивляюсь, что в эту секунду все понимаю. Но потом я могу все забыть» (*Ивашкин А. Беседы с Альфредом Шнитке. М., 1994, с. 45-46.*)

Наш психический склад настроен на «трехмерный» опыт, на время и пространство, и выход в вечность, чувство времени и пространства как «вывернутой наизнанку вечности» (З. Миркина) часто бывает болезненным. «Может быть, это точка безумия. Может быть, это совесть твоя», — писал Мандельштам. У Мышкина прорыв света целостной вечности каждый раз кончался эпилептическим припадком. *Эту* болезнь имел в виду Достоевский, когда писал, что больной человек ближе к своей душе. Но чувство реальности вечного только *угроза* болезни. Судя по записке, которую Паскаль носил зашитой в подкладке камзола, жгучее чувство внутреннего света длилось у него два часа; у меня ранней весной 1958 г. — всю ночь до рассвета. Казалось, что еще немного — и сердце лопнет. Но избытка не было, сердце выдержало; наутро я, как обычно, пошел в библиотеку. Впрочем, страх смертельного избытка удерживал меня от повторения опыта. Я думаю, что учитель помог бы мне привыкнуть к измененному состоянию, преодолеть свою неприспособленность. Судя по книгам, которые я читал, такие школы существуют. Они как-то справляются с опасностью физических и нравственных срывов.

Нравственный срыв, связанный с чувством вечности, — гордыня. Гордыня личная, переоценка возможности своего опыта, и гордыня вероисповедания. Штейнер назвал личную гордыню лице-феризмом. Человек начинает считать молнию, прошедшую сквозь сердце, своей собственностью или знаком какого-то особого избрания, богосыновства. По крайней мере двое наших современников в России считали себя Христом, Богородицей и т. п. Очень хорошо такие претензии разбирает Томас Мертон в страничках «О созерцании» (опубликовано в 70-е годы в «Вестнике РХД»), Читая Мертона, чувствуешь, что он сам переживал внутренний свет неоднократно, и веришь ему. Но литературы, предохраняющей от гордыни вероисповедания, практически нет. Опыт святых рассматривается как доказательство истинности той или другой догмы. Однако примерно то же переживали мистики всех культур. И я думаю, что все догмы всех великих религий истинны — как иконы, помогающие сосредоточиться на целостно-вечном, но не как то, что $2 \times 2 = 4$ или что вода кипит при ста градусах.

Я не утверждаю, что между опытом Серафима Саровского и опытом ал Халладжа, Рамакришны или Догэна нет *никакой* разницы, но думаю, что это вещи одного порядка, а не разных порядков и достоинств. Когда я читаю, что православная мистика — сердечная, католическая — головная, а индуистская — чревная, мне хочется снова напомнить Христа (в Ев. от Луки): «Всякому простится слово на Сына, не простится хула на Святой Дух».

Во всех религиях мистики выходят за рамки веры в слово. «Я не верю, я знаю», — писал св. Силуан. Если бы он не был канонизирован, неофиты дружно признали бы его еретиком. Между тем, *знание* Силуана не противоречило вере святых отцов. Самые великие из них тоже знали. А буквы предания — только костыли для хромых. Пока они не научились проверять опытом букву предания и преданием — свой несовершенный личный опыт. Слова Василия Великого (о Боге мы можем только лепетать) перекликаются для меня со стихами Мандельштама: «Он опыт из лепета лепит и лепет из опыта пьет».

Степень доверия букве Писания, наставлениям духовника и т. п. обратно пропорциональна глубине опыта. Человек глубокого опыта, смутившись, ищет покоя, углубляется в себя и находит решение (иногда в старых словах, иногда — в новых, только что родившихся). Человек неполного опыта ищет совета. И оба они правильно делают. Но есть иерархия правоты. Нелепо судить князя Мышкина за то, что он не ходил в церковь, не исповедовался, не причащался. Такой церкви, которая могла ему помочь, в Петербурге не было.

До сих пор не прочитана Книга Иова. До сих пор не понято, почему Бог гневался на друзей Иова. И непонятно, в чем смысл ответа Бога, смысл взлета над всеми неразрешимыми вопросами, оставшимися на плоскости пространства и времени. Иов сумел взлететь. Но прежде чем раскроются крылья, надо обрушиться в бездну — или самому в нее броситься. Нельзя поплыть, стоя на берегу. И хорошо плавает только тот, кто оттолкнулся от дна, кто потерял почву под ногами. Неофит боится глубин, боится бездны, и по-своему он прав: чувствует свою слабость. Но слабость — не основание для гордыни. Только дух, потерявший почву, проникший сквозь богооставленность, — достигает благодати, становится учителем и обновляет закон. Закон рождается в благодати — и дает рамки безблагодатной вере. Но в новом порыве эти рамки снимаются, и Августин дал охранную грамоту мистиков: полюби Бога и делай, что хочешь.

Закон тверд, если любовь мала. Закон мягче, если любовь больше. Закон тает, как воск перед вспышкой огня, и снова твердеет, когда вспышка гаснет. Потому что большею частью она не длится непрерывно. Исполнить первую заповедь — не так просто. И потому без закона не прожить. Со всеми конфликтами, которые вызывает закон. Со всеми преступлениями, которые вызывает бунт против насильственной, внешней власти закона (об этом писал еще ап. Павел). И со всеми столкновениями законов, опирающихся на разные откровения.

«Я не оспариваю существования абсолютно единого закона, управляющего миром, — говорил Шнитке Ивашкину. — Я лишь со-

мневаюсь в нашей способности его осознать. Утверждая последнее, я ломлюсь в открытые ворота — кто не знает, что наше знание относительно. В этом вопросе согласны все — и материалисты (надо бы сказать «агностики». — *Г. П.*), и церковники. Но материалисты более последовательны, ибо под знанием они подразумевают ближайшее, т. е. разумное (по происхождению же — чувственное) знание. Церковники же, понимая, что знание надразумно, внеразумно (основано на откровении, а не на доказательствах. — *Г. П.*), — пытаются антропологически конструировать Бога на основе ложных и ограниченных разумных понятий. Для них существует единый монолитный Бог, наделенный их жалкими совершенствами и измеримый «священными» числами (3, 7, 12 и т. д.), [но это] — отрывки оккультизма. Проблески иррационального неедино-сущностного понятия Бога, гармонически объединяющего номоса во всех религиях — и в индуизме, и в христианстве, и в буддизме, — почему-то не осознаны (это не совсем верно; неслиянное и нераздельное единство человеческой — дробной — и божеской — целостной природы в Христе — начаток такого осознания; и в самом понятии единосущности есть и тождество, и различие Бога и человека. — *Г. П.*).

Как можно сметь формулировать моральные догмы, когда даже физические законы относительноны? Недалек тот день, когда вслед за относительностью времени и пространства будет развенчана последняя абстракция, орудие дьявола — число. Кто видел в жизни — единицу? Всякое отдельное миллионом нитей связано с другими отдельными и всеобщим. Может быть, числа объемны? <...> Может быть, единый Бог исходит из множеств (не переставая быть единым) (эта идея содержится в понятии вездесущности. — *Г. П.*) Наш „разум“ не в состоянии вместить истину, лишь наше „сердце“ может ее чувствовать. Может быть, Христос и Будда, и Магомет, и Зороастр ... не враги? И не отдельные сверхсущества? И не единое существо? Может быть, в недоступном нам абсолютном мире нет числа, которое тем самым одновременно есть, и этот абсурд есть истина?» (Беседы, с. 232).

И все же мы признаем право непостижимого, уходящего в туман Бога диктовать нам заповеди. Ибо лучше несовершенный закон, чем своеволие незрелых умов. Но для зрелого ума заповеди — только установки, приоритеты в выборе решения. Нечто вроде презумпции невиновности в юриспруденции — пока не доказана виновность. Мы осуждаем бандита за убийство. Но мы не осуждаем полицейского, застрелившего бандита. Хотя сказано категорически, без оговорок: не убий. И тут же, в первых книгах Библии, эпическое описание массовых убийств, даже не на войне, а после войны. Не укради, но допустимы реквизиции и даже элементарное воровство допустимо,

если альтернатива — голодная смерть. Это признавал Фома Аквинский. Это может признать суд присяжных.

Все рациональное несовершенно, даже данное в откровении, на последней волне благодати, когда рациональные различия вступают в силу. «Я пишу, потому что со мною благодать. Но если бы благодать была большей, я бы писать не мог», — свидетельствует св. Силуан. Писание, в том числе — законов, возможно только при *меньшей* благодати. *Большая* благодать велит в частном случае преступить через закон. «Я пришел не нарушать, а исполнить», — говорил Христос, нарушивший субботу. Сын Человеческий — господин субботы. И это — поправка к каждому праву.

Чем ближе к *большей* благодати, тем меньше возможности разума, тем больше роль метафоры. Такая метафора — икона XIV— XV вв. Такая метафора — стихи бхактов, суфиев, стихи Рильке ... И не стоит пересказывать их прозой.

Центростремительные порывы

Мой друг, побывав в Голландии, рассказывал мне, что из местных богословов только один верит в Бога. Есть богословие как предмет преподавания, как научная дисциплина, есть интерес к этому предмету как части истории культуры, но веры нет. Я не знаю, насколько строго это соответствует фактам. Вера в Бога — не что-то однозначное, легко определяемое. Некоторые православные считают меня атеистом. Я знаю, что они ошибаются. Во всяком случае, исповедание какого-то символа веры сегодня очень расшатано. Об этом неоднократно говорил и Антоний Сурожский, беседовавший со многими священниками и епископами. Наконец, Европа сама себя назвала постхристианской.

Дикарь верит в то, что он видит, и видит то, во что он верит. Эту фразу известного этнографа Тайлора я цитирую по памяти и возможно изменил порядок слов, но от порядка здесь ничего не меняется. Мифы примитивных культур связаны с видениями и видения с мифами. Каждый индеец какого-то племени непременно видел своего духа-хранителя; а когда увидел кое-что сам, нетрудно верить остальному, рассказанному стариками. В цивилизованном обществе этого не было даже в древности — по крайней мере, в интеллектуальных верхах. Екклезиаст сомневался. Иов сомневался. Павел противопоставлял «букву», т. е. все Святое Писание, духу. Антоний Сурожский, один из немногих наших современников, имевших прямой религиозный опыт, считает сомнение неотделимой частью веры.

«На устах верующего может показаться странным утверждение — с таким вдохновением, с такой уверенностью — права человека на со-

мнение; на самом деле, это только другой способ выразить известную и всеми принимаемую мысль о том, что человек должен быть честным до конца, честным безусловно, с готовностью самого себя поставить под вопрос, свои убеждения поставить под вопрос. Это можно сделать, если мы верим, что есть нечто незыблемое, являющееся предметом нашего изыскания. Человек боится сомнения только тогда, когда ему кажется, что если поколеблется уже созданное им мировоззрение, то колеблется вся реальность, и ему уже не на чем стоять. Человек должен иметь добросовестность и смелость постоянно ставить под вопрос все свои точки зрения, все свое мировоззрение, все, что он уже обнаружил в жизни, — во имя своего искания того, что на самом деле есть, а не успокоенности и „уверенности“¹¹... — Один из писателей IV века, святой Григорий Нисский, говорил, что если мы создадим полную, цельную картину всего, что узнали о Боге из Священного Писания, из Божественного Откровения, из опыта святых, и вообразим, что эта картина дает нам представление о Боге, — мы создали идола и уже не способны дознаться до настоящего, Живого Бога, который весь — динамика и жизнь» (цитирую по книге вл. Антония «Человек перед Богом». М., 2000, с. 23—24).

Одним из первых шагов христианства было сомнение в Законе, который Христос толковал по-своему, но никогда не отвергал. Закон использовался в полемике с христианами, а у них было новое незыблемое основание: Христос. И все, что противоречило Христу, стало сомнительным, неполным выражением истины. В латинской традиции мысль Павла выражена еще резче, чем в православной: буква убивает... Такую же эволюцию проделал буддизм, попав на китайскую почву. Для дзэнцев наследие Будды делится на две неравноценные части: во-первых, тот факт, что Будда пережил просветление (и оно доступно каждому), во-вторых, все остальное. Остальное, выдвинувшись на первый план, мешает. И «для спасения нужны три вещи: великая вера, великое рвение и великое сомнение в словах...».

Что же изменилось со времен Павла и Линьцзи? Изменился уровень массовой образованности и *характер* образованности. Постоянная тренировка в анализе, без противовеса объединяющих идей, убивает чувство священной цельности.

Я встречал женщину, окончившую семилетку, работавшую бухгалтером и не знавшую, что Земля вращается вокруг Солнца. Услышав об этом от меня, она очень удивилась. Если бы ее учили Закону Божию, она не стала бы задавать никаких смердяковских вопросов. Но средний бухгалтер знает, что Иисус Навин не мог остановить Солнце. И хотя слесарь не держит в уме закон тождества, он привык разбираться в инструкциях и в своей области умеет аналитически

мыслить. На этом основании и слесарь и бухгалтер, а также философ-позитивист, задумавшись, требуют, чтобы весь мир был разумно, то есть логично, объяснен; и делают ошибку, которую примитивные люди не делали: подходят с логическим анализом к тайне Целого.

Примерно две тысячи лет тому назад Нагарджуна показал, что любое логическое предложение — ложь по отношению к Целому. Я обозначаю прописной *неделимо* Целое в противоположность «целому» как итогу, сумме. Это надо иметь в виду. Логика рассекает Целое на субъект и предикат, а затем их связывает (или разделяет). Между тем, в Целом нет ни субъекта, ни предиката, никаких разрывов. То, что рассечено на субъект и предикат, уже не есть Целое. Несколько веков спустя Шанкарачарья высказал ту же идею в терминах своей адвайта-веданты: «Истина — Брахман, мир — это ложь, Атман и Брахман едины». Реально только Целое; мир отдельного — иллюзия, майя; цельность бытия постигается цельностью сердца.

Традиции Востока и Запада называют священную целостность разными словами. Но в любом случае ум может только подвести к вершине; вступить на нее он не способен. Людвиг Витгенштейн в своем «Логико-философском трактате» (М., 1958) писал: «Мистики правы, но их правота не может быть высказана: она противоречит грамматике». Джидду Кришнамурти сформулировал сходную мысль, переставив акценты: «Только неправильные вопросы имеют ответ; на правильные вопросы нет ответа». Можно ответить только на частные вопросы. Они не ведут к целостной реальности и по отношению к ней «неправильны». «Правильные» же вопросы, обращенные к Целому, остаются без ответа. Последняя реальность постигается только «безымянным переживанием».

Одно из условий «безымянного переживания» (восстановления контакта с собственной глубиной, с «глубоким сердцем») — освобождение от идеи всевластия логики, от убеждения о пригодности логики для решения любого вопроса. Все формулы веры упираются в логический парадокс. Католицизм после Фомы Аквинского пытался обойтись без парадокса и осудил Тертуллиана, отверг его знаменитое изречение: «поклоняюсь кресту, ибо это позорно, верую в Воскресение, ибо это бессмысленно»... Но никак не возможно было перечеркнуть Послание к Коринфянам: «Ибо слово о Кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, — сила Божия. Ибо написано: “погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну”. Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо, когда мир своею мудростью не познал Бога в премудрости Божьей, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо и иудеи требуют чудес,

и эллины ищут мудрости; а мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для эллинов безумие...» (1 Коринф. 18-23).

В тринитарных и христологических спорах византийцы выработали особое паралогическое мышление (я называл его иногда ипостасным или иконологическим). В его формах непостижимая целостность Бога может мыслиться, и целое, оставаясь целым, членится на аспекты. Эти аспекты были названы подстановками (гипостазис, в поздневизантийском произношении — ипостась), и описаны отношения между Отцом, Сыном и Святым Духом как единосущность и равночестность, а отношения между двумя природами Христа, Богом и человеком, — как неслиянность-нераздельность. Ипостасное мышление заменило старую мифологию и давало какой-то утонченный интеллектуальный образ единства единого и многого, целостности целого и частного. Однако народы никогда этих тонкостей не понимали, и когда византийская мысль (после последнего взлета в споре Паламы с Варлаамом) угасла, некому было ее продолжить. Удельная Русь не знала греческого языка и даже произносить греческих слов не умела; а Запад, захваченный блестящей мыслью арабских комментаторов Аристотеля, вернулся к закону тождества.

Ум, воспитанный схоластикой, рано или поздно должен был отвергнуть наследие греческого богословия как царство абсурда. Неслиянно значит раздельно. Нераздельно значит слиянно. «Неслиянно и нераздельно» — не менее абсурдное сочетание, чем дзэнская ритуальная загадка, коан. Ум, направленный к миру частных вещей, и ум, направленный к Богу, взаимно абсурдны. Бог может быть воспринят и пережит только в полной духовной нищете. Логически организованное знание, в том числе богословское, здесь только мешает. Одно из условий, которые помогли св. Силуану погрузиться в поток благодати, было то, что он пришел на Афон с образованием в два класса сельской школы. Такую же роль сыграло отсутствие духовного образования у подростка Андрея Блума (будущего вл. Антония), когда он впервые взял в руки Евангелие и пережил незримое присутствие Христа рядом с собой. На конференции Сурожской епархии в июне 2000 г. митрополит, беседуя с участниками, воскликнул: «И как я рад, что церковь и попы не испортили мне чувство Бога!» («Русская мысль», № 4327, 20—26 июля 2000 г.)

Живая жизнь глубокого сердца — величайшая редкость. И еще большая редкость — доверие сердцу вопреки стандартам вышколенного ума. Наша цивилизация убеждает нас, что истина — итог логически корректных операций с точно определенными терминами. Из этого следует, что ЭВМ умнее сердца. Дикари думали иначе Они

владели несложными приемами классификации, но отбрасывали логику, постигая мир как живое целое. Л. С. Сенгор очень верно сказал: «негр думает, танцуя». Целое постигается, когдаходишь в какой-то ритм, в какое-то круженье.

На ранних уровнях культуры это было физическое круженье, хоровод. Иногда к нему возвращаются. Джалаледдин Руми основал орден пляшущих дервишей. Пляшут и хасиды и некоторые христианские секты. Штейнер придавал большое значение эвритмии. Однако большая дорога культуры была иной. Физическое круженье уступает место символическому и мысленному. Томас Мертон посвятил целую книгу практике ежедневного пения псалмов Давида. Для меня огромное значение имеют иконы Рублева, средневековая живопись Дальнего Востока, музыка Баха, стихи Рильке, некоторые современные русские стихи. Для меня были откровением:

Бога ударили по тонкой жиле,
По руке или даже по глазу - по мне...

(З. Миркина)

Эти стихи сразу донесли до меня радость и страдание творческого духа. Но те же стихи могут промелькнуть в сознании, не задев, или даже произвести впечатление, но чисто эстетическое, без отношения к истине, освобождающей из плена пространства и времени, из затерянности в черной дыре гегелевской «дурной бесконечности», из муки нерешенного вопроса «о месте человека в бесконечности» (как это формулировал Паскаль). Только иногда «экзистенциальная» тоска приводила к «встрече» (любимое слово вл. Антония) или к «безымянному переживанию» Кришнамурти.

«Встреча» толкает к вере во встреченного и к церковности как традиции встреч. Однако церковность человека, испытавшего «встречу», отличается от церковности того, кто только верит встретившему. Эта разница чувствуется уже при сравнении второго Послания Коринфянам с Посланием Евреям. В Послании к Коринфянам на первом месте любовь, в Послании к Евреям — вера. Я начал наводить справки и выяснил, что Послание к Евреям встречается только в поздних списках; принадлежность его Павлу сомнительна.

Св. Силуан испытал встречу, «усвоил благодать» (то есть восстановил в себе чувство встречи как прочное состояние) и поражает своим дерзновением. Мысли, рожденные в опыте, он высказывает без всякой оглядки на книжное богословие: «Кто чисто молится, тот и богослов» (примерно в том смысле, как принято называть Иоанна Богослова и Симеона Нового Богослова); «то, что написано Святым Духом, может быть прочитано только Святым Духом» (а если остается

буквой, хотя бы и христианского Писания, то она убивает). «Я сейчас пишу, потому что со мной благодать, но если бы благодать была большей, то я бы писать не мог...». В последней фразе — простой констатации факта — неявно содержится мысль, что собственно встреча (и самая большая благодать, подобная встрече) — нечто несловесное, скорее чувство целостного света, святого огня, и слова приходят только на излете благодати; когда лодка (по выражению другого человека, знающего, о чем он говорит, вл. Антония) уже не качается на волнах прямого опыта, а выброшена на песок. Я лично из этого делаю вывод, что пророчества и откровения суть как бы переводы с божеского на человеческий, преломление света прямого опыта сквозь личность, язык и культуру. Прочитать такие тексты «со Святым Духом» значит пройти обратный путь к свету сквозь слова и увидеть каждое слово как «подстановку» Целого.

Однако путь к духовной свободе не прост. После ошеломившей его нечаянной *встречи* Андрей Блум нашел старца и без колебания принял все, чему старец его учил. В беседе от 8 июня, опубликованной в «Русской мысли» (см. выше), вл. Антоний рассказывает, что сомнения священников его сперва ужасали. Но опора на опыт встречи была надежной прививкой от фундаментализма. Буква не имела для Антония жизненного значения. Он постепенно учился отделять букву от духа, ежедневно рождавшегося заново в молитве. И достигнув возраста, когда нельзя больше ждать, вл. Антоний передает каждому свой опыт:

«Надо вкорениться в Бога и не бояться думать и чувствовать свободно... Бог рабов не хочет. „Я вас не называю больше рабами. Я вас называю друзьями...“ И мне кажется это страшно важным: что мы могли бы думать и с Ним делиться. Есть очень многое, чем мы могли бы делиться с Ним в новом мире, в котором мы живем».

Православие вл. Антония становится *диалогом* с Христом, подобным разговору Иова с ветхозаветным Богом, поиском живой благодати, в которой потонут карамазовские вопросы. Это выход, прежде всего, для тех, у кого уже был опыт встречи: «Нам нужны *верующие* — люди, которые *встретили* Бога. Я не говорю в грандиозном смысле, не каждый может быть апостолом Павлом (пережившим встречу по пути в Дамаск. — Г. П.), — но которые хоть в малой мере могут сказать: я Его знаю! И он, и она, и они тоже нечто подобное знают, и мы можем вместе стоять, даже если у нас обычаи иные...»

Однако как подойти к встрече? Встреча — открытие духовного центра, центростремительный порыв. А вся наша цивилизация настраивает двигаться вширь, продолжать безоглядное центростремительное движение, стремительное нарастание сложности, и это настолько

захватывает ум, что он не замечает катастрофических возможностей прогресса сложности. Простота цельности кажется чем-то неслыханным. И

... мы пощажены не будем.
Когда ее не утаим.
Она всего нужнее людям,
Но сложное понятней им.

(Б. Пастернак)

По словам другого поэта, Чеслава Милоша, цивилизация Нового времени подменила призыв «ввысь» (сердца горе!) призывом «вперед». Это слово имело смысл, когда шло распространение цивилизации по поверхности планеты. Но физически растут только дети — взрослые растут духовно. Но задачи заселить космос у нас нет, и если мы выдумаем ее — все равно, бездну космического пространства нам не заселить. А на Земле расширение цивилизации упирается в ограниченность биосферы. Вперед к экологическому кризису? Не хочется. Вперед к замене человека роботами, способными «жить» без кислорода и продолжать технический прогресс? Это, может быть, осуществимо, но зачем? Лозунг «вперед!» маскирует разворачивание *виширь*, от примитивной цельности и стабильности к нарастающей неустойчивости и балансированию на грани краха. Иосиф Бродский назвал свою поэзию центробежной. Он с упоением стремился войти в ритм нарастающей сложности и нарастающего темпа развития. Но от поздних стихов Бродского веет смертельной тоской.

Во всяком устойчивом, гармоническом движении центробежные силы должны быть уравновешены центростремительными, иначе планета сорвется со своей оси и унесется в ледяную ночь. Так и наша цивилизация, теряя «ценностей незыблемую скалу», привыкая к перманентному кризису, может незаметно для себя оказаться на краю распада. Громятся социальные, экономические, экологические, этнические, экзистенциальные проблемы. Они неразрешимы до тех пор, пока человек не справится с самим собою, пока не восстановлено будет центростремительное движение во внутреннем мире, к собственной глубине, пока мы не научимся связывать «дробность» «Божественным узлом» (Сент-Экзюпери).

В постановке этой задачи едины все великие созерцатели XX века. Томас Мертон — траппистский монах — пишет в своей книге «Мистики и дзэнские старцы»: «Что-то проясняет до ошеломления, когда говоришь с японским буддистом-дзэнцем и находишь, что между вами больше общего, чем с теми соотечественниками, которые мало

заботятся о религии или проявляют интерес только к внешней ее стороне» (*Memon T. Mu§1yc§ a 2ep та§1er8. N. У., 1999, p. 209*).

Но что значит кучка людей против потока, рвущегося в пропасть? Можно понять то, что они говорят, на уровне слов, но наш современный ум не дает понять сказанное до необходимой глубины. Трудно пережить сердцем то, чему сопротивляется весь склад жизни. На это все время не хватает времени. Реальность, открывающаяся в глубине, «противоречит грамматике» (Витгенштейн). А верность грамматике не дает выйти из плена ослепляющих иллюзий.

Цивилизация сильнее одиночек. Впрочем, один человек и Бог — это уже большинство, заметил Ф. Бухман. И если альтернатива — катастрофа, и эта катастрофа не только во внешнем и в будущем; если она уже сегодня происходит во внутренней жизни миллионов людей, то какой-то шанс остается. Религия когда-то обновила древний мир. Она может обновить и современный мир. Но для этого ей самой надо обновиться, сделать шаг от периферии вероисповеданий, на которой царят мелкие дрязги, к доязыковой глубине, к диалогу, дух которого познается над различием реплик. Это так во всяком подлинном диалоге, начиная с платоновских и до диалога Далай Ламы с бенедиктинцами, опубликованного в книге «Доброе сердце» *fabl ^ama. Tйe §ooй HearГ. ^., 1997*).

Мне кажется очень важным, что заседания Общества христианской медитации имени Джона Мейна, проходившие в 1994 г. под председательством Далай Ламы, начинались и кончались молчаливой медитацией. Некоторые участники семинара называли ее «молчаливым диалогом». Разница между традициями отчетливо сознавалась, и Далай Лама несколько раз повторял тибетскую поговорку: не надо приставлять голову яка к туловищу овцы. Но в молчании постигалось то, что написал Мертон после беседы с Судзуки: у разных традиций созерцания священного есть «основные черты, которые отличают монаха и дзэнца от людей, предающихся агрессивно несозерцательной жизни» (с. VII цитированной книги Мертона).

Сложилось творческое меньшинство, пробивающее тропу к новой цивилизации, к повороту на 180° от экспансии техногенного мира к стабильности и духовному росту. Этот поворот невозможен, пока какие-то события не сломят самомнение мирского разума — так, как это случилось когда-то в Риме. Я не оптимист. Я не думаю, что наука будет легкой. Она может оказаться смертельным уроком. Но если бы Августин жил в благополучном и процветающем Риме, он не писал бы о Граде Божьем.

Написанное духом

Одна из слушательниц семинара попросила меня разъяснить слова св. Силуана: «То, что написано Святым Духом, может быть прочитано только Святым Духом». Эта мысль кажется потрясающе новой. На самом деле она опирается на очень старые тексты: «Буква мертва, только Дух животворит», — писал ап. Павел. В неявной форме что-то подобное можно прочесть в Книге Иова. Друзья Иова строго верны закону, их рассуждения богословски безупречны, но они не смогли вывести Иова к Божьему, целостному взгляду на зло мира, и Бог заговорил не с ними, а с сомневающимся Иовом. В тоске Иова, в его открытых вопросах, был порыв к целостной истине, превосходящей готовые ответы. Можно вспомнить и стихи Тютчева:

Мысль изреченная есть ложь...

Взрывая, возмутишь ключи.

Питайся ими и молчи...

Есть тайна целого, и отдельная мысль только кружится вокруг нее, не в силах схватить. Такою тайною было явление Христа, и мысль учеников кружилась на подступах к этой тайне. Странные слова Христа, его смерть, его встречи с учениками после смерти, чудо его личности, поражающее, врезавшееся в сердце, — всё это отпечаталось в памяти, стало текстом. Но текст этот не просто было прочесть. И читали его по-разному.

В первых трех Евангелиях смешиваются две попытки осмыслить, привязать к привычному тождество человека и Бога. Евангелие от Матфея начинается с родословия, с попытки укоренить Христа в еврейской книжной традиции, сделать его потомком Давида, исполнением давних пророчеств. Евангелие от Луки укореняет Христа в фольклоре, в устных легендах. Прочитав, как «выиграл младенец во чреве Елизаветы», встретившей Марию, каждая женщина могла почувствовать чудо собственной утробой. Родословие в Евангелии от Луки покороче и затиснуто посредине, теряется среди ярких рассказов, оно менее важно для составителей текста. Но все же оно дается, а в Евангелии от Матфея пересказываются легенды о чудесном рождении, только в меньшем объеме. Чувствуется редактор, который не в силах отказаться ни от книжной, ни от фольклорной традиции и пытается совместить обе, закрывая глаза на противоречия. В Евангелии от Марка другой упор: на чудеса... С традицией они еще слабо связаны.

У Иоанна Богослова нет ни родословия, ни благовещения, ни избытия чудес. Чудо целостной вечности, ворвавшееся в про-

странство и время, не рассыпается на цепочку зримых чудес. Глаза Иоанна Богослова выдерживают встречу с прямым вечным светом. Под напором великого чуда слова вырываются из привычных связей, обретают новый, неожиданный, загадочный смысл, и в каждой фразе, как в семени, содержится намек на будущее, еще не выстроенное богословие:

«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его».

Разговор идет о Христе, но сразу виден весь Бог, вся Троица. Обоженная личность — в самом средоточии Бога. Ее воля — аспект Его творческой воли, создающей мир; Ее образ — жизнь и свет людям; этот свет никогда полностью не разгонит тьму двойственности и дробности, но тьма никогда не победит целостный свет.

Дальше очень, очень коротко — об исторической сцене, на которой совершилось чудо:

«Был человек, посланный от Бога; имя ему Иоанн (т. е. Иоанн Креститель. — *Г. П.*). Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о Свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но [был послан], чтобы свидетельствовать о Свете.

Был Свет истинный, который просвещает каждого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через Него начал быть, и мир лицо Его не познал. Пришел к своим, и свои Его не признали. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть детьми Божьими, которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились».

Здесь нет мысли, что ученики физически не родились от мужа. Немного дальше, в главе 3-й, Христос объясняет Никодиму: «Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия. Никодим говорит Ему: Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе: если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть; а рожденное от Духа есть дух... Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит: так бывает со всяким, рожденным от Духа».

Иоанну Богослову не нужно ни родословие, ни рождественская звезда. Он не дробит скачок чуда на множество ступеней, по которым может подняться ум и воображение. Народам невозможно было обойтись без того, о чем Иоанн Богослов молчит. Народам нужны были красочные легенды. А четвертое Евангелие осталось для тех, кто

способен вместить образ не имеющего образа:

«И Слово (личный аспект вечного Бога. — Г. П.) стало плотью (Иисусом Христом. — Г. П.), и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца. Иоанн [предтеча] свидетельствует о Нем и, восклицая, говорит: Сей был тот, о Котором я сказал, что Идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня (в вечности. — Г. П.). И от полноты Его мы приняли и благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея; благодать и истина (то есть целостное понимание, витающее над буквой, над словом, над фразой. — Г. П.) произошли через Иисуса Христа. Бога не видел никто, никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил». И вместе с Христом, через Христа, утверждается благодатное понимание закона, понимание отдельной фразы, которая сама по себе, без помощи Святого Духа, не несет целостной истины:

«И я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины» (14, 16-17). «Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от Отца исходит» (15, 26).

Без Святого Духа любое слово — Моисея и самого Христа — может стать искушением, соблазном. Как только мы рассекаем текст Евангелия на фрагменты, истина прячется, а иногда прямо становится ложью: «Если правый глаз твой соблазнит тебя, вырви его» (Матф. 5, 29), — сказал Христос, и на эти слова опирались скопцы, опирались инквизиторы, вырывая из церкви еретиков.

Святой Дух парит над словами, читает между строк. Но то, что он прочел, нельзя передать людям без слов, без текста. Человек достигает истины, встречаясь со Святым Духом. Но эта встреча никогда не лежит в кармане, и благая весть, запечатленная в памяти и в слове, — не справочник с готовыми сведениями на все случаи жизни. Ни одна заповедь не может быть применена механически, без Святого Духа. Святой Дух обладает правом вето, он может сказать «не виновен», хотя доказана вина, и «виновен» — фарисею, выполнившему все предписания.

* * *

Однажды мне задали вопрос: почему надо *просить* Господа не вводить нас в искушение? Зачем Отцу нашему, объявшему пространство и время своей любовью, искушать своих детей? В каком смысле Бог, обращаясь к нам, нас искушает, не может обойтись без искушения?

Я не находил ответа. Потом пришла в голову мысль: а как ему не искушать нас? Сделать Вирсавию уродом? Но дух искушения гнезвился в сердце Давида. В иной миг Давид был защищен веяньем Святого Духа, и тогда он взглянул бы на Вирсавию, «благоговея

богомольно перед святыней красоты». Пушкину это иногда удавалось. И Джорджоне удавалось, когда он писал свою спящую Венеру. Я пять раз выстаивал очередь, чтобы взглянуть на две картины — на «Сикстинскую мадонну» и «Спящую Венеру». Они обе меня выпрямляли, как сказал Глеб Успенский о Венере Милосской. Обе восстанавливали во мне «ценностей незыблемую скалу». То, что «выпрямляет», распрямляет Мадонна, понятно. Но почему — Венера? Почему Венера Милосская и Венера Джорджоне — богини, покоящиеся «в красе торжественной своей»? Потому что ваятель и художник увидели перед собой не раздетую женщину, а богиню. Возможность искушения есть во всём, но действительность искушения — только во встрече предмета с человеческим сердцем. Если сердце постоянно живет на пороге искушения, то его искушит, соблазнит все, что угодно. И наоборот: когда сердце цельно, для него нет искушений.

Бог вечно переходит от своей нетленной цельности к двойственности и дробности мира. Без этого его бытие было бы неполно, было бы одним без другого. И он, страдая и сострада, проходит сквозь дробное, двойственное, смертное и утверждает вечность во времени и цельность в осколках. Но на полдороге возникает возможность греха, возможность твари отвернуться от Бога, запутаться в двойственности и дробности, принять двойственность и дробность за полноту истины. Животные делают это бессознательно, люди — и сознательно. Все ложные учения основаны на потере Святого Духа, витающего над двойственностью и дробностью. Создав мир, где звезда сталкивается со звездой, самец с самцом и мысль с мыслью, Бог создал и возможность замкнуться в своей отдельности и противостать целому как бы отдельному, рисуя себе Бога как деспота в облаках. Эта возможность следует за людьми, как хандра за Евгением Онегиным.

По библейскому рассказу, в самом начале творения, когда человека еще не было, один из ангелов замкнулся, перестал чувствовать себя каплей в океане света, отпал от Бога и противостал ему. Нам это проще всего. Вся современная культура стремительно отпадает от Бога и тянет нас за собой. Чтобы в корне исключить соблазн, надо было не допустить даже возникновение животных, остаться при кротких растениях; ибо уже в животных возможность зла достаточно велика. Бог не отказался от того, чтобы довести творение до Адама и Евы. И он создал мир, в котором отпадение от него всегда возможно. Но горе тому, кто воспользуется этой возможностью.

Если человек видит мир Святым Духом, он видит Бога и отвечает любовью на любовь. Но если Дух оставит его, соблазн непреодолим.

Таков общий план бытия. Однако есть еще один уровень искушения, еще одна дорожка в пропасть: в самих словах Святого Пи-

сания, в силе отдельной фразы, отдельного слова, затмевающего путь к целому, которое выгля дывает только в паузах «информации», между строк. Всякое отдельное высказывание, замыкаясь на себе, становится *относительной* истиной, а где-то — и ложью. Законы и заповеди, обособляясь, отрываясь от цельности, раскалывают истину на куски, и каждый кусок может стать оправданием зла. И потому Сын Человеческий — Господин субботы, потому дух его парит над словами, и надо быть подобным Ему и сомневаться в каждом слове Святого Писания, — не теряя святости целого.

Есть буддийское течение, о котором я много писал, — дзэн. Дзэнцы говорят, что для спасения нужны три вещи: великая вера, великое рвение — и великое сомнение в словах будд и патриархов; без этого палец, указывающий на луну, заслонит саму луну. В библейской традиции нет *принципа* сомнения, но есть Книга Иова; и есть слова Христа, которые говорят, что он сомневался в своих собственных словах. Все вспоминают его обещание, что каждый волос учеников сосчитан (от Луки, 12, 7). Но он же сказал по поводу башни, раздавившей нескольких галилеян: «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали?» (от Луки, 13, 2).

Истина не в первом стихе (который церковь часто вспоминает) и не во втором (забытом), а в Святом Духе, парящем над противоречиями, не дожидаясь, пока человеческий ум выстроит систему и как-то всё переплетет. Поэтому сказано: «Всякому простится слово на Сына, не простится хула на Святой Дух» (от Луки, 12, 10). И дело не и том, какая ипостась перее, а в другом: Святой Дух или неощутим, или оощутим в целом; а целостность Христа очевидна только под кистью Рублева, в словах и поступках она рассыпается на противоречия.

И в Новом, и в Ветхом Завете невозможно понять Бога умом, можно только причаститься ему, как причастился Иов, поверх всех неразрешимых, вечно открытых вопросов. Итог Книги Иова тот же, что в начале Евангелия от Иоанна: взгляд, устремленный к океану света до распада на цвета и формы, к истине целого *до* распада на отдельные слова, к тождеству истины и благодати.

Так же непостижимо без помощи Святого Духа центральное событие христианства — Воскресение. Оно открывается только глазам сердца, глазам любви. Не только мир не увидел воскресшего Христа, и ученики узнавали его не сразу. Евангелие объясняет это тем, что Бог затмил глаза будущим апостолам, шедшим в Эммаус; есть, однако, и другие случаи неузнавания. Объяснил это только Борис Пастернак, человек грешный, но охваченный внезапным порывом вдохновения:

Но пройдут такие трое суток

И столкнут в такую пустоту,
Что за этот страшный промежуток
Я до Воскресенья дорасту.

Воскресенье открывалось тому, кто дорастал до него. Для недоросших его не было — и в евангельские времена, и в наши. Этот комментарий к откровению стоит на уровне самого откровения. И так же как само откровение — до канонизации церковью, — откровение Пастернака не понимали.

Покойный о. Сергей Желудков, человек прекрасный, но несколько ограниченный, не понимал Пастернака по-иудейски: стихотворение казалось ему кощунственным. «Я до Воскресенья дорасту, Я, — подчеркивал о. Сергей, — а не Христос Воскрес!» Ему непременно нужно было воскресенье как физический факт, без физического факта Христос для него не был Христом.

Другое непонимание можно называть эллинским. Современным эллинам очевидно, что никакого воскресения не было. То, что вело к пониманию чуда, отбрасывалось, как чепуха; в стихотворении подбирались крошки, приемлемые для здравого смысла. Андрей Вознесенский похвалил Пастернака за тонкое понимание женской психологии. Он увидел в стихотворении ревность Магдалины: «Слишком многим руки для объятья Ты раскинешь по концам креста...»

Бродский презирал Вознесенского, но в трактовке «Магдалины» почти повторил его. Последнюю строфу оба поэта не заметили, не нашли в ней смысла. Бродского вызвали на полемику слова комментаторов, Е. В. и Е. Б. Пастернаков, что в «Магдалине» снимается цветаевская эротика. Мысль эта показалась ему оскорблением поэзии. Он страстно доказывает, что эрос — основной смысл стихотворения, что без эротики там вообще ничего нет. Цветаева написала любовное послание Пастернаку стихами от Христа к Магдалине. Пастернак ответил ей посмертно стихами от Магдалины к Христу.

Такой оттенок в переписке Пастернака с Цветаевой действительно был или мог быть. Но только оттенок, не менявший основного смысла.

Стихотворение Пастернака «Магдалина» все-таки об узнавании Воскресшего. Это узнавание происходит на крыльях любви, но какой любви? Бродский этот вопрос не ставит. Ему кажется очевидным, что он в совершенстве понимает любовь и другое понимание невозможно. Он доказывает свою правоту страстно, талантливо, не столько доказывает, сколько завораживает, заражает своим чувством. Мне было очень трудно возражать, я ощущал превосходство его в поэтической силе слова. И только дойдя до последней строфы, я облегченно вздохнул. Бродский не нашел ничего, что можно было

сказать о ней с его точки зрения, и он решился просто отрицать ее смысл, какой бы то ни было смысл. Это был очень слабый ход.

Перед ним было потрясающее описание душевной катастрофы, падения души в бездну — и внезапного выхода, вылета из бездны на крыльях Святого Духа. А он ничего не видел, никакого смысла, только бессмысленное бормотанье, только повторение звука у-у-у... Это не было уловкой, трюком, расчетом, что читатель, замороженный им, всей магией его слова, не заметит обмана. Я верю искренности Бродского. Он действительно не видел, что последняя строфа «Магдалины» разрушает все его построение и приходится, поняв это, вернуться назад и заново прочесть мнимо любовные строки:

Слишком многим руки для объятья
Ты раскинешь по концам креста...

Эти объятья раскрыты всем людям, и раскрыты на кресте, через смерть (обстоятельство, которое для Вознесенского и Бродского несущественно и отодвигается на задний план). Каким образом Бродский всего этого не увидел? Видимо, его ослепила полемическая страсть. И страсть не дает Бродскому заметить, что огонь, пылавший в душе Христа, — огонь, который мы видим в глазах рублевского Спаса, — чем-то отличается от огня в глазах влюбленных. Что дымное пламя обычных человеческих страстей уступает в Христе (и в Магдалине) пламени без дыма — или, как вырвалось у Цветаевой в одном из писем Пастернаку, — белому огню.

Цветаева писала (в мае 1926 года), что кощунство — грех против величия какого бы то ни было, «потому что многих нет, есть одно. Все остальное (различия. — Г. П.) — степени силы. Любовь! Может быть, степени огня? Огнь-ал (та, с розами, постельная), огнь-синь, огнь-бел. Белый (Бог) может быть силой бел, чистотой сгорания? Чистота. Которую я неизменно вижу черной линией (просто линией).

То, что сгорает без пепла — Бог.

А от этих — моих — в пространствах огромные лоскутья пепла. Это-то и есть „Молодец“» (Письма 1926 года. М., 1990, с. 107).

Три степени огня. Они различаются силой. И еще одним — чистотой. Самый сильный, самый чистый огонь не оставляет пепла. Это Божий огонь. Огнь-синь очень силён (это ясно из ссылки на поэму «Молодец»), но его нельзя путать с Божьим огнем. Бродский не замечает, что противоречит Цветаевой, которую боготворит. Он не различает синего огня от белого, демонического от Божьего. Но в чём правота еретической неправоты? В отрицании четких границ, стен между землей и небом. Их действительно нет, этих стен. Однако в

единстве, как его понимает Бродский, исчезает небо. А в единстве, как его понимал Христос, преображается земля:

«Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим»: сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей: «возлюби ближнего твоего, как самого себя». На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки» (Матф., 22, 37-40).

Любовь к Богу и к людям *подобны*. Любовь к Богу озаряет любовь к людям, и любовь к людям подсказывает образы любви к Богу. Такова вершина любви, где человек человеку икона и икона не заслоняет Бога.

Уровень, на который опирается мысль Бродского, другой. Это единство — сквозь дым. Единство земной путаницы. Где любовь-сострадание иногда неотделима от страсти и сама становится страстью, опрокидывающей все барьеры, а порабощенность изгиб-чиком, огонь-ал, переходит в огонь-синь и даже в готовность душу положить за друга. Это область поэтичных грешников, которым противостоят сухие фарисеи, строго соблюдающие все заповеди. Это поле спора между поэтом и священником. Спор идет много веков, по крайней мере начиная с Данте. Выстраивая план «Ада», он помещает в пятый круг Франческу да Римини, уступившую порыву любви, но после слов «больше мы в тот день не читали» поэт падает в обморок, передавая читателю и свое уважение к заповедям, и свое сочувствие благородной грешнице.

Каков действительный Божий приговор Франческе, я не знаю. Положительная заповедь любви, нарастающей глубины чувства, пробивающегося через тварь к Творцу, кажется мне более важной, чем заповеди-запреты, через которые любовь переступает. Но перед каждым новым порывом снова встает запрет. Это относится не только к заповеди «не прелюбы сотвори». Грешна война, грешна политика, утопает в грехах искусство, о современной прессе вспомнить страшно. Среди великих людей много великих грешников. И среди святых, канонизированных церковью, есть воины, убивавшие и приказывавшие убивать (не говоря о прочих грехах, связанных с властью). Сравнивая грешниц, канонизированных поэзией, с Александром Невским и Дмитрием Донским, я не знаю, кто грешнее. Святость человеческой жизни, попранной на войне, не уступает святости брачных уз. А между тем, сколько героев попирали святину жизни! Однако всякая любовь остается любовью. И любовь к ратным подвигам, и любовь, слепившая Адама и Еву в одну плоть. Каков Божий суд над благородными грешниками, один Бог знает. В таком смысле я понимаю эпиграф к «Анне Карениной»: «Мне отмщение, и аз воздам».

Бродский встает на защиту любви, не признающей *никаких* заповедей. Его правота в неправоте — то, что человек, способный на большое чувство, обаятельнее, чем вялый праведник, ангел церкви лаодикийской, не знающий вовсе большой любви. Ибо всякая большая любовь тяготеет к белому огню. Но сколько ловушек на пути страсти! Чувство общности, начавшееся как причастие, легко впадает в огонь-ал, в «плотоядную зевоту тигра» (Марина Цветаева писала об этом Бахраху). И Фауст, овладев Гретхен, утрачивает к ней всякий интерес. А между тем, простушка Гретхен могла раскрыться в своей любви, как Беттина в любви к Гёте (Рильке считал, что она намного превзошла великого поэта); или как Татьяна Ларина...

В поэзии Бродского есть несколько отвратительных выпадов против «злых корольков и визгливых сиповок». Отчего он испытывал иногда потребность мстить женщинам? Я думаю, из-за своей собственной неспособности держать «змеиную силу» пола под властью сердца. За то, что он же (а не они) профанировал любовь.

Когда Святой Дух подсказывает, пьяный и разнузданный Митя Карамазов становится рыцарем. Когда нет этой подсказки, Бердяев говорит, что в близости человек непременно опускается до животного; и Пушкин, после «чудного мгновенья», пишет Вульффу матерное послание. Но в старое доброе время мата не печатали, и хамство не попадало в стихи. Не только из-за цензуры. Сама поэзия тянулась к величию: «Служенье муз не терпит суеты; Прекрасное должно быть величаво». Сама поэзия ставила границы легкомыслию. Работая над текстом «Бедного рыцаря», Пушкин вспомнил свое вольтерьянство и набросал несколько легкомысленных строк; но во втором варианте устранил их. Вышел тот «Бедный рыцарь», которого цитирует Аглая. И хотя Аглая заменяет АМ^ — Аye Maleg ^e^ инициалами НФБ, — это ничего не снижает. Любовь Мышкина к Настасье Филипповне Барашковой не ниже любви Рыцаря к Мадонне. Всякая великая любовь может дойти до белого каления. И потому в Библию была включена Песнь Песней, и в лирике бхакти и в суфийской лирике иногда невозможно отличить, что поэт воспевает — женщину или Бога. В романе Тагора «Дом и мир» Бимо- ла украшает брачное ложе цветами; и очень жаль, что этот обычай существует только в Индии. Если нет стремления вверх, к белому огню, любовь неудержимо рушится и отношения мужчины и женщины унижают их обоих. Кошунственные выходки Бродского против святыни любви не прошли ему даром; он опустошил себя, и его лучшие поздние стихи — поэзия отчаяния.

Христианство складывалось в полемике с распущенностью поздней античности и в ожидании конца света, когда в небесном

Иерусалиме не будут жениться и выходить замуж. Православие так на этом и остановилось. Оно признает таинством только заключение брака, а святости любви не замечает. На Западе, в Средние века, небо придвинулось ближе к земле. Беатриче стала проводницей по раю. Перголезе уходит в монастырь, умирая от несчастной любви, и в музыку *81аВa1 Maleg* вплет и свое страдание от разлуки с возлюбленной. Поэзия упорно ставит перед богословием проблему благородного грешника, не ушедшего в монастырь, укравшего свое счастье. Он виновен, потому что нарушил заповедь, и он вызывает сочувствие, потому что его вела любовь. Если отбросить религию со всеми ее заповедями, рушится вершина любви, где мужчина для женщины и женщина для мужчины живое лекарство, живая икона и живое причастие. И вслед за разрушением неба, к которому тянется любовь, рушится и вся земля любви, оползает в пропасть цинизма и отчаянья. Лирика Бродского подтверждает это. Ему кажется, что он восстает против фарисейства, что он защищает Цветаеву от комментаторов; но он восстает против самой Цветаевой, против «искусства при свете совести».

Любовь всегда нарушает правила, всякая любовь. Христос, исцеляя больных, нарушал субботу. И Он был прав. Но мы — не господа субботы, и переступая через барьер во имя любви, мы расшатываем запрет, который должен сохраняться, чтобы каждый раз нарушение заповеди было глубоко выстрадано и шло из глубины сердца, а не от прихоти. Наша внутренняя убежденность, что грех в данном случае благороден и служит добру больше, чем злу, не освобождает нас от вины, от тяжести греха, которую мы берем на свои плечи, искушая других соблазном жить без всяких правил, кроме «я так хочу».

Герой, поразивший десяток врагов, десять раз согрешил, расшатывая заповедь «не убий», внося в мир привычку к убийству. Ранние христиане, возвращаясь с войны, проходили обряды очищения. И даже у некоторых примитивных племен есть подобные обряды. Так было в сравнительно простой жизни, когда и смысл заповеди был прост и прям. Сегодня, в запутанном сложном мире, заповедь на каждом шагу сталкивается с заповедью и любое действие греховно, а бездействие может стать еще большим грехом. Некоторые заповеди просто устарели (например, запрет регулировать рождаемость). Некоторых заповедей не хватает (например, как регулировать рождаемость, не калеча женщину). Римляне времен Нерона подсчитали, что зрелая страстность женщины алчет мужской страстности в 2,5 раза больше, чем средний мужчина способен ответить. Об этом писал Монтень. Сегодня ситуация та же, и она диктует культуру взаимной сдержанности, в которой покорность

гормонам уступает место музыке осязаний, в которой сердце насыщает гармония, а не громкость. Режимы, которые мы хорошо помним, выжгли в нашей совести: Не предай! Не доноси! (этой заповеди не было, когда синедрион донес Пилату про Иисуса, назвавшего себя Царем Иудейским). Изобретая новые материалы, открывая новые законы, ученые не знают, что из этого выйдет, и грешат по неведению (а иногда и заведомо), давая оружие в руки убийцам. Сложная цивилизация — это цивилизация, где грех и праведность переплелись, где только Святой Дух может прочесть запутанный текст жизни и никогда нельзя быть уверенным, что наша совесть чиста. Здесь нет готовых решений. Есть только вызов открытого вопроса.

Глядя на иконы Рублева¹

Когда я смотрю на рублевского Спаса, я просто вижу Воскресшего. Но потом, вспоминая Его, я много раз думал: что здесь дает чувство подлинного, зримого Бога? Личность Иисуса из Назарета? Но рублевский Спас не похож на евангельского еврея. И если Воскресшим может быть этот славянин, то, может быть, и другие люди? И в других мирах — совсем не похожие на нас разумные существа?

Важно, что разумные: эта интуиция совпадает в трех религиях: неполные воплощения Вишну мыслились как рыба или вепрь, полное — только человек. Будда может быть лишь человек (хотя бодисатвой — любой сказочный зверь). И Бог Библии воплотился в человека, при всей скверности людей, а не в смиренные деревья, покорные Святому Духу.

Воскресший — разумное существо, достигшее полного обожения, полной святости. Оно от века пребывает в недрах Отчих и бесконечно рождалось в бесчисленных мирах, возникавших и исчезающих в пространстве и времени. Оно будет снова рождаться, когда от нас исчезнет след. В Иисусе из Назарета вторая ипостась лишь впервые в истории Земли была осознана.

Я чувствую вторую ипостась во всей совокупности святых разных вер; чувствую третью ипостась в «благодати вечернего света» (слова одного из отцов церкви), в благодатной красоте морей, лесов и гор. Первую же мы не видим никогда и нигде и можем созерцать только умом и описывать только словами, созданными отвлеченным умом, — как сферу, центр которой всюду, а периферия нигде, или бесплотную математическую точку, где время и пространство становятся нулем, великой пустотой, и из нуля — из ничего — изливается в пространство

и время — пространством и временем — божественная энергия.

Образ Троицы, созданный греческим гением, переключается с буддийской Трикайей. В Трикайе ипостасями становятся две «природы» воплощенного божества — божеская и человеческая

Этот и последующие четыре текста - не лекции, а эссе.

(Самбохогакайя и Нирманьякайя), между тем как первая и третья ипостаси сливаются в Дхармакайе. Я не вижу здесь неразрешимого противоречия: все границы, проведенные в Боге, текучи; понятия переливаются друг в друга, и разделительные линии произвольны. Они принадлежат не божеству, единому во всех своих ликах, а человеческому разуму. То, что совпадает, важнее различий; и в рублевской Троице ангелы выглядят тремя состояниями одного лица, тремя ликами одного существа. И может быть, этот образ — предел в понимании Непостижимого, высшее из Подобий, созданных тварью, рвущейся к Творцу.

Почему это единство всех вер не сознавалось с такой настойчивостью раньше, до XX в.? Казалось бы, вечные истины неизменны; но слова, созданные целостной религиозной мыслью, общаются с понятиями нашего дробного ума, с изменчивыми понятиями науки и философии. У нас сейчас другая астрономия, чем в I в. У нас нет больше того неба, на которое мог подняться Воскресший и сесть одесную Отца. Образы двухтысячелетней давности — не факты (которых вообще нет в вечности: там все целостно, а факт — отрезок); это метафоры, подобия чего-то, о чем мы и сегодня, и вчера, и через века веков впрямую ничего не можем сказать (не считая словом — молчание).

Вечность неизменна; но меняется мир в пространстве и времени, и меняется отражение вечности в потоке, в игре волн. Символика великих религий не теряет своей истинности, но меняется толкование символов, уходя от буквы к духу. Религия, философия и наука связаны друг с другом, и перемены в науке отражаются в богословии. В средиземноморском культурном пространстве сильнее чувствуется обособленность ветвей культуры, но в Индии и Китае вообще не было отдельных слов «философия» и «богословие»; и это не неразвитость; это, может быть, высшее развитие. Религия, философия и наука — аспекты единого целого культуры, и невозможно сохранить религию без перемен, когда меняется все остальное.

Мы не живем больше в отдельных культурных мирах, отрезанных друг от друга ничтожеством транспорта и связи. Мы живем в мире, который можно облететь за сутки, а увидеть кусок за куском на экране — мгновенно. Мы вынуждены принять к сведению сосуществование христианства, ислама и религий индийскотихоокеанского круга.

Телевидение напоминает нам о физическом единстве культур земли каждый вечер, и некуда деваться от задачи суперэкуменического богословия. Если мы хотим уберечь от дробного разума свое *чувство* Бога, перегородки между религиями должны стать прозрачными и противоречия свестись к «букве» (которая всегда мертва). И первый догмат суперэкуменического богословия — то, что различие между глубиной и поверхностью любой религии важнее, чем различия религий друг от друга.

Дух любви, объединяющий людей доброй воли, христианин может назвать духом Христа, и он будет прав; но буддист может назвать его духом Майтрейи, и он также будет прав. Майтрейя на санскрите значит любовь; это также имя будды будущего, *будды* любви; в его башне каждая душа отразится во всех других и исчезнет непонимание: таков миф. Такова же духовная реальность Небесного Иерусалима.

Я смотрю на рублевскую Троицу, я смотрю на репродукцию Трикайи из японского храма в Наре (VIII в.) — и я вижу одну и ту же небесную Троицу. В обеих отпечатался Дух, веющий всюду, отпечаталась тайна воскресения и тайна божественной энергии, изливающейся в мир из точки нуля, *ex nihilo*. И когда мы до конца смиримся, мы чувствуем эту точку.

Вёсны и осени

Тишайший благовест Господень.
Деревья замерли в мольбе.
Весною к нам Господь приходит, А
осению — зовет к Себе.

У сердца нет пути другого Жизнь
уплывает... Что же, пусть... О,
счастье божеского Зова И тихая
земная грусть...

(Зинаида Миркина)

Мысль, которую я привожу в эпиграфе, не впервые высказана. Мне вспомнился сперва Тейяр де Шарден, потом Фрейд. Концепцию Тейяра, изложенную в «Божественной среде», вполне можно передать двумя стихами:

Весною к нам Господь приходит,
А осенью зовет к Себе...

Весною Бог раскрывается в рождении плоти, в ликовании плоти, в радости и муках любви. Бог весны разлит во всем, в каждом листочке, в каждом взрыве страстей, в каждом вздохе влюбленных.

Потом Бог уходит в себя, и плоть, оставленная им, вянет. А дух слышит зов — идти за Ним.

Михаил Михайлович Бахтин этот зов услышал. Он написал когда-то книги, дышавшие страстью, а в последние годы ушел глубоко внутрь себя и только слушал собеседников, почти не вступая в разговор, никогда не объясняя своего несогласия. Если нельзя было промолчать, выражал свое отрицание одним-двумя словами. Надо самому понять, почему Бахтин что-то отрицает. Причиной никогда не было самолюбие. Хвалил то, что выходило за рамки его концепции Достоевского, хвалил из бескорыстной глубины. Я трижды беседовал с ним и трижды преклонялся перед величием старости. Мой знакомый, хорошо знавший ветеранов Серебряного века, как-то сказал: надо быть таким стариком, как Бахтин, и не таким, как N...

Бахтина втягивали в новые замыслы, он уклонялся, медлил, с трудом и немного прибавлял к написанному раньше. Когда художник Селиверстов спросил, почему он тянет с предисловием к сборнику старых статей, — ответил: «потому что я сейчас так не думаю». Но никакой другой интеллектуальной конструкции не хотел создавать. Что-то подобное, видимо, чувствовал на старости лет Фома Аквинский, сказав о всей «Сумме теологии»: «Это солома». Но не заменял одну солому другой. Все солома, сравнительно с тихой глубиной, с Безымянным, объемлющим Названное.

Смерть Бахтина созрела, как созревает плод, и последние его слова, по свидетельству Селиверстова: «Иду к тебе, Господи».

Фрейд уходил иначе — к Танатосу. Он тоже чувствовал, что взлет страстей сменяется погружением в бесстрастную глубину, но глубина для него — просто могила. Сперва эрос без Бога, потом смерть без Бога. Непонятно, чем она влечет. Скорее тащит, и ничего не остается, как идти на казнь. Откуда же оттенок возвышенности на этом скорбном пути? Все-таки названо имя Бога. Все-таки есть чувство божественности: языческой, осколочной божественности, чувство осколков великого целого. Но нет пути вверх, к единству духа, в котором смыкается весна и осень. Нет возможности уйти от страсти к бесстрастию, которое больше страстей. Царство Танато- са ущербно. В нем нет места для молитвы смирения, сменившей мольбы влюбленных. Это смерть с кляпом во рту. За стоическим молчанием — невысказанный вопль.

Три синонима

Смирение, тишина, пустота. Я их чувствую, как одно целое. И сразу слышу вопрос: почему пустота? В смиревшемся сердце — тишина. Это понятно, потому что привычно, потому что много раз повторялось. Но пустота кажется здесь чем-то чужим. Христиане приписывают пустоту дьяволу. Дьявол — пустая личина. Видимость тела, а внутри — пустота. И в секуляризованном сознании нигилизм принимается как отрицание всех святынь, всех сверхценностей. Фауст иначе понимал ничто, но «в твоём ничто я мыслю все найти» — не вошло в код европейской культуры. И трудно понять буддистов и даосов, для которых пустота — знак сверхценности. Понимание пустоты как святыни пугает и отталкивает.

Наверное, многие христиане удивятся, что Христос говорил о себе как о пустоте. Но что значат его слова «Аз есмь дверь»? Открытая дверь — это пустота. Христос есть пустота, проем в стене мирского ничто, через которое проходят к Богу или к нам входит Бог. Буддисты и даосы примерно так и понимают пустоту — опустошенностью от всего суетного, дробного, пустоту сосуда, в которую вливается Целое. Если весь наш мир без остатка делится на дроби, то пустота — это опустошенность от всякого бытия. Но если вечное и целостное реально, то все эти факты и цифры — только шелуха Бытия. Тогда надо «учиться падать и держаться ни на чем, как звезды» (М. Энде). Тогда падаешь в пустоту, в смерть дробного и воскресаешь с чувством целого.

Бог творит мир из ничего, ex тЫпо, из нуля, из шуньяты. В буддийских текстах, шуньята (пустота) обозначается кружком, который в цифрах стал знаком пустоты, творящей из единицы десять, сто, тысячу — и так далее, до 10^n . Шуньявада, философия пустоты, была повивальной бабкой математического нуля и всех точных наук.

Смирение имеет много ступеней. Молитва св. Силуана (Господи, помоги мне смириться...) сперва просто очищает душу от суеты, открывает глаз сердца. Но в конце концов, доведенное до конца, смирение доводится до нуля отдельного обособленного «я». И в тот миг, когда мы это сознаем, перед умом встает образ нуля пространства и времени как точки, в которую входит целостное и вечное, удерживая дробный мир в своих объятиях.

В одном из стихотворений Джалаледдина Руми путник, изнемогая, стучит в двери хижины. «Кто ты?» — спрашивают оттуда. «Я», — говорит путник и получает ответ: «Здесь нет места для двоих». Много раз путник возвращался и с новой жадой стучал в дверь; она оставалась закрытой. Наконец, на вопрос: «Кто ты?» — он смог

ответить: «Ты!» Тогда дверь раскрылась. Она отворилась перед человеком, смирившим себя до нуля, до пустоты.

Вошедший мог бы сказать, как Иисус из Назарета: «Я и Отец одно». Он выполнил заповедь Христа: «Будьте подобны мне, как Я подобен Отцу Моему Небесному», — даже если не был крещен; даже если ничего не слышал о Христе. Молния мистического знания блещет всюду, где дух стремится к глубине, она не знает различия вероисповеданий.

Эти строки были навеяны одним стихотворением Зинаиды Миркиной. Привожу его целиком:

Как упорна она! Как давно Мысль
 простейшая бьется во мне:
 Я — никто, я — лишь только окно,
 Я — пробоина в плотной стене.
 Только плотность стены прорубя,
 Только после великих потерь Понимаю:
 я — выход в Тебя.
 Я — в Тебя уводящая дверь.
 С целым миром окончился спор.
 Я — никто. Обо мне позабудь.
 Я — есть вход в бесконечный простор.
 Только вход, только дверь, только путь.

Мои праздники

Чувство праздника веет, где хочет. Однажды в моем детстве, бедном праздниками, оно пришло ко мне в день рождения. Мы бросались друг в друга подушками, и было как-то особенно весело. Я не знал тогда слов «веселие сердца» или «веселие духа», но целый год ждал его. Пришел новый день рождения, и мы снова бросались подушками — впустую. Того, особенного веселия не было.

Лет в 14—15 я с упоением бродил в праздничной толпе, любовался иллюминацией. Что-то особое было в самой толпе. Во всяком случае, так мне казалось. Не было чужих, все стали родными. Я перестал быть недотепой, я становился частью своего народа. Слово «народ» тогда еще не было реабилитировано, говорилось и думалось иначе: «я каплей лился с массами». И это был праздник. Это было бытие, подымавшееся над бытием. Это было торжество общей веры в социализм. Вряд ли толпа понимала про прыжок из царства

необходимости в царство свободы, из обычного времени (предыстории) в какое-то особое, подсвеченное изнутри. Но что-то священное носилось и воздухе. Потом, 9 ноября или 3 мая бытие кончалось, и быт становился на место. Через тонкую стенку слышно было журчание воды в уборной и воркотню хозяек на кухне. А память о бытии хранилась, как вера в воскресение мертвых.

Конфуций был прав: общий праздник восстанавливал народ как соборное целое. И это чувство соборности (по-китайски оно, конечно, называлось иначе) помогало весь остальной год поддерживать иерархию и требовать честного выполнения долга. Когда я потерял соборное сознание? Кажется, виноват Стендаль. В 16 лет, на даче, мне попался потрепанный томик, без обложки, я нехотя начал читать, и на четыре года Стендаль стал моим кумиром. В Люсьене Левене я почувствовал свего лирического двойника, речь Левена-старшего в парламенте по тезисам, набросанным на игральной карте, дремала в моем сердце до речи против отмывания Сталина (тридцать лет спустя), судьба автора, расписавшегося после сорока лет, сразу была принята как моя судьба (я действительно стал писать свои эссе после сорока). Стендаль передал мне свой «эготизм», свое нежелание литься с массами. Сочинение на тему «Кем быть» я закончил словами: «Я хочу быть самим собой». С тех пор я иду не в ногу с народом. За исключением четырех лет войны и нескольких дней 1991 года.

Между тем толпы народа собирались по-прежнему. Они все чаще требовали чьей-то казни: троцкистов, зиновьевцев, бухаринцев. Я не понимал, к чему так много казней. Я искал свои собственные праздники. Праздником становились приливы вдохновения. Праздником стало признание моей курсовой о Достоевском, разруганной на кафедре русской литературы, двумя богами западников: Леонидом Ефимовичем Пинским и Владимиром Романовичем Грибом. Праздником был ужин на крыше ресторана «Москва», куда они меня пригласили вместе с несколькими аспирантами. Я чувствовал себя смертным на Олимпе. Праздником были три беседы с Грибом, умевшим как-то мгновенно устранять внутреннее препятствие моего вдохновения, словно пробку выталкивал, мешавшую вырваться самым важным мыслям, — и вдохновение лилось рекой. Но Гриб внезапно умер от белокровия. В аспирантуру меня не взяли. Через год началась война.

В этом празднике демонов были свои дни и ночи внутреннего праздника, когда красота становилась сильнее страха — красота мужества и красота природы, взиравшей на людское безумие. Захватывали сердце лунные ночи над затемненной Москвой. Захватывали волны влюбленности. Колдовство московских лунных ночей нашло

завершение в ночном бою, 22-23 февраля 1942 г., на Северо-Западном. Я носился на лыжах по снегу, по которому брела цепь призраков, сливавшихся со снегом в своих белых маскировочных костюмах, а над нами, как светляки, носились трассирующие пули. Взвод потерял только двоих. Деревню взяли. А днем, под ярким февральским солнцем, начался немецкий праздник, кордебалет юнкерсов, кружившихся над нами и один за другим входивших в пике. Снег покрывали большие розовые пятна — следы прямых попаданий. Меня ранило, потом еще раз ранило и контузило, но была в реве моторов и взрывах бомб какая-то чудовищная музыка, и лежа на саночках, не в силах шевельнуться, я смотрел на самолеты, сбрасывавшие бомбы, как в кино.

После госпиталя — другая мясорубка, к северо-западу от Сталинграда, в тех местах, где впоследствии принята была капитуляция Паулюса. В августе капитуляцией еще и не пахло и вместо музыки боя — одно убийство. Степь была завалена трупами советских солдат, сметенных огнем на рубеже, где они встали из окопов. Я каждый вечер проходил через поле смрада, наталкиваясь на недохороненные руки и ноги. Я хромал (медленно восстанавливался нервный ствол). Меня прикомандировали к редакции. Я должен был писать о подвигах. Подвигов не было. Все было тошнотворно, как вода из лужи, где лежала гниющая лошадь. Мы эту воду пили (все равно война). И вдруг пришла нечаянная радость: тишина. Попытки наступления кончились. Мертвых похоронили. Живые снова увидели над головой синее небо. И это тоже было праздником.

А потом пошли победы. Я сравнивал их с рождением ребенка. Как бы ни мучилась женщина, человек родился! И все сметает радость. На моих глазах, возле села Калиновка, падали убитые наповал, смертельно раненные, — а я побежал с карандашом в кармане, вместе с атакующей цепью, словно Фетида погрузила меня в Стикс. Или в Берлине, что бы ни творили наши солдаты с немками, как бы я ни хватался за голову от ужаса и отвращения, все перекрывало ликование: вы нашу Москву не взяли, вы наш Ленинград не взяли, а мы ваш Берлин взяли! Впечатления, противоречившие друг другу, сливались в стройный хор, и само собой всплывали строфы из «Торжества победителей»: слезы троянок, ликование ахейцев и голос рока, глухо доносившийся с какой-то священной высоты:

Все великое земное
Разлетается, как дым.
Ныне жребий выпал Трое,
Завтра выпадет другим...

Что именно рухнет? Этого я не знал. Но трепет сердца говорил

мне, что цепь крушений только началась. И вспоминая свое чувство в 1984 году, я осознавал: рушится век империй, четыре тысячи лет сменявших друг друга. Победила не одна империя другую, победила идея Европы, обошедшейся без империй, и в восстаниях колоний Англии и Франции против своих метрополий было торжество той же европейской идеи, разрушившей имперский Берлин. В 1945-м я не мог додумать это словами, я только чувствовал высшую волю, священную волю, создававшую и рушащую города. Над империей Сталина, водрузившей свое знамя Победы над Рейхстагом, нависла тень рока. И в этом таинственном прикосновении вечности была полнота праздника.

Праздник — это праздность от забот во времени и пространстве, это поворот сердца горё, остановившийся миг, иногда только миг, в грохоте бури и боя, миг взлета над тем, «что гибелью грозит», над чумой истории, а иногда — забвение истории, разлив тишины. В лагере оставалось только второе. Зато как они глубоки, эти разливы тишины! В моем опыте — белые ночи, в опыте других северное сияние. Есть в природе свои богослужения, свои литургии света, и церковь только копирует их в своих праздниках, хорошо — если талантливо, искренне, сердечно.

Петр Григорьевич Григоренко рассказывал мне, незадолго до своего отъезда в Америку, как навестил родное село. Когда-то там служил очень хороший батюшка, и праздник начинался благоговейно, в церкви. Потом парни и девушки собирались, сбивались в хоры, и до глубокой ночи продолжалась переключка хоров с одного конца села до другого. Никаких следов этого Петр Григорьевич не нашел. Люди сидели по хатам, уставившись в голубой экран. Телевизор развлекал, но не связывал прикосновением к общей святине, не вызывал взрывов общего веселья. Быт потерял связь с бытием.

Не знаю, как для других, но тень общего праздника всплывает для меня только в Новый год. Вдруг старый год — целый год! становится ничем, исчезает, а нового еще нет, он еще не родился. Мы празднуем его рождение, а пока нет никакого года, ноль, дыра во времени, и сквозь дырку просвечивает бездна, перед которой трепещет сердце, — один миг — и сразу же мы кричим: с Новым годом, с Новым счастьем! И никто не растаскивает людей по вероисповеданиям.

А главные мои праздники — не общие. Мы сами их находим на закате или создаем, как костры в лесу, как встречи с горами и морем. И сами создаем праздники елки, которой начинается Новый год, сливается с Рождеством и длится иногда более двух месяцев (лишь бы елка не засыхала).

Праздник наступает, когда незримая волна смывает перемычку

между нашей замкнувшейся, ограниченной жизнью, ушедшей в заботы, и внутренней бесконечностью. Не бесконечностью пространства и времени, о которой страшно думать, а царством, которое внутри нас. Целым царством, отделенным от сознания мусором повседневности. Я сравнивал наше обыденное «я» с прудом или даже с лужей, отделенной от моря мелью, а большое «Я» с заливом, где та же вода, что в океане, только что не вся — одним краешком. Иногда мы долгими усилиями раскачиваем волну, переливающуюся через мель, иногда она нахлынет внезапно, как влюбленность с первого взгляда, но так или иначе открывается океанская ширь. Каким-то приближением к этому иногда может стать национальный праздник. Мне показалось, что в норвежский День независимости, без единого солдата, только школа марширует за школой, и народ радуется своему живому будущему. Что-то похожее мелькнуло после ГКЧП, когда Москва торжествовала победу «живого кольца». Но это не имело продолжения. И опять праздник надо искать, надо создавать его заново.

Обладание и причастие

Фантомы и реальность

Слово «фантомы» тиражировано в двух романах Александра Мелихова, опубликованных в «Новом мире» (в 2000 и 2001 гг.) и в его интервью Татьяне Бек: «Глумление над собственным отчаяньем» («Вопросы литературы», 2000, № 6). Мелихова действительно приводит в отчаянье, что все вокруг живут фантомами, иллюзиями, потом разочаровываются, гибнут; но жить без фантомов тоже нельзя — так он думает, — потому что реальность безотрадна, ничего не дает сердцу, потому что сердце живет только фантомами, иллюзиями. Эта вечная проблема очень заострилась, потому что картинки, мелькающие на голубом экране, резко увеличили власть фантомов (или, как их называли во Франции, «симулякров», симулированной реальности). Однако я думаю, что один очень важный фантом Мелихов упустил: сциентизм, веру во всемогущество точных наук.

Он убежден, что реальность — только то, что можно установить и доказать методами точных наук. От этого его трагическое мировоззрение. Все, что насыщает сердце, кажется ложью. Вера, надежда, любовь — всё ложь. Между тем, точность — функция логически корректных операций с банальными объектами мысли. Можно точно оперировать с математическими символами, с математическими моделями атома и т. п. Но чем сложнее, своеобразнее, неповторимее предмет, тем фиктивнее, фантомнее точность суждений о нем. «Вода в стакане прозрачна, вода в море темна, — писал Тагор. — У маленьких истин — ясные слова, у великой истины — великое молчание». Глубина таинственна. Ей можно причаститься, но ею нельзя владеть — ни физически, ни интеллектуально, никак. Нельзя определить, что такое Бог, потому что определить — значит ограничить, а Бог и другие символы высшей святости (Брахман, Дао) по ту сторону всех границ. И даже человека, которого мы каждый день видим, нельзя точно определить. В нем есть непости

жимая глубина, и он способен на неожиданное. Нельзя доказать, что Шекспир — великий писатель. Толстой с этим не соглашался. Л. Е. Пинский, заканчивая главу о «Короле Лире», сказал мне: «Единственное адекватное высказывание о “Короле Лире” Шекспира — это “Король Лир” Шекспира». Вопрос о том, кто такой Гамлет, четыреста лет остается открытым.

Значит ли это, что Гамлет, Лир, Макбет — фантомы? Ничего подобного. Это факты истории культуры, и если какой-нибудь мальчик сбросит их, вместе с Пушкиным, с корабля современности, то они не потонут в Лете. Пушкин и его «Медный всадник», Достоевский и его романы упрямее, чем любая теория. Но чем точнее мы их познаем, тем более соскальзываем на отдельные аспекты; целое постижимо только интуитивно-лично. Бердяев придумал для такого познания термин «трансубъективное». Субъективное, доведенное до реальности, которая глубже двойственности субъекта и объекта. На Востоке эту реальность называют недвойственным.

Я был очень горд, придумав свое определение: «точность — функция логически корректных операций с банальными объектами мысли»; а потом нашел нечто подобное у Хайдеггера. Машинопись русского перевода у меня затерялась, но смысл примерно такой: само стремление к достоверности гуманитарной мысли ведет к отказу от точных методов, которые вне своей области иллюзорны. Продолжаю эту мысль образом, пришедшим в голову: бесполезно искать темные глубины бытия под фонарем. Логика здесь не достигает цели. Достигает — причастие.

Тождество между реальностью и тем, что можно сосчитать, философски недостоверно. Оно оспаривалось с первых шагов греческой философии; можно сосчитать звезды в небе, атомы, болтающиеся в пустоте (или атомарные факты Бертрана Рассела). Но если только Единое есть, а многого не существует, — как полагал Парменид, — то как эту парменидовскую реальность считать? Целое не членится на единицы счета. Точные науки схватились за модель Демокрита, но полная достоверность ее никакими методами, ни точными, ни неточными, не может быть доказана. Демокритовская точка зрения нашла опору в науке, парменидовская — в мистике. С потрясающим блеском она была усовершенствована Шанкара-чарья: «Истина — Брахман, мир — это ложь, Атман и Брахман едины». В переводе на язык привычных понятий, истина — целостный мировой дух; факты, данные нам в ощущении, — только поверхность бытия, «покров, брошенный над бездной» (Тютчев); наш личный дух, на своей глубине, причастен мировому духу и неотделим от него.

Правда, Шанкара жил тысячу лет тому назад и не знал физики; но

Эрвин Шредингер безусловно физику знал, а между тем, в своей книге «Что такое жизнь с точки зрения физики», он обмолвился (кажется, в предисловии), что мировоззрение, лучше всего согласное с его наукой, это адвайта-веданта; иначе говоря, он был последователем Шанкары. Это не мешало ему изучать покров, наброшенный над бездной, и определять жизнь как отрицательную энтропию. В 1947 году автор оказался недосыгаем, но редакторам перевода книги Шредингера досталось. А я каждый подобный скандал запоминал: других источников информации у меня не было.

Еще один интересный пример — «Логико-философский трактат» Людвиг Витгенштейна. Я читал его в 1958 году и запомнил две мысли: «То, что вообще может быть высказано, должно быть сказано ясно; об остальном следует молчать». «Мистики правы, но их правота не может быть высказана, она противоречит грамматике».

Примерно с этого начал и Будда. Он утверждал только то, что можно ясно высказать: «существует страдание; у этого страдания есть причина; эта причина может быть устранена...». А на метафизические вопросы отвечал «благородным молчанием». Есть путь, ведущий к освобождению от страдания, от острого чувства неполноты поверхностной жизни: «Есть, о отшельники, нечто неставшее, нерожденное, несотворенное...» — а что это такое, поймете, когда достигнете его. Подходящих слов, чтобы описать «безымянное переживание»¹, люди не придумали. Даже слова «вечность» и «Бог» казались и Будде, и Кришнамурти слишком грубыми. «Мистики правы, но их правота не может быть высказана: она противоречит грамматике», противоречит логике, противоречит точной науке. Глубина открывается только мистика, пережившему «вечное теперь», и только тогда, когда он находится в состоянии причастия глубине.

Неудивительно, что путь Людвиг Витгенштейна повторил развитие буддизма. В поздние свои годы он изучал дзэнские парадоксы. Они давали ему надежду преодолеть тупик абсурда, ограничивающий прямые пути логики.

Для дзэнцев и наивный реализм, уверенный в полноте реальности дробного и двойственного, — фантом, и убеждение, что мир — это ложь, тоже фантом. А реально прорастание недвойственного в мир двойственного и дробного, в мир пространства, времени и материи. Высказано это было в Китае примерно тогда же, когда жил Шанкара, и точки так же коротко: «Пока я не знал святого учения, я думал, что гора есть гора. Потом, углубившись в учение, я понял, что

Выражение Кришнамурти.
гора не есть гора; но потом, еще глубже вникнув в учение, я понял, что

гора есть гора!». Последнее слово я, вслед за Зинаидой Александровной, произношу с ударением, чтобы немного помочь читателю. Если высказать эту онтологию по-христиански, то Иисус — не просто Сын Человеческий и не просто Бог; это Сын, единосущный Отцу и от века пребывавший в недрах Отчих. Дзэн придает тот же статус любой травинке, червяку, камешку, обыденному мигу жизни.

Оставаясь в рамках дзэн, можно пояснить китайский парадокс эпизодом из жизни Хакуина, знаменитого впоследствии японского старца (ХУП—ХУШ вв.). После долгого созерцания неразрешимой загадки, заданной ему для выхода из «помраченного разума» (из мира здравого смысла, из привычек логики), он с восторгом пережил реальность недвойственного, которое одно реально, и в праздничном настроении пришел к учителю. «Что же ты постиг?» — спросил тот (кажется, это был Сокэй). «Мир развалился! Вселенная распалась на части!» — завопил Хакуин. Сокэй схватил его за нос и несколько раз сильно подергал, а потом спросил: «Как же это случилось, что кусок вселенной оказался у меня в руках?».

Пинком сброшенный с крыльца, Хакуин упал лицом в грязь и с трудом поднялся, чтобы закончить аудиенцию церемонным поклоном. Не раз он приходил в отчаянье. Однажды, задумавшись, он остановился около крестьянского дома. Хозяин несколько раз кричал, чтобы назойливый нищий убирался прочь. Хакуин его не слышал. Тогда хозяин схватил метлу и ударил бонзу по голове. Слетела на землю соломенная шляпа. Но от удара что-то проявилось в уме. Полный тихой радости, Хакуин пришел к Сокэю. Тот взглянул на него — и не увидел на лице ни уныния, ни экстаза, а что-то новое (примерно то, что православные называют трезвением в благодати). Задав несколько вопросов, на которые Хакуин мгновенно отвечал, Сокэй благосклонно отпустил его и больше никогда не бранил.

Став учителем, Хакуин реформировал метод ритуальных загадок, разделив их на пять ступеней. На первой ступени ученик должен был постичь, что помраченный разум ложен (гора не есть гора). На втором — что помраченный разум тоже обладает известной реальностью (то, что ему довольно грубо показал Сокэй). На третьей — что максимумом реальности обладает прорастание целостной вечности в мир «рождения и смерти», в мир двойственности и дробности. На четвертой ученик преодолевает трудности языка парадоксов (не зная иероглифов, я это не могу объяснить); а на пятой учится бегло проходить через все предыдущие ступени, чтобы буква не убивала дух или, как говорят дзэнцы, — не путать луну с пальцем, указывающим на луну. Человек возвращается в будничный мир, но видит его таким, словно мир только что сотворен. «Как бабочка подлетает к едва

распустившемуся цветку, Бод-хидхарма говорит: „я не знаю!“», — писал один из дзэнских поэтов. Другой ему вторит: «Как это удивительно, сверхъестественно, чудесно! Я таскаю на кухню воду, я подношу дрова!». «Ваш обычный повседневный опыт, но на два вершка над землей», — сказал об этом академик Судзуки.

Дзэн не дает *обладания* тайной. Она остается безымянной — как у Лаоцзы: «знающие не говорят, говорящие не знают». Достигается другое: *причастность* тайне, не доступной слову. Причастность нельзя затвердить, как символ веры, нельзя передать по наследству и даже сохранить назавтра, если оборвется «вечное теперь». Остается только след в сознании, память о реальности — до следующего причастия.

Этого так или иначе добиваются все мистики. Разные вероисповедания — только разные пути к одной вершине горы, и временами они сходятся. Далай Лама XIV неожиданно сошелся во взглядах с апостолом Павлом, сказав (я это слышал из его уст в 1996 г.), что главное — любовь в сердце, а метафизические теории, буддийские и христианские, — дело второстепенное. А в христианстве парадоксален сам образ Бога, повешенного на позорной виселице, на виселице для рабов и прочей сволочи (римских граждан не распинали). Взгляните на это глазами человека древности; и вы воскликнете, как ап. Павел: «для иудеев соблазн, для эллинов безумие». И не только Тертуллиан мог сказать: «Я поклоняюсь виселице, ибо это позорно, я чту повешенного, ибо это постыдно, я верую, ибо это бессмысленно». Все попытки внести логику в отношения Отца и Сына вели к ереси, и в конце концов церковь приняла как догмат явный абсурд: Христос вполне Бог и вполне человек, и две природы, Божеская и человеческая, соединены в Нем неслиянно и нераздельно (то есть слиянно и неслиянно, раздельно и нераздельно, по ту сторону разума, абсурдно). А между тем, в иконе и мозаике я вижу цельный образ Христа, и нет в рублевском Спасе никакой разорванности, через которую надо прыгать, — только огонь, который входит в сердце и зажигает его.

Что это, фантом? Нет! Это причастие высшей реальности, открытой созерцателям и закрытой для людей, ведущих агрессивно несозерцательный образ жизни, как сказал о них Томас Мертон. И нельзя путать свет глубокой реальности с болотными огоньками фантомов.

Созерцание может прийти как углубление в видимое и как углубление в осязание, когда ребенок прижимается к матери и чувствует себя причастным тайне, дающей сердцу покой, и через воскресение созерцательного осязания между любящими, и через музыку, созданную человеком, умеющим созерцать звук, и вошедшую в умы, умеющие слушать, и через книгу (как это случилось с Андреем Блумом), и

даже через телевизор, когда мы смотрим на лицо *Антония* Блума. Рассуждение дает обладание отдельными истинами. Созерцание дает причастие единой Истине, Истине единства со священным.

Концепция Мелихова духовно наивна, она ничего не знает о «различении духов». Все фантомы для него одинаково фантомны. Одни увлечены фантомом Иисуса Христа, другие — фантомом Иосифа Сталина, и это (если строго следовать теории Мелихова) одинаково плохо (потому что ложно) и одинаково хорошо (потому что иллюзии наполняют жизнь видимостью смысла). Между тем, иногда за легендой открывается реальность, и именно она дает жизни смысл. А от некоторых фантомов Россию хорошо бы освободить. Приведу два примера, довольно сходных по своей структуре и в то же время — противоположных. Древняя сага, записанная в Исландии, бросила новый свет на убийство Бориса и Глеба. Варяги, выполнившие этот заказ, не имели оснований лгать. Они честно написали, что их послал Ярослав (Ярослав) убить своего соперника Борис-лейва (Бориса). Заодно убили и Глеба. Остальное можно понять по летописи. Ярослав свалил убийство на Святополка и убил его, как окаянного злодея. После этого, уничтожив братьев, он занял княжеский престол. Иноки, писавшие житие, либо не знали интриги, либо закрыли не нее глаза. И православные около тысячи лет, с XI по XXI в., чтут иконы Бориса и Глеба. То, что при этом сохраняется клевета на третьего страсготерпца, Святополка, и ложная слава действительного злодея, Ярослава, вероятно, имело какое-то значение для судеб Киевской Руси и ее церкви; но в данном случае важны убитые, а не убийца. Намоленная икона Бориса и Глеба — реальность. Их житие художественно правдиво, правда искусства здесь важнее, чем искажение некоторых фактов. Есть историки, которые считают Макбета неплохим государем. Есть историки, которые отрицают участие Годунова в смерти царевича Димитрия. Но для культуры важнее «Макбет» Шекспира, «Борис Годунов» Пушкина и житие Бориса и Глеба.

Другое дело — легенда о Сталине, которая творилась им самим, была расшатана после его смерти и время от времени восстанавливается. Здесь важен не Киров, а Сталин. Образ, запечатленный в стихах Ахматовой и Мандельштама, — это образ жуткого тирана. И таким он действительно был. Вместо Кирова мог быть Орджоникидзе или еще кто-то, но чрезвычайно важно признать факт, установленный Комиссией Шверника⁴, что Сталин заказал Кирова, а потом свалил это на Зиновьева, Каменева и еще на 20 миллионов человек. Я уже несколько раз повторял число жертв Большого террора, по

⁴ Созданной после XX съезда для расследования сталинских преступлений.

официальной справке, данной КГБ накануне XXII съезда: за 6,5 лет, с 1 января 1935 года по 1 июля 1941 года, были арестованы 19 840 000 человек, из них семь миллионов расстреляны; остальные 13 000 000 пошли в лагеря, из которых немногие вернулись.

Все советские официальные цифры спорны. Был план (производства сахара или железа, раскулачивания, арестов, расстрелов), а выполнение плана подгонялось под плановые заседания. Отчет, представленный Председателем КГБ Шелепиным в Комиссию Шверника, не составляет исключения. Цифры могли быть завышены, как во всех советских отчетах, но таковы были цифры в отчете, который член Комиссии Шверника Ольга Григорьевна Шатуновская держала в руках. Я дружил с Ольгой Григорьевной четверть века и не сомневаюсь в ее искренности. А 20 миллионов или, может быть, «всего» 17—18 — какая разница? Порядок цифр в советских отчетах примерно сохраняется. Вместо 15 миллионов может быть 20, но из двух миллионов (цифра, которую идеолог партии Сулов оставил для истории) делать 20 никто не решался (см. *Померанц Г. Следствие ведет каторжанка*. М., 2004).

Есть участники войны, для которых фантом Сталина — часть жизни; без этого фантома им трудно жить. И так же чувствуют многие генералы. И многие простые люди, разочарованные бандитским капитализмом, возвращаются к этому фантому. Хотя то, что Сталин, погубив несколько миллионов человек в начале войны, сумел научиться на своих ошибках, сменить команду, разбитых немцами, на других, более толковых, — не очень большая заслуга. Умные люди учатся на чужих ошибках, дураки — на своих. Сталин учился как дурак, гением он был только в провокации и интригах, а платили за его ошибки мы, убивали миллионами нас и в лагеря отправляли не Сталина, который сдал в плен миллионные армии, а выживших в плену солдат.

И то, что он создал хозяйственную систему, державшуюся на терроре, — *катастрофический* успех. Успех, основанный на превращении инициативных свободных людей в рабов ленивых и лукавых (Астафьев на примере собственного отца показывал, чему учит лагерь). И как только, после смерти Сталина, террор стал слабеть, — система, шаг за шагом, развалилась. Вырастив в своем чреве только бандитов и теневиков, союз которых еще при Брежневе стал властью в Средней Азии и Закавказье, а после окончательного краха аппарата террора овладел почти всей страной.

Поэтому фантом Сталина — болотный огонек, и нельзя позволить сталинистам перечеркнуть результаты расследования, проведенного Ольгой Григорьевной Шатуновской, единственным реальным деятелем Комиссии Шверника. Хотя у меня нет надежды дожить до

торжества правды, не подтвержденной ни одним документом, ибо все улики уничтожены или подменены. Между тем, если освободиться от власти фантомов, оба случая — с убийством Бориса и Глеба и с убийством Кирова — сравнительно просты. В истории Бориса и Глеба важнее убитые, а легенда в самом главном не лжет. В другой истории — важнее убийца, и официальная легенда лжет в самом главном. К сожалению, большинство случаев чрезвычайно запутано — и в священном, и в мирском предании. Откровение пробивается сквозь дебри языка, через ограниченность представлений о мире и окутано облаком легенд. А науки, едва прикоснувшись к человеку, обрастают фантомными понятиями: развитие, прогресс...

Я уже насколько раз пересказывал, что Шишков думал о слове «развитие», введенном Карамзиным как калька с французского *yeu-Горретеп* берем веревку и расщипываем ее по волокну. То есть, говоря ученым языком, развитие — синоним дифференциации. Но при этом (чего Шишков не понял) протаскивается аналогия с развитием зародыша и ребенка, то есть развитием, связанным с пропорциональным ростом. Без ясной постановки вопроса — как в обществе обеспечить *пропорциональный* рост. Незаконно предполагая, что общество справится с этим так же хорошо, как природа. А между тем, у природы здесь очень много хитростей, поворотов, игры с гормонами и всякими другими способами задерживать одно, ускорять другое и т. п.

Чтобы смыть идеологическую окраску, освободиться от ложного отождествления развития с цивилизацией и от презрения к «слабо развитым», «отсталым», к задержкам развития — по-моему, необходимо, — стоит отложить в сторону слово «развитие» и вернуться к слову «дифференциация». Это честный термин. Совершенно ясно, что он не охватывает *всей* реальности. Дифференциалу противостоит интеграл, дифференциации — интеграция. И сразу почти очевидно, что за скачком дифференциации надо подумать об интеграции, иначе все развалится; и нельзя спрашивать, что лучше, дифференциация или интеграция? Они обе лучше, но в паре, как вены и артерии. Но о дифференциации говорят только в ученых трудах, а в публицистику пошло слово «развитие». И тут сразу возникает мнимая, фантомная ясность: развитие — это хорошо, а задержка развития — плохо. И кажется возможным прямолинейное развитие, развитие, развитие — все скорее и скорее. Возникает тождество развития и прогресса, движения от плохого к хорошему, движения в бесконечность по одной и той же дороге. Между тем, с экологической точки зрения очень интересен пример Тибета, который создал высокую духовную культуру при полной социальной и экологической стабильности, при полном отсутствии кризисов и угрозы краха. Правда, остается

неясным, сумеет ли культура Тибета выжить в нынешних условиях. Но выступления Далай Ламы XIV больше мне дали для понимания XXI века, чем выступления лидеров США, где до сих пор в ходу понятие «прогресса», чистый фантом, выпаренный из «развития» за счет отбрасывания всех элементов трезвой мысли, которые сохраняются в социологии развития.

Фантомная наука мешает понять, что за эпохами накопления частностей необходимо следуют эпохи торможения технико-экономического развития и переноса акцента на духовное развитие, на восстановление *причастия* глубинам бытия, на связывание дробности Божественным узлом, как это назвал Сент-Экзюпери.

Знание - сила и знание - причастие

В начале Нового времени Фрэнсис Бэкон написал прославленные слова: «знание — сила». На первый план вышло знание, дающее силу, выгоду, очевидную для каждого, дающее информацию, которая обменивается на власть, богатство, физическое здоровье и т. п. Знание, расширяющее душу, отступило на второй план. К знанию — силе вела наука, основанная на членении мира по кускам, на строго очерченном эксперименте и логике. К знанию, расширяющему душу, наука не вела. Ненаучное знание постепенно теряло цену и в конце Нового времени Карнап написал, что суждение «Сикстинская мадонна прекрасна» — не более чем междометие, нечто вроде «ах!». Но если значительность прекрасного, если чувство тайны в высокой красоте — эмоциональный всхлип, то и совесть — это химера. Оба высказывания принадлежат одной эпохе, концу Нового времени, которое сегодня тянется уже после своего конца и называется постмодернизмом.

События 11 сентября были встряской, заставившей осознать возможность гибели того, что внутренне пусто. Цветущий облик Дориана Грея вдруг оказался черепом, скалившим зубы. Рухнули не только дома, рухнули символы. Это чувство испытали многие. Пьер Шперри, деятель общества «Инициатива перемен», с которым я переписываюсь, собрал поразившие его отклики. Привожу немецкий текст в русском переводе, оставляя в подлиннике английскую цитату: «Одна из передач БиБиСи, в анализе духовной ситуации Америки, говорила о конце „зкаПо“» 80сюду“ (поверхностного общества, переводит Шперри) и о внезапном интересе к книгам глубокого содержания в книжных магазинах. В Германии два известных участника движения 1968 г. неожиданно заговорили о необходимости

пробудить духовные силы Европы. Один из них, скромно назвавший себя „религиозно немзыкальным”, сказал даже о конце „секуляризованного века“».

В этот век террор менялся вместе с веком: росла техника, падала нравственность. Долгое время борцы за свободу убивали только тиранов. Обыватель мог спать спокойно. С середины XX столетия начался террор против кого попало. Видимо, пример гитлеровского геноцида не давал спать. Ирландцы стали истреблять англичан, арабы — евреев. Это не продолжение погромов, не стихийные выступления темной массы. Террор — обдуманное действие образованных людей, объединенных и зажженных идей, во имя которой все позволено; съеденных идей, как говорил Достоевский; съеденных «*тотальной* идеей», как это назвал Эммануэль Левинас, исследователь антиэтики тоталитаризма. С тех пор как можно говорить об интеллигенции, террор был действием политически бессильной интеллигенции против власти, мощь которой делала безнадежным восстание. При этом русские террористы пытались создать *этику* террора: отымая чужую жизнь — расплачиваться собственной, не пытаться бежать с места покушения, щадить женщин и детей. Сомнительные католики ирландцы и сомнительные мусульмане женщин и детей не щадили.

Одновременно в Европе и в Японии возникли анархические группы, не имевшие своей целью удар по конкретной стране: «красные бригады», «красная армия» и др. Их террор был направлен против цивилизации в целом. Первая волна захлебнулась, но продолжением ее можно считать действия антиглобалистов. Психологию террора против цивилизации можно понять по «Запискам из подполья» Достоевского: я понимаю, говорил себе подпольный человек, что здесь стена, законы развития, логика естественных наук и т. п., но я эту стену и эту логику не принимаю. Пусть я один против всего мира — все равно, мне хочется дать пинка хрустальному зданию. Известное число таких «подпольных людей» могло встать под знамена Бен Ладена, но не они составили костяк движения. Детонатор анархического террора взорвал бомбу мусульманского фанатизма. Начался другой этап истории, где солдаты — фанатики, а генералы используют их для глобальной политической цели: возрождения и всемирного торжества халифата.

На первый взгляд, эта цель нелепа. В течение XX века империи рушились одна за другой. Казалось, что окончательно победил европейский путь развития: соревнования родственных стран. На этом фоне идея халифата выглядела анахронизмом. Но после распада Советского Союза Америка перестала быть лидером коалиции «свободного мира», она стала сама имперской силой, центром

электронно-финансовой мировой империи. Идея империи снова стала носиться в воздухе, и воскресли старые призраки, припомнились другие проекты имперского мирового порядка.

Азия — это зона субглобальных империй: китайской, индийской, мусульманской (а до ислама — римско-византийской). Каждый проект мирового устройства удалось осуществить неполно, в меру возможностей передвижения — пешком, на лошади, на верблюде. Но так или иначе совершен был выход за рамки первых, грубо сколоченных царств, резко уступавших племенам в устойчивости.

Племя держалось причастием каким-то общим символам глубины, какой-то общей для племени тайне. В ранних империях власть грубо была вытащена наружу, оторвана от духовных корней. Ее пытались навязать побежденным племенам, но это плохо получалось. Возникала, в больших городах, детрибализованная масса. К этой детрибализованной массе, к ее тоске по общей всем символике обратились мировые религии, и умные властители (порою очень плохо разбиравшиеся в богословии) поддержали их. С тех пор возникли культурные миры, более прочные, чем этносы, миры, способные ассимилировать почти любые племена. Зримыми приметамы культурного мира стали общее Священное Писание, общий язык Священного Писания и общий шрифт, связанный с эстетикой пластических искусств. По своим возможностям, каждый культурный мир мог стать глобальным. В Средние века самым активным был самый молодой, мусульманский проект мироустройства. Потом его обошел Запад, выйдя в океаны и создав новый уровень и новый характер глобализации, колониально-торговой.

Успех Запада был связан с неудачей всех попыток восстановить здесь империю. И в Китае, и в Индии, и в мире ислама империи разваливались, но потом восстанавливались, опираясь на общее пространство информации и общие символы причастия священной глубине. На Западе все эти условия были, а империя почему-то не получалась. Бросается в глаза противодействие папства, а потом коварного Альбиона, сказывался рост вольных городов, тяготевших к античной свободе. В конце концов, сложились нации, сложилось соревнование культур нескольких стран, прерываемое войнами. Эта неустойчивая система имела свои слабости (которыми успешно воспользовались турки). Но примерно с XVII века выгоды вышли на первый план. Развитие науки и техники, центр которого кочевал из страны в страну, дало Западу сказочные преимущества, и отдельная европейская страна оказалась сильнее огромной азиатской империи. Англичане успешно вели опиумные войны. Индия вся попала под их власть. Этот ход истории раньше других понял Петр I, потом за ним

потянулись японцы, с опозданием — другие. Тот, кто не входил в европейскую коалицию, попадал в число колоний и полукolonий.

Развитие было не простым. Христианство поколебалось, но устояло. В англосаксонских странах сложилась амальгама из религии и светского Просвещения, которая лет двести поддерживала нравственность по сю сторону Суэцкого канала и отбрасывала ее по другую сторону. Американские колонисты крепко верили в Бога и платили доллар за скальп индейца. Принимались к оплате и скальпы женщин, подростков. Росло богатство в физических единицах и в единицах полезной информации. Росла озабоченность сохранением и приумножением богатства.

Антоний Блум, в одной из своих бесед, приводил очевидный пример: рука, держащая часы, связана часами, становится непригодной ни для чего другого. Так и с информацией. Ум, перегруженный информацией, становится неспособным к созерцанию. Человек, сидящий за рулем, должен помнить множество вещей. Нарушение правил грозит катастрофой. Пешеход, разжигающий костер в лесу, больше видит, чем турист, облетевший земной шар. Турист много увидел, но меньше созерцал. Может быть — ничего не созерцал. Он отвык созерцать, и восстановить эту привычку не просто. С потерей созерцания теряется и причастность Богу, и слово «Бог» потеряло значение. Бог умер.

Гаснет интуиция красоты и нравственная интуиция. «В конце концов, все это прекрасная физика», — сказал один из создателей атомной бомбы. Василий Гроссман был прав, заметив связь между экспансией научной мысли и экспансией бесчеловечности⁵. Тип бизнесмена террора — не национальная особенность Германии. Это предел, к которому вел общий нравственный распад. Александр Тимофеевский-старший написал прекрасное стихотворение о распаде духовного ядра личности. Повсюду между человеком и человеком вырастает пропасть. Другой перестает быть ближним, становится помехой, которую хочется устранить, если она мешает.

Философия несколько раз пыталась остановить распад. Бубер провел различие между отношением Я-Ты и отношением Я-Оно (смешанным в научном делении на субъект и объект). Марсель перевел это на язык французской мысли как противостояние вспомогательных глаголов «быть» и «иметь», как угрозу «быть» при разрастании «иметь». Фромм ввел термины Марселя в социальную психологию. За всеми этими словами просвечивает одна тревога: идет

⁵ Замечательно, что говорит это у него ученый, Штрум, и говорит очень обоснованно. Чувствуется, что у Гроссмана были знакомые ученые, разделявшие его тревогу.

упадок причастия, вытеснение причастия обладанием. Упадок причастия разрушает культуру.

Слово «обладать» начинает употребляться в сфере, к которой оно раньше не прилагалось. Мне это бросилось в глаза в новом переводе Евангелия: «Иосиф еще не обладал Марией». В Библии так не говорили. Иногда просто описывалась физическая сторона дела: Иуда вошел к Фамари, и она зачала во чреве. Инициатива здесь принадлежала Фамари, она хотела войти в состав народа Израиля и добилась этого, родив детей от Иуды. В более важном эпизоде, в символической истории Адама, он познал Еву и ему велено «*прилепиться* к жене своей». Познание-прилепление наивно выражает идею причастия, а не обладания, причастия друг к другу и друг через друга — к воле Божьей, создавшей мужчину и женщину такими, какие они есть. Обладание, вторгаясь в эту область, все портит, все разрушает. Человек используется, а потом отбрасывается. И это происходит в семье, традиционном узле прилепленности, привязанности, любви.

Теряется потребность в тишине и глубине. Теряется потребность в созерцании целого, без заикленности на делах, без заикленно-сти на исторически великих делах, съедающих его призраком величия. Теряется чередование выхода на поверхность, в мир дела, и возвращения на глубину, в созерцании красоты, в любви.

Когда я поднимаюсь на гору, мой ум освобождается от мусора забот. Он должен быть совершенно пуст. Иначе не будет причастия высоте. От высоты, может быть, родятся новые мысли, но важнее само чувство причастия, расширение сердца до вселенной. Когда я созерцаю лики, созданные Рублевым, я не приобретаю информацию, я причащаюсь огню в их глазах, я загораюсь от них, и в этом огне сгорает на какой-то миг то, что меня отделяет от Бога. На выходе из созерцания иногда хочется что-то записать. Но это будет потом.

Чтобы быть, надо причаститься бесконечному бытию, большему, чем бесконечность пространства, времени и материи. Для этого сердце должно быть незащищенным и готовым воспринимать целое в любом его повороте, в любом знаке — через глаза, через уши, через кожу.

Мы не можем не выходить на поверхность, где царит забота, где мы обороняемся от опасности, захватываем и обладаем. Но можно идти на базар, покупать провизию, варить обед — и не забывать Бога. Об этом говорил суфийский шейх, которого я уже несколько раз цитировал. Постоянная молитва православных подвижников тоже не напоминание Богу о себе, а себе о Боге. Хотя бы напоминание. Хотя бы вспоминать, когда не удается быть. И осознавать как грех свой отрыв от глубины.

Равновесие между выходом на поверхность и возвращением в глубину редко дается и легко рушится, но если есть стремление, то будут и часы, когда время останавливается, будут и паузы созерцания, вошедшие в ритм жизни. Пусть пока только у меньшинства. С меньшинства начнется общий сдвиг.

Возрождение бытия нельзя вести законом, нельзя начать с уровня политики, нельзя обосновать опросом населения на улицах. Оно начинается с тех, кто мог вместить эту задачу.

Я хотел этим кончить, но потом мне попала на глаза статья Мертон «Поэзия и созерцание». Вот несколько выдержек из нее:

«Одно из наиболее важных и обнадеживающих знамений времени — это беспорядочные, анархические, но глубоко обоснованные попытки небольшого меньшинства людей восстановить какой-то контакт с их собственными внутренними глубинами, открыть заново душевную свежесть и подлинность и идти от этого не только к переживанию реальности Бога, но к диалогу с духом других людей. Перед лицом нашего почти безнадежного отчуждения мы пытаемся вернуться к самим себе, пока еще не поздно. Один из наиболее выдающихся примеров этой борьбы можно видеть в почти символической карьере Бориса Пастернака, чье творчество последних лет можно назвать, в широком смысле слова, созерцательным» (Тьота§ Мейоп геайег. N. У., а. а., 1989, р. 401).

«Созерцание соотносится с искусством, богослужением, с любовью к ближнему; все это благодаря интуиции, направленной вглубь, прорывается в область, превосходящую уровень повседневных забот. Или, верней говоря, посреди обыденной жизни люди ищут и находят новое, глубиннейшее и этим глубиннейшим преобразуют всю жизнь. Искусство, богослужение и любовь проникают к источнику живых вод, текущих из глубин, где человеческий дух един с Богом, и из этих глубин черпают силу творить новый мир и новую жизнь; созерцание объединяет их там и крестит в горних водах» (с. 402).

«Этот переход от внешнего к внутреннему не имеет ничего общего с волевой сосредоточенностью или самоанализом. Мы переходим от разбивки на предметы к знанию через интуицию и сотворчество с природой. Большинство людей никогда не доходят до подлинно внутреннего — убежища молчания и мира, где собраны воедино различные формы деятельности ума и воли, собраны в одно напряженно спокойное и одухотворенное действие, которое намного плодотворнее, чем усердие разума, разрабатывающего внешнюю реальность своими анализами и силлогизмами» (с. 409).

В этом действии духа искусство — одна из первых ступеней. «Эстетическое переживание, — продолжает Мертон, — вводит нас во

внутреннее святилище души и ее невыразимую простоту. Ибо эстетическая интуиция, прорываясь сквозь объективность, „видит“, отождествляя себя духовно с тем, что она созерцает... Самый факт хорошего вкуса художника или поэта — вкуса, неотделимого от его дара, — помогает избежать соблазнов, искажающих религиозное переживание еще до того, как оно укоренится и возрастет в душе» (там же). Мертон признает, что в искусстве есть свои соблазны, но созерцание уравнивает их, и не нужно зарывать в землю свой талант.

Эстетическое потрясение — одно из тех потрясений, которые разрывают пелену временного и открывают лицо вечности. Мне кажется, что без развития чувствительности к красоте — в природе, в людях, в искусстве, в создании икон и в созерцании их — духовная жизнь теряет часть своей плоти. Так же как без открытости переключке двух сердец, неотделимой от переключки с сердцем мира.

Религиозная музыкальность

Зигзаги постсекуляризма

Юрген Хабермас в речи на Франкфуртской книжной ярмарке 14 октября 2001 г. произнес слова, разбежавшиеся на десятки откликов: «Сотворенность образа Божия в человеке будит интуицию, которая... нечто говорит и религиозно немзыкальному человеку». Сказано было в контексте спора о допустимости клонирования, но до меня эти слова дошли в одной из оценок событий 11 сентября: «Я сам человек религиозно немзыкальный, но думаю, что наступил конец эпохи секуляризма» (из письма моего корреспондента Пьера Шперри, выбравшего типичный отклик, не назвав фамилию автора). Слово «немзыкальность» было подчеркнуто и в краткой журнальной информации о речи Хабермаса (мне прислали два таких текста). Видимо, оно выразило что-то, носившееся в воздухе постхристианской и постсекулярной культуры.

Современный Запад религиозно немусыкален. Это очень точная самохарактеристика. О ней можно сказать, как Бродский о бабочке: «Ты больше, чем ничто». Сознание своей немусыкальности по-своему, негативно, отсылает к музыке и даже позволяет кое-что сказать о музыке. Сознание своей ограниченности плодотворно. Хабермаса оно вдохновило перевести религиозный аргумент против клонирования, начисто отвергаемый сциентизмом, на язык этики: человек не вправе определять судьбу сознательного существа, не спрашивая его согласия.

Религиозно немусыкальным человеком был, по-моему, Макс Вебер, но он блестяще разработал некоторые проблемы религии: расколдовывание мира монотеизмом, роль пророческих движений, роль протестантской этики в генезисе капитализма. Когда сознаешь свою глухоту, можно ее компенсировать — зная границу, где компенсации недостаточно, зная свою запретную область. Вебер сознавал, что «религиозных виртуозов» он не понимает. Только название

того, что он не понимает, выбрано неудачно. Virtuозность — совершенство формы, а религиозная одаренность часто беспомощна по форме (например, у Сони Мармеладовой, у Хромоножки, вообще у юродивых). Тут важно совершенство слуха, и термин, предложенный Хабермасом, несравненно лучше. Героиня романа «Красное и черное», мадам де Реналь, — никакой не виртуоз, просто религиозно музыкальная женщина. Стендаль религиозно немзыкален, но интуицией художника он угадывает переживания созданного им и полюбившегося ему персонажа. Так Чехов угадывал своего Архиерея, своего Студента. Любя, мы угадываем Другого, входим в его душу. Так неверующий может любить Христа. Но центральное событие религии, мистический опыт «встречи» надо пережить непосредственно, лично, своим собственным сердцем; или в собственном сердце найти что-то родственное встрече: «это как чувствовать маму с закрытыми глазами», — сказала шестилетняя девочка.

Первый шаг к пониманию музыки, которую не понимаешь, — сознание, что людям она дает великую радость и открытость души к неведомому опыту. Я читал, как Стендаль упивался Гайдном, я читал о капельмейстере Крайслере, в доме которого жил кот-писатель Мурр, и мне хотелось испытать нечто подобное. Но начиная слушать симфоническую музыку, я через две минуты терял ее нить. Пришлось выбрать окольный путь, ходить в оперу, слушать вокалистов, и только в лагере, окунувшись в белые ночи, я научился понимать беспредметное искусство, искусство ритмических переливов неведомой силы, и уже от переливов света перешел к звуку, к симфониям, которые передавались по радио темными зимними ночами. Меня подталкивала тоска, подобная тоске богооставленности, — по свету, по культуре, по Москве, откуда передавали Чайковского. Я и еще один заключенный выхаживали симфонии с начала до конца при тридцатипятиградусном морозе. Остальные сидели в теплых бараках.

Так же долго — от скачка к скачку — преодолевалась моя религиозная немзыкальность. Только сорока лет от роду я, неожиданно для самого себя, в порыве любви, не имевшей ничего общего с церковностью, стал молиться о провале, вместе друг с другом, в вечность — и *почувствовал*, что целостность и вечность не менее реальны, чем пространство и время; просто почувствовал, как свет в груди, погасивший слабый внешний свет. Дальше пришло (очень не сразу) понимание, что вспышка экстаза — только предвестие ровного внутреннего света, как бы горящего в очаге, согревая твой дом, а не зажигающего стены, оставляя после красивого пожара пепел. Это уже особая тема — тема соблазнов на пути в глубину (безумие, вырождение любви в ненависть и т. п.). Скажу только, что так называемое «трезвение» подвижников

— это равновесие всплеск внутреннего огня и смиренного разума, дающего ровное пламя, навсегда изгоняющее холод скуки.

Великих созерцателей, способных научить, немного (я писал об Антонии Сурожском, Мартине Бубере и Томасе Мертоне), но религиозная музыкальность — дело обычное и доступное каждому. Ее так же можно развить, как «понимание» музыки Баха (понимание в этом контексте значит примерно то же, что у Китти и Левина, когда они объяснились без слов). К сожалению, перегрузка интеллекта разрушает природную музыкальность ребенка. Так называемые дикари часто музыкальнее нас, слышат то, что мы не слышим, и передают то, что расслышали, в своих мифах. Но упадок духовной простоты и цельности не неизбежен и при некоторой одаренности, воле и настойчивости может быть преодолен лично, не дожидаясь исправления общества. Иногда отзывчивость к духу целого сохраняется в какой-то области целым народом (например, японское чувство цветущей вишни как иконы). Но народные обычаи сравнительно поверхностны. Глубинная интуиция — личный дар. Мышкин не может объяснить, почему и как в каждом дереве он чувствует присутствие Бога, заглушенного в человеке, и, созерцая дерево, причащается Богу. И никто вокруг не понимает его слова: «Разве можно видеть дерево и не быть счастливым?».

Расширение пространства войны⁶

6 любви тысячи оттенков. Греки, как я уже говорил, превратили эти оттенки в предметы и поделили любовь на *агапе*, *филе* и *эрос*. Христиане сбросили эрос в преисподнюю, к чертям, и довели агапе до неба. А постхристианская культура стала бунтом раскованного эроса. По-моему бесполезно возвращаться к тому, что однажды уже пало. Любовь без эроса безусловно возможна (любовь к незримому Богу, к иконной красоте природы). Но как единственный идеал она сразу становится надрывом, и не один отец Сергей споткнулся на этом пути. Меня привлекает к себе расширение пространства любви, стирание граней между личным и вселенским, между мирским опытом и религиозным поиском. Я сознаю, что слова мои недостаточно ясны, но они постепенно разъясняются.

Хочется повторить и развить мысль, уже высказанную: личность можно описать как залив некоторого мыслящего и чувствующего океана. У залива индивидуальные очертания берегов, но он открыт океану, он одно с океаном. Одно — до тех пор, пока работа мысли

не перегораживает горловины залива. С годами перемычка становится прочней и ее прорывает только потрясение. Если прав Тиллих (а я думаю, что он прав), то все эти потрясения входят в область религии — при разной степени близости к ее центру, но входят, так или иначе входят. Религиозное Тиллих определяет как предельно глубокое в любой области культуры, безразлично, связано ли это напрямую с культом или только переключается с ним.

Приведу пример из рассказа Светланы Эминовой «Главная любовь жизни». «За ночь забыла — простила — всех своих врагов. Так вот что значит: “Иисус — это любовь” и “полюбите врагов своих!”. Будьте в любви, и ничто не покажется неразрешимым.

Каждый прохожий — мил. Все слабы — всем нужна. Сегодня я всех сильней. Обопритесь о мою улыбку. Кто тут несчастный — в записной книжке? Распоряжайтесь мной — ваша!

Расслабленность доброты. Понимаю Христа. Приходите ко мне, враги, — я прощу вас. Приходите, озлившиеся, — исцелю любовью своей. Распните — покорюсь. Протеста не будет — душа, растворенная в добре, не способна протестовать. Я сливаюсь со всем, к чему прикоснусь. Я — плывущее облако добра» (Эминова С. Я не понимаю людей. М., 2002, с. 268). Чувствуется, что христианские термины для рассказчицы непривычны, но на взлете чувства она не может без них обойтись.

На предельной глубине чувства рушатся все границы и переключка двух сердец из плоти и крови становится переключкой с сердцем мира, любовью к сердцу мира и через него — с каждым человеком на земле, с каждым живым существом. Томас Мертон пережил это во сне и в видении. Сперва пришел сон, о котором он писал Пастернаку; во сне он сидит «рядом с еврейской девушкой лет четырнадцати-пятнадцати, и вдруг она с глубокой, чистой любовью обняла меня. Я был потрясен до глубины души. Оказалось, что зовут ее Притча, и я подумал, что имя это — очень простое и красивое. Еще я подумал, что она — из рода св. Анны. Мы заговорили об ее имени, она им несколько не гордилась, подружки смеялись над ним. Я сказал ей, что оно прекрасно, и на этом сон оборвался... . Вот Вы и посвящены в скандальную тайну монаха, влюбившегося в девушку, да еще еврейскую! Чего и ждать в наши дни от монахов... перевелись подвижники былых времен».

Сон этот, продолжал Мертон, видимо, связан с тем, что произошло несколькими неделями позже, 18 марта, в Луисвилле, где он был по издательским делам. «Я шел по оживленной улице и вдруг увидел, что каждый человек — Притча, все они светятся ее красотой, чистотой, застенчивостью, хотя не знают, кто они на самом деле, и стыдятся

своих имен — ведь над ними часто смеются. Они не ведают, что каждый из них — то бесценное Чадо Божие, которое от начала мира играет пред Его лицом» (МеАоп гейег. N. У., 1989, р. 206. — Далее страницы указываются по этому изданию).

О том, что произошло с ним тогда, Мертон писал в дневнике на следующей же день. Позже этот текст вошел в составленные из дневниковых заметок «Догадки виноватого наблюдателя»:

«В Луисвилле, у перекрестка 4-й и Ореховой улиц, в самом центре торгового района, я вдруг понял, что люблю всех этих людей, что они — мои, а я принадлежу им, что они — не чужие, хотя и совершенно разные. Я словно пробудился от сна, где жил сам по себе, отделенный от всех, в особом мире, где царят отречение и мнимая святость. Нельзя быть святым, живя отдельно от других. Это — сон, иллюзия. ... Я чуть было не засмеялся от радости. Какое облегчение, какое счастье — освободиться от мнимых различий! ... Как хорошо быть одним из людей, хотя род человеческий занимается всякой чепухой и делает страшные ошибки. А все-таки Сам Бог прославил его, став Человеком. Я — один из людей! Подумать только, такая заурядная мысль потрясла меня, словно выигрыш на каких-то космических бегах. ... Людям никак не расскажешь, что они светятся, как солнце. ... Чужих нет! ... Если бы только мы все время видели друг друга, прекратились бы войны, ушли ненависть, жестокость, алчность. ... Нам было бы очень трудно не упасть друг перед другом на колени. ... Врата небесные — повсюду» (р. 207).

Заговорив о Мертоне, трудно остановиться. Хочется рассказать, что его любовь, созревшая в душе, кристаллизовалась наяву, как перенасыщенный раствор, в который брошена веточка (беру образ у Стендаля). В предисловии к русскому изданию биографии Мертона¹ это осуждается: «Не все в Мертоне было безупречно, — пишет Форест. — Узнав о нем больше, вы увидите, что и он ошибался. На первом курсе в Кембридже он прижил внебрачного ребенка, в конце жизни, лёжа в больнице, влюбился в медсестру. Это случилось вскоре после того, как аббат позволил ему жить в скиту. Оказавшись вне общего монастырского ритма, Мертон стал как никогда прежде уязвим для искушений. В первые годы монашества он идеализировал свой монастырь, а позже порывался найти “лучшее” убежище (слово лучшее в кавычках!) и в письмах, говоря об аббате и братьях, порою не мог сдержать едкого сарказма».

Все, что ломает шаблоны, свалено Форестом в общую кучу. Факты, изложенные в книге, опровергают его. Мертон вспоминает

с горечью поверхностные связи своей юности, корит себя за юношеский эгоизм, но никогда не осуждает глубокой любви, пришедшей к нему в последние годы жизни. В эссе «Любовь и жизнь» он пишет: «Мы созданы для любви. Смысл жизни — тайна, и открывается она в любви, через того, кого мы любим» (в той же биографии Фореста на с. 101).

Это можно отнести к любой любви, не только запретной для монаха, но и к ней также. Для предельно глубокой любви нет внутренних запретов. Я думаю, что самый образ Божий в мужчине окрашен его мужественностью, а в женщине ее женственностью, и тяготение друг к другу не противоречит тяготению к Богу. Андрогинная молекула любви ближе к Богу, чем каждый любящий по отдельности. Остается противоречие между любовью и отрешенностью, но здесь можно вспомнить замечание Пикара, которого Мертон цитирует в «Мыслях уединенного»: «Мы созданы не для того, чтобы ликвидировать противоречия, а чтобы жить с ними», находить в глубине единство того, что на поверхности сталкивается. После одного из последних свиданий с Марджи Мертон пишет в своем дневнике: «Я могу жить только один. Одиночество — мой привычный климат. То, что мне разрешено было испытать такое полное единство, такую гармонию, такую любовь с другим человеком, с ней, — просто удивительно. Людей я люблю, но больше часа мне с ними трудно. С ней я был часами и не уставал, это чудо; но я все равно отшельник» (р. 162).

Впоследствии Мертон принял формулу, предложенную Рютер, женщиной-теологом, с которой обменялся несколькими письмами: отрешенность и созерцание перестают быть профессией, становятся частью большого ритма жизни. Но к этому ритму надо было заново идти каждый день, и Мертон шел к нему все свои последние годы.

Не все внутренне возможное было возможно внешне. Приходилось покориться традиции, которая в целом была еще живой и не допускала, до поры до времени, грубой ломки, открытого бунта. «Дорогая моя, что-то очень глубокое в нас велит нам сдаться, — писал он Марджи, — но не так, как сдаются, когда одежда падает на пол и тела принимают друг к другу. Насколько поразительней сдаться нагоде любви и такому единению, когда между нами нет преграды иллюзий».

Что Мертон имел в виду, говоря о падении преграды иллюзий, не вполне ясно. Возможно, растворение человеческого в Божьем. Во всяком случае, он не считал свою любовь ошибкой, слабостью. Стихи, посвященные Марджи, были им переданы в архив; они опубликованы через 25 лет после его смерти. «Пусть знают и это, — писал Мертон, — ведь здесь часть меня самого, моя потребность в любви, мое

одинокость, моя внутренняя разделенность, моя борьба, в которой уединение и “спасает”, и мешает. Если оно спасает, то, видимо, не вполне» (р. 165—166).

Люди, подобные Мертону, не устают только от собеседников, с которыми можно молчать вдвоем, и такие собеседники становятся родными — иногда как супруги, иногда — как братья и сестры, как нерожденные дети. Полная преданность Богу не мешает частным привязанностям. Она исключает только поверхностные связи; и именно этот внутренний запрет открывает дорогу предельной глубине личного чувства.

Опыт Мертона повторил опыт истории. Древние греки не знали глубокой любви к женщине. Только в Средние века культ Пречистой Девы стал перекликаться с культом далекой возлюбленной, с рыцарским поклонением даме. Один из памятников истории любви — переписка Абельяра с монахиней Элоизой. Мертон и Марджи в чем-то подобны этой паре. Глубокая любовь мужчины и женщины невозможна без скрытого или явного религиозного поклонения, сдерживающего эрос. Пушкин почувствовал это в своем Бедном рыцаре, и в стихотворении о встрече с А. П. Керн есть те же обертоны. Мне уже приходилось вспоминать атеиста Стендаля, угадавшего, что верующие глубже любят. Мадам де Реналь говорит Жюльену Сорелю: «чувствую к тебе то, что должна была испытывать к Богу: благоговение, страх, любовь». Фабрицио дель Донго в сане епископа умирает от любви к Клелии Конти, как Перголезе, разлученный со своей возлюбленной.

Мертон оказался в плену своего пожизненного обета. Он не мог его нарушить без скандала, без грязных сплетен, и вынужден был принести свое чувство к Марджи в жертву человеческим представлениям об установленном Богом порядке. Но в душе он продолжал считать свою позднюю любовь даром Божьим, ничуть не противоречившим всему, что он искал и что нашел в отрешенности. Напротив, в диалоге с религиями Востока он находил себе оправдание. Он говорил, что чувствует себя скорее дзэнцем, чем траппистом; а дзэнская аскеза допускала возвращение в мир.

Полное приятие высокой земной любви и поразительное предчувствие встречи с Марджи можно увидеть в его эссе о Святой Софии:

«Во всем видимом есть незримая плодоносность, глубинный свет, мягкая безымянность, скрытая целостность — Божья мудрость, мать всего, природа творящая. Во всех вещах есть неистребимая кротость и чистота, молчаливый источник действия и радости. Это восстает в безымянной нежности и течет ко мне из незримых корней всего сотворенного, ласково встречая меня с невыразимо смиренным

приветом, это и мое собственное бытие, моя собственная природа, и дар мысли и искусства Творца во мне, говорящий как Святая София, как моя сестра, Мудрость.

Я просыпаюсь, я рождаюсь заново по голосу моей сестры, посланному мне из глубины божественной плодородности.

Представим себе, что я человек, спящий на больничной койке. Я и есть этот человек, спящий в госпитале. Второго июля, праздник явления Богородицы. Праздник мудрости.

В пять тридцать утра я спал в глубоко спокойной палате, когда мягкий голос пробудил меня от сна. Я был подобен всем людям, пробуждающимся от всех снов, которые когда-либо снились во все ночи мира. Это было подобно единому Христу, пробуждающемуся во всех отдельных душах, которые когда-либо были отделенными, изолированными и одинокими во всех странах мира. Это было подобно всем умам, приходящим вместе к ясному сознанию после всего разброда, шатаний и запутанности, к единству любви. Это было подобно первому утру мира (когда Адам был пробужден от небытия нежным голосом Мудрости и познал ее) и подобно последнему утру мира, когда все частицы Адама восстанут из смерти по зову Святой Софии и найдут свое место.

Таково пробуждение человека, о днажды утром, по голосу медсестры в госпитале. Пробуждаясь от безжизненности и тьмы, от беспомощности, от сна, встречаясь с реальностью и ощущая ее как нежность.

Это подобно пробуждению Евой. Это подобно пробуждению Святой Девой. Это подобно пробуждению от первичного небытия и восстанию в райский свет.

В прохладной руке медсестры — прикосновение жизни, прикосновение духа» (р. 506—507).

Этот отрывок прозы можно продолжить стихами.

И сердце бьется в упоенье,
И для него воскресли вновь
И божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слезы, и любовь.

Полнота жизни — это полнота любви. Душевно здоровый человек — это любящий человек, любящий во всю широту этого чувства, когда очищается горловина залива и через сердце течет океанская волна, смывающая различия между священным и мирским.

«Полюби Бога и делай, что хочешь», — говорил Августин, один из любимых святых Мертона. В эссе «День странника» он развивает

мысль о любви без границ сдержаннее, но не менее твердо:

«Я не вижу никакой причины, по которой мужчина не может любить Бога и женщину в одно и то же время. Если бы Бог смотрел на женщин ревнивым глазом, зачем он сотворил их? Много говорят о женатых священниках... Пока никто не говорит о женатых отшельниках. Причем, передо мной несколько икон Святой Девы».

Образ Святой Девы здесь воспринят в духе Бедного рыцаря:

С той поры, сгорев душою,
Он на женщин не смотрел...

Ни на каких других женщин, ни на кого, кроме любимой. И дальше, в разговоре о созерцании, продолжается переключка земного с небесным:

«Можно сказать, что я избрал брак с молчанием леса. Нежное тепло природы будет моей супругой. Из сердца теплой мглы исходит тайна, слышная только в молчании, но это корень всех тайн, которые шепчут все любовники на их постелях по всему свету. И может быть я обязан хранить тишину, молчание, бедность, девственную точку чистого ничто, в котором центр всех воплощений любви. Я пытаюсь посреди ночи вырастить дерево любви, и в тишине подкармливаю его псалмами и пророчествами (Мертон вставал на рассвете и начинал день с пения псалмов. — Г. П.). Оно становится редчайшим из всех деревьев в саду — это и первичное райское дерево, ось мира, космическая ось и крест».

И далее: «Для меня необходимо видеть пробуждение зари. Необходимо быть одному при воскресении дня, в тишине восхода. В этом полностью нейтральном состоянии я слышу от деревьев на востоке, высоких дубов, одно слово: день, никогда не одно и то же. Оно никогда не выговаривается ни на одном известном языке» (р. 434—435).

Глубокая любовь едина, как океан и его заливы. Волна в заливе переходит в океанскую волну и океанская — в прибой, сотрясающий залив. Глубокая встреча мужчины и женщины бывает, к сожалению, редко, и ее нельзя симулировать воображением. Симуляция кончается разочарованием, сдирающим с вороны павлиньи перья. Но остается то, о чем Цветаева писала в стихотворениях «Деревья» и «Куст». И у Рембо — далеко не святого, но великого поэта, — стихотворение о прогулке вдоль межи кончается строкой: «В вселенную, как в женщину, влюбленный».

Мертон пробивался в глубину, резко порвав со своей разболтанной юностью. Логика разрыва привела его в монастырь. А когда сложилась внутренняя дисциплина, внутренняя иерархия порывов, внешняя

дисциплина монастырского распорядка стала мешать, мучить, и много лет ушло на борьбу с рутиной. Всех этих противоречий не было в жизни баронессы де Гук, встреча с которой ярко описана в «Семиарусной горе».

Екатерина Колышкина, в первом замужестве баронесса де Гук, во втором — Дохерти, родилась в русской православной семье в 1896 году. Католицизм также присутствовал в доме. Бабушка — француженка, отвечая на вопросы девочки о вере, кончила словами: а в общем, это одно и то же. Поэтому переход в католицизм (в Англии, на полпути в Новый Свет) не был разрывом с традицией семьи. Во время революции Екатерина дала обет посвятить себя Богу, но у нее, видимо, не было надежды на казенное русское православие. Судя по ее речи в училище св. Бонавентуры, потрясшей Мертона, она видела в католической церкви единственную альтернативу мировому коммунизму и бичевала католиков за то, что они не горят апостольским огнем и не похожи на ранних францисканцев. Но разрыва с Россией никогда не было. Напротив, Колышкина, особенно в старости, прямо опиралась на традиции русских пустынников и странников и настойчиво вводила эти традиции в католический обиход.

Очень многим Екатерина была обязана своей матери. Наполовину англичанка, наполовину француженка, эта женщина жила так, как никто не живет на Западе. Раз в год она оставляла усадьбу, нанималась на месяц гувернанткой в какую-нибудь небогатую семью. Без опыта бедности она не чувствовала себя христианкой. Не знаю, была ли другая такая русская помещица, но все же в России это было возможно, рядом со Львом Толстым, рядом с Достоевским, любимые герои которого — юродивые. Мать брала с собой маленькую Екатерину, посещая пустынников. Однако никакого умерщвления плоти в доме не было. Когда у девочки начались месячные, мать ей сказала: какое это счастье! Ты стала женщиной, ты сможешь рожать детей. Это лучшее, что женщина может сделать. Напрасно называют это проклятием, это дар Божий!

Такой пересмотр проклятия Адаму и Еве глубоко запал в душу Екатерины. Христианство означало для нее апостольскую бедность, но не отказ человека от своего пола. Если собрать вместе фразы, разбросанные в разных книгах, то учение Колышкиной, подхваченное третьей, уцелевшей ее общиной (первые две развалились), можно коротко изложить так: человек создан для святости. Жизнь без святости неполноценна. Святость начинается с самых малых дел, выполненных с Богом в душе. Святость не требует подавления пола. Пол — такой же дар Божий, как все естество. Но надо хранить его в

чистоте. Брак — «счастливое приключение». Оно может и не приключиться, жизнь полна и без него, а если приключилось, то святость вполне возможна и в браке, с одним условием: не портить образ Божий в мужчине и в женщине, не терять первородства сердца. Жизненный путь невозможен без неудач, но это не беда. Если на то пошло, то величайшим неудачником был Иисус Христос.

Неудачей кончились две попытки Кольшкиной создать общину нищенствующих, подавая другим беднякам милостыню слова, милостыню сочувствия. Первая попытка была сорвана в Канаде, вторая — в Нью-Йорке. Русская баронесса была очень нереспектабельна. Это вызывало раздражение и сплетни. Но огонь, горевший в ней, многих захватывал. Иногда в нее просто влюблялись, один раз ей трудно было удержаться, чтобы не ответить тем же. В своей автобиографии она с чувством юмора рассказывает, как ускользнула от этого соблазна.

Ей было уже сорок семь лет, когда известный журналист Дохерти решил написать о ней книгу. Закончив серию интервью, он обнял и поцеловал ее со словами: ты ведь не можешь отрицать, что любишь меня, она ответила: да, но это бесполезно, — и поцеловала его. Она не могла оставить Дом дружбы, и они решили больше не встречаться. Но потом он раздал свое имущество, дал обет, что Дом дружбы всегда будет на первом месте, и епископ их поженил. Медовый месяц длился три дня. И — лаконично заключает Кольшкина — «мы прожили 32 года и только один раз поссорились». В автобиографии больше ничего не сказано, но в посланиях обитателям Дома Мадонны мелькают отголоски счастливого брака.

«Молитва, — пишет Кольшкина, — это просто союз с Богом. Молитве не нужны слова. Когда люди любят, они смотрят друг другу в глаза, а жена просто лежит в объятиях мужа. Они не разговаривают. Когда любовь достигает апогея, ее не выразишь словами. Она достигает такого великого молчания, что пульс ее бьется с силой, которая неизвестна тем, кто любви никогда не испытывал. Такова суть молитвы с Богом. Вы соединяетесь с Богом, и Бог снисходит на вас, и союз этот вечен» («Пустыня». Магадан, 1994, с. 55).

И в другом месте: «Истинное молчание — это разговор любящих. Потому что только Бог знает красоту молчания, его завершенность и внутреннюю радость. Истинное молчание — это огороженный сад, в котором душа может встретиться со своим Богом наедине. Это запечатанный ото всех источник, который только Бог может открыть и утолить беспредельную жажду души, стремящейся к нему...

Такое молчание не является исключительной прерогативой монастырей и монастырских школ. Это простое, наполненное молитвой

молчание может явиться каждому. Оно доступно каждому христианину, который любит Бога, каждому еврею, который слышал в своем сердце голос Бога через Его пророков, каждому, чья душа вознеслась в поисках истины, в поисках Бога. Ибо где внутренний шум и беспорядок, там Бога нет!» (там же, с. 16).

Колышкина ни в коем случае не против монашества, но «монахиня, — пишет она в своей автобиографии, — это женщина, безумно любящая Христа». А там, где безумия любви нет, там (можно продолжить ее мысль) монашество становится фальшью и насилием над природой. Я бы сказал, что такое понимание вещей близко к русскому народному пониманию пустынночества, странничества и юродства. Безумие любви — это не организация, не социальный институт.

После крушения всего, что создавалось в Гарлеме, Екатерина строила свою третью общину вместе с Эдом Дохерти и только под давлением кардинала Монтини (будущего папы Павла VI) согласилась на пожизненные обеты нестяжания, послушания и целомудрия. Последнее означало, по-видимому, что супруги стали жить в разных комнатах. Эта жертва была принесена не сразу. Три года ушло на размышления и колебания. И в общине обеты дали не все (вместе с двумя Дохерти — 17 человек). Такой ценой было достигнуто покровительство церкви и официальный статус, защищавший от нападков. Но говоря о тридцати двух годах супружества, Екатерина явно не считала его прерванным в 1954 году. Платоническое супружество продолжалось и позже, это легко сосчитать, если помнить, что свадьба состоялась в 1943 г.

В последний период служения Екатерины бедность стала исчезать в Северной Америке и добровольная встреча с бедностью утратила свою первостепенность. Это не значит, однако, что в мире победила любовь. В одной из самых замечательных глав «Пустыни» Екатерина Колышкина пишет: «Мы входим в “ледниковый период”. Пройдет немного времени, и Канада, США, да и весь мир предложат своим правительствам — потребуют от них — обеспечить жизнь граждан от колыбели до могилы тем, что мы называем действенным проявлением милосердия...

Я называю это “ледниковым периодом”, потому что действенное проявление милосердия должно сопровождаться великой любовью, нежностью, пониманием, состраданием и деликатностью. Однако в действительности сегодня оно редко представляется таким, — таким оно, скорее, было раньше. Боюсь, что в ближайшем будущем все вышеупомянутые слова будут объединены одним словом — “эффektivность”.

“Эффektivность” — очень холодное слово, как и слово «бюро-

кратия». Действительно, скоро голода не будет. Никто не умрет от нехватки медицинской помощи. Дания и Норвегия являются яркими тому примерами. Престарелые, новорожденные, дети да и все остальные граждане получают здесь надлежащий уход. Как мы знаем, в этих странах нет бедности. Скоро так будет и по нашу сторону Атлантики.

Однако в этих благополучных странах царит холод, страшный ледяной холод. Этот холод обрекает людей на страшное одиночество — одиночество и отверженность, которые ведут к большому числу самоубийств.

С помощью молитвы и поста, самоопустошения и самоотречения мы должны подготовиться к наступлению этой ледниковой эпохи, чтобы сердца наши стали чистыми, как у детей, способными видеть Бога. Мы должны стать проповедниками и носителями огня Святого Духа, потому что только огонь может растопить лед. Такова наша роль в будущем, и это будущее не за горами.

Мы должны подготовиться к тому, чтобы стать “Божиим прибежищем” для миллионов людей, которые уже сегодня лежат израненные, одинокие, избитые бесчисленными грабителями, имя которым — легион. Да, мы должны стать ледоколами, сердца которых так переполнены любовью к Богу и к человеку, так наполнены огнем Святого Духа, что способны проникнуть сквозь ужасный холод, уже окутывающий нас и порабащивающий все больше и больше человеческих сердец.

В последующие годы поток людей, стремящихся к нам, возрастет. Они придут не за едой, не за одеждой или кровом. Они придут потому, что, наконец, поняли, что не хлебом единым жив человек. Так давайте же будем осторожны в своих не всегда обоснованных суждениях и пристрастиях. Да, возможно, есть опасность в общении с наркоманами, насильниками и прочими грешниками. Но наша вера защитит нас. Вера должна предохранить нас — вера и любовь. Молодежь будет приходить в поисках сердец, способных слушать, в поисках ран Христа — ведь только они могут исцелить ее. Нынешнее поколение привыкло вначале потрогать, а потом поверить. Мы должны показать людям эти раны, чтобы, прикоснувшись к ним, они таким образом коснулись Христа и получили от Него исцеление.

Мы должны подготовиться, потому что такое гостеприимство, такая открытость — это ледоколы и прибежище Христа, которые должны вырастать в нас через Огонь Любви. Я вижу людей, которые, придя к нам со всех уголков земли, стучатся в дверь. Мы должны быть готовы пропустить через свои сердца толпы людей: людей с грязными ногами, чистыми ногами, поломанными ногами, разбитыми сердцами

и голодными душами.

Да, мужчины и женщины будут приходить, потому что они захотят прикоснуться, захотят почувствовать. В нашем путешествии ко Всевышнему мы станем “Божиими ледоколами”, неся свет, огонь и тепло в холодный и все более механический мир завтрашнего дня, в котором о каждом будут заботиться со знанием дела и “эффективно”. Мы избраны для нового измерения любви. Мы избраны для того, чтобы войти в одиночество современного человека, в ледниковую эпоху Завтра и стать Божиими ледоколами и прибежищами для всех избранных и обмороженных, чтобы согреть их своей любовью».

Общая черта Мертона и Колышкиной — понимание любви как круговорота, в котором любовь к земному, сотворенному, к отдельным людям, к красоте природы не препятствует любви к незримому Творцу. А любовь к Творцу находит в земном зримые иконы незримого Духа. Христианство освобождается от инерции полемики с разлагающимся языческим миром. Теряет излишнее значение физическое целомудрие, неизбежно преодолеваемое на пути к семье, и граница чистоты проходит между глубоким сердечным чувством, создающим духовную молекулу, и господством вождения, искажающим в человеке образ Божий. Складывается новая форма святости, святой семьи, недостаточно выявленная историей. Относительно Мертона это станет яснее, если вспомнить, что в самые последние свои годы он подружился с двумя многодетными семьями и много времени проводил с детьми.

Есть одиночки, живущие в чистом созерцании. Таков Кришнамурти. Выйти из созерцания ему почти так же трудно, как обычному человеку *войти* в созерцание. Даже общаясь с людьми, он остается одиноким. Некоторые вещи, доступные каждому, для него невыносимо трудны. Трудно было учиться. Индийский учитель бил его палкой за тупость. Кришнамурти не смог поступить в университет, изучать языки. Такие люди — живой противовес обыденному, живое дополнение к нему, но мыслимое только как редкость, как исключение.

Есть иной тип святости, как у Рамакришны, у многих христианских святых, с выходом из безмолвия к сострадательной любви, к молитвенной помощи другим, но в отдаленном присутствии святых семья остается вне святости и дети растут вне святости, соприкасаясь со святостью только по праздникам, в храме, а не каждый день у себя дома.

У Колышкиной отчетливо сформулировано то, чего не хватает христианской цивилизации (хотя было в семье, выроставшей ее саму):

«Молодые мужчины и женщины любят друг друга, они хотят пожениться. Но любят ли? Понимают ли, что призвание к браку

означает такую любовь, что и дети их узнают, что такое любовь? Понимают ли они, что брак требует полной самоотдачи ради любви к Богу? Понимают ли, что любовь не эгоистична, не эгоцентрична и никогда не пользуется местоимением “я”?» (*Кольшикина де Гук Дохерти Е.* Самородки. Магадан, 2001, с. 23).

Иногда нужно много лет, чтобы понять это. Иногда для этого нужна аскеза, как у Мертонa. Но аскеза не всегда должна быть пожизненной. Аскеза — школа любви к Богу. Аскеза может быть заменой семьи, если семья не состоялась или вовсе невозможна, как в тюрьмах и лагерях. Но она может быть и дверью к любви, создающей святую семью. Святой Антоний, основатель монашества, спросил Бога, много ли он достиг, и получил ответ: меньшего, чем александрийский сапожник. В некоторых вариантах легенды это многосемейный сапожник.

Любовь, спасающая мир от гибели, не имеет твердых форм, и никакой проторенный путь не дает твердой надежды на встречу. Ее нет нигде, и она открывается всюду. Только немногие семьи становятся молекулами святости — так же как немногие отшельники действительно святы. Но свет во тьме светит и тьма не объемлет его.

Образы священного в поэзии

Есть такое стихотворение у Николая Заболоцкого: «Некрасивая девочка». Оно кончается вопросом:

И если так, то что есть красота И
почему ее обожествляют люди?
Сосуд ли то, в котором пустота,
Или огонь, мерцающий в сосуде?

Я никогда не любил сосудов, в которых пустота. Не любил фантомов красоты...

Любил огонь. Но какой? Совершенно понимаю презрение Марины Цветаевой к алому огню (горению тела, не затрагивающему душу). Но и душа не всегда пылает лесным пожаром. Как-то в метро я любовался лицом девушки, не то чтобы красивым, но очень живым. В метро лица тупые, а это лицо жило, и каждая мысль — девушка о чем-то думала — тут же выказывалась в мимике и в движении шеи, головы, рук. Эх, был бы я режиссером — подошел бы и предложил сниматься в неореалистическом фильме. В ней не было цветаевского пожара, но

постоянно вспыхивал огонек — как в походном костре, в камине. И, наверное, около этого очажка можно было прожить простую, но хорошую жизнь.

А что такое огонь-синь? Пожар большого чувства. Чувство полета над страхом в пушкинском Гимне чуме. Чувство взлета над обиденным, поднявшись на могилу Волошина и одним взглядом охватив три бухты Коктебеля. Чувство полета над противоречиями мысли, когда раскрываются крылья интуиции и сразу переносят через противоречия. К истине? Нет, скорее к *истинам*, к движению истин, как в «Науке логики» Гегеля и в лекциях Пинского, страстного гегельянца. В этом движении Пинский подходил очень близко к стержню целостной истины. Он восхищался Экхартом и заразил меня своим восхищением, но его несло дальше, вместе с движением истории. Он не умел остановиться глазом на «оси земной» и кружиться вокруг нее, не теряя из виду. Его все время уносило куда-то по касательной, где его вдохновение иссякало. Его огонь- синь не переходил в огонь-бел. И в движении мысли, и в романах со студентками, которые в него влюблялись.

Огонь-синь — это полет куда угодно. В «Молодце» Цветаевой огонь-синь влечет в преисподнюю, в объятия вурдалака, но в пушкинском Гимне чуме есть только возможность зла (как и добра).

Есть упоение в бою
И бездны мрачной на краю... —

упоение полетом над страхом, упоение вызовом, на который есть сила ответить. «Итак, хвала тебе, чума» — хвала не страшной болезни, а вызову болезни — как в стихах другого поэта: «Будет буря, мы поспорим и помужествуем с ней». Это здоровое чувство, пока не сбилось с пути. Герой не раз становился убийцей — начиная с Геракла и до Блюмкина⁷. Отрыв от земли, полет неизвестно куда, цветаевская стихия несет в себе опасность самовозвеличения героя и презрения к миру «мужей и жен», презрения к мирному огоньку в очаге.

Огонь-синь оставляет за собой лоскутья пепла, а белый огонь «бел чистотой сгорания». То же пламя, но без копоти, очищенное от всего, что может дать копоть. И сразу же вопрос: как его высветлить? Как перейти от синего к белому? Нужно «различение духов». Здесь я согласен с православной аскезой. Но я не считаю, что нужно подавить, сковать тело. Какая-то дисциплина плоти — ограда любой культуры,

⁷ Бывший левый эсер, потом чекист, убийца германского посла Мирбаха в 1918 г. Расстрелян Сталиным в 1930 г. за письмо от Троцкого, переданное Радеку.

но умерщвление плоти — совсем другое дело, ложное дело, крайность другой крайности. Простая женщина, Эмма Колышкина, ничем не вошедшая в историю, передала своей дочери Кате материнское благословение: быть женщиной, рожать детей, не принимать как проклятие свой пол, свою природу, а считать даром Божиим. Удивительно, как глубина религиозного чувства сочетались в Эмме со смелостью отвергнуть букву, противоречащую любви. И Екатерина Федоровна унаследовала это и пришла к святости (а я ее считаю святой) своим собственным путем, не отвергая возможности потянуться друг к другу и создать молекулу, единство двух атомов, святое семейство. Она показала, что счастье любви, если оно встретится, не разрушает души и не мешает ее росту, как, впрочем, и несчастная любовь, не допускающая соединения, или как жизнь, в которой не было личной встречи, но крылья души раскрывались в «деятельной любви» и в созерцании вне пола.

Дурно другое: поиски размаха ради размаха; хотя бы в области, где алого огня вовсе нет (как нет его в «Крысолове»), а просто гуляет, распоясывается ненависть... Об этом у Волошина в «Северовостоке» и у Даниила Андреева — «Размах». Этот размах достаточно погулял в России — и не только в ней. Формальная религиозность не спасает дела: шахиды веруют. Рихард Вурмбрандт прав: есть в каждом вероисповедании два вероисповедания: ненависти, которая использует обряды и догмы, чтобы нападать на других, и любви. Но нет накатанного пути любви, на который стал — и иди, ни о чем не думая, катись, как вагон по железной колее. Нет принципов, которые надежно защищают от зла. Ад вымощен принципами — философскими, этическими, богословскими, ради которых творилось зло. Божий след, о котором говорил Антоний Блум, непредсказуем, его каждый раз надо искать в уме и в сердце, и в жизненных решениях, и в искусстве.

Тиллих писал, что предельно глубокое во всех областях культуры есть религиозное: не как система догм, но как некий дух, ищущий и находящий себе форму. Если находит — то и искусство натюрморта превращает пятно света на двух бутылках в образ Фаворского света. Так я понимаю слова Владимира Казьмина: каждое здание стремится стать храмом, картина — иконой, стихотворение — молитвой.

Такие здания, картины, стихи могут запечатлеть огонь-бел, привлечь к себе красотой и втянуть в глубокое, напряженное взгляды-ванье, в котором огонь-бел передается из глаз в глаза, как при долгом созерцании рублевского Спаса. Так я раз почувствовал, глядя на Спаса, что на этого человека упала молния, но не сожгла его и свернулась в сердце. И можно жить с молнией в сердце. Об этом говорит и стихотворение Зинаиды Миркиной:

Когда б мы досмотрели до конца
Один лишь миг всей пристальностью взгляда,
То нам другого было бы не надо,
И свет вовек бы не сошел с лица...

Иногда подготовка души проходит незаметно, годами, и молния ударяет, потому что долго собирались тучи; так я мгновенно узнал и принял стихотворение Миркиной «Бог кричал». А стихотворение «Даятель» испугало. Оно требовало от меня полной жертвы своим малым «я», и довольно долго я ходил вокруг него, как вокруг пылающих углей, не решаясь пойти по ним босиком, по обычаю жителей островов Фиджи, Цейлона и других мест, где сила веры защищает пятки от ожога. Потом страх прошел. Я понял, что на угольях сгорает только малое «я», а большое — образ и подобие Бога — освобождается от этой ветоши.

У меня уже был опыт вглядывания в бесконечность пространства и времени — чего же я боялся? Даятеля? Кажется, я не готов был *всё* потерять. Я собирался пройти сквозь бездну, не меняясь, оставаясь, говоря языком мистики, ветхим Адамом. Какой-то внутренний сдвиг во мне произошел, но нечаянно, незаметно и неполно. Сказалась моя совершенная оторванность от духовной культуры, неумение ставить духовную задачу. Порыв запутался в абстракциях астрономического времени и пространства. Но я переживал их сердцем, эти абстракции, и поэтому нашел больше, чем искал. Нашел упор, с которого сравнительно легко взлетел над физическим страхом на войне и потом проходил через испытания страхом с радостью, как Вальсингам — через испытание страхом чумы.

Парение над физическим страхом помогло мне и на духовном пути, как образ полета над духовным страхом, над страхом оторваться от всяких богословских подпорок и почувствовать мысль Алмазной сутры: воздыми свой дух и ни на чем не утверждай его, или мысль Энде: учись падать — и держаться ни на чем, как звезды.

Последнее время я пытаюсь так толковать и мысль ап. Павла: «Буква мертва...». Жить в духе — значит ходить по водам. Павел вовсе не звал отшвырнуть Ветхий Завет, не разрушал эту почву, но осознал возможность оторваться от почвы, взлететь, если крылья подхватывал дух любви. Когда буква противоречит любви, она мертва и можно перешагивать через нее, как через мертвое тело. В этот момент ты, как исповедник Алмазной сутры (или сказки Энде) ни на чем не утверждаешь свой дух, паришь в воздухе, шагаешь по водам. Но в пространстве и времени истории ты просто редактируешь Писание, отбрасываешь то, что отжило, и утверждаешь живое, продолжающее

жить. Ты летишь, но тебя поддерживает дух созерцания, оттолкнувшегося и свободно взлетевшего над текстом, подготовившем его, над текстом Книги, и над текстом природы, и над текстом искусства, прикоснувшегося к предельной глубине...

Глубинное искусство прорисовывает образ священного, возникший в человеческой душе, раскрывшейся священному, раскрывшейся предельной, бесконечной глубине, загоревшейся белым огнем от белого огня, пламени без дыма. Искусство прорисовывает образы, к которым привел Божий след. Это не портреты ангелов. Мы открываем священное сердцем, а не глазами, не ушами, и сердце подсказывает глазам образы и звуки, взятые из традиции или из природы, но передающие глубинный ритм бытия. Это не рисунок молнии, а передача впечатлений человека, заземлившего в себе молнию. Условные лучи света в иконе «Преображение» не захватывают душу, и Христос там мало что говорит сердцу. Силу Фаворского света мы чувствуем по фигурам апостолов, которых свет ослепил и опрокинул, по их рукам, закрывшим ослепленные глаза.

Бубер сравнивает образы священного с огненной полосой в атмосфере, оставленной метеоритом. Мы не можем пощупать метеорит. Бога не видел никогда и никто. Но иногда, как молния, нас настигает след Божий.

Христианская икона передает этот след в глазах, в жесте рук, реже — во всем опрокинутом светом теле (в «Преображении»), Дальневосточные иконы тумана передают то, что человек *видит* раскрывшейся душой. Маленькие фигурки людей на заднем плане передают только смирение перед бесконечностью. Ритм бесконечности раскрывают сами горы и воды. Горы и воды сами по себе несут нам след священного Дао, переданного во всей полноте только пустотой, незаполненной бумагой (было правило рисовать только один угол, оставляя незарисованное пространство для Дао, еще не получившего имя и не расколовшегося на инь и ян).

В поэзии нет конфессиональных границ, и поэт использует разные традиции упора перед прыжком в бесконечность. Постепенно это сказывается и на самих религиозных традициях, заимствующих друг у друга отдельные удачные формулировки и приемы. Но поэзия не дожидается официального разрешения. Она идет впереди. И в стихах Зинаиды Миркиной мы находим отголоски то индийской, то дальневосточной культуры. Однако вершина ее творчества — встреча сердца с образами Бога, созданными библейской традицией. Проверка этих образов сердцем, достигшим библейской глубины, и тишиной, которую поэт сравнивает с Богоматерью:

И разрасталась тишина. Сперва

была размером с крону Берез. - И
 вот - горе ровна И небу над
 вечерним склоном. Так где и в чем
 ее итог?
 В чем тайна света на закате?
 И если Слово это Бог,
 То тишина есть Богоматерь.
 Благословенна тишина Высот
 бледнеющих и ширей. Ты Бога
 выносить должна В моей душе и в
 этом мире.

Тишина сейчас огромна,
 Точно море. Или - Бог.
 Тайный Дом для всех бездомных
 И для всех грехов - порог.
 Нет ни зла, ни ран смертельных -
 Тишиною дух промыт.
 Замолкает вся отдельность,
 И Всецелость говорит.
 Здесь - ни трещины, ни щелки.
 Цело всё. Лицо склоня,
 Я перед Тобой замолкла,
 Ты вещаешь за меня.
 Я - в безмолвном океане.
 Он сквозь сердце будет течь.
 Чем полнее замолканье,
 Тем могущественней речь.

Эта тишина не замкнутой кельи, не простое отсутствие звуков. В нее могут входить шорохи, всплески. Но не остается ничего отдельного - и все же что-то есть. В упругой тишине образы, разделенные Вселенскими соборами, находятся в постоянной перекличке, в перетекании друг в друга, как ангелы рублевской Троицы, в каждом из которых проступает то Отец, то Сын, то Святой Дух. В стихах Зинаиды Миркиной стирается граница между Отцом и Сыном. Отец не покоится в небе - Он страдает в каждом страдающем существе, Он многократно распят в пространстве и времени, бесконечное число раз распят, и вместе с тем Он - Даятель, творец, создатель мира, который распинает Его. Размывается граница между страданием и ликованием. Видно простым глазом, что страдание и ликование растут из одной глубины и за образами бессильно па-

дающих листьев встают новая весна и новое лето. А после всего весеннего ликования вновь встают образы страдающего, кричащего Бога и всемогущего Даятеля, слитые в стихотворении «А§пш ^e^».

Бог как Адпи ^e^ — жертва. Как Даятель — требует ответной жертвы. Метафоры Божьей жертвы пугают расколом привычного образа всемогущего Царя Небесного. Метафоры ответной жертвы пугают отказом от надежды спастись одной верой в Спасителя, пугает боль расставания со своей отдельностью, с ее привязанностями и обидами, с ее призраком вечной правды, достигнутой на поверхности, где нет ничего вечного. Пугает требование пройти сквозь огонь и тьму. Пугает открытость пустотам, в которую только и может хлынуть Святой Дух.

Встречая Даятеля, человек сам себе рассекает грудь и вкладывает в нее уголь. Здесь нет внешних канонов. Есть только канон внутреннего состояния, как в живописи дзэн: никаких внешних образцов, только некий уровень глубины, из которой растет вдохновение. Опора не на обрядовые сосуды, а на огонь, мерцающий в сосудах. Свобода от груза опустевших сосудов и фантомов детской веры.

Это пугает неофитов, нашедших опору и защиту в строгом чине. В рецензии на «Невидимый собор» Зинаиды Миркиной г-н Мраморнов выразил свой страх перед сближением поэзии со святостью. Это показалось неправославным. Г-н Мраморнов разъясняет нам, что православные святые — за исключением Иоанна Дамаскина — стихов вообще не писали, ибо святость дело строгое, а стихи — дело грешное. Если замкнуться в одной традиции и закрыть глаза на весь свет, так и выходит. Но достаточно сделать шаг назад — к Ветхому Завету — и находишь там Песнь Песней, находишь Псалмы Давида. Шаг вбок — и рядом поэзия суфиев, еще шаг — целостные культуры Индии и Дальнего Востока, где поэзия и святость никогда не ссорились.

В первые века христианства, в окружении чужой, враждебной эллинской культуры, монахи бежали в Фиваиду. А возвращаясь в Александрию, они проклинали бесовские игрища греческих трагиков и ломали статуи. Только постепенно, вокруг новых храмов, сложилась новая христианская культура, но в рано погибшей Византии она так и осталась не дальше храмовых ступеней. На Западе дело пошло дальше, к переключке культа Мадонны со светским культом любви. Но Россия вошла в Европу позже, в позднее Новое время; русскую поэзию захватили образцы литературы, уже терявшей духовные корни. Между православием и литературой возник разрыв, измучивший Гоголя; но это не норма, не достижение; это исторически сложившееся уродство, которое неофиты слепо повторяют.

Поэзия Зинаиды Миркиной свободна от исторического уродства.

Она находила опору во встречах волнах истории — назад к потерянным за шумом времени глубинам у Рильке или в целостных традициях восточных культур. Ее переводы не случайны: Рильке, Тагор, суфии. Это ее родство. И оно может стать нашим общим родством.

Об уровнях глубины

Что такое глубина? Та самая, в которой Августин не увидел зла? Эту глубину созерцал Гераклит как вечно живой огонь, а Мертон понял как огонь любви: на поверхности вражда и войны, а в глубине — любовь. Это огонь без дыма, там сгорает обида, возмущение, желание справедливой расплаты, правосудия... Это тот уровень нашей душевной жизни, где личность — залив, слившийся с океаном. Это уровень, на котором Иов услышал Бога, прикоснулся к его бесконечности и потопил в ней всю боль. Но это только метафоры, подобные метафоре созерцания, найденной Мертоном: как будто ты прикоснулся к Богу или Бог прикоснулся к тебе...

Мы попадаем в порочный круг: глубина — это уровень, где прикасаешься к Богу; а Бог — имя реальности, осязаемой на последней глубине. Логика здесь зашкаливает. Каждое определение есть отрицание, установление пределов, берегов. Но последняя глубина бескрайняя, в ней нет никаких пределов и никакой двойственности, доступной анализу. Там исчезают человеческие понятия, в которых мы запутываемся, подходя к Богу, и остается только Бог, не постижимый умом и осязаемый только сердцем, полным любви, переполненным любовью, так что любовь изливается на всех, не различая добрых и злых.

Почувствовав эту глубину, люди прощают своих врагов, отбрасывают вражду, как ветхое платье, — не побеждают свои страсти, а освобождаются от них, как от засохших струпьев. Если есть борьба, если необходима победа — глубины еще нет и надо искать глубины, искать созерцания, в котором глубина раскрывается перед внутренним взором и в ней — тишина, безветрие духа. Нет логических проблем. Остается только «главный ум», как назвала это Аглая, — целостное видение целостной реальности. «Я многое знаю, хотя ничего не знаю», — говорит негр-чудотворец в «Зеленой миле»⁸. Целостный ум плохо различает подробности, противоречия, которыми мы живем. Целостный ум путает вещи, которые мы легко различаем, и кажется

⁸ Американский фильм, посвященный смертникам. «Зеленая миля» - коридор к электрическому стулу (слэнг).

Одна из узниц Колымы, автор «Крутого маршрута», мать писателя В. Аксенова.

идиотским. Мышкин подобен глубоководной рыбе, вышвырнутой на поверхность: она обречена погибнуть, если не успеет нырнуть назад, в глубину. Мышкину кажется, что можно спастись, нырнув в светлую душу Аглаи, сумевшей понять главное, но наталкивается на чувство собственности, на желание *владеть* главным, — и все рушится.

Рыбам не надо менять уровни жизни. Они приспособились — каждая к своему уровню. А человеку надо чувствовать в себе много уровней глубины, чувствовать лестницу, по которой можно подниматься и опускаться. Он так задуман, и в нем есть возможность открыть в себе более глубокие уровни и потом научиться переходить на поверхность и возвращаться вглубь. Мышкину его глубина была дана как-то внезапно, без школы переходов, и он гибнет от своего «идиотства», от своего неумения восстанавливать родную глубину, когда его вышвыривает в бури на поверхности вод. Вторжение «человеческого, слишком человеческого» в неотделимость от глубины каждый раз кончается припадком и, наконец, совершенным безумием. Если бы Аглая поняла свою задачу защищать Мышкина, каков он есть, открытого каждой боли до юродства, если бы она стала проводником слепого (слепого от открытости *другому* свету), — Мышкин бы мог жить среди нас, зрячих к быту и слепых к Богу... Но поводыря не нашлось.

Обязанность поводыря — редкий случай, потому что идиоты, подобные Мышкину, очень редки. Первый шаг духовного долга — просто присмотреться к своей душе и увидеть в ней верх и низ, а потом и целую лестницу уровней. Евгения Гинзбург¹ заметила это в одиночке, насильственно оторванная от быта. Многие этого и вовсе не замечают и не могут понять, что люди находят в Бахе и что такое чуткая совесть, голос глубины, страдающей от горошин на нравственном ложе. Достоевский называл совесть действием Бога в человеческой душе; но Бог и предельная глубина — сливающиеся понятия, и можно просто говорить о голосе глубины или что «грех — это прежде всего потеря контакта с собственной глубиной» (Антоний Блум).

За последний век наука открыла целый ряд глубин; но все они на поверхности, сравнительно с метафизической глубиной. Комплекс Эдипа, комплекс неполноценности — это какие-то подкожные глубины, уровень болячек, незаметных для глаза, но чувствительных при первом нажиме. Если образ глубокого сердца — князь Мышкин, то комплексы Фрейда и Адлера — это уровень Гани Иволгина (особенно комплекс неполноценности). Застарелые детские обиды, к которым страшно прикоснуться, создают бури страстей, взрывают бомбы, переворачивают государства, но вечно живом огне последних глубин они сгорают без следа, вспышка — и нет их. Мы живем во власти бурь, потому что живем мелко, и сами наши страсти, взрывы

ненависти, губящие миллионы людей, — духовное ничто, овладевшее массами и ставшее материальной силой, силой пустоты, в которую проваливаются города и целые страны.

Духовное нечто можно увидеть в архетипах коллективного бессознательного, теорию которых разработал К. Г. Юнг. Архетипы — абстрактные образы, к которым тяготеют мифические персонажи разных народов. Это аттик (идеально мужественное как человек и как Бог), атта (икона женственного и женственное как икона), Противоречащий воле богов (вторжение поверхностных страстей на уровень святой глубины) и т. п. Развитие образа Марии, матери Иисуса, в Богородицу (которую Милош предлагал включить в Троицу), можно истолковать как проявление архетипической воли, поддержанной божественными парами средиземноморских язычников. Там, где ничего подобного Озирису и Изиде не было, — у племен пустыни, откровение мужественного духа осталось незабываемым. Женственное проникло в ислам только в образах доисламской поэзии, подхваченных стихами суфиев. В иудаизме глубинно женственное также присутствует только в туманных образах мистиков. Единственный языческий архетип, вошедший в обиход всех монотеистических религий, — Противоречащий, Сатана. Остальные остаются в народных реликтах язычества (например, мать-сыра земля).

В любом случае архетип — только пред-икона, пред-образ мистических видений, образ, помогающий воображению прикоснуться к вне-образному, пережить реальность Бога, которого не видел никогда и никто. В Христе такой иконой становится человек, и слово «святой» распространяется с Бога на сынов Божьих (в Ветхом Завете свят только Суций). Этот процесс завершается в мистике. «Второе пришествие совершается в душах святых», — пишет Рейс-брук, а Силезский Вестник еще резче: «я без Тебя ничто, но что Ты без меня?». Большинство христиан не решается повторить, вслед за Иоанном Богословом, во множественном числе — «сыны Божьи». Слово «Сын» твердо закрепляется за Христом. И Христос не только усаживается «одесную Славы», но подменяет «Славу», становится Вседержителем. Сам Христос никогда не считал себя равным Богу. Он чувствовал свою неотделимость от Бога, но единство не есть равенство. Христос согласился бы с определением Шанкары: капля тождественна океану, но океан не тождествен капле. Можно выразить это и моей любимой метафорой: Сын Божий един с Отцом, как залив с океаном, но залив не равен океану.

Говоря языком Библии, Бог не разгневается, если блудный сын прильнет к нему до совершенного единства, до соединения двух сердец в одном большом сердце. Бог ждет этого, требует от человека.

«Слава Божия — до конца раскрывшийся человек», писал св. Ириней (и цитирует Антоний Сурожский). В какие-то минуты каждый человек способен почувствовать прикосновение к океану. Бог вездесущ и присутствует в каждой травинке. Человеку дана сверх этого способность *осознать* Присутствие. Когда человек сознает это, он не нарушает воли Бога, как раз напротив: без осознанного Присутствия в святых Бог был бы неполон, и человек обязан стремиться к святости. Но человек остается несовершенным и смертным, смертным воплощением бессмертного духа, конечным осуществлением бесконечного, реальностью вечного в хрупкой, брэнной, мгновенной плоти. До конца раскрывшийся человек глубинно причастен к бытию Бога, но ему постоянно грозит богооставленность. Ему постоянно грозит смерть.

Слова Рейсбрука, что Второе пришествие совершается в душах святых, включает в себе импульс к еще более дерзостной мысли. Я думаю, что и первое совершилось в смертном человеке, естественно зачатом и рожденном. Иисус Христос был человеком, полностью выполнившим свою задачу, полностью очистившим Богу место в своей душе. Но в вечности все смертные воплощения Бога сливаются в бессмертной второй ипостаси, и Воскресение есть несколько видений этой вечной реальности, данных ученикам Христа.

Можно представить себе вечность как точку, вокруг которой вращаются времена. И в этой точке все времена сходятся, сливаются, и все существа, вместившие в себя осознанное присутствие Бога, сливаются в Боге, в одном из поворотов божественной бесконечности. Вечность можно мыслить не вне времени, а внутри круговорота времен, в его предельной глубине, в недвойственности абстракций: вечности и времени.

Однако будем помнить, что мысль изреченная есть ложь, слово помогает причаститься незримой и непостижимой сущности, но оно никогда не равно этой сущности. И на всякий соблазн высказанности Яджнавалкья восклицал: «Не это! Не это!». В Брихадараньякеупанишаде дается ряд определений предельной глубины. И на каждое определение Яджнавалкья отвечает: «Не это! Не это!». Здесь значимо и напряжение попыток определить атман, и разрушительная молния: «Не это!», приобретающая весь свой смысл только в потоке попыток вместить бесконечно глубокое в смертное, конечное слово.

Вавилонская башня цивилизации

Пауза созерцания

Только очень давно, в доисторических, бесписьменных обществах не было кризисов. Трудности и катастрофы приходят извне, люди эти трудности сами не создавали, и потому не было необходимости ломать устои жизни, перестраиваться. Перемены все ж происходили, по крайней мере, у некоторых племен, — но так медленно, что их не замечали и принимали сегодняшнее за вечное и неизменное. Очень не скоро этот золотой век кончился, и начались кризисы. Однако острые, заметные кризисы только случались; они не были чем-то постоянным. Кризис заканчивался либо крахом, распадом общества, либо новым устойчивым порядком. Так история Египта делилась на Древнее, Среднее и Новое царства. Так Римская республика уступила место империи.

Потом кризисы стали чаще, промежутки между ними короче. А сейчас ломка идет непрерывно. Постоянно рушится связь поколений, теряется тождество с самим собой, связь со священным и вечным. Люди, защитившие себя от стихийных бедствий, оказались во власти техногенных стихий, под угрозой экономического, экологического, информационного, духовного кризиса. Сейчас на каждом перекрестке нужен регулировщик. Не только в прямом смысле. Кризисы ветвятся, превращаются в букет кризисов. Общество постоянно надо спасать, и усилия выйти из кризиса создают новые кризисы.

Старым цивилизациям не хватало ума. Ум блистал в философии, но практика оставалась во власти преданий и предрассудков. Консерваторы с этим очень долго мирились, но темп перемен ускорялся, и традиция перестала отвечать на неотложные вопросы. Отвечать стал свободный разум. На первых порах это захватывало и вдохновляло. Гегель писал о величественном восходе солнца. А потом победа разума оказалась пирровой. Я говорю не об отдельных решениях, а о более глубоких следствиях рационализма.

Опыт последних веков показал, как опасно доверять логике, не поверяя ее сердцем и духовным опытом. Ум, ставший практической

силой, опасен. Опасен научный ум со своими открытиями и изобретениями. Опасен политический ум со своими реформами. Нужны системы защиты от разрушительных сил ума, как на АЭС — от атомного взрыва. Ни один злодей, разбойник, садист не совершил столько зла, сколько энтузиасты благородных идей, прогрессивных идей, целенаправленного добра (я соединил в одной фразе мысли, высказанные несколькими моими современниками: Василием Гроссманом, Юрием Айхенвальдом, Наумом Коржавиным, Александром Галичем). Миллионы людей убивала идея *окончательного решения*, окончательного выхода из всех кризисов, идея прыжка из царства необходимости в царство свободы (или в другую утопию). Проекты разные, но итогом всех *окончательных решений* и ликвидации вредных классов было одно и то же: шигалевщина. «Цицерону вырезывается язык, Шекспиру выкалываются глаза». Люди превращаются в образцовых северокорейских коммунистов, изучающих чучхе.

Каждое время считает себя неповторимым. Каждое новое движение уверено, что оно учло ошибки своих предшественников. Ленин учел ошибки французских революционеров, мусульманские интегралы — ошибки диктаторов, действовавших без благословения Бога. И даже русский фашист Баркашов критикует Гитлера, недооценившего славян. Новая версия тоталитаризма всегда уверена в своей творческой силе.

Однако дело не только в крайних формах административного восторга. Термин «административный восторг» был создан Щедриным на опыте *царской* администрации. А Роберт Белла опирался на опыт американской администрации, сформулировав задачу мыслящего современника: «удерживать деятелей от охватывающего их транса».

Современная цивилизация не может обойтись без вмешательства врачей и без лекарств, дающих противопоказания, которые в свою очередь надо лечить. Без растущего и растущего государственного попечения общество погружается в хаос и народ может просто вымереть. Но уму реформаторов даются только частные решения, лечение отдельных органов, а не оздоровление организма. Медицина цветет, а организм приходит в упадок. Мы вынуждены жить, глотая пилюли. На Западе — хорошо подобранные препараты, дающие ощущение здоровья. У нас в стране — что подешевле. И мы поострее чувствуем кризис. Но кризис — общий. И основа его глубже административного, политического уровня.

Цивилизация в целом, т. е. совокупность Запада и вестернизированных стран, становится сложнее и сложнее и темп перемен — все стремительней. Чем сложнее система, тем вероятнее сбои, срывы, катастрофы. Экономическая катастрофа, как в 1929-1933 гг., эколо-

гическая (о которой говорят сегодня) и неизвестно еще какие.

Алистер Хулберт, эссеист, долгие годы работавший в одной из комиссий ЕЭС, писал, что государственные мужи Запада только делают вид, что они понимают, куда нас несет. И дело не только в ограниченности того или иного президента, премьера. Среди них попадаются люди довольно умные и способные к созерцанию. Беда в том, что даже выдающиеся умы беспомощно стоят на берегу потока перемен. Они не в состоянии охватить то, что уже сегодня бесконечно сложно и что становится еще сложнее. Развитие цивилизации есть развитие человеческой *неспособности* разбираться в жизни общества. Древние мудрецы разбирались в целостности человеческой жизни лучше, чем современные ученые. Взгляд с птичьего полета на гигантский поток времени, оторвавшегося от вечности, дается единицам, и даже эти единицы воспринимают целое как бы в тумане, не различая подробностей. А когда покров тумана рассеивается и что-то выступает ясно и отчетливо, никто не верит Кассандре.

В 1972 году, прочитав книгу Роберта Беллы «По ту сторону верований», опубликованную двумя годами раньше, я был поражен сходством его мыслей с моими мыслями и мыслями нескольких моих соотечественников. Примерно в то же время я написал свой «Эвклидовский разум»; десятью годами раньше Василий Гроссман создавал опыт о преступлениях добра, вошедший в «Жизнь и судьбу» как записка Иконникова; десятью годами позже Юрий Айхенвальд готовил к публикации «Дон Кихота на русской почве» и набрасывал концепцию «кихотизма» (сердечного, спонтанного добра), противостоящего «целенаправленному добру», действиям на благо общества. На разных концах земного шара, в разных, непохожих странах мы думали об одном и том же: как защититься от инерции мысли, потерявшей чувство священных границ? Как спасти Филимонов и Бавкид от предприимчивости Фауста?

Идеи, создававшие Колыму и Освенцим, не умерли. Несмотря на «теологию после Освенцима». Несмотря на своего рода «этику после Освенцима», которую пытался создать Эммануэль Левинас. Возникают новые проблемы, не разрешимые в рамках либеральных порядков, и новые эксцессы. Ни учение Христа, ни этика Канта их не предотвратили, и нет надежды, что какие-то поправки в заповедях совершенно устроят опасность. И все же священник, учитель, писатель, ученый, философ обязаны сделать все, на что они способны, чтобы удержать от соблазна ничем не ограниченного насилия ради чего бы то ни было, ради выхода из любого кризиса, из любой беды. Надо, по крайней мере, знакомить с тем, чем это все кончалось, что об этом думали Гроссман, Айхенвальд, Левинас, ссылаясь на Достоевского или без

ссылка:

«Единственная абсолютная ценность — это человеческая способность отдавать Другому приоритет». «Мы все ответственны за всё и всех, и я ответствен более, чем все другие», — не дожидаясь взаимности от Другого, не требуя от него равенства ответственности. «Я ответствен за Другого, даже если он наводит на меня скуку или травит меня» (подробнее в книге: *Левинас Э. Избранное.* М.-СПб., 2000, с. 356—366). Все это и подобное много раз написано; однако сорняки тоталитарных идей будут расти вновь и вновь, если не изменится сама почва истории. Когда эта почва становится раскаленной лавой, истерика охватывает культуру и любая клетка может стать злокачественной. Коммунизм вырос из Просвещения, нацизм — из Романтизма. Сегодня экстремизм растет из ислама, из католической теологии освобождения⁹, из традиций «Черной сотни», поддержанных Патриархией. Завтра он может вырасти из экологического активизма. Политическая мысль с ее проектами тотальных и окончательных решений — только следствие лихорадочного темпа научно-технических сдвигов, следствие Нового, ставшего разрушительной силой. Потеряна способность культуры осваивать Новое, приручать его, сохраняя равновесие. Сегодня Новое так стремительно нарастает, что культура разваливается и падает «ценностей незыблемая скала». Разрушительная роль телевидения, о которой с тревогой писали Поппер, Гадамер и другие, — только частный случай.

Министр просвещения России Геннадий Ягодин писал об экологическом кризисе: «Дальше — только два варианта. Либо фашизм, диктатура, которая говорит: Ведите себя так, иначе погибнете»; либо такой уровень сознания, когда человек без диктатуры будет вести себя так, чтобы не погибнуть («Зачем нужны умные люди?» — «Педология», 2001, май, с. 16).

К сожалению, именно умные люди создали реальность, с которой умные люди не знают, что делать. И фашизм в глобальном масштабе — такая же головная вероятность, как и неожиданно выросший уровень сознания. Глобальная диктатура не может утвердиться мирным путем; а война — еще более конкретный путь к гибели, чем нынешнее сползание в пропасть под контролем НАТО. Мы должны быть благодарны англосаксам за то, что они не поддались соблазну безумных идей, завладевших Россией, Италией, Германией, Китаем, Вьетнамом, Кубой... Но порядок, который хранит Америка, — это

⁹ Теология освобождения использовалась для обоснования диктатуры Сандино в Центральной Америке.

порядок движения к катастрофе.

Одна из проблем, которую нельзя решить высокоточными ракетами, — миллиарды недорослей, недоучек, недоразвитков. Примитивные народы умели воспитывать своих мальчиков и девочек. Простая культура целиком влезала в одну голову, и в каждой голове были необходимые элементы этики и религии, а не только техническая информация. Культура была духовным и нравственным целым. Естественным примером этой цельности оставались отец с матерью. Сейчас они банкроты. Тинейджер, овладевший компьютером, считает себя намного умнее деда, пишущего авторучкой. Мир изменился, каждые пять лет он другой, и все старое сбрасывается с корабля современности. Растут миллиарды людей, для которых святыни, открывшиеся малограмотным пастухам, не стоят ломаного гроша. Полчища Смердяковых, грядущие гунны, тучей скопились над миром. И они в любой день готовы пойти за Бен Ладеном или Баркашовым. Записку Иконникова гунны не прочли (а если б и прочли — что им Иконников? Что им князь Мышкин?). Судьбу Другого они на себя не возьмут.

Одно из бедствий современности — глобальная пошлость, извергаемая в эфир. Возникает иллюзия, что глобализм и пошлость — синонимы. И глобализм уже поэтому вызывает яростное сопротивление. Не только этническое. Не только конфессиональное. Культура (в понимании Шпенглера) противится цивилизации. В этом встречается достаточно много безумия, но есть и глубокий разум. Сопротивление американизации увеличивает шансы другого, старого, проверенного историей проекта глобализации — европейского. Европа (в отличие от всех империй, азиатских и старой Российской) — осуществленный проект культурного мира как концерта (или хора) самостоятельных голосов. Россия XIX в., войдя в этот хор, впервые открыла в себе самой возможность полифонии. Одни русские опирались на Францию, другие на Англию, третьи на Германию — и возникла перекличка голосов внутри русской культуры, создавшая условия для расцвета русского романа и русской философии.

Можно быть радикалом, или либералом, или почвенником, но все согласится, что Россия, став европейской, пережила взрыв духовных сил. Я думаю, что это достаточная проверка плодотворности европейского глобального проекта. И можно представить себе глобальную культуру как подобие сводного хора, куда отдельные культурные миры (Европа, ислам, Индия, Дальний Восток) войдут как отдельные хоровые группы. Музыкальное действие, в котором четыре ансамбля, разбросанные на десятки метров друг от друга, подчинились одной палочке дирижера, я слушал в Риме в 1992 г. И дело только за палочкой дирижера, за прислушиванием всех культурных миров к

единству Святого Духа.

В этом направлении действовали зачинатели диалога вероисповеданий, начатого II Ватиканским собором — Томас Мертон, Джон Мейн, Д. Судзуки, Далай Лама XIV и другие. За поверхностным противостоянием Запад—Восток, Север—Юг стоит тенденция техногенной цивилизации покорить себе весь мир и разрушить его, а в борьбе с этим — силы, пока разбросанные, но способные соединиться. Пафос этого противостояния лучше всего выразил Рильке:

Древнюю дружбу богов — этих великих, незримо и
ненавязчиво сущих (мы их не слышим в азарте гонки, в
гуденье машин)... Что ж, их отринуть должны мы, или
начать вдруг искать их поселенья на карте?

Властные эти друзья, те, что в безмолвные дали мертвых
берут, никогда не обнажат свои лики.
Наши купальни, кафе, игрища наши и крики их оглушили.
Мы так давно обогнали

медлящих проводников в вечность, и так одиноки рядом
друг с другом, друг друга не зная.
Путь наш не вьется, как тропки лесов и потоки,

дивным меандром. Он — краткость, прямая.
Так лишь машины вершат взлет свой искусвеннокрылый.
Мы ж, как пловцы среди волн, тратим последние силы.

Сонет к Орфею ч. I, 24

Спешкой задушены,
Вздыблены, взвихрены...
О, если б стихли мы!
О, если б слушали!

Нет, не шумихою
Мутною, пенною, —
Музыкой тихою Выходит
Нетленное.

О, не теряйте сил!
Что вам угар побед?
Мальчики, мир глубок!

Крылья покой раскрыл:
 Ночь и внутри — рассвет,
 Книга и в ней — цветков.

Сонет к Орфею ч. II, 22 (перевод З. Миркиной)

Одна из особенностей великих культурных миров — способность к историческому повороту, переходу от расширения вовне к внутреннему росту, от захваченности центробежными процессами к созерцанию духовного центра и покаянию за отрыв от него. Соединенные Штаты пережили несколько движений аутсайдеров: волну, вызванную уходом Томаса Мертона в монастырь, дзэн, йогу. Но американская культура в целом, начавшаяся с высадки колонистов в Виргинии (XVII в.), не имеет способности к повороту в своей исторической памяти. Она очень односторонне воплощает дух Нового времени, дух Просвещения, поэтому я жду конца американского века. Последний подвиг Америки — укрощение тоталитаризма. Лидерами станут страны, которые лучше других сумеют создать новый стиль жизни, включить паузу созерцания в череду дел, избавиться от лихорадки деятельности, от «блуда труда, который у нас в крови» (Мандельштам). Пионерами могут быть и большие и маленькие страны, сильные и слабые. Мы не знаем, кто вырвется вперед. Но начинать должны все.

Решающей становится не экономика, а педагогика, начиная с детского сада. Дети схватывают начатки нового быстрее взрослых. Я вспоминаю слова девочки четырех лет: «Мама, не говори громко, от этого засыхают деревья». И слова другой девочки, в детском саду, после разговора о Боге: «Это как чувствовать маму с закрытыми глазами». С самого раннего детства можно воспитывать понимание радости, которую дает созерцание. И это подготовит людей к переоценке ценностей, к переходу от инерции неограниченного расширения техногенного мира к цивилизации созерцания, духовного роста и равновесия с природой.

Если мы будем просто звать людей ограничить свои потребности, ничего не выйдет, кроме раздора. Петр кивнет на Ивана, Европа на Америку, Азия на Европу. Поворот может дать только открытие ценности созерцания, паузы созерцания в делах, в диалогах и дискуссиях, в развитии мысли, в сближении влюбленных. Когда Моцарта спросили, что всего важнее в его музыке, он ответил: паузы! Паузы, в которых он слышал — мы услышим, если вслушаемся — божественное дыхание.

Школа не может отвлечься от сегодняшнего дня, не может не готовить программистов, юристов, менеджеров. Но сегодняшний день скоротечен, и течение несет его к смерти. Слово «кала» на санскрите — омоним: и время, и смерть. Культура, не нашедшая опоры в вечном,

падет под напором перемен.

Школы могут и должны учить паузе созерцания: через искусство, через литературу. Со временем — используя телевидение, если оно повернется к величайшей проблеме века. А пока — используя медитативную лирику, медитативную прозу. И от случая к случаю включая передачи «Орфея».

Глас вопиющего в пустыне

Особенность современного кризиса в том, что в центре перемен, на Западе, достигнута относительная стабильность. Психологическая напряженность, вместе с грязными производствами, вывозится на периферию. И возникает впечатление, что если африканцы научатся жить на американский лад, то всем будет хорошо. Между тем, если уровень потребления США станет глобальным, мы сразу пожрем биосферу и сдохнем. Избежать этого можно разве только повернув (как писал Чеслав Милош) от стремления «вперед» к стремлению «ввысь», к движению по лестнице духовного роста, при стабилизации экономического роста и постоянном усилии очеловечивать народившихся детей, не давая им сложиться в массу недоразвитков. Это немного напоминает переход от развития ребенка, накапливающего силу мышц и запасы знаний, к духовной жизни взрослого. Но человечество не обладает единой волей, нужна солидарность. А без общего неба не выходит земной солидарности. Убедить 6 200 000 000 людей по доброй воле умерить свои аппетиты и искать радость в созерцании — задача, которая кажется невыполнимой. Разве Бог поможет.

Одним нужно развитие экономики, чтобы не умереть с голоду; другим — чтобы ежегодно покупать новую автомашину. Одни хлопчот о планировании рождаемости, другие видят в этом кошунство. Одни говорят о глобализации, другие отчаянно противятся ей и готовы весь свет погубить, только бы пить свой собственный чай. Хаос национальных и религиозных идей не обещает ничего доброго, многие в России ждут катастрофы и читают Откровение Иоанна Богослова как прогноз погоды на ближайший месяц. События легко подводятся под туманные образы Апокалипсиса. Например, Чернобыль — звезда Полюнь, павшая на источники вод. Фраза «Времени больше не будет» воспринимается как простое и понятное обещание. Хотя пророческие угрозы — только предупреждения (если не покаетесь), а обещания направлены внутрь, в царствие, которое внутри нас, и просто не могут быть реализованы вовне.

2000 лет тому назад люди не понимали, что время, пространство и материя нераздельны. Нельзя вытащить из связки время, оставив

остальное нетронутым. Если не будет времени — не станет и пространства, не станет материи. И мы войдем в совершенно иное. Мистики называют это «вечным теперь». Они пережили то, о чем говорили, но только лично, внутренне, не как событие перед глазами. Пространство, застывшее в остановленном времени, — это икона, «неподвижный образ незыблемой вечности» (так или примерно так выразился о византийской иконе Р. О. Блайс¹). Но символ нельзя толковать как факт. Опыт мистика Иоанна обещает другим мистикам пережить то, что он пережил, и он не лгал, многие мистики после него пережили «вечное теперь». Но это не путь, по которому могут пойти народы. Как образ народного спасения — это миф. И образ гневного Бога, пославшего ангела свернуть небо, как свиток, — тоже миф.

Реально другое: возможность гибели человечества на земле. Не по воле Бога, а по собственной дурной воле, по несогласованности миллиардов волей. И как ни странно то, что я скажу, — сам Бог не в силах предотвратить катастрофу. Ибо существует свобода воли. Бог входит только в душу, открывшую Ему двери. Бог сможет преодолеть раздор только вместе с нами. Бог может спасти человечество только вместе с нами, а не без нас. Никакие ангелы без нас Ему не помогут. И гибель цивилизации вполне вероятна. Но я не вижу здесь неизбежности.

Неизбежность довольно редкая вещь в истории. Становление жизни, становление человека, развитие цивилизации идет через ряд маловероятных поворотов. Как будто Бог имеет свой план и присоединяется к маловероятному, дает ему силу, и с Богом оно побеждает. В роковом стечении обстоятельств всегда почти есть щелочка для свободы воли, вдохновленной Богом. Даже Ставрогин, антигерой «Бесов», имел шанс спастись, если покается; и наша цивилизация не хуже этого героя Достоевского. В другой книге, у Зинаиды Миркиной, один из персонажей говорит Христу, что у меня на роду, мол, написано... А Христос отвечает: написано на плоти, дух свободен. Что-то в этом роде неоднократно показывают и история, и искусство. В преступлении Раскольникова чувствуются и инерция помысла, и прорывы сквозь инерцию, мгновения свободы. Искушение и благодать накатывают волнами, и у каждой волны есть свой гребень и свой спад. Когда светлая волна спадает, может победить волна тьмы, хотя сама по себе она не сильнее. Впрочем, слова «свет» и «тьма» условны, и дальше я воспользуюсь другими символами: море и пруд.

Душу можно вообразить себе заливом, куда забегают большие океанские волны; но иногда ум создает перемычку, обособляется, и тогда душа превращается в пруд. Застойную воду шевелит любой комок грязи, шлепнувшийся в нее. В прудовом и болотном царстве правит всякая дрянь. Она прячется в уголках памяти и дремлет, пока

какой-то случай, какая-то ассоциация позволит зацепиться и как бы с черного хода, прячась за любую спину, проникнуть во внутренние покои и рассесться на авансцене сознания. Раскольников услы-

Исследователь японской культуры, автор серии книг «Дзен и дзенские классики». шал, что в 7 вечера старуха будет одна, и заработал механизм идеи, инерция искушения, помысел теоретика: поставить эксперимент.

Если душа — залив, единый с морем, океаном, то движение, вызванное камешком идеи, ничтожно и будет смыто большой морской волной. Но душа, оторвавшаяся от бесконечности, ставшая крошечным прудовым мирком, удерживается от искушения только инерцией нравственных привычек. Без жестко воспитанных привычек человек легко покоряется разным фантазиям, идеям, носящимся в воздухе, и, наконец, — духу превратности. В нас есть какой-то дух разрушения и саморазрушения, и если душа не заполнена чем-то лучшим, он может стать хозяином.

Достоевский изображает не дисциплинированных немцев, а фантазирующих русских, доступных всем неожиданным идеям. Подхваченный лучом закатного огня, Раскольников чувствует все ничтожество своей идеи и с отвращением отбрасывает ее. Но потом большая волна спадает. В полосе спада залив превращается в пруд, и Раскольников, или Аркадий Долгорукий, или Иван Карамазов способны поддаться самым подлым искушениям. Стойкость души требует способности держаться добра не только под лучом закатного огня, но и во тьме, в богооставленности, сохранять память большой океанической волны, смывающей прудовую грязь, сохранять ценностей незыблемую скалу, на которой идеи-искусительницы сразу находят свое место. Раскольников понял это только тогда, когда идея захлебнулась в луже крови. Но опыт Раскольникова очень трудно передать миллионам людей; и сегодня они снова благословляют сталинский топор. Инерция тьмы в их душах так велика, что кажется непреодолимой. А тут еще приходит мысль о космических силах распада, безгранично более сильных, чем человек, — и добрые люди опускают руки, не верят в свои силы.

Однако мир существует, вопреки законам термодинамики, вопреки разбегающимся галактикам. Бог вновь и вновь связывает рассыпающийся мир. Мир не был сотворен единожды. Мир вечно творится.

Мне нравится метафора Гераклита: мир — вечно живой огонь. Но этот огонь не горит сам по себе, без высшей воли. Греки хорошо представляли себе то, что можно увидеть или представить себе увиденным. А по ту сторону пространства и времени, по ту сторону царства Хроноса они не заглядывали. И не угадывали вечного возрождения вечно рушащегося мира плоти, вечного творения из ничего.

К этому незримому прислушивались евреи и расслышали «да будет!» — но поняли это как единичный акт или, вернее, шесть единичных актов, после которых Бог присел отдохнуть, словно плотник или каменотес. В чем-то правы греки: вечность не имеет начала и конца. В чем-то правы евреи: мир времени, пространства и материи вечно творится заново. С вечной паузой созерцания, с вечной субботой, с вечным возвратом к молчанию, из которого родится слово.

Образы, созданные древними евреями, иногда нелепы физически: Иисус Навин не мог остановить солнце; иногда они нелепы этически и до сих пор вызывают возмущение (например, Книга Иова у Юнга: как оправдать Бога, отдавшего праведника в руки сатане?). Но за метафорами открываются глубины, в которые греки не заглянули. И каждое время вынуждено искать новые толкования библейских и евангельских легенд. Этот процесс виден и в самой Библии. Исайя иначе понимает Бога, чем Моисей, и невозможно представить себе Книгу Иова во времена Давида и Соломона. Бог не менялся, но переживания Божьего света в груди у разных духовидцев разное и рождающее разные слова. Если мерить по вершинам, то духовидение становится глубже, тоньше. Но, кажется, только до известного времени. Никто не превзошел Будду и Христа.

Быть может, мешает ум, от века до века более сложный; целостность Бога доступнее простоте. Позднейшие откровения приобретают характер толкования первичных образов, первичных заповедей. Но поток откровения не иссяк не только в конце I века, но и в конце XX века. В мире ислама откровение приходило к суфиям, в западном христианстве к Экхарту, Рейсбруку, Иоанну от Креста, Ангелусу Силезиусу, Рильке. Я нахожу молнии откровения у Силуана Афонского, у Антония Блума, у Томаса Мертон. Участие Святого Духа в природе и культуре никогда не кончалось, хотя бы в форме вестничества (как это назвал Даниил Андреев), сквозь вдохновение поэтов, художников, музыкантов. И в человеческой истории непрерывно происходят чудеса. Здесь многое легче сказать стихами, чем прозой:

Мир только чудом не исчез.
 Удерживает мирозданье
 Невидимый противовес,
 Немое противостоянье Души с
 ее крылатым «нет»
 Растущей тяжести в ответ.
 Души, поставившей предел
 Могуществу и власти тел,
 Предел всем волнам и ветрам,
 Души, противящейся нам¹.

Тема эта всё время была с нами в Коктебеле, и там было написано еще несколько стихотворений — о том же. Вот первое из них:

Здесь и далее стихи З. Миркиной.

Творецдохнул, и мир возник.
Вздых Бога - эта высь.
Жизнь вечная есть каждый миг
Творящаяся жизнь.
Нет акту творчества конца.
Огонь в недрах не потух.
Во мне - дыхание Творца,
Животворящий Дух.
И как бы ни текли года,
Не утечет простор.
Творится жизнь во всем, всегда.
Всему наперекор.

Я иногда думаю, что только человеческая свобода есть почва, в которой Бог может раскрыться в своей второй ипостаси и повести за собой. И только совокупность святых создает полноту Божьего бытия и гармонию вселенной. Может быть, именно это угадывал Шефлер (Ангелус Силезиус) в своем дерзком двустишии: «Я без Тебя ничто, но что Ты без меня?» Пока люди не впускают в себя Бога, Бог, чуждый человеку, не определяет человеческого бытия, не царит в истории, в культуре.

Как давно мир Божий болен? О,
когда впервые Сила вырвалась
на волю, Власть взяла стихия?

Кто на сей вопрос ответит? Кто
нам точно скажет Сколько дней,
часов, столетий

Князь бездушный княжит?
Но не он хозяин всходов - Тот,
кто сеял семя.
Все бесчисленные годы - Это
только время.

То, что канет, то, что кружит, -
Рушит, а не лечит.
И оно всегда снаружи,
А внутри нас - вечность.

Не единой силой живы -
Тайною великой.
Есть в глубинах молчаливый
Внутренний владыка.

Только Он - наш царь по праву.
Мир - владенье Духа.
Бог есть космос, а не хаос,
Строй, а не разруха.

Длится каждое мгновенье Клич в
Господнем стане - Бьется сила
разрушенья С силой созиданья.

Кто Творцу на самом деле
Вышел на подмогу?
Мы пожертвовать сумели Не
собой, а Богом.

И останется навеки В небеса
впечатан Бог, распятый в
человеке,
Бог, людьми распятый.

Но вершится неизменно Тайная
молитва - Нас зовет Творец
вселенной На немую битву.

Адский грохот бьет и глушит
Голос Божьей шири:
Строй и космос в ваших душах -
Строй и космос в мире.

Чтобы Бог помог людям, нужно согласие людей помогать Богу. Пусть согласные составляют ничтожное меньшинство. Но всё в истории начиналось с нескольких людей и даже с одного человека, решившего, что он и Бог — это уже большинство.

Нужно меньшинство, которое учится молитве и учится созерцанию, смыванию мусора, нанесенного в души суетой жизни и болтовней ума, смыванию мусора волнами света, волнами моря, волнами холмов и гор, древесных крон под ветром, волнами стихов, музыки, волнами форм и красок, созданных искусством. Мусор, занесенный в душу, совсем не безобиден, я уже говорил, за него цепляется дух превратности, он прячется в углах сознания и пользуется всякой минутой духовной вялости, прудовой замкнутости, чтобы вылезть и

попытаться овладеть нами. Всякое погружение в мир бездушных частностей, даже для очень важных дел, опасно, чревато грехом, дает всплыть грубым и тонким соблазнам и без противовеса в молитве и созерцании, от которых мы отвыкли, искажает дух. Между тем, современную цивилизацию невозможно представить себе без нарастающего погружения в бесчисленные сложности бесчисленных наук и технических устройств. И восстановление духовной целостности человека становится всё более трудной задачей. Чтобы решить ее, нужно великое согласие.

Солидарность ради спасения

То, о чем я хочу сказать, Михайло Михайлов назвал планетарным сознанием. И я начну со странички из интервью, которое он дал Ирине Дорониной («Дружба народов», 2000, № 2):

«И. Д.: Создается впечатление, что человечество стремительно катится к всемирной катастрофе. Видите ли вы хоть какую-то обнадеживающую перспективу?»

М. М.: Я вижу ее только в религиозном возрождении. Понимаю, что для современного человека, уверенного, что он — лишь былинка, полностью находящаяся во власти физических, биологических, психических и социальных законов, такое заявление звучит диковато, но язык нового религиозного сознания, которое я называю «планетарным», почти не имеет отношения к языку церковному. Когда меня спрашивают, верую ли я в Бога, я отвечаю: объясните мне сначала, что вы подразумеваете под словами «Бог» и «веровать». Исходя из этимологии слова «религия» (по-латыни «связь»), я имею в виду связь внутреннего мира личности и мира внешнего, Космоса. Она не имеет ничего общего с тем механическим влиянием внутреннего мира человека на события его жизни, какое устанавливает психоанализ, не только по Фрейдю, но и по Юнгу. Напротив, новое сознание предполагает необъяснимую, но вполне реальную зависимость самой жизни, истории от внутреннего мира человека. Если человек смотрит на мир не как на живое целое, таинственным образом связанное с душой каждого, а как всего лишь на внешний объект, то объектами постепенно становятся и люди с их страданиями, даже ближние, и в конце концов человек остается совершенно один в Космосе-объекте. И тогда страдание, вызванное одиночеством, открывает дорогу к религиозному возрождению, мир снова превращается в живое целое, за судьбу которого каждый человек несет полную ответственность. Душа

выходит из одиночной камеры на свободу.

И. Д.: К слову, в заключительной части своей работы «Возвращение Великого Инквизитора» вы пишете: «Родина человека — это свобода, а не географическая, государственная или национальная принадлежность». Следовательно, под свободой вы понимаете не свободу в политическом, экономическом и даже физическом смысле?

М. М.: За историю человечества вопрос о том, что есть истинная свобода, обсуждался столько, сколько, пожалуй, не обсуждался ни один другой. Обычно под свободой подразумевают свободу слова, волеизъявления, совести и т. п. Тем не менее, взгляните: на Западе все эти свободы существуют довольно давно, но сколько же там внутренне несвободных людей, несвободных от собственных пристрастий к наркотикам, к наживе, к власти... И в то же время даже в условиях тоталитарных режимов, даже в лагерях существовали люди, которые были внутренне свободны.

И. Д.: Да, мы много читали об этом и у Солженицына в «Архипелаге», и у Синявского в «Голосе из хора», вы, вероятно, познали это на собственном опыте. Но есть ведь и другой опыт, о котором писал Шаламов, — страдание может ожесточать.

М. М.: Да, необходимое условие состоит здесь в том, чтобы в страдании человек обратил взор на себя и осознал, что страдание дано ему в наказание — не назначенное по суду, а в наказание за собственное неумение, следуя внутреннему голосу, открыть для себя путь к истинной свободе личности.

И. Д.: Если я правильно поняла, вы говорите о новой, глобальной религии?

М. М.: Именно. Об абсолютном начале, которое должно быть явлено человечеству как религия личности и свободы. И в ее основе будет лежать способность человека следовать собственному внутреннему голосу, что требует невероятных духовных усилий. Когда Линкольна, каждый день уединявшегося на несколько часов для молитвы, спросили, молится ли он о том, чтобы Бог был на его стороне в Гражданской войне, он ответил: «Ни в коем случае! Я молюсь о том, чтобы мне достало сил оставаться на Его стороне». Вот эта духовная сила и открывает путь к истинной свободе личности, которая каким-то мистическим образом приводит порой и к внешней свободе, и к физическому спасению, и к осознанию связи между внутренним и внешним. Эта связь недоказуема, но существует. И когда достаточно много людей поймут, появятся основания для религиозного возрождения».

Мы много раз сходились с Михаилом Николаевичем во взглядах, начиная с 60-х годов, и я рад, что и сейчас мы не разошлись. Однако кое в чем я иначе смотрю на вещи. Я не думаю, что возможна единая

религия для индийской, китайской, мусульманской и христианской цивилизаций. Разве только каждая из них перестанет быть самой собой, как это случилось с Древней Грецией и Древним Римом. Такой поворот в ближайшие века немислим. Между тем, движение к катастрофе идет быстрее. И я просто не могу представить себе религию, которая отодвинет христианство или буддизм так, как христианство отодвинуло племенные культы. Я долго вживался в символику великих религий и в каждой из них почувствовал великую бездну, способную уравновесить дырявый мешок пространства, времени и материи. В этой предельной глубине, по-моему, и корениться «планетарное» духовное единство: в сознании, что глубина каждой великой религии ближе к глубине другой религии, чем к собственной поверхности. На этой глубине, постижимой только в молчании, за уровнем слов, возможно согласие созерцателей глубины. И диалог созерцателей может стать согласным хором. А к этому хору постепенно могут примкнуть и другие, подталкиваемые необходимостью.

Еще в XIX веке Рамакришна созерцал внутреннее единство Будды, Христа, Мохаммеда, Джини¹ и, по-моему, правильно установил уровни, на которых они стоят. Впрочем, иерархия — опасная тема, и лучше оставить ее личному духовному опыту. Сегодня важно другое: внутреннее единство разных образов высшей святости. В Индии это сознается со времен Вед: «Одну и ту же птицу мудрецы называли разными именами...». Западный ум, опирающийся на логику Аристотеля, с трудом усваивает чувство и понимание недвойственности. Однако II Ватиканский собор все же перешел к диалогу, то есть к сознанию, что католицизм обязан не только учить, но и учиться. И есть признаки, что элементы восточной философии начинают входить в католическое богословие так же, как некогда во вселенское христианство вошли элементы платонизма. Так, в справочном аппарате к книге «Доброе сердце», о которой я еще буду говорить, есть определение вечной жизни, основанное на принципе недвойственности: «По христианскому учению, вечная жизнь — не бесконечное и утомительное прохождение времени; напротив, это безвременное теперь, предшествовавшее сотворению всякой двойственности, даже двойственности начала и конца». За этими несколькими словами стоит сплав опыта мистиков Запада (вечное теперь) и философии Востока.

Опорой диалога религий может быть и тринитарное мышление, развитое византийцами. Если человек и Бог могут быть слиты «неслиянно и нераздельно», то почему нельзя помыслить себе «неслиянное и нераздельное единство» великих религий? Если все они помечены печатью Святого Духа? Дело только за тем, чтобы при-

В Индии сохранилась община его последователей — джайнов. Знать реальность этой печати. И она начинает сознаваться великими созерцателями нашего времени.

Трудности возникают, как только мы попытаемся перенести опыт встречи созерцателей вширь, в массы священнослужителей и верующих. Наступление техногенной реальности может давать парадоксальные результаты. Человек массы, ставший мерой всех вещей, делает своей мерой удовольствие. И тогда рушатся все высшие ценности: молитва иногда приятна, но секс приятнее, а наркотик дает еще более острое наслаждение. Как реакция укрепляется фундаментализм, религия запретов, основанных на букве Писания. Каждый фундаменталист отстаивает свою букву, и арабский фундаментализм несовместим с иудейским (мы это видим в Израиле). От всего этого хаос только возрастает. С другой стороны, атеист Мелихов восстает против «мастурбационной цивилизации», исходя из чувства человеческого достоинства, и ищет путей к спасению человечества. Этого достаточно для плодотворного диалога. Можно объединить все противотечения, которые рождает духовный распад мира.

Одно из таких противотечений — чувство ритма истории, чувство назревшего поворота, назревшей переоценки ценностей. Развитие техногенного мира долгое время было условием духовного роста. Города, а не деревни, создали великие цивилизации. И техника, позволив сократить рабочий день, на первых порах освободила человека для всестороннего развития. Маркс отчасти был прав, рассчитывая на это. Но он не учел негативных следствий углубления в технические проблемы. Освободились руки, но закабален был ум, и чем дальше, тем больше. Сегодня дело дошло до того, что техногенный мир, разрастаясь, угрожает самому существованию биосферы. Можно создать роботов, которые будут управлять машинами без кислорода воздуха и без людей, но перспектива такого технического прогресса сравнима с диагнозом прогрессивного паралича.

Приходится вспомнить, что есть разные степени свободы — не только вширь, но и ввысь, не только «вперед, к новым землям!», «вперед, к новым завоеваниям техники!», но и «ввысь, к новым ступеням духовного роста». Лестница вверх ограничена справа и слева. Поворот к медленному созерцанию требует пространственного самоограничения. Знаковая фигура этого поворота — Томас Мертон, назвавший траппистский монастырь «четырьмя стенами своей свободы». Без ограничения роста техногенного мира, без охраны условий для созерцания нельзя перейти к цивилизации духовного роста — к тому, что отличает совершеннолетнего от подростка. Это общая задача всех стран. Это важнейшее условие сохранения жизни на Земле.

Наступил час переоценки ценностей. В западной цивилизации господствует пафос достижений, пафос игры на выигрыш. Этот пафос захватил и нашу страну. Г-н Березовский открыл его заново и в каком-то порыве самопознания озвучил его в эфире. Он, кажется, не читал Макклелланда и не знал, что теория достижений давно выстроена. Современный капиталист — не Скупой Мольера или Пушкина, ему неинтересно копить деньги в сундуках. Он может и не прикасаться к деньгам и жить скромно. Цифры с большими нулями — счет очков в его игре. Но для души бизнес так же разрушителен, как рулетка. И возрождение души требует восстановления ценностной вертикали, поворота «сердца горе». Хотя совершенно не обязательно, чтобы каждый дошел до самого верха, до встречи с Богом. Достаточно стремления и доверия к тем, кто дошли.

Чеслав Милош, у которого я заимствую образы «вперед» и «вверх», говорил о подмене истинного «*вверх*» ложным «*вперед*». Я думаю скорее о ритмической смене ценностных ориентаций. Чистого порыва вверх ни у какой цивилизации не было, это и в Средние века было достоянием одних монахов. Пожалуй, строго «вертикальной» была разве цивилизация Древнего Египта. Египтяне строили пирамиды и совершенно не старались расширить свое культурное пространство. Но соседи оказались более динамичными. Началась игра имперских сил. Египет в нее втянулся, проиграл и оказался провинцией — персидской, эллинистической, римской. Установился римский мир. Но пафос расширения его иссяк. Не хватало сил даже для защиты размахнувшихся границ. Дела шли худо. И победила религия, родившаяся в презренной Иудее; она осмыслила внешне неподвижную жизнь, создала внутреннее пространство храма и увлекла поисками царствия, которое внутри нас. На этой вере держалось единое для Средиземноморья небо.

После этого около тысячи лет излишняя любознательность считалась похотью. Данте встретил Одиссея в преисподней. По византийской кормчей книге за путешествия в чужие земли полагалось проклятие. Индеец, выехавший за рубеж, терял касту. Китайцы просто презирали варваров и не верили, что у них можно чему-то научиться. Особняком стоял ислам. Правда, беда (новшество) так же пугало правоверных, как ересь (выбор). Но расширение границ оправдывалось распространением веры, а международная торговля была освящена примером Мохаммеда. Контакт с исламом был одним из факторов, будораживших Европу. Вторжение мавров в Испанию вызвало Реконкиту, продолжением Реконкиты стал прыжок в Атлантику. И тут вырвалась в пространство динамика, накопленная в вольных городах. Началось Новое время.

Героями снова стали Одиссеи, открыватели новых земель, и Прометеи, изобретатели машин. Они создали глобальную цивилизацию — с небом, по-прежнему разорванным на куски: христианским, мусульманским и т. п. Они создали техногенный мир, теснящий и разрушающий биосферу. Те, кто созерцают этот процесс как великое целое, не запутываясь в мелочах, вступают ряды солидарных в борьбе за жизнь как историки, как экологи, попросту люди с широким взглядом на вещи. Читатели научной фантастики могут мечтать о завоевании космоса. Но пока, кроме Земли, у нас ничего нет. И на Земле нет никакой другой альтернативы гибели, кроме нового поворота к царствию внутри нас. Без этого призывы к солидарности столкнутся с личным и национальным эгоизмом и люди задохнутся, грызясь друг с другом за последний глоток воздуха.

Несколько лет тому назад мне пришлось участвовать на конференции круглого стола «Этос глобального мира». Вел его Михаил Сергеевич Горбачев. Как политик, он понимал необходимость единых нравственных норм для всех режимов и стран. Но профессора, собравшиеся в Горбачев-фонде, с ним не согласились. Они согласились с дьяконом Андреем Кураевым, что нравственность связана с религией, а религии несовместимы. Я в одиночестве защищал противоположный тезис: религии несовместимы на уровне буквы; дух, царствующий в глубине, — един. В поисках авторитетов я сослался на Далай Ламу. В 1996 г. в Швейцарии, на юбилее Общества морального перевооружения, его спросили, в чем особенности ламаизма. Он ответил: «главное — любовь в сердце, а метафизические теории, буддийские и христианские, — дело второстепенное». Профессор Шохин (не политик, а философ) уверенно оборвал меня: «Ну, это демагогия». Я промолчал. Против презумпции неискренности, игры на публику трудно бороться. Нам слишком много лгут. Однако постепенно у меня накопились факты для ответа. В книге Томаса Мертона «Мистики и дзэнцы» можно прочесть: «Я могу сказать, что для Дайзетцу Судзуки, бесспорно, самого авторитетного и законченного истолкователя традиции Риндзай (последователей старца Линь-цзи. — Г. П), „самое важное — это любовь“. Это он мне высказал в доверительном общении (т рeг§onal сопuegeаНоп), и я почувствовал, что так он подвел итог всему, что когда-либо писал, пережил или говорил» («МтзЙкз апй Зeп та§ 1eг8». N. У., 1999, р. 41).

Свидетельство Мертона много стоит. Не знаю, попадались ли читателю его странички о созерцании, напечатанные в «Вестнике РХД» довольно давно, возможно, вскоре после смерти Мертона в 1968 г. Мне этот отрывок сразу дал масштаб, с которым я сопоставил свой собственный скромный опыт, и я безусловно доверяю интуиции

одного из величайших созерцателей XX века. Беседа с Судзуки произвела на него огромное впечатление; я слышу отзвуки ее в двух других местах книги: «Что-то проясняет до ошеломления, когда говоришь с японским буддистом дзэн (отвергающим всякую букву буддизма во имя духа». — Г. П.) и находишь, что между вами больше общего, нежели с теми соотечественниками, которые мало заботятся о религии или проявляют интерес только к внешней ее стороне» (с. 209). И еще: «Хотя существуют многие важные различия между традициями, у них есть и много общего, включая некоторые основные черты, которые отделяют монаха и дзэнца от людей, предающихся жизни, которую я назвал бы агрессивно несозерцательной» (с. VII). Говоря о монахе, траппист Мертон имел в виду, прежде всего, себя самого.

Я получил книгу Мертона в руки 21 мая 2000 г., в первый же день, проведенный в Осло, а 23 мая присутствовал на встрече Далай Ламы с норвежцами. Первыми на эстраду вышли старейший местный философ Арне Несс, Эрик Даманн, основатель общества «Будущее в наших руках», и епископ Розмари Кён. Госпожа епископ держалась очень просто и улыбнулась пятитысячной аудитории, как при встрече со знакомым на улице. У мужчин были более собранные лица, выражавшие готовность что-то сказать (они действительно воспользовались правом одного вопроса, чтобы излагать свои взгляды). А Далай Лама, вышедший из противоположной кулисы, был более чем прост. Он всем собой взламывал торжественность встречи.

В Швейцарии, в 1996-м, его, видимо, сковывала обстановка юбилея. В Норвегии он чувствовал себя по-домашнему, в одном из убежищ тибетской диаспоры, рассыпанных по всему свету. Его поведение было совершенно свободным от сознания своего сана. Так мог держаться дзэнский наставник Иккью, называвший себя «сыном безумного облака»; анекдоты о нем издавались и переиздавались в Японии с XV в. до наших дней. Не знаю, каким был Далай Лама в Тибете, с ног до головы опутанный ритуалом. Выбранный для своей роли мальчиком пяти лет, он зависел от конгрегации лам еще больше, чем президент РФ от кремлевской администрации. Изгнание вытолкнуло его на волю, на перекресток всех восточных и западных духовных течений, и он раскрылся как личность с точкой опоры внутри и необычной свободой вовне, в поведении. То, что он сказал в Швейцарии, было теперь удостоверено каждой улыбкой, каждым жестом. Не было никакой заданности, никакого «чина». В буддизме это ближе всего к дзэн, в православии возможно только у юродивого.

Выходя на эстраду или кончая ответы на вопросы, Далай Лама соединял ладони в традиционном благословении, но с какой-то улыбкой дзэнца. Ее можно смешать с улыбкой авгура; однако, она имеет другой

смысл. Это легкая подсказка о ничтожестве всех жестов, о различии между Луной и пальцем, указывающим на Луну. Дзэнсец, в отличие от авгуров постмодернизма, *знает* о реальности Луны. И именно поэтому он не боготворит дорожные знаки и указатели.

Лекция Далай Ламы была посвящена этике третьего тысячелетия. Основой ее он считал внутреннюю готовность встретить неожиданное и найти непредсказуемый ответ, опираясь на постоянный контакт с вечными началами: любовью, миролюбием и терпимостью. Это несколько напоминает правила дзэнской живописи: рисуй, что хочешь и как хочешь, но в состоянии единства с космосом (без раздвоения на физическое и духовное). Все видимые каноны заменяются каноном внутреннего взрыва творчества. В христианской этике что-то подобное сказал Августин: «Полюби Бога и делай, что хочешь». И о том же — менее парадоксально — говорят две наибольшие заповеди Христа (полюби Бога всем сердцем и ближнего — как самого себя). Все остальное в христианстве есть нечто меньшее, и если законы сталкиваются с сердцем, повернутым к Богу, Христос пренебрегал законами (и нам повелел быть подобным Ему).

Меня иногда спрашивали о том, как я представляю себе XXI век. Я отвечал, что XXI век, возможно, будет еще более неожиданным для сознания, сложившегося в XX веке, чем XX век — для девятнадцатого. И то, что говорил Далай Лама, опираясь на свое понимание буддизма, вытекает также из глубокого понимания нашей христианской или, может быть, постхристианской цивилизации. Напрашивается вопрос о диалоге; он был задан епископом, госпожой Кён, и Далай Лама подробно ответил. Мой друг Петер Воге записал ответ на кассету. Вот русский перевод записи:

«Епископ г-жа Розмари Кён: Ваше превосходительство, я недавно читала книгу, которая произвела на меня большое впечатление, — „Доброе сердце“, ваши заметки о Евангелиях. В вашей сегодняшней лекции вы повторили фразу из этой книги: диалог между буддизмом и христианством может быть расширен, и люди могут учиться любить друг друга *благодаря* различиям между ними. Можете ли вы сейчас раскрыть возможности диалога между буддизмом и христианством?

Далай Лама: Как я уже сказал раньше, все великие религии имеют одинаковый потенциал и одинаковую цель, несмотря на то, что между ними существуют конфликты и разногласия, даже серьезные разногласия. Но то, что существуют разные религии, очень важно — разные религии делают возможным видеть индивидуальные особенности жизни; эти особенности и различия

так же важны, как общая цель всех религий. Как я уже упомянул, одна и та же религия для всего мира немислима и нежелательна. И хотя у всех религий одни возможности, ни одна из них не способна стать единственной мировой религией — религии нуждаются друг в друге.

Это означает, что надо учиться понимать верования друг друга. И чтобы добиться этого, я думаю, мы, прежде всего, должны иметь мужество признать различия, увидеть различия и даже противоречия между религиями. Мы должны осознать, что у каждой религии свой характер, что она отличается от других.

Однако различия существуют только на одном уровне, это так же важно. Если мы посмотрим на цели и на то, что у всех религий — общее, мы скоро пойдем, что эти общие черты гораздо важнее, чем различия, и что эти общие характеристики существуют на более высоком уровне. Терпимость, мир, любовь — вот общие черты всех религий.

Итак, чтобы вести плодотворный диалог между буддизмом и христианством или между любыми другими религиями, надо, прежде всего, попытаться реализовать те качества, о которых все религии говорят и которых добиваются от нас. Другими словами, мы должны стать терпимыми, миролюбивыми, любящими. Мы должны понять, когда религия нужна, и попытаться в таких случаях быть тем, что религия от нас требует. И тогда мы увидим, что религия проверяется не в церкви. Там мы сидим с закрытыми глазами, мирно, спокойно, ничто нас не возмущает — и мы становимся терпимыми, любящими и миролюбивыми без помощи религии, да, — это даже совсем не трудно быть (в церкви. — Г. П.) любящими и терпимыми.

Другое дело — вне церкви, когда мы живем своей обычной жизнью и нас оскорбляют, задирают, когда я думаю, что со мной несправедливо поступили, возмущаюсь чем-то, когда мы сталкиваемся с трудной проблемой и захвачены негативными эмоциями — вот когда нужна религия! Нам нужна религия в бизнесе, в повседневной жизни, когда нас надувают и мы испытываем искушение негативной реакции. И так же — это очень важно — когда мы сталкиваемся с людьми другой веры. Вот когда надо напоминать себе: «я христианин, я буддист, я индуист». Не для того, чтобы подчеркнуть различие между собой и другими, но чтобы напомнить себе, что религия от меня требует, вспомнить, что надо быть терпимым, действительно встретить и понять другого и его или ее религию.

Поэтому я думаю, что прежде всего надо жить в духе своей религии и через этот опыт приобрести способность понимать религию другого. Тогда мы будем не только видеть различия, мы научимся почитать верования другого, научимся почитать и то, что различно, и то, что сходно...

Очень важно быть терпимым. Терпимости учат все религии. Очень важно встречаться с исповедниками других религий как с соседями,

понимать и почитать сходства и различия их вер. Важны также встречи на более академическом уровне, обсуждение сходств и различий. Это второй шаг: познавать традиции друг друга. Открытость другим традициям очень плодотворна. Для меня всегда были важны встречи с христианами, укорененными в практике своей веры, со священниками и епископами. Это давало случай почитать их традиции, и понимание их религии помогало углубиться в свою собственную...

Третий шаг — общее паломничество, путешествие по святым местам других религий, не туристами, а паломниками. Я побывал в Иерусалиме не как посетитель или турист, но как паломник. И я участвовал в семинаре имени Джона Мейна, где более ста христиан и нехристиан вместе жили, читали, погружались в молчаливую медитацию. Два года спустя мы вместе направились в Индию и произошло событие, которое я считаю историческим: впервые христианские священники сидели в медитации под деревом Бодхи (где Будда испытал просветление. — *Г. П*). Я думаю, что можно получить огромное вдохновение от таких святых мест чужих религий.

Четвертый шаг — устраивать встречи между главами общин и представителями священства разных религий, чтобы они могли постигать чужие традиции, и не только изучать их — они должны пытаться войти в них с искренним благоговением. В семинаре Джона Мейна я пережил великий опыт. Я должен был не только прочесть отрывок Евангелия, но толковать его и обратиться к другим с речью, основанной на прочитанном.

Как буддист я, разумеется, не верю в Бога, в Творца, но когда я читал Евангелие и должен был объяснить то, что прочел, я говорил, что Творца невозможно отрицать: взгляните вокруг — разве не ясно, что все эти вещи и все эти силы должны иметь начало! Это было моим скромным даром христианским братьям и сестрам».

Последние фразы могут смутить, показаться скептическими, безразличными. На самом деле, это слова мистика, для которого молчание — отец слова и слово «Бог» только одно из названий внутренней бездны, уравнивающей бездну внешнюю. Там, где верующий христианин или мусульманин скажет «Бог», буддист говорит «неставшее, нерожденное, несотворенное». Мартина Бубера это различие в словах не обмануло, и он признал слова «неставшее, нерожденное, несотворенное» одним из имен Бога. Я думаю, с этим согласился бы и Мейстер Экхарт. У него в проповеди есть загадочная фраза: «и Бог преходит». Я думаю, что Экхарт в умозрении, в мистическом опыте, в молитвенном опыте мог обращаться к божественному, к глубине священного не со словами «Бог, Господь», а с молчанием или знаком молчания перед непостижимым. Судзуки, в

своей статье «Мистицизм христианский и буддийский», восхищался Экхартом. Католическим богословам XIV века Экхарт показался еретиком, но современные католики смотрят на вещи иначе.

Многие мудрецы Упанишад еще до буддизма не решались назвать тайну священного каким-либо словом. Высшая точка в «Брихадараньяке» повтор отрицаний: «Не это! Не это!». И в самом деле, в слове «Бог» есть нечто от примитивных культов, от богов грома, молнии и т. п., перед которыми дикари падали на колени, и хотя еврейские пророки по мере сил очистили это слово, возвысили его, Бог до сих пор легко становится кумиром. Впрочем, как всякое слово и образ. Некоторые средневековые раввины задавались вопросом: не может ли сама Тора стать кумиром? И они были правы. Для иконоборцев кумиром стала заповедь «не сотвори себе кумира». Они не понимали, что икона, какой она сложилась после VII Вселенского собора, — это богословский текст, «умозрение в красках», по удачному выражению князя Трубецкого; это текст, внутренне сопротивляющийся кумиротворению, хотя, в конечном счете, решает наше восприятие. Всякая буква может убивать дух, и то, что написано Святым Духом, может быть прочитано только Святым Духом. Эти слова Павла и Силуана я много раз повторял.

Одно из противоядий кумиротворению, разделяющему людей друг от друга и от Бога, — это равновесие слова и молчания. Каждое занятие семинара имени Джона Мейна, на котором Далай Лама комментировал Евангелие, начиналось с молчаливой медитации. Многие участники медитации называли это молчаливым диалогом, диалогом любви — без тех препятствий, которые создают различия слов. Только потом Далай Лама читал Евангелие, комментировал его, а иногда сам задавал вопросы, на которые отвечал бенедиктинский богослов о. Лаврентий Фримен. Из этих вопросов ясно, что Далай Лама захвачен тем, что на Западе назвали «аджорнаменто», осовремениванием языка веры, и искал поддержки в опыте католиков. Таким образом, диалог двух религий становился одновременно диалогом религии с современным умом, не способным путать мифы с фактами. Вот замечательный фрагмент:

«Далай Лама: Какой смысл для христиан имеет небо?

О. Лаврентий: Небо — это переживание радости, мира и любви Бога до полноты человеческих способностей.

Далай Лама: Так что нет необходимости ассоциировать его с физическим пространством?

О. Лаврентий: Нет. Только во сне.

Далай Лама: Подобным образом можно ли понять ад в терминах

крайне негативного, помраченного состояния духа?

О. Лаврентий: Да, конечно.

Далай Лама: Так что мы не должны думать о небе и аде как о внешней среде?

О. Лаврентий: Нет. Ад был бы переживанием совершенной отделённости от Бога, что само по себе нереально. Оно иллюзорно, потому что ничего не может быть отделено от Бога. Однако если вы думаете, что вы отделены от Бога, то вы в аду.

Далай Лама: В Евангелии есть такое место. Иисус говорит: “Я не пришел судить... Слово, сказанное Мной, будет судьей...”

Я чувствую здесь большую близость к буддийской идее кармы. Нет автономного существа вовне, которое решает, что мы должны пережить и понять; вместо этого есть истина, содержащаяся в принципе причинности самом по себе. Если вы действуете этически дисциплинированно, будут желанные последствия; если вы действуете дурным и вредным образом, вы также столкнетесь с последствием этого. Истина принципа причинности судит не сущность или существо, которое издает приговоры. Как вы это истолкуете?

О. Лаврентий: Есть поэтическая метафора в Библии, в которой Бог наказывает человечество за его грехи. Но я думаю, что учение Иисуса выводит нас по ту сторону образа Бога, наказывающего нас, и заменяет его образом Бога, любящего безусловно. Грех остается, грех — это факт. Зло — это факт. Но наказание, ассоциирующееся с грехом, заложено в самом грехе. Однако вместо того, чтобы подчеркивать причинность, хотя это кажется логичным, я думаю, что христианин скорее станет подчеркивать свободную волю. У нас есть свободная воля в этих делах, по крайней мере, до некоторой степени».

Это место можно пояснить другим:

«**Далай Лама:** Есть ли в христианском контексте верование, что каждый человек имеет свою судьбу, которая должна свершиться?»

О. Лаврентий: Да. Судьба каждого — разделить, в конечном счете, бытие Бога.

Далай Лама: А можно сказать, что при некоторых обстоятельствах личная судьба может измениться?

О. Лаврентий: Да, потому что личность свободна принять свою судьбу или свое “призвание” или нет. Есть взаимоотношение между судьбой и свободной волей» (цитируется книга: *^a^a^ ата. Тье §00й Беай. К, 1997, р. 114, 92).*

Таким образом, судьба, рок, предопределение, карма рассматривается вероятностно, как весьма большая вероятность, как очень сильный вектор, но всегда мыслится нечто вроде щели для прорыва

свободной воли.

Этот общий принцип не устраняет различия религий. Далай Лама несколько раз повторял тибетскую поговорку: нельзя приставлять голову яка к туловищу овцы. Но не следует делать и другого: превращать различия в антиномии. Антиномии — создание западного ума. В восточном уме их нет. И можно чему-то научиться от восточной философии.

фии. Вспомним еще раз, что христианство стало мировой религией, усвоив некоторые элементы платонизма. Не грех усвоить и кое-что от индийского и дальневосточного понимания противоречий.

На круглом столе о глобальном этосе дьякон Андрей Кураев опровергал меня, указывая, что христианство — это чистый свет без тьмы, а даосы говорят о гармонии света и тьмы. Возражение имело бы смысл, если бы физической свет и тьма вызывали бы одинаковые ассоциации во всех культурах. Между тем, в китайской культуре дело идет о гармонии инь и ян. Инь, по первоначальному значению иероглифа, — это влагилище, ян — член детородный. На архаическую основу наложились ассоциации: текучее и твердое, воды и горы, наконец — тьма (не как зло, а как ночь, когда происходит зачатие) и свет (как день, когда человек рождается на свет). Такое противопоставление ночи и дня — без антагонизма — и в Библии можно найти, в Книге Иова. Вечная ночь заморозила бы поля, вечный день сжег бы их. Зло не в ночи и не в дне, не в тьме и свете, а в нарушении их гармонического чередования. Дао рождает инь и ян не как зло и добро, а как женское и мужское. Мужчина и женщина различны, но это различие — условие их любви. Мужчина и женщина принадлежат к одному роду (как инь и ян — к дао), и дао, путь, притягивает друг к другу инь и ян. В любви, создавая семью, женщина и мужчина образуют единство, не переставая быть самими собой. Именно в любви, в семье женщина полностью раскрывает себя, «становится женщиной». Я думаю, что до какой-то степени это относится и к мужчине. Мужчина, никогда не любивший, чувствует себя неполноценным. Всякую неполноценность можно компенсировать. Расслабленный Стилихон, передвигавшийся на носилках, был великим полководцем. Но естественный путь расцвета и мужского, и женского характера — любовь.

Бывают браки, в которых та или другая сторона господствует и подавляет. Точно так же бывают диалоги, где один говорит, а другой не находит слов для ответа, теряется или, наоборот, поддакивает. Однако в подлинном диалоге личность раскрывается. Мы узнаем Сократа по диалогам Платона. Страх некоторых церквей перед диалогом говорит об их убожестве, о боязни, нырнув в единство, не вынырнуть из него, раствориться, распасться. Золото, даже брошенное в серную кислоту, останется золотом.

В индийской культуре нет китайского стремления к наглядной образности иероглифа, к чувственной осязательности символа, но есть другой способ понимания единства различий: в созерцании недвойственности. Большинство философских школ относит двойственность к поверхности бытия, а глубинное мыслит как недвойственное.

Индийский ум не поработен логикой. Нагарджуна показал, что всякое логическое предложение ложно по отношению к Целому. Логика раскалывает целостность на субъект, предикат и связку, то есть с самого начала сводит дело к отношению кусков, дробит целое и не может его восстановить. Через две тысячи лет молодой Людвиг Витгенштейн, призванный в армию и не слишком отягощенный своими обязанностями офицера, написал в своем «Логико-философском трактате»: «мистики правы, но их правота не может быть высказана, — она противоречит грамматике». В этой фразе «мистика» — это именно созерцание целого, недвойственного; и немудрено, что Витгенштейн, записанный в классики логического позитивизма, впоследствии искал подступ к целому в дзэнских парадоксах.

Различия становятся непреодолимыми только в логически организованной речи. Они снимаются в абсурдных высказываниях (и абсурдных поступках юрoдoвoгo), в поэтической речи и в молчании. Мысль о том, что Бога можно почтить только в молчании, восходит к Григорию Нисскому. Она никогда не умирала в Византии и одно время, при Ниле Сорском, укоренилась и в русских заволжских скитах. Любящие не раз открывали что-то подобное: если спор заходит в тупик, надо замолчать и подумать: наша любовь больше того, о чем мы спорим. Так могут прийти к согласию и религии, вероисповедания, секты: замолчать и всем своим существом обратиться к непостижимому. Выполнив эту первую из наибольших заповедей, они легко выполняют и вторую (о любви к ближнему). И тогда — в великом молчании над землей раскроется единое небо, и солидарность религий вдохновит практику глобальной солидарности.

К этому же ведет и поэтическое слово, родившееся из глубины святого безмолвия. Такое слово создает волны смыслов, волны ассоциаций, обходящих тупики логики. Поэтому есть ответ на вопрос Ли Бо, обращенный к Лаоцзы: «Если знающие не говорят, а говорящие не знают, то почему ты, который знал, написал трактат в три тысячи знаков?». Потому что этот трактат, «Даодецзин», поэтичен. Мысль изреченная есть ложь, но стихотворение Тютчева истинно. И поэзия может коснуться величайших глубин, не оскверняя их, если родилась из молчания и живет на краю молчания.

Мне хочется сказать, что на краю безмолвия живут и Спас, и Троица Рублева, и лучшие страницы музыки Баха. Они родились из смирения пред непостижимым, и само непостижимое водило руками мастеров. Это же можно сказать о дзэнга (живописи дзэн). Но текст легче иллюстрировать поэтическими примерами.

Творящий Дух не знает сна.

(З. Миркина)

У творчества свои законы.

Полна значенья тишина,
В которой веет Дух бессонный.
Адам не шевельнул рукой И вовсе
яблока не трогал,
Но он нарушил тот покой,
Где вызревают мысли Бога.
И делит род людской вину За это
древнее деянье - Тот, кто нарушил
тишину,
Лишился внутреннего знанья.
И как бы мудрость ни росла,
Как ни растет земная сила,
Познания Добра и Зла Она с тех пор
уже лишилась.
И как в дурном бессрочном сне Мы
ищем смысла, смысл отринув, - Мы
познаем Его извне,
Того, Кто скрыт у нас в глубинах,
И делим с праотцем вину,
Ее от года к году множа, - Боимся
кануть в тишину,
Где вызревают мысли Божьи.

* * *

Есть степень затихания. Есть мера
Свободы духа от мирских забот,
Та глубина, где зародилась вера И где
богопознание живет.

И что таланты все, что первородство?
Ведь мы равно от Бога рождены.
И если есть на свете превосходство,
То только превосходство ТИШИНЫ...

* * *

Есть сила молчанья. Есть сила такая,
Пред коей все ветры земные смолкают.
Есть сила, воздвигшая все мирозданье.
Могущество Божье есть мощь умолканья
Конец разногласья. Окончились споры.
Молчание наше есть слово простора. Есть
слово-громеда, есть слово-лавина, Есть
слово, собравшее мир воедино, - То слово
великого Божьего лада, Которому слов
наших дробных не надо.

(З. Миркина)

Разговор с Бесконечным

Господи, я уже понял, что смысл жизни не во мне, а в Тебе, и если Ты пророс во мне (дай Бог, чтобы пророс!), то пройден квадрильон, смысл найден и душа, ликуя, погружается в океан света, и миллион, квадрильон терзаний кончился, потонул в бесконечной радости. Но почему болит душа за любимых — и даже за тех, кого я не знал, когда до меня доходит их боль? Почему больно за всех, которые не дошли? Почему так откликается сердце на вопросы Иова? Почему я чувствую за Иовом, за Иваном Карамазовым правду, на которую нет ответа в словах? Я вспоминаю стихи о Твоей участи:

Один на один, опрокинут, разбит И,
кажется, Богу не нужен.
А лес все шумит, и шумит, и шумит,
А мысли все кружат и кружат.
О Бога незримого явленный Сын!
Все правда, что было, то было.
Скажи мне, легко ли, один на один,
С несметною адскою силой?
Я вслед за тобою на муку иду,
И кто там о славе пророчит?
Скажи мне, легко ль в Гефсиманском саду
Глухой нескончаемой ночью?
Легко ли вот так, умываясь в крови,
Без славы, без ангелов Божьих...
А лес все шумит и шумит о Любви.
А сердце... И сердце про то же.

— Господи, сегодня я погрузился в Любовь, и я хочу смириться перед Любовью. Помоги мне смириться, помоги мне смириться перед Тобой, разлитым, как море, перед Тобой, прорастающим внутри, прорастающим как любовь, прорастающим как сила, прорастающим как чудо! Помоги мне войти в смирение, прозрачное для Тебя и непроницаемое для духа превратности! Помоги мне понять то, что я

СПОСОБЕН ПОНЯТЬ...

— Я прорастаю в каждой твари. В бессловесной природе — не спрашивая ее. В тебе, когда ты смиришься передо Мной, когда ты сам скажешь: «Прорастай во мне, я очистил место!». Зачем Мне это — ты не поймешь, но Я дал тебе разум и дал тебе право задавать вопросы, на которые нет ответа. Пусть они вырастают в твоей душе, погружаются в Меня и тонут во Мне.

— Господи, я начал смиряться перед Тобой на пороге старости. Я много раз мог не дожить до нее. В чем был бы тогда смысл моей жизни? В чем смысл жизни детей, о которых спрашивал Тебя Иван Карамазов? Я не говорю о самых маленьких, в них Ты рос вместе с костями. Но те, которые оторвались от незримой пуповины и не нашли другой связи с Тобой, — зачем они жили и умерли? Зачем умерли молодые солдаты, пошедшие наступать в августе 1942 года и сразу скошенные огнем? Я никогда не забуду, как проходил по полю смрада, натываясь на недохороненные руки и ноги. Зачем гибли дети, обувь которых плотным слоем слежалась в Майданеке — все, что от них осталось? Это все ради лучшего, как говорил Лука? Ради уцелевшего Эли Визеля, написавшего «Ночь»? Или ради того, чтобы я оставил свои записки? Погибали лучшие. Я думаю, их было много, среди десятков миллионов, ставших прахом, не успев прикоснуться к Тебе.

Кто виноват, что мы так медленно идем к Тебе, по шагу в десять лет? Только ли мы сами? Не подумай, что я хотел бы искать смягчающие вину обстоятельства. Я заканчиваю свой квадрильон и подошел к краю смирения, и передо мной целая земля смирения. Я понимаю притчу о рабочих, которые все получили одинаковую плату. Я не жалею, что прихожу в последний день. Я хочу понять, что мешает прийти моим друзьям, моим собеседникам, всем, кто будет спрашивать меня, читать мои книги. Что нам всем мешает? Почему мы все так медленно идем к Тебе? Если вообще идем? Где начинается наша вина? Где кончается общий порядок жизни, выбрасывающий миллионы икринок, чтобы выросла одна рыбка? В чем разница между Тобой и полководцем, посылающим солдат на смерть ради победы? Или администратором, урезающим квоты на бесплатные лекарства, чтобы выравнивать доходы и расходы бюджета?

— Полководец не гибнет вместе с каждым солдатом, не остается доживать жизнь обрубком, без рук, без ног, без глаз. Я выношу всю бездну страдания и топлю ее в бесконечности творчества. Я умираю в каждой твари и воскресаю как Бог.

Я прикоснулся к этой мысли давно, выслушав стихотворение «Бог кричал». Я понимаю, что Ты ничем не ограничен, даже пропастью

между Богом и тварью. Ты и Бог, и каждая тварь. Я одного не могу по-

нять: почему тромб должен был попасть именно в сердце Иры Муравьевой? Свое мучение после ее смерти я давно принял. Но согласилась ли она с Твоим замыслом, если у Тебя был такой замысел? Согласилась ли она с порядком, при котором ей выпал этот жребий? Почему она не дошла свой квадрильон? Или она дошла? Познают ли души смысл своего бытия, своей доли за порогом смерти? Уходят ли они с миром в бесконечный свет? По крайней мере, те, кто любили всем сердцем... Разве не все равно — Бога до ближнего или ближнего до Бога?

— Ты уже понял, что смысл во Мне. А во Мне все живы. Не спрашивай, как. Это тайна, которую не понять, только сердце может ей причаститься. И сердце видит смысл в глазах, через которые проходит Мой огонь, в живых глазах и в глазах икон... Без Меня — труд Сизифа, но в центре лабиринта бессмыслицы провал и в глубине ничто — Я. Разлитый как туман — Я. Родившийся от смертной — Я. Сама мысль обо Мне, войдя в твой ум, дает ему меру, перед которой все земные меры ничто, и все земные страдания ничто, и квадрильоны верст и лет ничто. Разве может рыцарь думать о своей ране, если ранен король? Помни эти слова Мейстера Экхарта и смирись, как он смирился. Король всегда ранен — и ликует сквозь боль. Это великая тайна, раскрывшаяся на Земле в судьбе Христа. Не отрывай от нее судьбы других сынов Божьих и судьбу каждой твари, в которой Я прорастаю. Степени высоты — мирская забота. В Евангелии сказано: всякому простится слово на Сына, но не простится хула на Святой Дух; и в Святом Духе нет степеней. Святой Дух диктует каждому, кто слышит:

Нет у жизни порога.
 Океан впереди.
 Нарастание Бога В этой
 смертной груди.
 И немое сраженье Двух
 невидимых воль,
 Глины сопротивление И
 великая боль.
 Кто осилит - не знаю,
 Но конец — не конец.
 Пусть Любовь распинают,
 Но Любовь есть творец,
 Всемогущая сила И
 начало начал:
 Даже тех сотворила,

Кто ее же распял.

След личности

Памяти Сергея Аверинцева

Когда человек умирает, в памяти начинает собираться его образ — у каждого свой. И мои мысли закружились вокруг фраз, улыбок, интонаций, сохранившихся от переключки с Сергеем Аверинцевым, начавшейся в шестидесятые годы. Мне было тогда пятьдесят, ему тридцать. Я предложил называть меня просто Гришей, и так это осталось: Гриша, Сережа. Не знакомство, не дружба, переключка. Точнее слова не могу найти. Разговор из двух углов, которые то сближались, то отдалялись, но оставаясь углами одного пространства, на одном уровне. Мы могли годами не встречаться; последнее время он зимой работал в Вене, а я летом на даче. Но при встрече все было так, словно расстались вчера, и рассуждения продолжались, как при первой вспышке интереса друг к другу.

Мы всегда были разные, иногда резко расходились во мнениях, но с Сережей нельзя было поссориться. Куда бы ни заходил спор, чувство доверия ближнему (опять не знаю, точное ли это слово) парило над репликами и определяло их интонацию (без раздражения, без захлеба). И если хотелось на время отойти в сторону, то с тем, чтобы понять и вернуться. Спор никогда не рождал ненависти. Это очень важная черта, и в первую очередь — черта Сережи. У меня были споры, в которых я боролся с ненавистью, но с ним и бороться не надо было, и ему вроде бы ни с кем не приходилось. Так мне казалось. Ни с кем, с кем вообще стоило разговаривать.

Тут всё — впечатления. Но то, что говорится о личности, или скользит по поверхности общих слов, или прошло сквозь личность пишущего, собралось в ней по-своему, и выходит всегда еще одна версия глубины, в которую ты вглядываешься.

Каждый, кто живет, проводит в жизни след, иногда размазанный, иногда четкий, запомнившийся — и опять всеми по-разному, у кого-то вызывающий желание продолжить (или желать, чтобы кто-то продолжил), а у другого — преодолеть, перечеркнуть. След, проведенный Сережей, не сотрется. Я чего-то в этом следе не понял, при жизни обходил, после смерти не понимаю: высокую оцен-

ку стихов Вячеслава Иванова, увлечение Вагнером. Да и то, что я понял, — скорее догадки.

Сереза сразу выделился своей непохожестью. Мы все варились в советских котлах, и хотя все по-разному и по-разному выварились, но что-то общее, заглубившее, стало привычным. Хотя бы в лексике. Когда решался вопрос, ехать или не ехать сборщице подписей в редакцию Философской энциклопедии, я сказал Александре Николаевне Чиликиной: «не надо, не стоит заваливать такую малину». Сереза, если бы его спросили, вероятно, тоже сказал бы, что незаметный поворот Философской энциклопедии важнее, чем несколько подписей под протестом, но блатной язык не лег бы на его уста. Он был вежлив, как французский шпион в Германии, раскланивавшийся со всеми встречными и тотчас выделившийся из немецкой толпы. Какой-то инопланетянин. Рассказывая мне о чем-то, он дважды начинал со слов: «Вы, конечно, знаете...». Первый раз я это проглотил, а в другой сказал: «Сереза, не морочьте мне голову. Я этого не знаю». Сереза смутился и объяснил, что этикетный оборот, насмешивший меня, сложился у него в разговорах со старшими, давая им возможность важно покивать головами и сохранить свое докторское лицо. Я сказал, что я не из тех старших, или что-то в этом роде.

Вскоре Сереза (опять помявшись и с каким-то извиняющимся лицом) предложил мне и Зинаиде Миркиной записаться в вольнослушатели его курса средневековой культуры (называлось это как-то иначе, но речь шла об истории восточной и западной церкви). Мы согласились и, кажется, не пропустили ни одной лекции. Молодость лектора бросалась в глаза, и в этом была своя прелесть, как в разливе реки. Границ не было, ясного окончания темы тоже не было, ассоциация подхватывала ассоциацию, и конец лекции определял звонок. Если бы не было его — Сереза продолжал бы четыре, шесть часов, набредая на новые и новые мысли. Наташа, жена Серезы, говорила, что на лекции она узнавала своего мужа больше, чем дома. Впоследствии лекции Аверинцева были выстроены по всем правилам, но в потоке без начала и без конца было что-то неповторимое.

Один раз Серезу вынесло в запретную идеологическую зону и он скомкал мысль, а потом подошел ко мне, как заведомому диссиденту, и говорил, что ему стыдно за свое малодушие, что надо было сказать иначе, резче — хотя никто, кажется, не заметил его непоследовательности. Самая тема, которую он излагал, была идеологическим прорывом. Время было нелепое и путаное. С одной стороны, сборник библейских легенд, составленный Корнеем Чуковским, был задержан: от автора требовали избегать двух слов: Бог и

евреи. С другой стороны, нужны были молодые русские гении, а после нескольких волн массовых убийств много смелых голов полегло. Поэтому Сахарову, представленному в член-коррры, сразу дали полного академика и одну за другой три звезды Героя Социалистического Труда. Поэтому Тарковскому давали возможность работать, хотя самый стиль его раздражал особ первых четырех классов (по положению в советской администрации и по уровню образованности, не превышавшего начальной школы). В эту обойму попал и Сережа. Ему даже дали премию ЦК ВЛКСМ (хотя он и близко не подходил к комсомолу). Молва повторяла его Тгерреп- ■дай2 (шутку, придуманную на лестнице, уходя): «теперь я дипломированный лакей фидеизма» (молодым читателям поясню, в чем соль: цитируется, с превратным пониманием, всем надоевший ленинский «Материализм и эмпириокритицизм»).

Лекции Сережи приводили наблюдающих товарищей в ступение водопадом имен, которые и записать-то чины надзора не сумели бы, а в статьях и книгах он выступал иначе, осторожно, продуманно. Например, слово «Бог» ставилось после точки, и прописная буква была защищена, «еврейское» или «библейское» заменялось словом «ближневосточное», и спор Афин с Иерусалимом описывался словом, ласкавшим ухо цензуры. Хотя, вероятно, даже цензоры понимали, что во времена Давида и Соломона единственным арабским действующим лицом была царица Савская. И говоря о превосходстве ближневосточного чувства жизни над эллинским, Сережа не ее имел в виду. Ультрапатриоты брюзжали и саркастически произносили имя-отчество Аверинцева «Еврей Евреевич»; но большое начальство предпочитало не углубляться дальше оболочки слов.

Между тем, где-то между М и П Философская энциклопедия была захвачена группой идеологических диверсантов: Поповым, Роднянской, Гальцевой и еще одним молодым человеком, фамилию которого я забыл. Увлеченно работая, они превратили это ведомство, возглавляемое академиком Константиновым, во «вшивую нору, куда поповщина откладывает свои яйца» (не могу удержаться, чтобы опять не вспомнить «Материализм и эмпириокритицизм»; Ленин дважды цитирует там как философский авторитет сапожника Иосифа Дицгена; и меня радует возможность пустить в ход хоть часть залежавшихся запасов памяти).

Для идеологических диверсантов Аверинцев был идеальным автором, и они раскрутили его, как могли. Аверинцев умел, постаравшись, писать строго академическим языком. А на худой конец, Попов вез на подпись один вариант статьи, а в печать давал другой. Ленивый академик текстов не перечитывал. И когда издание

завершилось, Попов протолкнул в «Правде» статью, восхвалявшую новый триумф марксизма. Основщики, раскрыв последние тома, завывали, но было поздно: оценки «Правды», при жизни очередного Первого секретаря, в эту эпоху не менялись.

Почва была подготовлена Д.С. Лихачевым и его школой. Одна за другой выходили книги о древнерусском искусстве. В них мелькали давно забытые слова: исихия (безмолвие), Иисусова молитва и т.п. Сложилась потребность понять Средние века как целое. И когда вышла книга Аверинцева «Поэтика ранневизантийской литературы» (хребтом которой было развитие православного богословия), она сразу стала бестселлером. И вот после нескольких волн террора и чистки библиотек от крамолы, вдруг появился прямой наследник гуманитарной культуры начала века. Словно корни, окружившие старый пенёк, каким-то чудом дали свежий побег, и он уцелел, поднялся, выпустил листья.

Как это случилось? Каждую случайность нетрудно объяснить. Случайно профессора Аверинцева вычеркнули из ленинских расстрельных списков. Случайно старый биолог женился на молодой женщине, и в 1937 году она подарила ему сына. Мальчик был болезненным, слабым, редко посещал школу, не успевал завести школьных знакомств. Сидел дома. Отец, которому было около семидесяти, а потом больше семидесяти, давал своему наследнику читать книги, которые и в руках не держали советские дети. Сережа говорил мне, что Евангелие и «Илиаду» он прочел ребенком семи лет. Ему было лет 10—12, когда отец откровенно говорил, что он думает о нравственном уровне советских идеологических кампаний...

Поясню современному читателю, что в 1932 году нас заставляли учить наизусть: «История России состояла в том, что ее били. Били татаро-монгольские ханы, били польско-литовские паны и шведские бароны, били за отсталость техническую, экономическую, военную, били, потому что отсталых бьют...» Мне даже в 14 лет было странно: а как же Суворов? И как же из одних поражений сложилась держава на 1/6 земного шара? Но память школьника послушно впитывала сталинские оценки. В 1934 году эти оценки изменились, в 1936 г. Демьяну Бедному за некстати припомнившееся дали по шапке, в 1939 говорилось иное: Александр Невский уже громил баронов; и наконец, в 1949 году людей поделили на две части: одну, которая вроде бы никогда не ошибалась, и другую, на которую лег весь груз сталинских ошибок, и козлы отпущения, тряся своими бородами, униженно каялись... Примерно так Мехлис, за выполнение приказов Сталина — не позволять генералу Петрову перейти к оборонительным боевым порядкам — был наказан разжалованием из генерал-полковников в

генерал-лейтенанты и награжден смешным прозвищем «Мехлис-Дюнкерченский», словно не Сталин был виновником катастрофы в Керчи.

Старшего Аверинцева уже не было в живых, когда Сережа пригласил меня в гости. Аверинцевы еще жили тогда в центре бутиковских трущоб, в каком-то страшном дворе. Живо припомнилось, как оттуда налетали молодые пролетарии (я жил на углу Бутиковского, в Первом Зачатьевском), прижимали к стене и требовали: скажи «кукуруза»! А потом с наслаждением драли мою еврейскую шевелюру. Как только вышла из комнаты мать, я спросил Сережу: били вас в детстве? Били, — ответил Сережа. За что — нетрудно понять: потому что мальчик слабый, болезненный и ни на кого не похож. Хотя и не еврей, а все равно — чужой. «Считайте, что мы в родстве, — сказал я. — Вас били младшие братья или может быть дети тех огольцов, которые били меня». Думаю, что впечатления детства избили Сережу от народопоклонства и никакой Хайдеггер не мог убедить его погрузиться в мистику почвы. Его почвой стала культура — все богатство средиземноморской культуры.

Сережа рос домашним ребенком, с опаской выходя во двор и изредка посещая школу в перерывах между болезнями. В тридцать с лишним он оставался домашним подростком, звонившим маме по телефону, задерживаясь на полчаса. Он объяснял мне, что мама столько возилась с его детскими болезнями, — и теперь его долг беречь ее нервы. Друзьями этого домашнего ребенка становились друзья отца — немного помоложе других, но давно вышедшие из детства. И так как это были люди отцовского круга, то в университет Сережа пришел инопланетянином. Да так и остался инопланетянином. Его не тянуло даже возмущаться нравами террариума.

За всем этим стояло еще одно событие, скорее чудесное, чем случайное. Как-то мы заспорили на метафизическую тему. Я сослался на свой опыт целостности бытия. «У меня тоже был опыт», — серьезно ответил Сережа, не раскрывая, какой. Мы просто поверили друг другу, что не живем полностью на той поверхности, где кипела так называемая жизнь. И каждый по-своему старался не терять контакта с собственной глубиной.

Невольно вспоминаю фразу Антония Сурожского, прочитанную значительно позже: каждый грех — это прежде всего потеря контакта с собственной глубиной. Сережа поддерживал свой контакт иначе, чем я, но это был контакт, я в нем это чувствовал; думаю, что он то же чувствовал во мне. На этом основана была наша переключка.

Георгий Степанович Кнабе, выступая на вечере памяти Аверинцева 18 мая 2004 года, вспомнил одно из определений культуры,

брошенное Лотманом (культуру можно определять с разных точек зрения, но вспомнившееся Кнабе хорошо подходит к теме, к памяти Аверинцева): «попытка выразить невыразимое, дать ему форму». Это сразу подчеркивает связь культуры с религией. По крайней мере, некоторые формы культуры и некоторые формы религии лепятся вокруг незримой оси, и эта же ось держит личность. Если ось сломана, разрушена, остаются только фантомы, о которых пишет, мучаясь внутренней пустотой своей науки, Александр Мелихов, или симулякры (на языке постмодернизма), плоские, как игральные карты, из которых каждый волен складывать новый пасьянс. У Сережи ось сохранилась, и он старался облечь ее в слова.

Вот одна из первых реплик, уцелевших в памяти, — после моего «Человека ниоткуда»: «Прочел ваш богословско-политический трактат». Никто, кроме Сережи, не мог так отозваться. В его словах было по крайней мере три оттенка смысла: признание стиля, родственного религиозному — по самой своей серьезности, в духе идеи Пауля Тиллиха, что религиозное — это предельно серьезное в любой области культуры; второе — это ощутимая Сережей, хотя не приходившая мне в голову, связь с древней еврейской традицией, сплетавшей богословие с политикой (начиная с некоторых авторов Библии и до Спинозы); наконец, было обособление собственной позиции — не вмешиваться в политику.

Примерно в то же время я спросил Сережу: «Почему вы ничего не подписываете?». Имелись в виду тогдашние протесты против использования юстиции в идейной борьбе. Сережа ответил: «Я человек робкий». Интонация, с которой это было сказано, совершенно исключала возможность понять это как извинение. Напротив, сдержанно высказана была жизненная позиция — упрямой робости или робкого упрямства. Что-то здесь было от семейных традиций Аверинцевых, что-то, может быть, от «Вех»: не доходить до разрыва с правопорядком; или даже от Карамзина: «порядочный человек не должен допускать, чтобы его повесили». Впоследствии Сережа яснее выразил эту мысль: культура нуждается в людях, которые целиком ей принадлежат и не выходят из ее сферы. Но (это не было сказано и только выявлено в жизни) в сфере культуры нет места для советского па нического страха, для потери достоинства. Когда мне промывали мозги на Лубянке, многие забыли номер моего телефона. Сережа не забывал.

Ему было 30, мне уже исполнилось 50, но я продолжал искать свой путь, продолжаю и сейчас в 86 лет, а он был какой-то почти готовый, с детства поставленный на рельсы. И хотя, конечно, рос, но не сходя с рельс. Он действовал на поле, которое отец, биолог, обходил, в

гуманитарной области, где всюду торчали старые мины, и многое приходилось самому решать и решалось заново, но направление было задано, установлено с детства. Его карамзинская позиция обладала неотразимой привлекательностью для людей, не склонных бороться за внешнюю свободу, но как-то пытавшихся обособиться от нравственной грязи. В эпоху террора третье было не дано, но советское общество менялось, и Сережа был пионером в переходе к внутренней свободе, основанной на притче о динарии кесаря.

Один из моих друзей попросил меня, зная о наших доверительных отношениях, объяснить Сереже, насколько этому человеку важен и нужен повседневный контакт с ним, и Сережа согласился, принял его в свой домашний круг. Чуткое внимание помогало ему раскрыться, и однажды он задал неожиданный вопрос: какой подлинный возраст вы чувствуете в себе? Друг что-то пробормотал, и тогда Сережа ответил: «А мне семь лет. В самом главном я дальше не пошел». И рассказал, что на прогулке, у стен Троицкой лавры, пережил присутствие Христа. Я сразу вспомнил: в это время он впервые прочел Евангелие. Отпечаток этого в хрупкой детской душе не мог не оставить глубокого следа.

Что-то подобное я давно подозревал, читая статьи Аверинцева. В разговоре о византийской культуре слово «любовь» встречается редко, слова «надежда» и «страх» — часто; и в этом не только материал, виден автор. Чувствуется трепет детского страха и надежды, пережитый ребенком, еще не познавшим всей силы любви. Слог был академическим, но в подборе слов выглядывало детское сердце, трепетавшее на пороге «встречи» (в том смысле, которое придал ему Антоний Сурожский). Я вспомнил, что вл. Антоний говорил: встретить Бога — все равно, что войти в пещеру к тигру. Ребенку дано чувствовать присутствие Бога, но не так. Скорее, как у одной шестилетней девочки: это все равно, что чувствовать маму с закрытыми глазами. Ребенок остается на пороге пещеры. Царствие Божие сливается для него с любящей семьей, не вырывает его из семейного лона в бесконечность. Закрытость от бесконечности я чувствую и в статьях Аверинцева о Троице и о нищете духа.

За текстами Сергея Аверинцева и за текстами Антония Блума стоят разные «встречи». Андрей Блум (впоследствии Антоний Блум) пережил присутствие Христа юношей, прошедшим через годы испытаний, потерявшим Бога и готовым с оружием в руках сражаться с большевиками. После «встречи» он круто изменился и попрощался с оружием, но остался воином, в его христианском смирении просвечивает дерзкая сила. То, что митрополит Антоний сказал 8 июня 2000 г., можно почувствовать и в его других речах, особенно в

том, что было сказано о «Божьем следе» в Париже в 1974 г. (русский перевод Е. Л. Майданович в «Континенте» № 89). Программа решительного обновления христианства складывалась в нем лет сорок и 8 июня только была озвучена — с той же уверенностью, с которой он в эти же дни говорил Василиюку, рассказывая о своем детстве: «И как я рад, что церковь и попы не испортили мне чувство Бога!» (напечатано в «Русской мысли», 20—26 июня 2000 г., № 4327).

Сережа бы этого никогда не сказал. Он не был воином, выходящим в простор бесконечности, опираясь на незыблемое чувство личной «встречи». Обе встречи ввели в церковь — но Антония с нарастающей готовностью отбрасывать исторические наросты и близиться к подлинному Христу, а Сережу — только сменяя прогнившие балки в старом здании, не ломая стен. Только в пространстве, ясно очерченном, свободно двигалась его мысль. О своей «встрече» он никогда публично не говорил. Она была для него *входом* в церковь (неотделимой от Христа), а не возможностью *судить* церковь, опираясь на Христа.

Антоний говорил о своей «встрече» много раз и бесстрашно добавлял: «Можете считать это галлюцинацией». Он не боялся насмешек. Он не боялся сказать: «не упускаем ли мы момент, данную нам возможность стать из церковной организации — Церковью» (из речи 8 июня). То есть церковь, к которой формально принадлежал, он считал только *возможностью* Церкви.

В той же речи 8 июня 2000 г. Антоний продолжал: «Нам нужны верующие — люди, которые встретили Бога. Я не говорю в грандиозном смысле; не каждый может быть апостолом Павлом, — но которые хоть в малой мере могут сказать: я Его знаю!» И в другом месте, несколько раньше: «Мне кажется, надо вкорениться в Бога и не бояться думать и чувствовать свободно». И в конце речи: «Помню, как я был смущен, когда Николай Зернов пятьдесят лет назад мне сказал: “Вся трагедия Церкви началась со Вселенских соборов, когда стали оформлять вещи, которые надо было оставлять еще гибкими”. Я думаю, что он был прав, — теперь думаю, тогда я был в ужасе».

Куда заведет свободная мысль, поставив под сомнение Вселенские соборы? Этот вопрос Антоний, видимо, сознательно оставлял нерешенным, оставлял будущей, подлинной Церкви, людям «встретившим» Бога и опиравшимся на опыт своей встречи. Мог ли это принять Сережа?

Приведу два его высказывания. Первое, неожиданно резкое: «православие переменится — или погибнет». Я даже отшатнулся от удивления, и Сережа добавил, что, конечно, он верит — переменится. Это как будто перекликается со словами Антония. Но когда Антоний

произнес свою речь 8 июня 2000 г., Сережа оценил ее как «мистический анархизм». Я решительно не согласился, и Сережа стал рассказывать, как он любил Антония и сейчас его любит, но есть в православии тенденция мистического анархизма, идущая от ранних славянофилов, разрушительная для церкви.

Уже потом, после кончины Сережи, я понял, что он критиковал вл. Антония с *исторической* точки зрения. Но тогда надо было назвать и позицию Антония, на обычном для Аверинцева уровне корректности, — *эсхатологической* (и может быть, даже сознательно эсхатологической: вл. Антоний начинал свою речь 8 июня 2000 г. с предчувствия, что мы вступаем в тяжелые, темные времена). Церковь людей, встретивших Бога и потом живущих и мыслящих свободно, — это что-то вроде тысячелетнего царства праведных; и в каком-то приближении — Сурожская епархия, на которую не давит Патриархия, а вл. Антоний, по милости Божьей, живет до 130, 150 лет. Без Антония Сурожская епархия либо будет унифицирована, либо отколется и станет центром нового раскола, началом новой церкви, слабой попытки остановить скольжение России по наклонной плоскости.

Впрочем, если признать утверждение Рейсбрука (великого мистика XIV в.), Второе пришествие происходит в душах святых, это не мифический конец света, а постоянное явление истории, особенно в крутые, переломные, катастрофические ее эпохи. И тогда вырисовывается тонкая, иногда, прерывистая, «пунктирная» линия эсхатологической церкви, идущей сквозь все века, церкви Христа, перекликающейся с церковью Павла, иногда признанная исторической церковью, иногда еретической или вовсе не церковью (где двое или трое соберутся во имя Мое, там и Я с вами), иногда нечто вроде философских семинаров, своего рода лабораторий, где люди пытаются понять «встречу», зажечь фитилек в груди от костра, горящего в центре. Такие кружки ни на что не претендуют, кроме готовности к диалогу с теми, кто хочет вести с ними разговор, церковных людей или атеистов.

В рамках православия к эсхатологической линии близки старец, познавший благодать, и его послушники; в суфизме — шейх и его мюриды; в индуизме — гуру и шисья, в буддизме целое направление, дзэн. Во всех этих случаях на первом месте не традиция, а человек, создающий или обновляющий традицию, опираясь на «встречу», и его ученики, «встретившие» «встречу», узнавшие его и признавшие властную интонацию, как в заповедях блаженства: сказано древним... а Я говорю вам... Напротив, в исторической церкви традиция создает человека, делает его священником, епископом, создает обряды и

тайнства, устанавливает, что жена должна бояться мужа, а муж любить свою жену... Хотя в Евангелии сказано другое: совершенная любовь изгоняет страх — даже перед Богом, а не только перед мужем.

Эсхатологическая линия отчасти совпадает с «незримой церковью». Порою она почти незаметна. Но без нее церковь вырождается в «церковную организацию». Будущее покажет, удастся ли эту организацию оживить.

Сереза хотел реформ и даже очень серьезных реформ, хотел изменить рамки догм, но не отбросить их вовсе, не воскликнуть, в духе «Алмазной сутры», — «Воздыми свят дух и ни на чем не утверждай его»; а ведь именно это означает призыв Антония отбросить все принципы (в том числе богословские) и идти, опираясь на интуицию глубины, на интуицию царствия, которое внутри нас, — «по Божьему следу».

Это одна из причин (может быть важнейшая), по которым Сереза не хотел даже вникать в религии Индийско-Тихоокеанского региона. Как-то он подарил мне две книжки, изданные ЮНЕСКО, с прекрасными репродукциями фресок Аджанты и еще какую-то. «Мне это не нужно, — сказал он, — а вам это может пригодиться».

Чувствуя мое недоумение, через некоторое время он объяснил свою позицию: «Нам заповедано любить ближних, и я это делаю, стараюсь любить католицизм, иудаизм, но любить Китай или Индию — дело тех, кто имеет с ними дело». То есть одних специалистов? Мне показалось, что Сереза уговаривает самого себя, и ему это удалось, но русская культура впитывает куски индийского и дальневосточного, не разжевывая.

Попытку уговорить самого себя я вижу и в последнем интервью, данном перед роковой болезнью, — то есть уже академиком С.С. Аверинцевым. Привожу отрывок из текста, опубликованного в «Московских новостях», № 7, 2004 г.:

«В христианской вере иные умники усматривают что-то простенькое, «веру угольщиков», как сказано у Гейне, утешающую этих самых угольщиков, но стесняющую мысль образованного человека. Я же ощущаю не стеснение, а скорее уж испуг от простора... Да, христианство «просто» в том смысле, что оно любому простецу в любое время умело сказать то, что могло до конца дней наполнить, обогатить и облагородить жизнь этого простеца; но оно не проще, а гораздо сложнее и многостороннее, чем какая бы то ни была искусственная конструкция интеллектуалов на религиозную тему. Каждый получает от него свое...»

Почему же, спрашивает журналист Илья Медовой, «в духовных поисках молодежи во всем мире сейчас весомую долю занимают

философские и религиозно-мистические учения Востока. Не потому ли, что нравственный опыт христианства себя исчерпал?

— Это прежде всего говорит о повышенно романтическом восприятии и своеобразном обаянии религий Востока. Они более одноплановы, несмотря на всю метафоричность, чем христианство, и более понятны. К примеру, буддизм рассматривает как полноценную жизнь только монашество — и это понятно; конфуцианство очень высоко ставит отца семейства, не видя в безбрачии проку, — и это тоже понятно; но когда христианство возводит брак на ступень таинства и подобия отношения Христа и Церкви, ставя при этом монашеский подвиг еще выше, — такое понять трудно. Нравственный опыт христианства — полнее и сложнее. Поэтому его труднее вместить».

Умственный взор Сережи, острый, как у мифического Линцея, внезапно закрывает пелена, как только дело касается Востока. В статье «теизм» (Философская энциклопедия, т. 5) он противопоставляет христианскую Троицу (единство трех ипостасей) языческим группам из трех самостоятельных богов — и совершенно прав. Но при этом просто не упоминается буддийская Трикайя, где отдельные «кайи» — структурная аналогия христианским ипостасям. Об этом убедительно писали Судзуки, Кумарасвами... Здесь же, в интервью, назван буддизм, но пропущен индуизм, религия, которую исповедует около миллиарда человек. Если положить в основу отношение к браку, то индуизм — полная аналогия христианству. Сказать, что он проще христианства, — язык не поворачивается. Но сложности никак не помешали увлечению йогой, ведантой, тантризмом, кришнаизмом. И в буддизме больше всего увлекло парадоксальное, даже прямо абсурдное. Буддизм дзэн — органическая составная часть западной культуры, в которой сложился и процветает театр абсурда.

Стремление отгородиться от Востока — не личная черта. Это общая особенность русской религиозной мысли, вопрос веры, а не научного исследования: если религии Востока — достойные партнеры в диалоге с Западом, то исчезает уникальность православия как единственно истинного Востока, в противоположность ереси Магомета и язычества Индии и Китая. Это выявилось, когда гипотеза о возможном буддийском влиянии на христианскую икону (на конференции о каноне в искусстве, 1972) вызвала скандал (правда, вряд ли замеченный вне узкого круга специалистов) и доклад Лелекова, довольно хорошо мотивированный, не был напечатан; зато напечатано было несколько статей, опровергавших выводы науки XIX века о каких бы то ни было буддийских влияниях. Индивидуальность Сережи проявилась только в терпимости к моей точке зрения (я горячо

поддерживал Лелекова). Но расхождение было глубоким. Я ориентировался на мистический опыт, пересекавший границы вероисповеданий. Сережа стремился ограничить мистику, ввести в берега мистическое чувство. Он сблизил Троицу с тремя людьми, совершенно понимающими друг друга, а понятие духовной нищеты свел к грамматической ошибке. Я не достаточно учен, чтобы спорить с филологом, и допускаю, что в I веке многие читали загадочную фразу просто: «блаженны нищие — духом» (то есть нищие блаженны, утешаемые Святым Духом). Но мистики читали эту фразу иначе, и невозможно перечеркнуть их опыт. «То, что написано Святым Духом, — писал св. Силуан, — можно прочесть только Святым Духом». Превратив парадоксальное чтение в рациональное, можно таким же способом объяснить отношение Отца к Сыну — в духе арианства, монофизитства, несторианства или монофелитства. Все ереси рациональны. Все они не могут переварить ни «единосущности» (A=B? абсурд), ни «неслиянности-нераздельности» (A=B=A? абсурд), ни духовной нищеты. Зато негр-чудотворец из фильма «Зеленая миля» все прекрасно понял: «Я многое знаю... хотя я ничего не знаю».

Впрочем, история всех этих несогласий показывает, как мало они значат. Исаак Сирий остается отцом церкви, хотя никогда не отрекался от своего монофизитства. И Сережа остается замечательным типом христианина, хотя мистического смысла духовной нищеты он не чувствовал. Равновесие мистического и рационального всегда остается проблемой. Мне уже как-то приходилось вспоминать разговор с Еленой Львовной Майданович: «Как понять владыку? Он сказал, что трезвость важнее вдохновения». Я нашелся и ответил: «Да, для него, потому что вдохновение всегда с ним и он опасался перехода в экстаз, когда вместе со светлыми силами может вырваться всякое...» Елена Львовна подумала и сказала: «Я вспоминаю, иногда огонь разгорался в его глазах, а он его приглушал». Каждый по-своему ищет равновесия. И у каждого вырабатываются свои приемы вербализации того, что по сути невыразимо в словах. Фома Аквинский, умирая, назвал свою «Сумму теологии» соломой. Но ее до сих пор изучают.

Я не знаю, что думал Сережа в свои последние минуты, знаю только, что он вырослел и накануне серебряной свадьбы открыл любовь к жене. Он трогательно написал об этом в статье, на которую я не мог не откликнуться. Впоследствии Сережа передал свой опыт эпиграмматически: «лучшие годы брака — между серебряной и золотой свадьбой». Это бесспорно как личный опыт и ценно как противовес модной любовной суете. Это часть того следа, который Сережа оставил помимо всех своих книг. Но в ограничении законов брака своим личным опытом сказывается та же домашность, которая

выразилась и в его ограничении познаваемого мира средиземноморско-западным и в науках — филологией. Сережа не любил, чтобы его называли культурологом, он твердо держался того, что бесспорно знал, как филолог свой текст и муж свою жену, он не желал теряться в океане чужого опыта. Проблемы глобальной культурологии (или, по-английски, «теории цивилизаций») он затрагивал неловко и неохотно. Открытый вопрос, чего здесь больше — самоограничения ученого или страха «того, Громадного», открытости бесконечному, невыразимому, — страха, который Рильке преодолел, достигнув зрелости.

Сережа не был ни специалистом (слишком широк был круг его интересов), ни дилетантом, игравшим образами культур. Мое определение «средиземноморский почвенник» неточно, неполно, внутренне противоречиво, но я не вижу возможности лучше определить ни на что другое не похожее движение его духа. В своей потрясающей эрудиции Сережа был так же уникален, как в упорном сохранении границ, ограждавших от бездн Востока.

Нина Брагинская, выступая на вечере памяти Аверинцева, объявила «инаковость» Сережи нормой современного порядочного человека. Я ей аплодировал. Сегодня, пожалуй, ничего лучшего и предложить нельзя. Но были времена, когда и Сережа втягивался в политику. Правда, у него не было иллюзий. «У нас нет никакой свободы, — указал он в каком-то интервью (имея в виду, по-видимому, систему, обеспечивающую права граждан). — Есть свобода бандитов убивать и свобода интеллигентов произносить речи». Свое положение депутата он использовал только в частном деле, чтобы реабилитировать Вырикову и Лядскую, оболганных Фадеевым в «Молодой гвардии».

Однако был вопрос, выбивавший Сережу из экологической ниши, как Эмиля Золя — дело Дрейфуса. Я уже упоминал фразу: «Православие изменится — или погибнет».

О. Георгий Кочетков говорил, что Аверинцев стал проповедовать случайно. Ему разрешили сидеть в алтаре, потому что только там можно было присесть, жалели его больные ноги, стоять больному человеку трудно. И постепенно он втянулся в жизнь клира.

Однако фраза, которую я вспоминаю, говорит, что пружина была натянута — еще при советской власти, когда сделать ничего нельзя было. И как только обстановка позволила, пружина развернулась. Я верю о. Георгию, что проповеди Аверинцева приобрели пророческий характер. Но если так, то почему он вдруг все забросил и уехал в Вену? Что было решающим? Не хватило физических сил? Не хватило стойкости выдерживать поток оскорблений? Или стало ясно, что его

проповеди — глас вопиющего в пустыне и вместо обновления церкви выходит очередная церковная склока?

Ответом мне была последняя лекция Сережи, которую я слушал, — «Евангелие от Марка». Я понял, что в тишине он вернулся к своему внутренне оправданному пути и продолжал начатое привычными средствами, негромкой работой филолога.

Шаг за шагом, стилистическим анализом Сережа доказывал, что Евангелие от Марка, втиснутое между Евангелиями от Матфея и Луки, было исторически первым. Евангелия от Матфея и Луки — тексты вторичные, украсившие грубый рассказ Марка в духе тогдашней богословской мудрости и хорошего литературного вкуса. По свидетельству Паппия, жившего во II в. и возможно лично знавшего Марка, евангелист Марк сопровождал Петра как переводчик, по возможности точно переводивший на греческий и на латынь то, что Петр говорил по-арамейски, а потом собравший свои записи в связный текст. Я не могу не доверять филологическому чутью замечательного ученого, которому просто «было видно», как из одной фразы (в записи) рождалась другая, евангельская. За словами Евангелия «Христос поднялся на гору» для него проглядывала первоначальная запись: «Мы пошли на гору». Фраза осталась неукрашенной, грубой. В Евангелии от Матфея или от Луки это звучало возвышеннее, литературно украшеннее. Марк прост и достоверен. И очевидно, что если он ничего не пишет о родословии Христа или об архангеле Гаврииле, то просто потому, что ничего об этом не знал. А следовательно, и апостол Петр ничего об этом не знал (и мне сразу же вспомнилось молчание ап. Иоанна обо всех этих вещах).

Посыпались записки, одна — довольно злая: не перешел ли Аверинцев на позиции протестантизма, полагающего, что Святой Дух вошел в Христа только при крещении? Сережа поморщился и сказал, что его лекция не предполагает подобных выводов, он только дает филологический анализ текста, из которого следует, что апостол Петр еще не знал того, что изложено в Евангелиях от Матфея и от Луки. На следующий день я позвонил, мы проговорили целый час, и все точки были поставлены над к многие страницы Евангелий опираются только на христианский фольклор. Как совместить эту революция филолога с консерватизмом богослова?

Ольга Седакова говорила, что рационализм Аверинцева имеет средневековый, а не просветительский характер. Не стану с этим спорить. Но средневековый рационализм — это схоластика, движение мысли от цитаты к цитате. И всю эту схоластику (или неосхоластику) Антоний решительно отбрасывал. Он утверждал, что христианин должен идти по Божьему следу, пересекая все философские и

богословские принципы. Анализируя синоптические Евангелия¹, Сережа разрушает власть цитат.

Антоний возвращается к тому, что сказано у ап. Иоанна: познаете истину, и истина сделает вас свободными. Можно назвать это как угодно: анархизмом, максимализмом, эсхатологизмом. Но суть восходит к самому Христу. Разве не максимализм — «оставь все и иди за Мной»? Или «ищите Царствия Небесного, остальное приложится вам»? Разве не максимализм — изгнание торгующих из храма? Этот максимализм грозил разрушить церковь, созданную ап. Павлом. И Сережа, мечтавший о реформе исторической церкви, испугался ее полного разрушения. А в то же время — разрушал народную веру в Благовещенье, звезду на востоке, поклонение волхвов и прочие легенды.

Антоний исходил из своего опыта и из опыта очень своеобразной епархии, *узнавшей* его встречу, *встретившей* встречу. Встреча встречи, или узнавание — это тоже мистический опыт, примерно то, что Антоний туманно назвал малой встречей, не сравнимой со встречей ап. Павла, но все-таки встречей. Все получилось в группе русских аристократов и английских интеллектуалов, уставших от безверия. В этой маленькой общине годами излучалось духовное обаяние колоссальной личности. Но попробуем перенестись в Россию. Сколько здесь *встретивших*? И сколько людей, способных *встретить встречу*? Найдется ли по Антонию на каждую епархию?

Возможна ли незримая церковь, внезапно и в полном объеме ставшая зримой? И возможна ли зримая церковь, совершенно подавившая в себе незримую струю? Не сползет ли она по наклонной плоскости вместе со всей Россией прямо в объятия к Великому инквизитору Достоевского?

Встает множество открытых вопросов. Как провести линию между исторически достоверным и фольклорным в Евангелии? В том числе в трактовке Воскресения? Что главное в Воскресении — образ, в котором Христос явился ученикам, или преобразование уче-

Т. е. первые три Евангелия, во многом сходные.ников в апостолов? Сможет ли церковь или часть церкви принять идею Рейсбрука, что Второе пришествие совершается в душах святых (или на языке, который я заимствую у Антония, — во «встречах»)? Не есть ли Воскресение — предел преобразования, гиперболически совершившееся преобразование? И т.п.

Открытый вопрос — и судьба поэтического наследия Сережи. Он придавал ему особое значение и после первой публикации звонил мне, спрашивал, как прочлось. Я честно ответил: «Ваша проза нравится мне

больше». Потом попалась подборка, почти сплошь удачная. Я рад был позвонить и поздравить автора. Но пытаюсь вспомнить — и не могу. А эссе об Эдипе, ослепшем и прозревшем, — помню сквозь все впечатления прошедших лет. На вечере воспоминаний никто стихов не упомянул. Могла бы вспомнить Ольга Седакова, но предпочла говорить о другом. Кто ошибался, Сережа или его читатели? Мне иногда кажется, что его духовные стихи — попытка пробить дорогу новому жанру, жанру современного псалма. Такие псалмы, связанные с жизнью церкви, пишут протестанты. Почему такое не возможно и в православии? Если это так, если Сережа найдет продолжателей, то не очень важно, достиг ли новый жанр, с самого начала, своей вершины. Может быть, вершина впереди, но за Сережей останется достоинство первопроходца. Во всяком случае замечательно, что великий ученый, отодвинув исследования, попытался прямо обратиться к Богу.

Он оставил много начатых следов, ждущих продолжения. Но самый важный след прочертила сама его личность. Это было свидетельством, чем могла быть русская культура, если бы ее творческое меньшинство не уничтожалось. Не только большевиками. Уничтожение творческого меньшинства началось с гонения на нестяжателей, казней Ивана Грозного и прочих гонений и казней. И сегодня память о Сергее Аверинцеве молча зовет к нам как символ терпимой и вдумчивой переключки разнородных голосов, как оберег от новых попыток разрушить старое зло «до основанья, а затем...». Как оберег от смуты.

*Зинаида Миркина,
Григорий Померанц II.
Лекции, прочитанные
совместно*

Григорий Померанц

О смысле страдания

Я думаю, что тайна страдания — в Божьем резце, выстраивающем мир и меня в мире, в нераздельности Божьего страдания и радости. Так это в образе Бога, каким я Его чувствую, каким Он присутствует во мне. И так это во взлетах человеческого чувства, во всяком вдохновении. Между ними есть подобие, как между первой и второй наибольшими заповедями, о любви к Богу и любви к ближнему.

Я несколько раз подступался к этой тайне. Один из подступов был опубликован в журнале «Искусство кино», № 7 за 2000 г. Потом я буду в чем-то отталкиваться от него, но сперва полностью приведу — вместе с названием, придуманным редакцией:

«И так на свете все ведется...»

В поэме Джебрана Халиля Джебрана «Пророк» женщина просит: — Скажи нам о радости и о печали.

И пророк ответил так:

— Твоя радость — это твое горе без маски. Ведь тот же самый колодец, из которого подымается твой смех, был часто заполнен твоими слезами... И разве может быть иначе?

Чем глубже твое горе проникло в тебя, тем больше и радости может вместиться в тебя...

Разве не та же чаша, что содержит твое вино, обжигалась когда-то в печи гончара?

И разве лютня, услаждающая твой слух, не то самое дерево, которое страдало под ножами резчиков?

Когда ты радуешься, загляни глубоко в свое сердце — ты увидишь, что это в действительности ты плачешь о том, что было твоей радостью. И когда тебе горько, загляни снова в свое сердце — и ты обнаружишь, что только то, что приносило тебе радость, дает тебе и печаль. Кто из вас может сказать: «Радость больше, чем печаль»?

И другие скажут: «Нет, горе больше». Но я скажу вам: они неразлучны.

Вместе пришли они, нас коснулись едва, и когда одна из них сидит с тобой за столом — помни, другая спит на твоей кровати. Действительно, как стрелка весов, ты колеблешься между горем и радостью.

И только когда ты пуст, она неподвижна и в равновесии. Но чуть лишь хранитель сокровищ поднимет весы, чтобы взвесить свое золото и серебро, обязательно радость или горе на весах поднимется или опустится.

Здесь почти все верно, кроме одного преувеличения. Я не думаю, что плачу, когда радуюсь. Но это потому, что я человек и живу на поверхности времени и в миг радости целиком отдаюсь радости. А Бог, который в глубине, где время целостно и называется вечностью, одновременно погружен в полноту боли и в полноту радости. И в той мере, в которой я раскрыл в себе образ Божий, я чувствую привкус боли в радости и радости — в боли.

Этим привкусом большое искусство отличается от такого, которое забавляет, развлекает и отвлекает от глубины духа. Мы испытываем подъем духа, мы радуемся, когда смотрим на муки Эдипа, когда слушаем «Страсти» Баха. Но разве эта радость свободна от боли? И разве в комедии Гоголя нет незримых слез? И в шекспировской комедии, где мы смеемся вместе с героем, а не над героем, где человек не падает в бездну своих ошибок, но со смехом освобождается от них, где царствуют радость, — нет-нет и мелькнет грусть:

Страдает раненый олень,
А лань здоровая смеется.
Для спящих ночь, для стражи день,
И так на свете все ведется...

Разве нет тени грусти в сонатах Моцарта? Разве сама форма концерта не требует чередования радости и грусти? И разве муки любви не поднимаются до взрывов блаженства? Об этом писал не только Достоевский. И в песенке Клерхен есть стих, не давшийся переводчику, передаю его прозой: «Быть полным радости, страдания и мысли». Именно это счастье: «Звездно ликуя, смертельно скорбя, счастье душа познает лишь любя».

Разве путь инок не чередование благодати с богоотставленностью? И разве в самой благодати не плачет Силуан о народах, бредущих во тьме? И Рамакришна, плакавший трое суток вместе с отцом,

потерявшим своего сына, — разве на четвертые сутки он не запел гимн? И не нарастал ли этот гимн в самой глубине его скорби? Я думаю, что Иов, встретив Бога, испытал радость, перекрывающую все его страдания. Глубина этой радости неотделима от глубины его боли. Потому что боль обнажила все его нервы, и он каждым обнаженным нервом пережил красоту, увиденную глазами Бога.

Когда мне попадаются люди, играющие в карты на пляже, я думаю, что они мелки и в горе, не только перед лицом бесконечности. А разве бесконечность не бередит, не тревожит? Разве не вызывает она мысль о хрупкости мыслящего тростника?

Говорят о счастливом детстве, но разве это не время безутешных слез, плача навзрыд? Способность чувствовать боль та же, что способность чувствовать радость. Нас удивляют крутые переходы детей от радости к горю, от горя к радости. Детей, наверное, удивляет наша серость, наша неспособность чувствовать по-детски. Только в немногих случаях это сдержанность в мелочах, оставляющая способность к великому чувству, сдержанность в мирском при открытости сердца Богу. Гораздо чаще цена потерянного золота несравненно больше кучи мелкой монеты. И снова приходит на ум Волошин, возле дома которого я писал это:

Ребенок, непризнанный гений
Средь будничных, серых людей...

Мы браним детей за беззаботность. Но эта беззаботность непрерывное условие счастья. И жизнь в Боге, по ту сторону счастья и несчастья, невозможна при озабоченности. Христос призывал своих учеников не заботиться о дневном пропитании. Дзэнские старцы учили не заботиться и о духовной цели, жить полнотой и глубиной мгновения, тем, что европейские мистики называли «вечным теперь».

В чем счастье дураков? В беззаботности. На фронте мы не соблюдали требований устава, не носили касок, не знали пароля и отзыва. Нашей любимой песней была песнь о беспечности Ермака.

Слово «беспечно» я всегда пел с каким-то замиранием сердца. Беспечность была мигмом счастья в каждую минуту, когда война не оборачивалась мучением и ужасом. И мне помнится, что беспечность была нашей общей тайной, что она соединяла меня с другими в одно братство.

«Вы спите, спите, — мнил герой, — Друзья, под бурею ревушей...»

Чем ближе к переднему краю, тем крепче я спал. Чем больше напрягала чувства близость смерти, тем острее чувство красоты полей и лесов, по которым перекатывалась война, и самих боев. Я помню,

что тяжело раненный, контуженный, лежа на спине, я любовался самолетами, сбрасывавшими на нас бомбы, и самими падающими бомбами, блестящими под февральским солнцем. И потом, когда был случай смотреть на бомбежку, а не утыкивать нос в землю, я сказал сам себе: впечатление от бомбежки, как от великого произведения искусства, никогда не слабеет. То, что потрясает, всегда обновляет наши чувства. И прекрасное, как писал Рильке, это та часть ужасного, которую мы способны вместить.

Все это выросло из наброска, который я сделал, подымаясь к могиле Волошина. Я пошел туда в первый день, еще не окрепшими ногами; идти было трудно, и бросилось в глаза, что сама трудность подъема обостряла чувства и углубляла созерцание трех бухт: Тихой, Мертвой и Коктебельской. Мелькнула мысль, что в этом, может быть, смысл страдания во вселенском плане бытия. И в этом резон, почему верующие благодарят Бога за боль, почему «боль — по словам какой-то немецкой святой — это хорошее слово».

Недавно мы говорили об эмиграции, и я вдруг подумал: что мы теряем, уезжая?

Боль. Больно за родное. За чужое не больно.

Боль — это вызов, на который стихи Зинаиды Миркиной дают ответ: люблю, люблю, несмотря ни на что. И этот ответ — творчество, подобное Божьему.

Коктебель, 1999, октябрь

В этом эссе есть отпечаток времени и места. Радость тогда господствовала над памятью о горе. И мне казалась достаточной мудрость Джебрана. Хотя я знал, что бывают страдания, которые опрокидывают всякую мудрость, сбивают с ног. Что же тогда позволяет встать, продержаться, жить — со смертью в душе? Что помогает пройти сквозь смерть и дойти до Бога — неважно, самому или после встречи, которая подсказала последний шаг? Мне — подсказала, когда не хватало именно одного шага. И я его сразу сделал, когда выслушал стихотворение «Бог кричал». Еще раз повторю эти несколько строк, каждый раз потрясающих меня как собственное прикосновение к последней глубине.

Бог кричал.

В воздухе плыли

Звуки страшней, чем в тяжелом сне.

Бога ударили по тонкой жиле,

По руке или даже по глазу - по мне.

А кто-то вышел, ветрам открытый.

В мир, точно в судный зал,
Чтобы сказать Ему: Ты инквизитор!
Не слыша, что Бог кричал.
Он выл, с искаженным от боли ликом,
В муке смертельной сник.
Где нам расслышать за нашим криком
Бога живого крик?
Нет. Он не миф и не житель эфира, -
Явный, как вал, как гром,
Вечно стучащее сердце мира,
То, что живет - во всем.
Он всемогущ.

Он болезнь оборет, -
Вызволит из огня Душу мою, или,
взвыв от боли,
Он отсечет меня.
Пусть.

Лишь бы Сам, лишь бы смысл вселенной
Бредя не сник в жару...
Нет! Никогда не умрет Нетленный.
Я
за Него
умру.

Таков образ Божий — бесконечное страдание и сострадание, тонущие в бесконечной радости творчества. Но таков только образ, с которым мы далеко не тождественны, не всегда, далеко не всегда слитны, к которому только приближаемся в иные минуты. А мир, в котором мы живем, — вечное движение материи к распаду, навстречу которому — только вечное движение духа к чуду возрожденной цельности. Бог присутствует в нас так же, как во всем мире, он уравнивает стремление к распаду, уравнивает инерцию двойственности и дробности. Но он не устраняет второе плечо коромысла. И в этом равновесии цветут розы и колются шипы, благодатные дожди дают жизнь лесам, ураганы вырывают с корнем деревья. На глубине бытия зла нет, мы можем иногда почувствовать эту глубину в образе чистого света, но повседневно мы живем в мире, где сталкиваются благотворные и разрушительные силы, и то, что для одного жизнь, для другого смерть.

Все, к чему рвется человек, не дается без боли и не обходится без боли, и все кончается смертью. Будда нашел выход из мира рождения и смерти, но тут же всплыло сострадание, а в сострадании остается

отблеск страдания. Этот жаркий отблеск разгорается до белого каления и сжигает малое, замкнутое в себе «я». Сострадание — боль великого «Я», пылающая еще больше, когда совсем сгорело малое «я», «эго». Святые плачут о грехах народов, спокойно бредущих по своим дорогам. И после волны благодати Силуан тосковал, как Адам, изгнанный из рая, пока не придет следующая волна. Томас Мертон писал о мучительных сомнениях, неотделимых от глубокого, подлинного созерцания. Великие радости неотделимы от великих страданий. В миру они чередуются, а у святых которые ближе к Богу, и у любящих, которые приближаются к Богу, ад и рай нераздельны. В страданиях, сжигающих душу, рождается новая душа.

Евангелист вспоминает женщину: она терпит муки, а потом все заливают радость, потому что человек родился. Я узнал из фильма «Город ангелов», что порог выносимой боли у женщины в десять раз выше, чем у мужчины. Но с этим связана и способность к радости, к ликованию, к экстазу. Женщина ярче любит, чем мужчина, и в материнстве ей дана целая огромная область чувств, которой мужчина, по большей части, может только восхищаться. И подавляющее большинство женщин с радостью идет навстречу горестям семейной жизни и мукам материнства. Даже если нет наивной надежды, что страдания обойдут стороной.

Я убедился на опыте, что боязнь большого страдания иногда закрывает возможность большой радости. В студенческие годы у меня начиналось глубокое чувство к женщине, поразившей меня своей силой в несчастье. Но я понимал, что счастье здесь невозможно, да и желать его недостойно (у нее муж был арестован, и она любила этого человека). После разговора, от которого я опьянел, я два месяца не заходил к ней, чтобы остыть. Потом зашел, снова вспыхнул — и еще недели три не заходил. После этого чувство улеглось в русло дружбы. Я считал, что поступил мудро. Но я мог бы поступить иначе: молчать о любви и страдании и не мешать душе расти вместе с ними. Я напрасно испугался боли.

Лет через пятнадцать, в лагере, я перестал жалеть себя. Не для чего-то, не с какой-то целью, а просто перестал. И вдруг влюбился в одну заключенную, захватившую меня своими ярко пережитыми воспоминаниями. Я просто не думал, счастливая выйдет любовь или несчастная, я был готов на все муки, и я их получил, вместе со взлетами ликования. Они кончились, когда я навестил девушку в ее родном городе и увидел, что все, чем она увлекалась, было довольно поверхностно. Но за два года я пережил то, о чем только читал в книгах, а в жизни не встречал. Я стал другим. Способность выстраивать теории у меня осталась, но она отступила на второй план,

вперед вышла способность любить. На четвертом десятке наступило время любви. Оставалось встретить женщину, способную захватить меня (я никогда не влюблялся во внешность). И когда я встретил Иру Муравьеву, то забросил все ученые занятия, чтобы проводить с ней как можно больше времени, и на три года стал счастливым и беззаботным «люмпен-пролетарием умственного труда». (Эта шутка Е. Ф. меня не обидела.) Как-то мы проплывали с одним знакомым на речном трамвае мимо особняка Хрущева, мне указали на этот дом, стоивший 60 млн., и я подумал: у меня на семи метрах, между кухней и уборной в коммуналке, живет счастье, которого Хрущ и не нюхал.

Мне достаточно было прикоснуться к пальцу Иры, чтобы почувствовать блаженство. И вдруг, 30 октября 1959 г., Ира умерла. Умерла на операционном столе. Я рухнул на колени, чтобы поцеловать ее. Меня зачем-то сразу подняли — и заработала привычка держать удар ужаса, превосходящего ум. Я поблагодарил женщину-врача, не спавшую две ночи, пытаясь спасти Иру, и, помню, очень твердыми шагами спустился по лестнице.

Еще накануне, когда мелькнула только мысль, что Ира умирает, я среди бела дня увидел, как небо расколосось и кусками падает на землю. После ее смерти я два месяца, закрыв глаза, видел себя рассеченным сверху донизу вдоль позвоночника, и половины моего тела со мной не было, она была похоронена вместе с Ирой, а за мной по тротуару волочились кишки. Я был мертв. Живой оставалась только привычка держаться ни на чем.

Она долго складывалась. Началось в 20 лет. Растревоженный Тютчевым, Толстым и Достоевским, я пошел навстречу ужасу научной бесконечности, где тонула, становилась нулем пылинка моего живого «я», и три месяца вглядывался в загадку, которую сам сочинил: «если (научная) бесконечность есть, то меня нет; а если я емь, то ее нет». До тех пор пока не догляделся до вспышки света из бесконечной черной ямы, в которую падал, и до каких-то идей, изменивших мое мирозерцание. Потом из этой привычки родилась другая, военная, подобная пушкинскому Гимну чуме. С тех пор «все, все, что гибелью грозит» — меня неудержимо влекло, и эта открытость риску сплелась с задачей, поставленной себе в 17 лет, — быть самим собой.

Я приходил в негодование оттого, что каждый монолог в драме меня захватывал, каждое уверенно высказанное мнение заражало. Я не хотел быть рабом наплывов и вместе с римской чернью восхищаться то Бругом, то Антонием. Я должен был докопаться до той глубины сердца, где жило мое подлинное «я». И сочинение на тему «Кем быть» я кончил фразой, огорчившей учителя. Она действительно несла в себе начало конфликта с системой: нежелание поддаваться пропаганде,

нежелание играть заранее предписанную роль. С этих пор я много раз делал глупости, но это были мои собственные глупости, и я защищался от упреков словами Разумихина из романа «Преступление и наказание»: «Ты мне ври, да ври по-своему, и я тебя поцелую. Соврать по-своему — это лучше, чем правда по-одному, по-чужому». И в конце концов я доврался до понимания, что на самой большой глубине кончается мое малое «я» и открывается Божье «Я», и именно оно придает подлинность моей интуиции правды и фальши, высокого и низкого — моей интеллектуальной совести.

Только одна полоса моей жизни была изменой себе, была отказом от самой задачи — быть самим собой. Это случилось между исключением из партии в 1946 г. и арестом в 1949-м. Мне говорили: надо апеллировать. Исключение за «антипартийные высказывания» — путевка в лагерь. Там очень, очень страшно, не вынести. И я апеллировал. Я лгал. Я делал вид, что не понимаю, за что меня исключили. Хотя я быстро понял, что моя воля быть самим собой не укладывалась в прокрустово ложе системы, начиная с элементарной партийной дисциплины, кончая идеологией и эстетикой. Я фальшивил на 100% в высоких инстанциях, куда подавал свои бумаги, фальшивил наполовину в быту и только в гостях у Леонида Ефимовича Пинского (моего старшего друга — его тоже ждал лагерь) с отрадой снимал маску. Я был наказан: за три года не родил ни одной стоящей мысли, не продвинулся ни на шаг вглубь.

Когда за мной пришли, я почти обрадовался. Меня охватил подъем, как при звуках артподготовки: в бой! И пока гэбэшники рылись в моих книгах, я со вкусом ел яблоко. Кончилась фальшь. Я снова становлюсь самим собой. Мое место в лагере, и я иду туда. Я был весел в 16-й камере на Малой Лубянке, и ко мне льнули люди, искавшие поддержки; я был весел в Бутырках. Там были свои испытания, и в лагере были, но я держал удары — и радовался тому, чему можно было радоваться, — белым ночам, музыке по репродуктору в ясные зимние ночи, бе седам с друзьями, освобожденными от страха. И с этой привычкой держать удар я прошел через смерть Иры. Когда во мне самом ничего не осталось, кроме смерти. Привычка держаться несла меня через смерть. Помогали и близкие, но без привычки держаться я бы не выстоял. А потом оказалось, что это великий опыт: живым пройти через смерть.

Наша читательница писала мне, что без этого опыта я не стал бы тем, чем стал. Может быть. Но я никогда не отдал бы жизнь Иры, чтобы вырасти. Я готов был тысячу раз умереть, чтобы она жила. Я вместе с ней шел на риск операции, я рисковал собою вместе с ней. Открытость риску была частью нашей жизни, нашей верности себе. Но

я верил в наше счастье, как на войне верил в свое счастье, подымаясь под огнем, а на этот раз случилось другое: и я познал, как хрупко земное счастье. Чем счастье больше, интенсивнее, тем страшнее крушение. В каждом счастье — зерно страдания. Оно может прорасти или не прорасти. На этот раз оно проросло. Расколосось небо. А есть ли зерно равноценной радости в великом страдании? И если есть — у всех ли оно прорастает? И можно ли искать справедливости?

Среди детей, сожженных в Освенциме, среди детей кулаков, немцев Поволжья, кавказцев, крымских татар, умиравших в своих эшелонах, среди десятков миллионов, погибших на войне, было много таких, которых стоило выбрать и сохранить. В институте меня восхищал аспирант Ефрем Янкелевич. Я приходил слушать каждое его выступление. На войне он командовал взводом артиллерийской разведки, его окружили автоматчики, и он передал по радиации: огонь по НП! Красивая, героическая смерть, но лучше бы ее не было. А сколько изувеченных, сколько обрубков — без рук, без ног, без ушей, без глаз, — оставшихся медленно умирать в отдаленных приютах, где они никому не мозолили глаза. Что им дал Бог, этим обрубкам? Толчок обратиться внутрь и увидеть внутренний свет, как Жак Лиссеран, ослепший ребенком восьми лет? Нечто подобное затвору, в полной тьме, на который подвижники шли по доброй воле? Но кто на это способен? И что делать тем, у кого травма черепа или позвоночника приносит муки ада — и мечту о смерти, которая годами заставляет ждать себя? Какие грехи могут припомнить несчастным друзья Иова?

Бог страдает вместе с каждой страдающей тварью. Это неотделимо от Его вездесущности. Но он не ведет нас под руки и не шлепает за шалости. Он дает человеку свой образ — и оставляет в море случайностей. «Здесь Он не царь», не судья и не судебный исполнитель.

Царство Его Не от мира сего.
Сила Его Не от мира сего.
Здесь - Ему воздух скуп отпущен.
Нет, не всесильный, не всемогущий,
Здесь - задыханий едкая гарь.
Здесь Он не царь.
Кто же Он?
Путь, уводящий отсюда.
Сам чудотворец - высшее Чудо,
Выход в мою и твою высоту, - Насквозь
пробитый, прибитый к кресту.
Тот, Кто безропотно вынести смог

Тяжесть земли,
~ Наш неведомый Бог.
Назван. Описан. И снова неведом.
Только тому, кто пройдет Его следом,
Снова предстанет среди пустоты:
~ Видишь? Вот Я.
~ Вижу. Вот Ты.

На вопли страдающей твари Бог может ответить только так, как Иову.

Он поднял Иова над всеми его вопросами, на свой уровень, где неизбежность отдельных несчастий — часть общей красоты мира. И Иов понял, что наш долг — не жаловаться на свой жребий. Не мне, так другому неизбежно выпадут невыносимое страдание и бессмысленная смерть. Сердце моего сердца, где присутствует Бог, велит не восставать против того, что именно на мою долю выпала горсть невыносимых ударов. Если есть сила — прими их как опыт и стань глубже, стань ближе к Богу. С верой ты выстоял — так иди дальше. И Иов пошел и зачал других детей и нашел другие стада.

Таков ответ на вопросы: зачем страдает праведный? Зачем страдают дети? Праведные иногда сами шли в печь вместо ближних, охваченных страхом. А дети...

Достоевский как-то нашел ответ, простой человеческий ответ. Без попытки оправдать Бога или судить Бога. Просто поставил себя самого перед вопросом: чего он больше хочет? Идеального, совершенного мира, но без детей? Или мира, полного противоречий, ужасов, низости — но с детьми? И признался, что выбирает второе. Пусть будут дети. А значит — и все, что ведет к рождению детей, все страсти, все ужасы, вся грязь, все страдания самих детей, все смерти невинных младенцев. Это можно прочесть в «Дневнике писателя», то есть написано было до бунта Ивана Карамазова. Хотя безо всякого осуждения бунта. Смертельно раненное сердце вправе вопить от боли, но мир нельзя переделать. Жизнь прекрасна. И жизнь ужасна.

Мне кажется, не стоит думать, что Бог ее создал для нас и мы вправе вернуть ему билет. Бог выходит из целостной вечности в пространство, время и материю, чтобы полностью, до конца осуществиться, до сынов и дочерей Божьих, до тварей, тождественных Творцу. Без них бытие Бога было бы неполным. И это насыщает мое сердце, потому что я не вне Бога, я причастен к его бесконечности.

Мы брошены в жизнь и смерть, как рыбы мечут в море миллионы икринок — ради лучшего, ради зерна святости, которое даст жизнь святому. В каждом из нас есть это семечко, есть зародыш Божьей

природы, и наше глубокое сердце может осознать это и принять свой личный жребий, свое жертвенное участие в бытии: да будет воля Твоя, а не моя.

Есть страдания, которые мы выбираем для радости, с которой они связаны, как рождение ребенка или полет над страхом. Мы можем их выбрать или не выбрать, отказаться от риска, жить достойно, но помельче, без полета. А есть страдания, которые нас выбирают, хотя мы готовы бежать от них на край света. Они обрушиваются на нас непоправимым ударом. Но в них есть смысл: это проба на излом; в них есть задача: жить или умереть, но оставаться самими собой, расти в своих испытаниях и — если удастся — запечатлеть свой опыт. Как Эли Визель в книге об Освенциме и Тамара Петкевич в своем «Сапожке» — самой поэтичной книге о женской судьбе в лагере.

Иисус не искал креста. Он умолял, да минует Его чаша сия. Но когда испытание пришло, Он вырос в нем до Воскресения. И ученики, разбежавшиеся в начале Страстной недели, стали апостолами, готовыми на любые муки, и на крови мучеников выросла новая община.

Рос№спрШт Зинаиды Миркиной

Мне хотелось бы добавить несколько слов к сказанному Григорием Соломоновичем. Прежде всего об Иове, а потом и о Силуане. Книгу Иова мы оба считаем главной книгой Ветхого Завета. Во всяком случае, она наша самая любимая книга. Это самая горькая, открытая как рана книга о смысле страдания. Очень многие люди не понимают, чем не угодили Богу друзья Иова, ведь они говорили все правильно. Так вот, по-моему, они не угодны Богу тем, что они Его логически последовательно оправдывали. А Он в таких оправданиях не нуждался.

Они пытались за Него отвечать. А Он не собирался отвечать. Он спрашивал.

Когда Бог явился Иову из бури, Он не ответил ни на один вопрос Иова. Он сказал: «Я буду спрашивать тебя, а ты объясняй Мне».

И Бог спрашивает:

«Где ты был, когда Я полагал основание земли? Скажи, если знаешь».

На чем утверждались основания ее или кто положил краеугольный камень ее при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости?»

И дальше идет могучая поэзия, разворачивается великая твор-

ческая стихия — недаром Бог говорит из бури. Сила, творящая жизнь, спрашивает со своего творения равной ответной силы: вместили ли ты Меня, соединился ли со Мною, способен ли отвечать Мне, способен ли вместе со Мною взять на себя ответственность за этот мир? Не только принимать дары Мои, но и взять на себя работу Мою?

Победа Иова — в его поражении, в признании своей малости, в радостной способности к росту, к ответу. Это как в стихотворении Рильке, конгениально переведенном Пастернаком:

Как мелки с жизнью наши споры.
 Как крупно то, что против нас!
 Когда б мы поддались напору
 Стихии, жаждущей простора,
 Мы выросли бы во сто раз.
 Все, что мы побеждаем, — малость.
 Нас унижает наш успех.
 Необычайность, небывалость Зовет
 борцов совсем не тех!
 Так ангел Ветхого Завета Нашел
 соперника под стать —
 Как арфу он сжимал атлета,
 Которого любая жила Струною
 ангелу служила,
 Чтоб схваткой гимн на ней сыграть.
 Кого тот ангел победил,
 Тот правым, не гордясь собою,
 Выходит из любого боя В расцвете и
 сознаньи сил.
 Не станет он искать побед.
 Он ждет, чтоб Высшее Начало Его
 все чаще побеждало,
 Чтобы расти Ему в ответ.

Высшее Начало победило Иова, и он вырос Ему в ответ. В этом задача человека. В этом смысл нашей жизни и всего нашего страдания.

Когда-то, в юности, все вопросы Иова обрушились на меня (хотя я не читала еще этой книги). Когда-то они обрушились на Ивана Карамазова и на его автора, хорошо знавшего и очень любившего эту книгу. Карамазовские вопросы или вопросы Иова как бы смешались в одно (несмотря на то, что Иван Карамазов не был, в отличие от Иова, Божьим праведником). Когда все эти вопросы обрушились на меня, они почти уничтожили меня. Я не могла жить,

дышать. Мне было 19 лет. 1945-й год. Шла война. Люди убивали друг друга. Люди голодали. Люди зверели. Весь мир представлялся мне огромной бойней. — Животные, поедающие друг друга; люди, поедающие животных и убивающие себе подобных; стихии, опрокидывающие все живое. Все доставляют страдания друг другу. Шквал. Хаос. И я — песчинка в этом хаосе, бесконечно страдающая и заставляющая неизбежно кого-то страдать. (Ну даже хотя бы невозможностью ответить на любовь.) Куда деваться от этого?

Ответ пришел ко мне так же неожиданно и так же вразрез всякой логике, как Голос из бури Иову.

У меня это был не голос. Это был Свет. Ель, перед моим балконом на даче, усеянная каплями дождя после только что отшумевшей грозы, вспыхнула в лучах солнца таким светом, что это перевернуло меня, пронзило навывлет. Это невиданное сияние вошло внутрь меня. О дальнейшем я могу говорить только метафорами, потому что в человеческом языке нет точных слов для ЭТОГО. Мои физические глаза видели только сияющие тысячами солнц капли. Никаких видений! Никаких образов! Но мои внутренние глаза увидели Бога. Увидели образ такой красоты, высоты и глубины, который я никогда не могла себе раньше представить, ибо сердце мое ЭТОГО не знало.

И вот узнало. Что?

Человек — такой, каким он на сегодня стал, такой, какой есть, — совсем не высшая точка творения, не венец его. Ему еще расти и расти до той высоты, которая называется Человеком, сыном человеческим (дочерью человеческой). Это — божественная высота, совершенно другой уровень чувств и сознания. Это не тот малый ребенок, который спрашивает — почему ему мало дали сладкого и за что его наказывают, а тот взрослый, который за всех отвечает и которому не с кого спрашивать. Да, не с кого, потому что, оказывается, он обязан, он может, он призван вместить всё и всех внутрь себя. Он не отделим ни от кого и ни от чего. Он — не только он, не отдельная особь, не атом.

Мир — это не сумма отдельных частей. Мир — целостный организм. И человек — ответственной частью единого целого. Он — лицо этого мира. Лицо и слово. Он говорит за всех бессловесных, смотрит за тех, кто не имеет глаз, — на небо, горы, леса. Его устами говорит Вселенная. Он — не только творение, он — творец, потому что Творец мира — не отдельность, не предмет среди предметов, не часть, противопоставленная другой части. Он — целостность. Он — всё. И когда Христос сказал: «Я и Отец — одно», он отнюдь не возвеличил Себя этим, как думали люди, никогда не поднимавшиеся до Его уровня мышления. Он взял на Себя величайшую ответственность за всё и всех.

Величайшая ответственность сопряжена с великим страданием. И Он пошел на это страдание.

Зачем?

Зачем была Страстная пятница?¹⁰

Он так просил всего лишь час
 Быть рядом, не смыкая глаз.
 Всего лишь только час один
 Быть с Ним на глубине глубин.
 Глядеть туда, куда глядят Его
 глаза - в крошечный ад.
 В такой огонь, в такую тьму,
 Каких не вынести одному...
 Он этой ночью приоткрыл
 Впервые - сколько надо сил,
 Чтоб солнцем встать из тьмы.
 И вот Отер со лба кровавый пот,
 В молчаньи посмотрел окрест И,
 встав с колен, пошел на крест.

Зачем? Зачем пошел на крест?

Чтобы остаться собой. Чтобы просияло внутренне царство, которое в истоке и основе всего внешнего и которое больше всего внешнего.

Он должен был пройти через ад, раз этот ад существовал. Вовне — ад. Но то, что внутри, — больше, глубже ада. Он должен был раздернуть завесу внешнего и сделать явной сокровенную, тайную, внутреннюю силу. Творящую силу.

«Держи ум свой во аде и не отчаивайся» — душа больше, чем ад. Больше любых страданий. Душа, достигшая своей предельной высоты — богоподобия, — не подвластна ничему внешнему. Ее смысл — Царство Божие — находится внутри нас. Это сам Творец — невидимый, неосязаемый Дух, который творит все видимое, осязаемое.

Чудо — это внутреннее сияние, не гасимый ничем внешним свет. Когда я увидела — вслед за вспыхнувшим светом, — увидела в самом этом свете высший образ, я поняла, что в нем смысл моей жизни; что моя любовь к Нему несоизмерима ни с какими страданиями. Страдания никогда ничего не смогут сделать с этой любовью, переполняющей душу ликованием, несмотря на все страдания.

Я счастлива сквозь боль. Я счастлива сквозь муку.

¹⁰ Это говорилось в Страстную пятницу 13 апреля 2001 г.

В прорывах ада - рай, в прорывах бездны - свет.
И к вечной жизни путь - сквозь вечную разлуку.
Тот, кто прошел сквозь смерть, тот свел ее на нет.
Тот, кто прошел сквозь смерть... - Ну, а нельзя иначе?
Быть может, как-нибудь полегче, стороной?..
Не сквозь, а мимо, так, чтоб эти волны плача Не
разрывали грудь, а - рядышком со мной...
Пусть духу моему судьба предел очертит:
От сих, мол, и до сих, как тварям суждено.
- Да разве можно жить, соседствуя со смертью?
Когда - ни жив, ни мертв? - Нет, что-нибудь одно!
Единый небосвод, в котором нету края,
Единый океан, в котором нету дна...
Когда приходит смерть, я с каждым умираю.
Когда ликует Дух, - вся смерть побеждена.
О, Господи, прости за малодушие наше.
За этот вечный страх у роковой черты...
Да, всё еще звучит моление о Чаше.
Но не как я хочу, а так, как хочешь Ты.

Да, так, как хочешь Ты. А Ты хочешь, чтобы я отвечала Тебе, а не спрашивала с Тебя.

Нам даются равнины бескрайние эти И
молчащих морей синеокая гладь,
Чтоб могли мы всем сердцем, всей жизнью ответить.
Вопрошают они, а душе - отвечать.
Я в сей мир рождена для ответа, я знаю,
И течение дней, нагнетание лет - Это тихо растущий,
как чаща лесная,
Это мой вызревающий в сердце ответ.
Лишь ко мне обращаются сосен вершины И
пронзительный глаз мирового огня.
И никто не поможет ни словом единым, -
Не ответит никто никогда за меня.
Боже мой, мне на смерть Твою надо ответить,
Созерцай Твой крест. Я же слепну от слез И
глаза отвожу уже двадцать столетий,
Задавая Тебе свой ненужный вопрос.

Ты хочешь моего со-творчества с Тобой, моей ответственности.

Ответить Богу - значит среди ночи Проснуться
вдруг по первому же звуку:
Я - здесь. Я - вот. Твори со мной, что хочешь.
Я - тетива натянутого лука.
Не отвлекусь уже ни на мгновенье От рук Твоих.
Я ожидаю взмаха.
Я вся с Тобой в священный миг творенья.
В миг созидания меня из праха.

Ты предстаешь передо мной великой красотой и просишь моего соучастия в этой красоте. Ты просишь полноты созерцания, полноты замолкания — до полного слияния с Тобой, в котором только и может открыться смысл жизни и смысл страдания.

Еще чуть-чуть, еще немного
Молчанья - и, гора моя,
Ты возведешь меня до Бога,
До полногласья бытия.
Волны беззвучной нарастанье...
Сейчас дойду до той черты.
Где открывают смысл страданья
И тайну Божьей правоты.

Апрель 2001

Григорий Померанц

Одинок прочерченный путь

Э

легия Рильке, посланная Цветаевой, кончается так:

Боги обманно влекут нас к полу другому,
Как две половины к единству.
Но каждый восполниться должен сам,
Дорастая, как месяц ущербный, до полнолуныя.
И к полноте бытия приведет Лишь одиноко
прочерченный путь Через бессонный простор.

(Перевод З. Миркиной)

Должен ли духовный путь оставаться одиноким до самой смерти? Так думали основатели буддийского и христианского монашества. Я так не думаю. Индийская мудрость предписывает целомудрие ученикам, но потом брахманы создавали семью. Дзэн дает полную свободу тому, кто выучился. Созерцатель, утвердившись на пути в глубину, может оставаться в обители, а может вернуться в мир. Одинок прочерченный путь достигает цели, когда сердце освободилось от господства гормонов, страсти перестали дурачить волю, раскрылась глубина, в которой можно прислушаться к Богу и в человеке полюбить образ Божий, а не изгиб плоти.

Гормоны — не единственная причина мнимо свободных решений. Всё причинное поработает: и безусловные рефлексy, заложенные в нас природой, и условные, созданные воплем «наших бьют!» или рекламой. Решение, родившееся в глубине, беспричинно. Океанская волна духа прорвалась через перемычку, пруд стал заливом, исчезло обособленное «я», эго, и нет различия между словами «я решил» и «Бог подсказал».

Гормоны — частность, метонимический образ всех сил, поработивших нас. Автор «Сонетов к Орфею» не перестал чувствовать себя мужчиной; но мужское заняло свое место в духовной иерархии, где

высшее не то что андрогинно, а просто выше пола. Дао выше инь и ян. Рильке отождествляет себя с Орфеем, а не с сатирами и нимфами.

Ребенок, легко поддающийся многим страстям, от *этой* страсти свободен. Я помню, как мы с мамой остановились у витрины на Арбате. Там выставлена была картина, изображавшая обнаженную. Мама — не обделенная ни красотой, ни талантом — ее бескорыстно похвалила. Она всегда хвалила чужой талант, чужую красоту, но само ее чувство красоты было окрашено взрослыми страстями, мужским желанием осязать красоту и женской гордостью вызывать восхищенные взгляды. У меня взрослых страстей не было, и я возразил: «Что ты, она жирная!». Почему-то я этот случай запомнил.

Следующее воспоминание — через промежуток лет в десять. Я смотрю на картину Коро «Купальщица». Деревья там поэтичнее, таинственнее, они трогают сердце, что-то освобождают в нем, и в то же время я не могу оторвать взгляд от купальщицы, в которой нет никакой тайны, нет отсылки в глубину. Эстетическое чувство, не окрашенное гормонами, борется во мне с другим, толкающим любоваться воображаемой возможностью продолжения рода вот с этой, образцово сложенной женщиной, созревшей для материнства. Лань меня не захватывает больше самца с его великолепными рогами. И олень, если вообразить его посетителем картинной галереи, не поймет, что так привлекает к купальщице. Его влечет лань, а не эта дама. Я сам, в десять лет, равнодушно скользнул бы по ней взором. Впрочем, я бы тогда и деревьев Коро не почувствовал. Бескорыстное чувство красоты, просвечивающей за оболочкой плоти, и корыстное чувство к оболочке выростали во мне почти одновременно. Я сознавал, что глубинное важнее, но чувство иерархии встречало сопротивление, и победа его никогда не была бесспорной.

Прошло еще лет пятнадцать. Выставлены были в Москве картины Дрезденской галереи. Я вставал в пять часов утра, чтобы еще раз увидеть «Сикстинскую мадонну» и «Спящую Венеру» Джорджоне. По-своему они обе меня потрясали. Мадонна Рафаэля — чудом, исчезающим в репродукциях. Чудо было только в подлиннике, неповторимое, божественное. Но божественна была и Венера, спящая богиня, а не обнаженная красавица. Я бросал взгляд на линии ее тела и снова впивался в безмятежный покой лица.

Царей и царств земных отрада,
Возлюбленная тишина!..

Божественность приглушала гормоны. Оказывается, и обнаженная женщина может быть образом божества. И этот образ божества надо

созерцать — без желания схватить. Желание схватить разрушает образ — как в стихотворении Зинаиды Миркиной:

На серебряном море забыта,
Как средь книг — непрочитанный стих,
До сих пор каждый день Афродита
Выступает из глубей морских.

Точно море и небо нетленна И хрупка,
как морская волна;
В волосах ее белая пена,
А в зрачках у нее — глубина.

Вот ступила на берег пустынный,
На песке отпечатала след,
И улыбка в глазах ее длинных,
Задрожав, зачинает рассвет.

Вот садится на камень прибрежный
Возле самых лепечущих вод И кого-то
настойчиво-нежно И доверчиво-тихо
зовет.

Все нежней, все невнятной, все тише
Вторит голосу хор аонид...
Тот, кто вслушаться хочет, — услышит,
Кто сумеет взглядеться — узрит.

Вот сомкнула блаженные веки И,
покоясь в полдневном тепле,
Захотела остаться навеки Здесь, на
ласковой этой земле.

Но... за камня мохнатую глыбой Кто-то
спрятан... — внезапный рывок, —
И богиню, как бедную рыбу,
Человечий хватает силок.

О, какой невозможный, мгновенный
Стон! И снова волна разлита, —
На руках победителя — пена,
А в глазах у него — пустота.

Митя Карамазов называл то, что его поработало, «изгибчиком».

Кажется, именно это имел в виду Владимир Соловьев, когда писал о влюбленности в фартук или в косынку. И когда Митя вдруг увидел Грушеньку глазами любви, не делящей женщину на тело и душу, порабощение кончилось, любовь прогнала демонов, любовь готова была на жертву ради мнимого счастья Грушеньки с «прежним, бесспорным».

Я уже понимал это, когда вставал на рассвете, чтобы увидеть картины Дрезденской галереи, «благоговевя богомольно перед святыней красоты». Но ради Рублева я тогда, в 50-е годы, не просыпался бы в пять часов утра. «Троица» казалась мне бесплотным символом, холодновато прекрасным. Огня в глазах «Спаса» я не видел. А теперь мы с Зиной ходим в Третьяковку только ради пятишести икон. А в Эрмитаже — к Рембрандту и старым испанцам. На остальное не хватает времени.

И постепенно стало для меня любимым стихотворение «Молитва». Сперва я его обходил. Оно меня пугало. Потом перестало пугать, — кажется, после того как я увидел огонь в глазах «Спаса» и сам зажегся от этого огня. Вот эти стихи Зинаиды Миркиной:

Я пью тишину из большого ковша
Твоей родимой ладони,
Я пью глубину янтаря,
Золота тусклого блеск.
Я пью все цвета и цветы До дна,
До густой темноты Жаркой твоей
ладони,
Даятель.
Ты — мой последний предел.
Ты — беспредельность моя.
Я знаю, что там, где Ты,
Нет места моим глазам.
Я знаю, что там, где Ты,
Нет места моим словам.
Я знаю, что там, где Ты, —
Сердце стучит,
Даятель.
Возьми же мои глаза,
Возьми же руки мои И волю мою
возьми —
Дохни на меня,
Даятель.
Задуй меня, как свечу.

Я только к Тебе хочу,
Я только туда хочу,
Где сердце стучит,
Даятель.
Выстукивается Жизнь,
Смешавшая верх и низ,
Смешавшая тьму и жар В
ударе.
Ведь мир - удар,
Внезапный прорыв огня, -
Ударь же огнем меня!
Ожги меня жаркой тьмой!
Пространством Своим размой -
Возьми меня в Жизнь,
Даятель¹¹.

Изящество линий не перестает радовать меня. Но сердце загорается от внутреннего огня, от внутренней красоты, от красоты духа. Она может светить и сквозь хрупкую юную плоть, но неважно, через что она светит. Может и через старость, как у Рембрандта, как на многих иконах.

Одинок пройденный путь выводит к беспричинному, вневременному. Путь может быть очень долог и захватывать десятки лет (у иных — и всю жизнь). Он бывает коротким, как вспышка молнии, и сразу дает духовную зрелость. Наша встреча с Зиной была встречей обоих путей - долгого и короткого. Мы оба вышли из-под власти гормонов, оба узнали друг друга духом и причастились друг другу, как верующий съедает церковное причастие. Причастием может быть любое естество, пережитое как символ сверхъестественного, бесконечного. Всякое прикосновение может подняться до таинства и может опуститься до смертного греха. Покойный Сергей Алексеевич Желудков пересказал мне слова знакомого, тоже священника, 0 его родне: они жрут причастие, как свиньи. Таким же свинством может быть близость мужчины и женщины, но по Божьему замыслу в ней нет греха. Первородный грех — выход из Божьей воли, и не один раз, а каждый день. И не только из-за гормонов. Каждый день мы забываем Бога ради яблока, выходим из глубины на поверхность,

11

Это стихотворение перекликается с другим, коротким:
О дух сжигающий! Когда наступит тишь,
Душа в твоих лучах заплещется, стгорая,
Неотвратим, как смерть, ты смерть испепелишь.
Одним ты адский огонь, другим ты солнце рай.

теряем чувство целого и запутываемся в частностях. Каждый день нам не хватает воли к глубинному, тихому и целостному.

Я помню прекрасный месяц в Пицунде, в сентябре-октябре 1962 г. В этом раю мы не теряли чувства целого, чувства глубины, мы не грешили. Никакой змей не соблазнял нас, и никакого соблазна не было, что мы обнимали друг друга. Но попробуйте сохранить чувство глубины на работе, на рынке, на кухне, когда подгорает лук. Манделштам был прав: «Есть блуд труда, и он у нас в крови». Попробуйте сохранить цельность души, садясь в переполненную электричку. Попробуйте сохранить не только ум, а и сердце в бою, как ординарец генерала Григоренко, который целился по ногам неприятельских офицеров, подымавших цепь, и остановил венгров, никого не убив. Это редкость. Обычно солдаты, дойдя до окопов противника, в первые несколько минут убивали немцев, уже подымавших руки вверх, уже сдававшихся.

Бывает ли подобие такой ярости в половой близости? Да, бывает. Об этом Марина Цветаева писала Бахраху, я несколько раз цитировал ее письма. Любовник иногда становился привеском к своим гениталиям, совершенно забывавшим, кого он обнимает, кого любит, терявшим отношение сердца к сердцу, души с душой. Бердяев, по-видимому, не умел справляться с собой и писал, что при половой близости всякий человек опускается до животного; но это его личное дело. Пастернак утверждал прямо противоположное: всякое зачатие непорочно. Надо бы только добавить «бывает». Всякое зачатие может быть непорочным, без явной помощи Гавриила Архангела, если человек сохраняет в сердце любовь, не забывает любви в захваченности страстью. И это относится не только к зачатию, а ко всякому страстному делу. Все естественное может быть непорочным, и труд — не обязательно блуд. Но это задача, это не так легко дается.

Есть суфийская притча. «Один человек взлетал во время молитвы», — сказал ученик. «Птицы летят еще выше», — ответил учитель. «Одного человека видели сразу в двух местах», — не унимался ученик. «Дьявол может быть сразу в тысяче мест»... «Что же высшее?» — «Встать поутру, пойти на базар, купить провизию, сварить себе обед, — и не забывать Бога». Сохранять чувство глубины, по необходимости выходя на поверхность, в будничную суету. Участвовать в суете, не суетясь душой, продолжая прислушиваться к дыханию Бога, к голосу совести.

В православной аскезе есть средство не терять глубины — непрерывная молитва. Архимандрит Софроний рассказывает, что однажды монахи Афонской горы разговаривали друг с другом, как это трудно: то одно, то другое сбивает. Св. Силуан, присутствовавший при

разговоре, нахмурился и сказал, что с ним такое не случается. Но он один имел право это сказать.

Дело здесь не в *словах* той или иной традиции, а в простой и прочной обращенности вглубь, в своего рода пружине, которую дела сжимают, а она тут же разжимается снова. Дайзетцу Судзуки определял дзэн так: «ваш обычный повседневный опыт, но на два вершка над землей». То есть с сердцем, в котором всегда остается любовь, что бы нас ни захватывало, что бы ни возбуждало или, наоборот, — что бы ни притупляло все чувства. В Фиваидской пустыне очень боялись половой страсти, и отцы-пустынники иссушали свою плоть, но не заметили опасности страстей в богословских спорах. Я об этом писал лет тридцать тому назад и радуюсь, что несколько написанных мной слов вошли в поговорку: «Дьявол начинается с пены на губах ангела...». Дальше молва не запомнила. А дальше так: «Все рассыпается в прах, и люди, и системы, но вечен дух ненависти в борьбе за правое дело, и благодаря ему зло на земле не имеет конца». Сходные мысли я потом нашел у Гроссмана, у Айхенвальда.

Все может быть извращено. Злом может стать борьба за истину, за справедливость. Но сама по себе истина и справедливость — не зло. И любовь мужчины и женщины — не грех, более того: поэты не раз брали образ такой любви, передавая чувство близости к Богу. Это освящено опытом нескольких великих традиций.

Зинаида Миркина переводила Тагора, переводила суфиев, и сама она к этому очень близка. Она никому не подражает, когда сводит звезды к изголовью. Это само по себе у нее рождалось:

Нарастанье, обступанье тиши...
Нас с тобою только сосны слышат.

Прямо в небо, прямо в сердце вниди...
Нас с тобою только звезды видят,

Наклонившиеся к изголовью.
И остались мы втроем — с Любовью.

Для того лишь и замолкли звуки,
Чтоб Она могла раскинуть руки.

Для того лишь мир и стал всецелым,
Чтоб Она смогла расправить тело.
Задрожали, растеклись границы,
Чтоб Она сумела распрямиться,

Каждый миг ушедший воскрешая...
Боже правый, до чего большая!

Боже святой, до чего огромна!
Кто сказал, что Ей довольно комнат?

Кто задумал поместить под крышу Ту,
которая созвездий выше?

Кто осмелился назвать мгновенной Ту,
которая подстать вселенной?

В этом причастии звездному космосу есть что-то от возвращения к детству. Ребенку церковное причастие ни к чему. Он прикасается к сверхъестественному в игре, в сказке, с которой засыпает. Он открыт Богу, как залив открыт океану. У залива есть берега, неповторимые очертания береговой линии, но вода в нем — океанская. Есть начаток личности, но нет обособленности от любящих и от океанских волн. Наверное поэтому было сказано: «будьте как дети». Но выход на уровень свободного духа — не простое возвращение к детству. Ребенок то открыт Богу, то заикается и плачет. Он почти одинаково любит сказки и сладости. Он не умеет бороться с соблазном обжорства и не замечает, как логически правильный строй языка постепенно отгораживает его от океана, как понимание причин заслоняет беспричинное. Океанская волна то перехлестывает через перемышку, то оставляет наедине в лужице. Океан еще не создал двойника в уме, и нет в ребенке *сознательного* движения к океану, нет образа океана как святыни, как высшей цели. Поэзия Миркиной одним из своих корней уходит в мир ребенка, но она знает и тоску неразрешимых вопросов и выходит поверх неразрешимого в космических образах прекрасной целостности:

Вот он звучит — тишайший в мире рог —
Беззвучный гром, что, мира не нарушив,
Вдруг отзывает ото всех дорог,
Из тела вон выманивает душу.

Когда сей гром, сей рог тебя настиг,
Он протрубил: «Готовься к предстоянью!
Сейчас наступит вожделенный миг - Века
обетованного свиданья!»

Сейчас... сей час... все глубже, внутрь. В упор.

И - собран дух. Аз есмь! И вот тогда-то
Выходишь ты в торжественный простор,
В великую расправленность заката.

И тянутся объятия зари,
И в этом нескончаемом полете - Единый
возглас: «Господи, бери!»
О, убыль мира, истончение плоти!..

И Он тебя воистину берет,
Тот, Кто насущней воздуха и хлеба,
И длится нисхождение высот,
Земле на грудь прикинувшее небо...

И после полной близости, такой Пронзительно
мгновенной и бессрочной, Приходит тот
прозрачайший покой, Который люди
называют ночью.

Хрустальный час. Он бережно принес
Желанный отдых. В тишине высокой
Дрожат крупинки благодарных слёз,
Не пролитых из замершего ока.

Это очень точное описание вечера в Паланге. Сперва мы вглядывались в игру краснеющих лучей на ветках сосен, потом перешли через дюны к морю и созерцали зарю — до звезд. Но эротическая образность не только передает напряженность созерцания. Она одновременно бросает свет золотых вечерних лучей на страстную близость, продолжающую созерцание, близость как причастие Богу в любимом, как любовь к Богу через обоженную любовью тварь. В стихотворении, начинающемся с нарастанья, обступанья тиши, мы движемся от изголовья вверх, к звездам; а здесь, в созерцании объятий солнца с морем, — к символу космического соития в живом объятии. Два причастия сливаются вместе: и в созерцании приморского заката и в созерцающем осязании тайны через чувство кожи.

Восполненность встречи двух восполненных включает в себя и «одинокства верховный час», о котором писала Марина Цветаева, час полноты внутренней свободы, погружения в бездну бесконечности и творческого порыва, вырастающего из ее глубины:

Одинокство - это свет,
Тот, в котором почти тону.
Нет опоры. Другого нет.
Но душа не идет ко дну.

Одиночество - это круг Неба,
крыльев моих разлет.
В мире нету врага, а друг
Одиночества не прервет.
Бесконечное торжество,
Когда сердце мое полно.
Друг мой просто войдет в него.
Нас не двое. Мы с ним одно.

Можно вспомнить современного богослова: отрешенность и одиночество — не пожизненное призвание, а часть большого ритма жизни.

Однако встреча, подобная нашей, случается редко. Чаще восполненность остается неразделенной. Тогда она держится на собственных крыльях, подхваченная духом любви, не ждущим и не требующим страстного ответа. А иногда ответ приходит после всех мыслимых сроков, поздно, даже слишком поздно, как в повести Гроссмана «Всё течёт».

Есть один замечательный эпизод в «Семирусной горе» Мертонa, книге (с подзаголовком «Автобиография веры»), которая разошлась в 20 млн. экземпляров на двадцати языках и еще ждет перевода на русский язык. На Томаса Мертонa произвела огромное впечатление русская эмигрантка, добравшаяся до Нью-Йорка после очень трудного пути. В своей борьбе веры с судьбой баронесса де Гук приобрела такую силу духа, что выступления ее ошеломляли и поражали. Мертон, войдя в круг ее друзей, заметил, что священники внимали ей примерно как в легендах о св. Екатерине, переспорившей пятьдесят докторов. Екатерина де Гук создала Дом Дружбы в Гарлеме и звала туда всех католиков, а Мертонa особо. Он, поколебавшись, согласился, — как вдруг пришло другое решение. Приведу несколько строчек его рассказа об этом. Он очень короток: «Последние три дня прошли без заметных событий. Был конец ноября. Дни становились короткими и сумрачными.

Наконец, в четверг вечером, я внезапно почувствовал себя полным живой уверенности: “пришло для меня время стать траппистом”.

Откуда взялась эта мысль? Я знаю только, что она явилась внезапно. И это было чем-то властным, неудержимым, ясным».

Мой друг Лайф Ховельсен, несколько раз переживавший подобные внезапные решения, называет их Божьим интернетом. Вы обдумываете важное дело, составляете план, и вдруг в последний миг, из какой-то глубины приходит другое решение и настаивает: так! только так!

Мертон искал выход из суеты, в глубину одиночества, но опасался

строгости монашеских уставов. Он долго перебирал их, выбрал то, что казалось полегче; потом почувствовал, что и это ему не по силам. И вдруг — избрал самое суровое послушание: получать только четыре письма в год, объясняться, по возможности, знаками... Какую роль во всем этом сыграла дружба с баронессой?

Влияние ее личности было огромным. Мертон это очень ярко описал, но нельзя сказать, что он подчинился влиянию. Баронесса звала помогать бедным, опустившимся неграм в Гарлеме, а он выбрал орден созерцателей, ушедших от мира. Видимо, повлияли не слова баронессы, а сама ее личность, ее нравственная цельность. Пример цельности ускорил выход из расколотости, ускорил воссоединение всех сил в глубине. И когда это произошло, глубина мгновенно все решила, не слушая ничьих слов. Лайф Ховельсен сказал бы: сработал Божий интернет. В глубине стал слышен голос: выбирай самый суровый путь. Тебе надо чем-то заменить путь, по которому прошла баронесса. В Доме Дружбы, который она создала, ты этого пути не пройдешь.

Между тем, самой баронессе уставная аскеза была ни к чему. Сравнивая ее с двумя знакомыми священниками, Мертон пишет: «Молитва и жертвенность и полная, бескомпромиссная бедность наполнили ее душу чем-то, что, видимо, эти два францисканца тщетно созерцали перед собой в сухой, условной и заученной отрешенности, выпавшей на их долю». И далее о естественной, не условной и не заученной деятельности баронессы: «Когда Бог находит душу, в которой он может действовать, он использует ее для множества целей, открывает перед ее глазами сотни направлений, умножает ее труды и апостольские возможности почти невероятно, гораздо больше обычных человеческих сил».

Несколько лет спустя баронесса встретила человека, способного разделить с ней ее служение, и вышла за него замуж. Она эмигрировала из России вскоре после революции молодой женщиной; Мертон ее встретил в 1941 г. Легко подсчитать, что замуж она вышла на пятом десятке. Не будь случая, осталась бы одинокой. Но состоялась встреча, и двое людей продолжили свое служение вместе.

Между тем, к самому Мертону после «Семярусной горы» пришла та полнота творческих сил, которую можно передать словами его любимого святого Августина: «Полюби Бога и делай, что хочешь». Эта свобода духа не укладывалась в монастырские правила. Пятнадцать лет боролся Мертон с рутинной, не считавшейся с кипением его мысли и обрекавшей его на хроническую бессонницу и целую серию болезней. Только в условиях аджорнаменто, к 1960 году, удалось переселиться в маленький домик, где отшельник принимал,

кого хотел, или никого не принимал и погружался в созерцание. Именно в эти последние годы жизни были созданы лучшие книги, в том числе «Новые семена созерцания», которые я могу сравнить разве только с «Проповедями и рассуждениями» Мейстера Экхарта; других примеров, между XIV и XX вв., не нахожу. И лишь в 1968 г., когда аббатом стал его же ученик, Мертону дали полную свободу передвижений, плодом которой стал «Азиатский дневник».

Чем глубже он созерцал, чем непосредственнее становилось то, что он называл прикосновением к Богу, тем глубже были его сомнения в букве предания и монастырских правилах. Он пишет Розмари Рютер, женщине-богослову, вызвавшей его доверие, что чувствует себя скорее дзэнцем (а дзэнцы имели право вернуться в мир); и Рютер отвечает ему (повторяю эти слова): «отрешенность и одиночество — не пожизненное призвание, а часть большого ритма жизни». Думаю, что она права и жесткие формы монашества принадлежат к общей жесткости сословного и кастового общества.

Я не ставлю точки над [^] но мне кажется, что многие плодотворные случаи современной аскезы отходят от средневековых образцов. Последний пример — духовный путь Антония Блума. Юность его была такой же мучительно тяжелой, как у баронессы. Вдруг, в 15 лет, читая Евангелие от Марка, между первой и третьей главой, он пережил незримое присутствие Христа. С той поры — буквально сгорел душой и думал только о служении Христу. Духовник потребовал от него уйти из дому. Антоний долго боролся с собой и наконец сказал:

— Я готов. Куда теперь идти?

— Как куда? — ответил духовник. — Иди домой.

Нужна была только готовность на жертву, и эту готовность мы чувствуем в глазах вл. Антония, вживе или с видеокассет. А жить он продолжал в семье, с нежно любимыми бабушкой и матерью, до последнего дня матери, умиравшей от рака. Никаких монастырских стен ему не нужно было и чем дальше, тем меньше были нужны догматические определения вселенских соборов. В выступлении 8 июня 2000 г. он прямо признает их лишними. Итогом духовного пути была духовная свобода, призыв укорениться в Боге и мыслить свободно. Так, как живет и мыслит он сам, передавая ученикам полноту любви, в которой начало и конец истины и жизни.

Рос(\$спр(ит Зинаиды Миркиной Что такое великое одиночество?

Одиночество птицы, которой принадлежит всё небо, одинокий рыбак — излюбленный сюжет сунской живописи, где человек и пространство

как бы становятся единым целым и человек соединяется с Бесконечностью. Наполняется Ею. А в иконе Бесконечностью наполнены глаза святых.

Одинок прочерченный путь — путь в собственную Бесконечность — в свою бессмертную душу. Соединение с собой.

«Боги сперва нас обманно влекут к полу другому, как две половины в единство, но каждый восполниться должен сам, дорастая, как месяц ущербный, до полнолуния». То есть истинный любовный союз, великое соитие — это соитие прежде всего со своей собственной душой, с предельной глубиной ее.

Она приходит, спрятавшись в предмет,
Одевшись в звуки, линии и цвет,
Пленяя очи, грезиться сердцам,
И Еву зрит разбуженный Адам.
И всей душой, всем телом к ней влеком,
Познав ее, становится отцом.
С начала мира это было так,
До той поры, пока лукавый враг
Не разлучил смутившихся людей
С душой, с любимой, с
сущностью своей¹².

Так видит первородный грех великий суфий Ибн аль Фарид. Соитие с любимой становится священнодействием, таинством, когда одновременно это соединение с твоей сутью — с Богом. Грех — в отпадении от Бога. Когда из целостного и бессмертного существа ты становишься частным, отдельным, смертным. Суть аскезы — не допустить такого отделения или, если оно уже допущено, преодолеть его, восполниться до Бесконечности — дорасти до Бога.

Самое великое одиночество — это одиночество Бога, все вместившего в Себя, все объявшего. Ничего внешнего, ничего не вмещенного внутрь у Бога быть не может, или Он не Бог. Для Бога нет другого. Все — Он. Для дьявола Бог — другой, но для Бога дьявол — это Его отпавшая часть. И потому «возлюби врагов своих», ибо без них ты — еще не *весь* ты. Враг — это больная часть тебя самого. Надо исцелиться — стать целым.

Обычно люди, стремясь друг к другу, бегут от самих себя, пугаются одиночества и попадают в ту тесноту духовную, в ту зависимость, которая переходит во вражду, в ненависть. Каждый отстаивает свое

¹² Здесь и далее переводы Зинаиды Миркиной, кроме оговоренных случаев.

собственное ограниченное «я». Хочет другого скроить по своему образу и подобию. Каждый отнимает у другого пространство. Вот почему герой Рильке, Мальте-Лауриде Бригге, бежит от тех, кто любит его, и говорит парадоксальные на первый взгляд вещи: «как плохо тем, кого любят»... Слово «Любящий» у Рильке становится существительным и противопоставляется любимому. Тот, кто по-настоящему любит, не может любить безответно. Ответ, когда это нужно, приходит не извне. Ответ находится в нем самом, в той полноте души, которая и есть подлинная совершенная любовь.

Вот как он пишет об этом в первой Дуинской элегии:

Только томление духа - воспетое счастье влюбленных.

Это еще не бессмертное чувство.

Зависти нашей достойна не та, что нашла свое счастье и в нем

полусонно застыла.

Я восхваляю другую - ту, что, любя без ответа,

Знала такую наполненность сердца, которая вводит в бессмертье.

Вот кого надо воспеть!... Одинокая эта душа так глубоко и полно жила,

Что вдохнула свой дух в опустевшее сердце другого, преображая его...

О, не пришла ли пора, сосредоточась внутри,

Не звать ни к кому и не ждать ничего от любимых? -

Быть только Любящим, только самую Любовью,

Чтоб напряжение сердца было подобно стреле на натянутом луке,

Взвиться готовой и вылететь вдаль за пределы себя,

Ибо остаться в пределах своих - значит не быть.

Это призыв к совершенной внутренней восполненности, в которую душа зовет всех. Войдите и разделите!

Разделить полноту и весомость мира — это великое счастье и великий духовный труд.

Тот, по чьему образу и подобию мы созданы, зовет нас в Свое Одиночество, как птицу в небо. Он раскрыл перед нами всю душу — всю Бесконечность — Войдите!

Побудь со мной в тот самый трудный час,

Когда сквозь мир просвечивает пламя,

Когда с меня проникновенных глаз Не сводит свет, прощающийся с нами.

В тот самый час, когда малейший вздрог Уже подобен громовому звуку,

Когда весь мир на это сердце лёг,

Как яблоко в протянутую руку.
Последний зов, последняя труба...
И где-то на весах у миродержца
В такой тиши решается судьба
Всех лепестков и всех движений сердца!
Весы дрожат... дрожат и - наконец,
Сейчас! Сей час... Так вот он, час мой судный!
Но кто же я - ответчик иль истец?
И почему мне так блаженно-трудно?
Побудь со мной у этого огня...
Вот так с небес из своего далёка,
Вот так когда-то Бог позвал меня С Ним
разделить такую одинокость!

Одинокство Бога — это величайшая полнота, величайшее счастье и великая тоска о нас, зывание к нам. Огромное небо, огромное море растянут наши души. Бог учит нас Бесконечности, как птица учит птенцов полёту. Переключка доросших до Бесконечности, соединение их — это новый уровень полноты бытия. Доросшая до Бесконечности душа ни с кем не меряется, никого не превосходит, она просто сбрасывает свое эго, как бабочка — кокон.

В новом бытии нет обособленности. Оно соединилось со всем. Отдельности нет. Душа, ликуя, чувствует полное исчезновение своей отдельности. Ликование нищеты. Заповедь о духовной нищете очень трудна для понимания. Но это величайшая заповедь о внутренней свободе. Тот, кто обладает чем-то, не свободен. Антоний Блум приводил пример: когда мы зажимаем часы в руке, мы как бы лишаемся руки — она не может действовать. Дух ничем не обладает. Он причащается всему. Можем ли мы обладать утром, небом, солнцем? Мы ничего этого *не имеем*, но причащаемся этому. Душа становится сквозной, прозрачной, она — никто. Встреча доросших до Бесконечности, это встреча двух «никто», как в стихотворении Эмили Дикинсон.

Я - никто. Может быть ты тоже никто?
Тогда нас двое. Молчок.

(Перевод В. Марковой)

Молчок, ибо здесь несказуемая тайна. Двое в то же время одно. Двое, узнавшие, что в две оболочки влито одно и то же содержимое. То, что они принимали прежде за свое «я» — никто, оболочка, а подлинное «я» — всё. Всё — одно во всех. И только узнавшие это осуществляют великую встречу, которая не ограничивает внутренней

свободы — великого одиночества — единства Духа.

И есть еще один аспект у одиноко прочерченного пути. Он одинокий потому, что на пути этом нет и не может быть никакой внешней опоры. Держаться не за кого. Это наука — держаться на внутренней тяге. Душа должна *сама* узнать то, что ей нужно. Узнать истину не с чужих слов, даже самых верных и самых прекрасных, а изнутри самой себя. Таким образом всё, что относится к фактам, явлениям внешней жизни, становится знанием со стороны и не имеет отношения к внутренней духовной жизни. Это «не про то», как сказал бы князь Мышкин.

«Главного нельзя увидеть глазами», — говорил Сент-Экзюпери. И нельзя прочесть в книгах — добавлю я. Главное — это то, что душа может узнать сама, даже если ей никто про это никогда не говорил. Ни про какие факты, которые можно проверить, удостоверить извне, душа знать не может. Она может знать только про то, что есть в ее глубине. Докопавшись до своей глубины.

Одиноко прочерченный путь — это путь в глубину, которая говорит сама. В этом смысле — сама является Словом. Мы заучили, что Слово — это Бог. Но Бог есть особое Слово, приходящее не извне, а изнутри: Слово, которое нельзя подсказать, списать откуда-то. Ниоткуда не спишешь, пока не взойдет из Глубины.

Путь, прочерченный в Глубину, — непременно одинокий, как одиноко предстояние перед Богом. Один на один. Отъединенный ото всего внешнего и вошедший в единую для всего живого Глубину. Открывший сам, что эта Глубина есть. Бог есть.

Я хотела бы закончить маленькой сказкой о стране Небывалии. Это такая страна, чьи законы обратны всем привычным законам нашего мира. Обычно другой отнимает у нас пространство и чем больше людей, тем больше тесноты. В стране Небывалии как раз наоборот: каждый приносит с собой пространство. — Не отнимает у другого, а прибавляет. Чем больше людей, тем больше пространства. Встреча людей, прошедших одиноко прочерченным путем, открывает ворота Бесконечности. Это и есть страна Небывалия.

Григорий Померанц

Метафизическое мужество

Древние видели добродетели в связке: мужество, мудрость, справедливость. Христианство поставило выше другую связку: вера, надежда, любовь. В обоих случаях мыслится связь, целостность, вне которой добродетели могут вырождаться. Например: мужество — храбрость — отвага — лихость — безрассудство — опрометчивость. Добродетели совершенны, если они опираются друг на друга. Мужество не опрометливо и милосердно к побежденному; Но иногда что-то одно выдвигается на первый план. В Послании к Коринфянам Павел во главу угла ставит любовь; а в Послании к Евреям, которое ему приписывается (но это текст III в.), на первом месте вера. Можно объяснить сдвиг массовым наплывом неопитов в церковь и невозможностью передать тысячам и тысячам свою живую любовь к Христу. Но если вера не открывает дорогу любви, то она мало чего стоит, вспоминается шутка про гусиные лапки: сам не ел, «но мой дядя видал, как барин едал».

Мужество, мудрость и справедливость не исчезают из пространства христианской культуры, но смотрятся по-новому: мужество сочетается со скромностью, со смирением (Максим Максимович у Лермонтова, Тушин у Толстого). Лихость оборачивается пороками: гордостью, наглостью. В сложном обществе мужество делится на военное, гражданское и — метафизическое. Выдвигается личность, слабее становится чувство локтя, опора на товарища. «На миру и смерть красна» — поговорка, сложившаяся, когда сражались в плотном строю. Однако чувство моральной опоры сохраняется и у одинокого солдата. Он один, справа и слева бегут, но за ним — родина. В гражданском мужестве приходится прямо идти против «мира», против народа. Иногда за тобой кучка единомышленников. Так протестовали семеро против оккупации Чехословакии. Иногда и этого нет.

В метафизическом мужестве ты один против всей бесконечности. Возможно, термин, выбранный мной, неточен. Я его сам придумал.

Началось с тангенсоиды, ушедшей в бесконечность. Я вдруг

пережил эту математическую абстракцию экзистенциально. Я сам полетел в дурную, темную бесконечность и не был уверен, что вернусь, как обещает тригонометрия, живым и здоровым, и даже здоровее прежнего, как Ахилл, погруженный в Стикс. Ужас погружения в бесконечность был так велик, что я запретил себе на несколько лет обдумывать свой опыт.

Четыре года спустя Тютчев, Толстой и Достоевский расшевелили во мне метафизический страх, и я решил помужествовать с ним. Мне было двадцать лет. Во мне сложился целый личный мир, с Гамлетом и другими любимыми героями, и я решил испытать — превратится ли все это в ноль, поделенное на бесконечность, — или что-то останется? И тогда уравнение $N : \infty = 0$ станет математикой, не имеющей никакого отношения к моей жизни, и такой же абстракцией станут модели вселенной, придуманные физиками — от Коперника до Эйнштейна. Уверившись в силу своей мысли, я стал упорно толкать ее в черную дыру бесконечности. Через три месяца во тьме что-то заблестало и пришли мысли, которые я принял за решение загадки. Моя приятельница А. К. свела их к двум известным вещам: объективному идеализму и субъективному идеализму. Я обиделся, но задним числом признаю, что она была права.

Впрочем, моя неправота была интереснее ее правоты. Лет 20 спустя, познакомившись с буддизмом дзэн, я понял, что дело не в словах, а в выходе из «помраченного сознания» (живущего в плену абстракций) на глубину, где абстракции теряют силу. На войне эта глубина, к которой я воззвал, дала мне свободу от фронтового страха. После тридцати минут шоковой дрожи я вдруг подумал: я не испугался бесконечности — стоит ли пугаться нескольких хейн-келей (немецких бомбардировщиков)? И воспоминание о чувстве глубины дало мне радость от преодоленного страха, с которой я потом прошел от Волги до Берлина.

Впоследствии я набрал целый круг метафизических вопросов: почему страдает невинный? Почему страдают дети? Почему умирает бесконечно любимая Эвридика? Почему Лев Толстой, со всеми своими чудесами слова, станет прахом? Почему Гоголь чувствовал обреченность мукам ада? Почему Христос не ответил ему, как Силуану: держи ум свой во аде и не отчаивайся? Среди этих вопросов был и паскалевский, заново пережитый Тютчевым, Толстым, Бубером и мной самим сперва в 16, потом в 20 лет. Во всех этих случаях надо было выдержать вызов страха до рождения противовеса в собственной душе. Не ответа извне, а внутреннего противовеса. Таким образом, сила рождает силу. Начальная сила (готовность помужествовать) рождает большую силу, раскрытость уровня глубины, где страх тонет

вместе с обидой и ненавистью и всеми болями «помраченного сознания».

Если бы я начал борьбу в 16 лет, я мог бы свихнуться. Мужество связано с мудростью, и мудрость знает, на что мы неспособны, и не лезет на рожон. Мудрость знает нашу силу и презирает опрометчивость так же, как и трусость. Я избегал драк, потому что знал свою физическую слабость, но был смел в слове, и в слове дерзал на поступки, грозившие гораздо большим, чем разбитый нос. Подталкивала сила, подталкивала способность сделать то, что другие не смогут. Мандельштам был просто трусом в быту и героем в стихах. Сила толкает помужествовать: если не я, то кто?

Преодоленный страх вызывает опьянение, и пьяному море по колено. «Все, все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимы наслажденья, бессмертья, может быть, залог...» Полет над страхом захватывает и рождает беспечность. Известная доля беспечности необходима, когда речь идет о самом себе; постоянное чувство опасности утомляет. Но личная беспечность легко переходит в опрометчивость, и непродуманные решения губят людей. Нужен противовес к противовесу: трезвость. В том числе в упоении метафизическим мужеством. Елена Львовна Майданович передала мне слова вл. Антония: «Трезвость выше вдохновения». Я сразу ответил ей: «Для него! Потому что вдохновение всегда с ним». Она подумала и сказала, что вспоминает минуты, когда в глазах вл. Антония вспыхивал огонь — и он тут же удерживал себя. *Ego* усилие направлено было к трезвости. Наше положение сложнее: сперва ищешь вдохновения, а потом уже — противовес к экстазу.

Я думаю, что эта мысль была и у Будды, когда он говорил о *срединном* пути. Будда решительно запрещал форсирование экстаза. Тантризм, раскачивающий плоть, чтобы чувственный экстаз подвел к духовному взлету, создает больше опасностей, чем преимуществ на духовном пути. Когда Уоттс предлагал использовать наркотики (под наблюдением наставника, как в практике тантризма), Судзуки ответил коаном Чжао-Чжоу: «Учитель, укажи мне Путь. — Ты уже позавтракал? — Да. — Так пойди и вымой свою миску». Просветление — не опьянение. Это свобода от помраченного ума без захлеба свободы. Оно не отрицает будничную жизнь, не отрывает от нее, а подсвечивает изнутри. По определению Судзуки: «Ваш обычный повседневный опыт, но на два вершка над землей».

Одна замечательная поэтесса, слушавшая мою лекцию, возразила мне, что лирика Цветаевой была бы невозможна без авантюризма, без полета вниз головой. Я подумал и согласился, что граница вырождения экстаза в лирике другая, чем в руководстве боем.

«Луна лунатику» — метафора внутреннего состояния, которое может обернуться и злом, и подвигом. Само по себе оно еще ни то, ни другое. Это поэзия вдохновения как вдохновения, без постановки вопроса о цели. А «Молодец» — не просто полет. Это полет в ад. И в «Искусстве при свете совести» Марина Ивановна пишет: «В „Молодце“ я никакому Богу не служила. Знаю, какому богу служила...».

При постоянно обновляемом чувстве глубины, где зла нет, сюжет «Молодца» не захватывает. Скорее отталкивает. Там покой. Там ровный свет истины. Бурные вспышки экстаза возможны на пути в глубину, но глубина останется недостижимой, если порыв не уравновесит трезвость. Вспышки экстаза не безопасны. Они могут вести и к безумию (как в рассказе Чехова «Черный монах»). Искусственно вызванные экстатические состояния иногда обнажают скрытые в подсознании нравственные раны, чувство вины, чувство краха — и требуют специального лечения (это показали опыты американского врача Мастерса). К этому же могли вести монашеские подвиги. Испытания св. Антония — хрестоматийный пример. Научный интеллект убивает бесов неверием, но зато мучает «дурной бесконечностью». Почувствовав свое одиночество во вселенной, человек склоняется либо к сознанию ничтожества, либо к призраку величия. У Достоевского из этого пытается выпрыгнуть Кириллов. Штейнер назвал первое искушение ариманизмом, второе — люциферизмом.

Дойдя до глубины созерцания, где призраки исчезают и сгорают страхи, надо сдерживать себя, чтобы духовный огонь горел в очаге и не сжигал стены. Этот культ сдержанности есть во всех великих традициях. Православный термин — трезвение — почти забыт, потому что и вдохновение забылось. И появляются секты, ищущие вдохновения в плясках, повторяя ритмы примитивных племен, «тантризм московского разлива». А на другом полюсе — обрядоверие, в лучшем случае истовое, чаще — равнодушно казенное. Метафизический люциферизм перекликается с духом русской революции, ариманизм — с политикой «подмораживания» России и «Черной сотней».

Чистое вдохновение спокойно и мудро. Оно не выдергивает человека по ту сторону добра и зла, не бросает в люциферизм. Оно не сворачивает с полдороги в поисках массового успеха. Эта прелесть захватывает и очень одаренных людей — например, Раджниша. Его можно читать — сохраняя готовность отбора зерен от плевел, — но нельзя признать учителем. Другая прелесть — полное недоверие учителям, полное пренебрежение традицией и логикой, основанной на принципах. Я приводил цитату о Божьем следе; вл. Антоний с уважением говорит там о человеческой опытности и призывает отбросить опыт пережитого только тогда, когда неслышанно новое не

укладывается ни в какие старые рамки. Приведу это замечательное рассуждение еще раз: «Действия Христовы рождаются изнутри глубинного созерцания, и только из глубин созерцания может родиться деятельность христианина. Иначе это будет деятельность, основанная на принципах — нравственных, богословских или любых принципах; но сколь бы ни были они истинны, прекрасны, справедливы, они не соответствуют божественной динамике небывалого, непостижимого, в чем именно характерно действие Божье. Мы, — христиане, призваны жить на большей глубине, жить глубокой внутренней жизнью — но не в смысле обращенности на самих себя. Мы призваны уйти глубже этой обращенности, и самая эта глубина позволит нам взглядеться *долго, спокойно, пламенно-чисто* в канву истории, канву жизни, и благодаря такому *созерцанию, глубокому взглядыванию* различить в ней след Божий, нить Ариадны, золотую нить, красную нить, которая укажет, куда Бог ведет нас среди окружающей нас сложной целостности жизни. И тут громадная разница между мудростью (Божеской. — Г. П.) и человеческой опытностью. Опытность — результат прошлого, накопленный человеческий опыт; она обращена к пережитому, опыту более обширному, чем личный опыт, и делает выводы интеллектуально основательные, точные, глубокие. А мудрость поступает «безумно». Мудрость состоит в том, чтобы погрузить свой взор в Бога, погрузить свой взор в жизнь в поисках того, что я только что назвал следом Божьим, и действовать безумно, нелогично, против всякого человеческого разума, как нас учит поступать Бог» (см. «Континент», 1996, № 89).

Полное господство аксиоматического мышления, господство логики разрушает чувство целого, чувство священного, приводит к распаду всей системы нравственных норм, всей иерархии ценностей. Учеником философа был Нерон. Философия не помешала ему убить свою мать и поджечь Рим, чтобы любоваться пожаром. А в это время ап. Павел спасал людей «безумием проповеди». Он не был юридическим. Его послания обнаруживают замечательного мыслителя, во всем сохранявшего меру. Тогда многие ранние христиане, впадая в экстаз, «говорили языками», т. е. нечленораздельной речью. Павел прямо не запрещал установившегося обычая, но советовал передавать свое чувство осмысленными образами, и глоссолалия сошла на нет. Он умел следовать логике и тактично опираться на традицию. Однако важнейшие мысли его рождались взрывом из глубины. Печать такого взрыва на слове о любви и широко известном изречении: буква мертва, только Дух животворит. Никаких оговорок. Как будто перечеркивается весь Ветхий Завет... — Но ничего подобного! Мертва только та буква, которая противоречит любви (это ясно из всей

совокупности посланий). Если же любовь поддерживает букву, то древний текст получает новое подтверждение. И Павел смело перекраивал иудаизм, не жертвуя ничем главным, глубинным, укреплял пути в глубину. Так же и разум не отбрасывается бездумно, лишь бы поплыть без руля и без ветрил, а только тогда, когда мудрость века сего становится безумием и новая Троица — вера, надежда, любовь, из которых главнейшая любовь, — дает новое понимание мужеству, мудрости и справедливости.

Видимое отрицание Павлом традиции и разума есть установление новой иерархии, иерархии духовной глубины. Метафизическое мужество выводит из рабства готовым образцам — безразлично, традиции или логики, отбросившей традицию, — чтобы найти в собственной глубине чувство «Божьего следа», интуицию истины поверх принципов и правил.

Поиски Божьего следа — сосредоточенность на том, что велит бесконечная любовь, иногда в согласии с принципами, иногда порывая с ними. Богословы выстроили несколько замечательных догм, которые очень хороши как примеры. Но нужно найти красную нить Божьего следа сегодня, сейчас, в непредвиденной обстановке, которой не было в дни Халкидонского собора. И нужно иметь личное мужество действовать вопреки заповедям (кроме двух наибольших — о любви). Антоний говорил, что в 1939 г. пошел бы на войну добровольцем, без повестки о мобилизации, хотя убивать грех. И есть канон св. Василия Великого, что воин, вернувшийся с войны, три года не допускается к причастию, потому что грех, даже необходимый, остается грехом.

В истории человечества есть эпохи, требующие поворота, отказа от установленных образцов, интуиции перемен. Так в Осевое время возникло аксиоматическое (или постулятивно-логическое) мышление, так оно исчерпало свое господство и потребовалось восстание против мудрости, ставшей безумием. А потом снова понадобился поворот, поворот от внешней дисциплины, от покорности церкви, воспитывавшей рабов Божьих, а не детей Божьих, церкви, забывшей слова: «познаете Истину, и Истина сделает вас свободными». Этот поворот открыл Новое время, со всеми его завоеваниями и кризисами, чем дальше — тем более глубокими.

Движение к свободе пошло не столько вглубь, сколько по поверхности, и поверхность пожрала глубину. Свобода от религиозного фанатизма открыла дорогу опасностям идеологического фанатизма. Свобода от разрушительных стихий природы не уберегла от беспомощности перед разрушительными стихиями самой цивилизации, от запутанности и заброшенности человека в техногенных джунглях. Все меньше остается места для созерцания, для

движения в глубину. И снова наступило время, требующее мужества поворота, переоценки ценностей. Культуру, рассыпавшуюся на тысячи прутиков, культуру шизоидной расколотости надо вновь связать «Божественным узлом». И может быть, Божий след, ведущий к этому узлу, — в развитии «религиозной музыкальности», религиозного чувства поверх различий догм и образов, не упраздняя их, но покоряя духу любви. Здесь с вл. Антонием перекликается пастор Вурмбрандт, мученик веры, писавший об этической простоте выбора между использованием обрядов и догм, чтобы нападать на других, и единством веры с любовью.

Зинаида Миркина

Метафизическое мужество

Есть пословица: «один в поле не воин». Но метафизическое мужество начинается именно там, где один воюет в поле. С кем же он воюет? Ни с кем вовне. Его война — внутренняя.

Он воюет с тем, что отвлекает его от собственной глубины. Что ведет его на поверхность, вернее, стремится оставить его на поверхности. Потому что мы живем в основном на поверхности. Это обычно. И если Антоний Блум говорит, что «каждый грех — это прежде всего потеря контакта с собственной глубиной», то этот грех большинством и за грех не считается. Это статистическая норма.

Мне приходилось слышать вопрос: а что такое глубина? Если бы речь шла о глубине реки, озера, моря, то можно было бы предложить окунуться в воду и на опыте узнать, что это такое. Потеряешь дно под ногами — и либо потонешь, либо научишься плавать.

Но что такое глубина души? Как это узнать на опыте? Есть много раз рассказанная нами сказка Михаэля Энде о маленьком человечке, жившем на игрушечном диске, под небосводом с нарисованными звездами. Диск довольно долго спокойно вращался — и вдруг небосвод стал трескаться; в трещинах свода открылась бездна. А в бездне — какая-то закутанная фигура, напоминавшая Христа, звала человечка к себе. «Но я упаду», — со страхом отвечал он. И тогда услышал: «Учись падать и держаться ни на чем, как звезды».

Тот, кто спокойно стоял среди бездны, звал человечка в глубину его собственной души, и это вызывало ужас.

Между тем, человек призван именно к этому. Кант говорил, что самое удивительное в мире — звездное небо над головой и нравственный закон в сердце. Да, звездное небо над головой и сердце, способное почувствовать его величие, вместить его. Ответить бесконечности, которая над нами, перед нами — раскрывши в себе внутреннюю Бесконечность.

Почувствовать внутри себя Бесконечность — значит уподобиться

Богу. Наша задача — осуществить свое богоподобие.

Ни у одного животного нет такой задачи. Животное может быть сколь угодно прекрасным и умным и добрым, но ни к какому животному не применим эпитет «глубокий». Глубина души — домен человека. Глубина души — это способность вместить Бесконечность.

Как напряглась большая тишина...
Она сейчас как бы огромный парус,
Надутый ветром. Ведь морской простор
Так медленно раскидывает крылья И
учит душу — своего птенца — летать.

А птенец сопротивляется изо всех своих сил. Это — трудно.

Помню один давний разговор. Моя собеседница стояла перед неразрешимым вопросом. «Что ж вы будете делать?» — спросила я. «Пойду к духовнику». — «А если он даст неверный ответ или никакого ответа?» — «Не знаю». — «А что бы делали вы на моем месте?» — спросила она. «Постаралась бы затихнуть, остаться наедине с собой, уйти внутрь», — ответила я. «Только не это!» — в страхе почти закричала она и сделала рукой отталкивающее движение.

«Только не это!» Но ведь нужно только это! Без этого не обойдешься. Надо научиться оставаться наедине с собой, надо научиться не убегать от самого себя.

Для большинства людей одиночество — это наказание. Им нужны другие, чтобы заполнить пустоту одиночества. Наедине с собой пусто и скудно, если не страшно. Бежать от пустоты и скуки, развлечься — один из основных стимулов в современном мире.

«Но мир во зле лежит», — говорится в Евангелии. И мы слишком явно видим это зло во всей истории человечества. Однако «царство Мое не от мира сего», — сказано там же. «Царствие Божье не там и не тут»... «Оно внутри вас»... «ищите Царствия Божия, и всё остальное приложится вам».

Выход из мирового зла — внутри. В той глубине, контакт с которой мы потеряли. В той глубине, где зла, — по словам Августина, — нет. Путешествие в эту глубину и есть метафизическое мужество. Подвижник — духовный путник — воин, который воюет в полном одиночестве, ищет вечное внутри временного, бессмертное внутри смертного. Путь его начинается в одиночестве.

Дивный остров Валаам,
Остров храмов, остров-храм.
На лесном зеленом всхолмье Я
учусь его безмолвью,

Одиночеству его - Тайне Бога
своего.
Моно, монастырь, монах —
Тот, затерянный в лесах,
Тот, кому нельзя отвлечься Ни на
миг от тайной встречи Сердца с
Богом, неба — с морем.
В нескончаемые зори Здесь
встречается в молчанье Глаз с
всецелым мирозданьем,
Все безмолвие земное С
внутреннею тишиною.

Но это не самоцель. Это путь к Единству. Настоящее единство только в глубине. Единение на поверхности — это толпы друг против друга. Надо уйти от толпы в одиночество, с поверхности в глубину, все глубже и глубже до того уровня, где глубина перестает быть *только* твоей. Путник делает великое открытие: последняя глубина у всех одна. У нас есть общая глубина. Это и значит, что у нас есть Бог. Не множество богов у каждой группы, каждой конфессии, а воистину Единый Бог, живущий в одной общей всем глубине.

Великие мистики открывают такую глубину и основывают религию. Но как быстро лукавое эго выводит из глубины на поверхность, к своему отдельному богу, собирающему «своих» против чужих! Если есть свой и чужой, если мы не чувствуем весь мир единым целым, мы остались на поверхности, во вражде, в том, что названо тьмой внешней.

Ливанский поэт XX в., христианский мистик Халиль Джебран оставил такую притчу:

Раз в сто лет в горах Ливана встречаются два человека: Иисус Назарянин и Иисус Христос. Они долго беседуют, но в конце Назарянин встает и говорит: «Нет, мы никогда не пойдем друг друга».

В этой притче как бы столкнулись Церковь историческая и Церковь незримая — та подлинная Церковь, которая, может быть, и есть цель человечества. Это соборность. Единство. Это конец одиночества. Но приходят туда только через одиночество, когда каждый спускается один в свою собственную глубину и эта глубина оказывается единой для всех. Чтобы встретиться на этой Глубине, надо найти вход в нее внутри себя самого.

Мы живем в толпе, в потоке,
Нас несет водоворот.
А деревья одиноки,

Так же как и небосвод.
И течет, течет в просторе,
Глубока и широка,
Отражающая зори Одинокая река.
Что в ее притихшем оке?
Кто глядит в речную гладь?
В мире только одинокий Может
Богу предстоять.
Нескончаем этот вечер,
Не погаснет свет вдали.
Сердце Бога - место встречи
Одиночеств всей земли.

Да, место встречи одиночеств — та глубина, всегда своя собственная, которая, однако, — не только твоя. Реки сливаются в море. На поверхности — множества и борьба. В глубине — тишина, мир, единство.

Иноверцы и единовѣрцы...
Кто кого в бесконечной борьбе?
Но молчи, одинокое сердце,
Бог откроется только тебе.

Может быть, первый в Библии пример метафизического мужества — рассказ об основателе монотеизма Аврааме. По Агаде, сборнику легенд, примыкающих к Библии, он звучит так: мальчик прислуживал в лавке своего отца, торговавшего съестным и разной мелочью, в том числе глиняными божками. Однажды мальчик, оставшись один, съел сметану и намазал губы божкам, сказав отцу, что они съели сметану. Отец выпорол его. Но если отец не верит, что боги могли съесть сметану, как можно верить в то, что они управляют миром? — решил мальчик.

Это был первый акт идолоборчества. Авраам ушел в пустыню, искать истинного Бога.

Никто не мог сказать ему, где Бог и кто Он. Авраам остался в пустыне в полном молчании. Был вечер. И в огромном небе над пустыней возшла большая прекрасная звезда. Сердце Авраама затрепетало, и он поклонился ей.

— Вот Бог мой, — сказал он. Но возшла Луна и затмила звезду.
— Вот Бог мой, — снова сказал Авраам.

Но настало утро, и возшло Солнце и затмило Луну. На этот раз Авраам не сказал: «Вот Бог мой!» Он вдруг понял, что ничто внешнее,

видимое глазами, не может быть Богом. Бог — Творец всего, что мы видим, но сам Он — невидим. Все, что мы видим — творение. А Творец внутри. Мы можем испытывать благоговейный трепет перед творениями, но поклоняться не им, а их Творцу. Через них, но не им! В иконе может быть запечатлен образ Божий, но сама икона — всего лишь доска. Гора — всего лишь груды камней, как бы она ни была прекрасна, мы ощущаем священный трепет не перед камнями, а перед непостижимым Художником, сотворившим их Красоту. «О, поэт наивысший!» — обращался Тагор к Богу. И Авраам первым — по Библии — поклонился не камням, а Художнику, он имел мужество не поклониться ничему внешнему и обернуться внутрь, в одинокую пустыню сердца, подобную той пустыне, которая расстилалась вокруг него и над ним. Он открыл новое измерение, измерение глубины, и понял свою задачу — задачу безоглядного погружения внутрь.

Есть самый тяжкий в мире труд:
Не оглянуться. Только внутрь
Смотреть, где, все отдав, что мог,
Живет наш неимуший Бог.
Ну да, у Бога моего - Во внешнем
мире — ничего.
Как мы боимся нищеты...
И как нам хочется, чтоб Ты Был
всемогущ на старый лад —
Победоносен и богат.
Но Ты стенаешь на кресте И нам
твердишь о нищете,
Нам завещая тяжкий труд:
Не оглянуться — только внутрь!

Христос говорил, что Он пришел не нарушить Закон Моисеев, а исполнить его. Вместе с тем, Его распяли именно за то, что он нарушал. И все-таки не нарушал. Он нарушал внешние правила во имя внутренней правды. Он пришел исполнить тот самый внутренний закон, открытый еще Авраамом, пришел повернуть людей извне вовнутрь. От страха перед кем-то сильнейшим внешним — к духовному бесстрашию, освобождению от внешних, рукотворных или мыслетворных богов к Богу, не сотворенному нами, а творящему нас.

Величайшее мужество Иисуса из Назарета было в том, что Он отверг всякое поклонение внешней силе, остался совершенно незащитным перед ней, готовым на поражение, на жертву. Он утверждал не внешнее, а внутреннее могущество. Не могущество

плоти, а могущество Духа, творящего плоть.

Этого не только принять, но и понять не могло большинство из Его современников. В мире царили сила и вражда. Закон джунглей. Он утверждал, что люди созданы по другому закону — закону Любви. Он говорил, что надо любить даже врагов своих, потому что враги есть во внешнем мире, где все сталкиваются друг с другом, меряются силой. А Он звал людей вовнутрь, в ту глубину, где все оказываются связанными со всеми, где у всех есть общее пространство, как общее небо над головами. Кого бы ты ни бил, ты бьешь самого себя. Отравляя воздух соседа, отравляешься сам.

Его проповедь любви к врагам могла показаться защитой врагов, его проповедь открытости, жертвенной бедности — в глазах властителей мира сего казалась ослаблением их власти, духовной и светской. И человек, воплотивший в себе высший образ, по которому мы созданы, был распят на позорной виселице между двумя разбойниками.

Евангелие говорит, что Он на третий день воскрес. Апостол Павел утверждает, что если Христос не воскрес, то вера наша мертва. И я присоединяюсь к нему. Но что такое Воскресение Христа?

Сам Иисус говорил в Евангелии от Иоанна: «Я есмь Воскресение и жизнь вечная. Верующий в Меня, если и умрет, оживет, а живущий и верующий в Меня не умрет вовек».

Можно ли эти слова понять буквально? Кто из живущих не умер?

И как понять слова апостола Павла «Я умер. Жив во мне Христос»? Нет, не о физической победе здесь идет речь, и не о том воскресении, которое можно видеть физическими глазами. (И такое возможно, но не в нем суть.)

Людей тянет к зрелищу, беспрестанно тянет. Но эта тяга назад, к идолопоклонству. Ее корень — в отсутствии метафизического мужества. Мужества — верить не в то, что перед глазами, а в то, что происходит *внутри*.

Аврааму, ушедшему в Пустыню, было гораздо легче поклониться звезде, Луне или Солнцу, чем какому-то невидимому, непредставимому Богу, требовавшему от него бесконечного углубления и возвышения собственной души, вплоть до вмещения внутрь бесконечности и осознания себя духовно бесконечным существом. Это и есть наша задача, которая пока выполнена только единицами, берущими на себя всю тяжесть этого мира, всю ответственность за него; и расплачивающихся собственной жизнью за тех, кто этой задачи не осознал, не выполнил. Побеждать в физическом мире Сын Человеческий, прошедший сквозь пустыню, не может, не имеет права, ибо сознает себя единым со всеми и побеждать кого бы то ни было значит раздробить себя же.

Как трудно божественной силе!
О, Боже, опять и опять Мы, люди,
Тебя победили,
Тебе ведь нельзя побеждать.
Твоих победителей много,
А Ты - одинокий изгой.
И все победители Бога Спешат Его
сделать слугой.
Но только служить Ты не станешь,
А сбросив свой зримый покров,
Ответишь великим молчаньем На
наш несмолкающий зов.

В том-то и дело, что на короткой дистанции видна победа творения-плоти, явной силы. Люди, такие какие они есть, хотят заставить служить себе ту Силу, которая их создала. Но это никогда не получится.

На невидимой нам длинной дистанции мы обречены, если не будем сотрудничать с Силой, создающей жизнь и нас самих.

Да, истинный Творящий Бог не может никого побеждать, ибо все, кого он победил, — Он сам, Его неотъемлемая часть. Он терпит поражение в «мире сём!» — в этом видимом, явленном мире, но Он верен своему невидимому нам закону.

И - миру неведом
Итог под итогом:
Любая победа -
Распятие Бога.

Мы, люди, распяли Бога не только 2000 лет назад. Мы делаем это каждый день. Своей враждой, гневом, войнами. Мы расчлняем в самих себе на части образ Божий.

А что же такое воскресение? Это собиранье частей воедино. Воскресение — это не внешнее явление, а глубочайшее внутреннее делание, духовный труд наитруднейший.

Внутри человека должно умереть маленькое, отдельное ото всех «я» — и ожить то, которое соединено с каждым другим; то, для которого каждая боль — своя боль, каждое сердце — свое сердце.

Физическое «я» этого человека бесконечно уязвимо и всегда готово на поражение. Его глубинное «я» открыто всем, связано с каждой звездой и с каждой душой и умеет перешагивать через страх физической смерти, ибо нашло свой смысл, который больше смерти и больше любого страдания.

Есть духовная истина: Бог всемогущ, но это противоречит тому, что видят наши глаза и воспринимают все пять чувств.

I

Моя душа слабей листка,
Случайно сорванного ветром.
Она, как этот лист, легка,
Как легкий проблеск незаметна.
Моя душа тонка, как нить,
Нет, тоньше - и сравнить-то не с чем.
Она другой не может быть - В ней
Божий нерв, сквозя, трепещет.
Моя душа обнажена - Нет ей покрова,
нет защиты,
Ведь каждый миг жива она И значит,
каждый миг - открыта.
И значит - нет её бедней.
Она - бездомный среди ночи,
И каждый может сделать с ней Без
наказания, что захочет.
Вот почему всегда молчат Леса, глаза
озер застыли,
Вот почему наш Бог распят,
И всё-таки - наш Бог всемогущ. ¹³
Бог замолчал пред силой вражьей,
Но созидает только Он,
А разрушать способен каждый.

13

Да, Он любой беде открыт,
Но этих красок переливы,
Но эту жизнь лишь Он творит
Непостижимо молчаливый.
Молчание - на боль в ответ,
На всю враждебность мироздания,
Но созидает этот свет Лишь только
Божие молчанье.
И нет сильнее ничего Безмолвья
Твоего, Создатель.
Чтоб только не прервать Его,
Ты согласился на распятие.
Чтоб не нарушить Свой закон,

Метафизическое мужество — это готовность противостоять разрушительной силе не прямой борьбой с ней — это была бы игра по ее же законам, — а отдачей всего себя служению другой силе — созидательной.

Когда Петр советовал Учителю избежать распятия, он услышал в ответ: «Отыди от меня, сатана, — не о небесном думаешь, а о земном».

Метафизическое мужество требует не оглядываться на земное.

Метафизическое мужество — это верность тому, что больше нашего смертного «я», это служение нашему невидимому бессмертному «я».

Всемогущество Божье не избегает страданий, а проходит через них и находит выход через страдание, через саму смерть.

Наши представления о всемогуестве Божьем очень сильно расходятся с реальностью, не представимой умом.

В Евангелии есть такое место: «Чего ни попросите у Отца вашего небесного, все дастся вам». Это совершенно противоречит очевидности. На первый взгляд, это просто ложь.

Но что значит «попросить Бога»? Это значит уметь обратиться к Нему. Нам кажется достаточно сказать: «по щучьему велению, по моему хотению». А если нет, то какое же всемогущество? Но обратиться к Богу — значит обратиться внутрь. А тот, кто сумел обратиться внутрь, действительно обретает все, ибо обретает себя, соединяется со своей бессмертной душой. Метафизическое мужество и есть способность обратиться к Богу, живущему глубоко внутри, не в сторону, а внутрь, в глубину. Это готовность на жертву, на смерть ради Любви к своему бессмертному «Я». Это безоглядная любовь к высшему «Я». Это верность внутреннему смыслу вопреки внешней бессмыслице.

Один духовный учитель сказал, что только неправильные вопросы имеют ответы. Правильные вопросы ответов не имеют. Под неправильными вопросами он имел в виду вопросы, направленные вовне и ждущие ответа извне. К ним и приходят ответы извне. Они могут быть полезными или вредными, нужными в быту или ненужными. Но они обращены не к душе. И душе безразличны. Они, как сказал бы князь Мышкин, «не про то». Правильные вопросы — это вопросы, обращенные к душе. Внутри нас самих.

Ответы на них вовне отсутствуют. Они могут прийти только изнутри души, углубляя и расширяя душу. Они растят душу.

Правильные вопросы — это те вопросы, которые совершенно необходимы душе. Они никогда не отвлекают душу от собственной глубины. Все, что не необходимо знать душе, для нее праздные вопросы.

Духовная истина — это то, что может узнать душа сама, без всяких посредников, узнать изнутри себя самой.

Душа сама, без всяких посредников может узнать Бога, как ученики

Христа узнали Его вопреки всем предостережениям священства. Душа сама узнает высший образ, по которому создана, узнает направление, в котором ей надо двигаться, расти.

Но она узнает только о самой себе, не о других. Истинное узнавание души — только внутреннее.

Поэтому вопрос о том, как именно зачала дева Мария и каким образом Иисус из Назарета встал из мертвых — неправильный вопрос, направленный вовне, и ответы на эти вопросы — мнимые.

Если душа знает, что Бог жив, то знает только вмещающая Его внутрь себя. Это величайшее таинство и чудо. Все остальное — физическое явление в ряду других физических явлений и к духовной истине отношения не имеет.

Духовная истина не требует удостоверений. Фоме, который требовал удостоверения, было сказано: «Ты поверил потому, что увидел; блаженны не видящие, но верующие». Всё в духовном мире может быть высказано только метафорой, но это одна из очень важных метафор. Метафизическое мужество — безоглядное доверие к последней глубине своей души, не требующее никаких удостоверений. Такое мужество очень трудно даже людям, хорошо знающим, что такое духовная глубина, спустившимся очень глубоко внутрь самих себя.

Орфей, спустившийся в Аид,
Он вновь передо мной стоит.
Нет, не передо мной - во мне,
В той самой темной глубине,
Где через смерть проходят в жизнь. —
В творящей тьме. Не оглянись
На тень! Опять Творцом своим
Ты призван быть единым с Ним.
Все взвешено в миропорядке:
Где творчество, там нет оглядки.

Григорий Померанц
Преображение

Когда мы с Зинаидой Александровной сходили в гардероб, после лекции в питерском музее Ахматовой, нас остановили две девушки. «Нам хочется задать вам очень глупый вопрос, — сказала одна из них. — Но кажется, вы те самые люди, которые могут на него ответить: в чем смысл жизни?» Я не нашелся, что сразу сказать, а Зинаида Александровна ответила: «Вопрос совсем не глупый, над ним думали многие великие люди, но как на него ответить на ходу? А впрочем — почему бы нет... смысл — в преображении».

Попробуем сегодня подумать, что же это значит — преобразиться? Зажечь в себе негасимый огонь? Пробить путь в глубину, где горит этот вечно живой огонь? В Евангелии так назван выход наружу духовных глубин, выход наружу внутреннего света, как на горе Фавор случилось с Христом. Потом что-то подобное увидел Мотовилов у св. Серафима. Далай Лама XIV, комментируя Евангелие, рассказывал, что подобные случаи помнит и буддийское предание. Но суть преобразования не во внешнем, заметном глазам. Суть во внутренней перемене, во внезапном загорании внутреннего света, во внезапном открытии целой лестницы вверх, по которой идти и идти... Кто увидел глубинный свет, тому невозможно жить без прорыва к нему, жить на плоскости, на поверхности, в кружении обрывков, оторванных от Целого. И можно простоять тысячу дней на камне, чтобы открылась снова вертикаль, измерение, ведущее к Богу, — то, что св. Серафим назвал стяжением Святого Духа. Не знание, не память, а реальность света. Преображение — это не выученные слова, не знание заповедей. Это открытость глубине по ту сторону слов, знаков. Это исчезновение стен, открытость бесконечному. Это способность взглянуть на мир глазами Бога, как у автора Книги Иова. Это способность ответить на свои же вопросы — человеческие, слишком человеческие, — на вопли страдающего сердца и страдающего разума так, словно Бог дал человеку

свой глаз. И тогда все неразрешимые вопросы расплылись и невыносимые страдания стали выносимы. И после потери всего, что Иов любил, после полной смерти — началась заново полная жизнь.

Пари, заключенное Богом с дьяволом, — литературный прием древнееврейского писателя, некоторое «как бы», позволившее развернуть драму. Нелепо принимать эту условность за факт и спорить с Богом, как это делал К. Г. Юнг в своем «Ответе на Иова». Но что-то похожее на пари с дьяволом действительно встречается на свете. Таким спором с дьяволом стала жизнь Зинаиды Александровны, когда она заболела. Первым ответом на вызов была мольба: если это продлится больше трех дней, то лучше смерть. А муки длились годами. Пришлось учиться *подныривать* под волны судорог, под болезнь маленького тела, и со своего одра возвращаться к чувству бесконечного внутреннего света, не зависевшего ни от чего, что может случиться на поверхности бытия.

Живая память встречи с бесконечностью света оказалась сильнее тьмы, Бог в человеческой груди выиграл пари с дьяволом, прокравшимся в человеческий мозг. Что-то подобное описано в прологе и эпилоге «Озера Сариклен», примерно в этих вечных образах. И ежедневный выигрыш пари рождает стихи, несущие свет, а не тьму, здоровье, а не болезнь. Более 40 лет тому назад, услышав эти стихи, я сразу же почувствовал опыт, стоявший за ними, и стал впитывать этот опыт.

Таков один из путей, который я проверил на себе: впитывать в себя опыт Иова, опыт невыносимого страдания, большего, чем смерть, и духовного воскресения, большего, чем страдание. Впитывать из глаз в глаза, впитывать по следу опыта в словах, звуках, красках. Впитывать в литургии света, в литургии восходов и закатов, в литургии, которую служат деревья и волны моря. Я уже рассказывал, что Мертону не хватало общих обрядов, и он создал еще свой: встречать рассвет пением псалмов. Так иногда читались и стихи Зинаиды Александровны на могиле Волошина или у костра.

Покойная Зельма Федоровна Руофф, написавшая книгу о Рильке, нашла новое слово: поэтология. Что-то вроде мифологии, но без наивного смешения метафоры с фактом, без превращения образа в кумир. У Зинаиды Александровны, в образах ее поэтологии, нет требования к Богу создать мир получше, без страдания и смерти. Есть требование к себе — понять *свою* задачу в этом мире, сохранять почву человеческого, в котором растет Божье. Сквозь превратности истории следить путь обожения, становления второй ипостаси, того второго, и третьего, и невесть какого пришествия, которое совершается в душах святых, как писал об этом Рейсбрук.

Преображение неотделимо от сознания своей скромной роли в этом процессе, от умения найти паузу созерцания, когда рождается истина этого мгновенья, знание, что сделать, что сказать.

В Доме Мадонны, созданном супругами Дохерти в Канаде, заведен был особый домик, называемый по-русски пустыней, и туда уединялись на день, на два; по мере сил молились, устав — засыпали, просыпаясь — снова молились, пока не отпадала, не отгорала вся суета и в тишине не рождался образ слова, которое сейчас надо сказать, или поступка, который надо совершить. У моего друга Лайфа Ховельсена, последователя Бухмана, такая пауза — час на рассвете, с 5 до 6 утра. Тут нет никакого шаблона, каждый может найти паузу по-своему и в тишине осознать свою сегодняшнюю задачу, основную мысль письма, стиха и т. п., словом — свою роль, хотя самую маленькую, какая кому по силам, а это значит — сегодня, сейчас не давать тьме поглотить свет в себе и в своем ближнем, это значит сохранять почву для чуда, уравновешивающего невежество и грех в истории; а может быть — уравновешивать и разрушительные силы во вселенной, сделать шаг от хаоса противоречий к гармонии противоречивых голосов. Ничего невозможно здесь доказать, но интуиция не требует доказательств.

Я верю, что глубокое созерцание входит в круговорот Святого Духа, незримо участвующего в вихрях природных сил, незаметно поддерживая жизнь против смерти и хрупкую одухотворенность против бездуховных масс. Каждая жизнь и каждая личная одухотворенность смертны. Сказав «жизнь», мы тем самым сказали «смерть». Но наше глубокое сердце неотделимо от сердца вселенной, и в этой нераздельности, в этом причастии оно бессмертно. Как это всё получается, не знаю. Я так просто чувствую, вопреки очевидности смерти.

До всякой науки с ее законами термодинамики и тепловой смерти Будда говорил, умирая: «состоящее из частей подвержено разрушению, трудитесь прилежно...». Причащайтесь духовному Целому. Наш духовный труд поддерживает центростремительное движение, противостоящее вихрям, несущимся в тьму внешнюю. Преображение противостоит хаосу и вносит свой вклад в чудо света, не дает ненависти разорвать мир на части, и свет светит во тьме и тьма не объемлет его.

Зинаида Миркина
О Преображении

Как-то по дороге на дачу мы разговорились с шофером, везшим нас. Разговор коснулся Отечественной войны — у него отец погиб на фронте.

— А вы в Бога не перестали верить? — спросил наш собеседник у Г. С., — увидев все это, не перестали?

— Нет, — ответил Г. С.

— Вот этого я не понимаю, — пожал плечами шофер. — Если Бог всемогущ, почему Он не мог шмякнуть Гитлера?

Что ему было на это ответить? Он не верил в Бога и нисколько не страдал от этого. И совести отнюдь не потерял. Вера в Бога ему была совершенно не нужна, и поэтому проповедовать ему было совершенно бесполезно. В нашем страшном мире доброго и справедливого хозяина нет и быть не может. В этом он был совершенно уверен.

Ну не только он, я, пожалуй, тоже так думаю. Вовне хозяина мира нет. В зримом мире Его не найдешь. И умом Его не представишь.

Но вот только ли зримый и представимый мир есть, или есть еще что-то, чего не увидишь глазами, не представишь умом и не измеришь нашими мерками?

Я убеждена, что это незримое и умонепостижимое не только есть, но даже обладает большей реальностью, чем всё, что мы ощущаем пятью чувствами. Наш мир — временный. Он исчезнет со временем, а тот, другой — нет. Наш — оболочка, а тот — суть, Сущий...

Я убеждена... но кто это удостоверит? Извне — никто. Одинокие чудачки, поэты, мистики что-то подозревают, но это так хрупко, так бездоказательно, неубедительно!..

Какой-то Белый Заяц (из одноименной сказки) нашел скрипку, которая говорит: всё хорошо, всё удивительно хорошо! И деревья это знают, и цветы, и певчие птицы; только зайцы еще этого не знают.

А потом и зайцы узнали, но вот — волки!..

— Как же это всё хорошо, когда на свете есть волки? — спрашивали зайцы.

— Как же это всё хорошо, когда мы голодны? — спрашивают волки.

И одинокий Скрипач, а потом девочка-волшебница молчат в ответ, а говорит только скрипка. Всё то же. Её не переубедишь. Но убедит ли кого-нибудь она?

Да, тех, кого зачарует. Кто готов идти на риск быть съеденным, лишь бы Её слушать. Тех, кто готов отказаться от еды и тепла, лишь бы Её слушать... Словом, тех, кто жив не единым хлебом, кто готов на жертву; тех, для кого этот трудный и часто страшный мир подсвечен каким-то внутренним светом, говорящим о возможности преображения.

Такой свет увидел Даниил Андреев на реке Неруссе. И свет этот дал ему силы на всю жизнь, дал возможность вынести невыносимое.

Такой свет видел князь Мышкин. Этот юноша, больно тяжелой болезнью, каким-то шестым чувством узнал, что есть нечто большее, чем любые страдания. Может быть, этот юноша нелеп еще больше, чем Белый Заяц из сказки. Все его поступки, с точки зрения здравого смысла, — дикие. Ну, а как звучит проповедь Того, Кто говорил: «подставь левую щеку, если тебя ударят по правой»? Вот Он и просил не мериться ни с кем силой, никому ничего не доказывать, а опираться на нечто совершенно не материальное, незримое, глубинное.

Что, все они — прекрасодушные мечтатели? Отнюдь, скорее нечто прямо противоположное. Ни Христос, ни князь Мышкин, ни Даниил Андреев ни на мгновение не отворачивались от страшной действительности. Они смотрели ей прямо в глаза. И только такие, как они, способны переглядеть саму смерть.

Что же дает им такую силу? Они обладают особым зрением. Духовным. Они видят гораздо глубже, чем все остальные. Видят глубочайший пласт бытия, на котором смерть — не хозяйка. Да, они как бы доглядели мир до конца, вернее, до его бесконечности — до бессмертия. И удостоверились в существовании бессмертия. Не бессмертия плоти. Нет. Сама плоть находится на поверхностном слое бытия. Но есть что-то, что глубже плоти, хотя находится внутри нее. И там помещается источник света и самой жизни.

Об этой глубине и сказал Августин свое знаменитое: «на глубине бытия зла нет». Он узнал это из опыта. Он был на этой глубине, которая никогда не *обнаруживается* — не проявляется снаружи. Физическими глазами её не увидишь, никакими исследованиями не подтвердишь. Это тот Огонь, который почувствовал Паскаль как прожигающую нас насквозь, творящую силу. Он прожег насквозь материю. — До Духа. Паскаль почувствовал духовный огонь. Дух его стал огненным.

Внезапным веером раскрывшиеся скалы. -

Со всех сторон, со всех небес вокруг -

Тысячекрылый, всеобъясняющий Дух,
И я стою перед своим Началом.
Начало мира и его итог.
Внутри, в сердце возвратились все потери.
И можно сердцем собственным измерить,
Как мир велик, как совершенен Бог.
Еще ступень над каменной ступенью.
Еще одна и - больше ничего.
Вдруг выпасть из того круговращения,
Которому название - естество.
Вначале - Дух. И лишь потом причина
Судьбы и смерти. Луч в горах потух,
Зайдя мне в грудь. Остановить лавину
Ползущей вниз тяжелой вязкой глины
Способен только Дух. Вначале - Дух!

Дух... Что это такое? Как ответить на этот вопрос?

Это то незримое, что никогда не проявляется в зримом мире, но без чего зримого мира нет.

Без Духа тело мертво. Мир тоже.

Зримый мир... Вот он перед глазами. Ну, скажем, дерево. Можно увидеть его, пощупать, почувствовать запах листвы. Но кто видел *рост* дерева? Тайное внутреннее движение, происходящее в нём? Проходит год, другой. Дерево становится выше, шире. Но самого становления, роста видеть нельзя.

Внутри мироздания идет постоянный процесс. Движение, не видимое нам. Мы видим мир в статике и видим результаты внутренней невидимой динамики.

Есть то, что мы видим, и есть то, что постоянно меняет эту видимость - творит новое. Ибо мир не сотворен раз и навсегда. Мир творится постоянно. И тот, кто почувствовал эту незримую творящую силу, этот огонь Паскаля, тот знает, что это гораздо реальнее всего зримого, сотворенного. Это единственная подлинная реальность. Неизменная причина всех изменений - Дух.

Мы не видим роста дерева, но мы не сомневаемся в том, что оно растёт. Сроки его изменений соотносимы со сроками нашей жизни. Но преобразование мира не соотносимо со сроками нашей жизни. Оно измеряется не десятками и сотнями лет, как у дерева, а гораздо большими единицами времени. И все-таки мир - не неизменная данность. Он изменяется, преобразуется - идет к новому образу.

И вот тут мне не обойтись без рассказа о своем собственном опыте, о котором я говорила не раз и все же не могу не повториться.

1945-й год. Мне 19 лет. Только что окончилась война. У меня лично ничего особенного не произошло. Но все вопросы Иова обрушились на меня. Я задыхалась. Я не могла понять мир, где все едят друг друга и убивают друг друга, где все доставляют друг другу страдания. Мое собственное относительное благополучие только мучило меня. И мучение это было невыносимо.

И вот вдруг — явление Фаворского света задолго до того, как я узнала, что это так называется. Просто — ель перед моим балконом на даче, вся залитая дождем, вспыхнула на солнце после грозы тысячами переливающихся капель. Свет в каплях бесконечно углублялся, умножался, удешевлялся, как будто бы отражался в тысячах зеркал. И это меня перевернуло. Я — неверующая девочка, выросшая в семье коммунистов, упала на колени, закрыла глаза и вдруг неопровержимо почувствовала, что Творец этой красоты *совершенен*.

С точки зрения здравого смысла — полный абсурд. С моей новой точки зрения — полным абсурдом был здравый смысл, вся та логика, которая руководила мной до сих пор. Все было перевернуто вверх тормашками, так же как апостолы на иконе Феофана Грека «Преображение». И вслед за этим я увидела нечто совсем новое, непредставимое, ибо представить себе этого раньше ни за что бы не смогла. Я говорю «увидела», но не физическими глазами! Физические глаза видели только свет, помноженный на бесконечность. И ничего больше. Но этот свет прожёл и пересоздал мое сознание, и внутреннему зрению моему открылось Лицо, которое само являлось смыслом всей жизни, вбирало в себя все страдания и преображало их в свет.

Моя любовь к Лицу этому вспыхнула так же мгновенно, как свет на ели, и так же мгновенно я почувствовала Его любовь к себе. Эта любовь говорила мне, к какой великой высоте духовной мы призваны, говорила, что *высота* эта стоит всех мук, как бы снимает вопрос о муках.

Да, сознание мое было пересоздано, перевернуто, повернуто извне внутрь — к той Реальности, которая находится только внутри. И — мгновенно понятая задача: *обнаружить* эту реальность единственным возможным образом: воплотить Её. Дать Ей плоть, ибо Она — только Дух и плоти не имеет.

Сила, создавшая жизнь, меня, красоту мира, действует внутри мира, а не вовне. Она не дергает свои создания за нитки, как марионеток. — Она вся вошла внутрь, отдав своим созданиям всё внешнее.

Всемогущая созидательная сила жизни находится внутри меня. Вот что было впечатано в тот Лик, который я увидела сердцем. Но между мной и тем, что внутри меня — моим глубочайшим «я», — огромное расстояние, которое можно преодолевать и преодолеть, собирая, а не рассеивая внутренние силы свои, взяв на себя всю

ответственность за свои и чужие страдания, выдержав всю тяжесть земного бытия вплоть до креста.

Да, я ясно почувствовала, что каждый мой поступок, каждая мысль могут либо помочь, либо повредить Тому, Кто дал мне жизнь. Я могу либо помочь Творящему Духу воплотиться, либо помешать Ему, преградить дорогу. Я поняла вдруг, что должна не задавать вопросы кому-то внешнему, а отвечать на молчаливый вопрос Того, Кто всё отдал мне и ждет от меня сотворчества и самоотдачи. Вопрос о смысле страданий, о возможности их преодоления обращен внутрь меня.

И в моем сердце вспыхнул ответ. Я как бы увидела сердцем, что создание и Создатель мира по замыслу Творческому — одно. Только замысел этот в нас еще не осуществлен. Вот что осуществилось в Христе. Совершенное создание неизбежно готово на величайшую жертву (жертву всем временным во имя вечного, всем внешним во имя внутреннего). И у Создателя мира была в некоем непредставимом начале мире такая же жертва, как у совершенного создания.

Творец не имеет в сотворенном им мире ни глаз, ни рук — не имеет плоти. Он отдал ее творению. Сотворил мир из Себя Самого. И теперь наша задача — вернуть Ему плоть, сделав нашу плоть божественной — вместилищем Бога.

Аҫпш ^е^, Агнец Божий,
Бог, идущий на заклание, - Ты
истечь всем светом можешь.
Нет Тебя - одно сиянье.

В основаньи мира - Чудо,
Блеск священного пролога.
Тьма расколота. Повсюду -
Самоизлученье Бога.

Есть одна первопричина Наших
слез и благодати:
Не из камня, не из глины - Из
Себя творит Создатель.

Нет иного матерьяла Для
созданья этой шири.
Чтобы мир возник, не стало Бога
видимого в мире.
Как у гор и глади водной,
У Него - ни глаз, ни слуха.

Он нам плоть земную отдал И
остался только Духом.

Человек, и зверь, и птица Своего
Творца сильнее,
Жаждущего воплотиться, - Он ведь
плоти не имеет.

Он лишь только Дух, и всё же Сил
лишенный, Он всемогущ.
А§пш ^е^, Агнец Божий,
Как ты жаждешь, чтоб вручили

Мы Тебе всю волю нашу,
Мысль любую, вздох наш каждый.
Пусть же сердце станет чашей,
Утолившей Божью жажду.

Всё отдавший, всем открытый,
Бесприютный, самый нищий,
Как Ты ждешь моей защиты!
Как мне стать Твоим жилищем?

Жар любви и пламень веры - Вот
глубинный след распятыя.
А§пш ^е^, т^егеге,
Напои нас благодатью!

К кому мы взываем? Ведь Лик, который я увидела сердцем, был сплошной любовью. Однако любовью, не отвечающей на мои немощные жалобы, а призывающей меня к росту и преображению. Это суровая Любовь, хотя большей любви, чем эта, не бывает.

В Лике не было ничего, принадлежащего *только* Ему. Высота духовная, которую я в Нем увидела, была предназначена не только Ему, но и мне. Он велел мне на нее подняться, *сделать ее моей высотой*.

У Рильке в «Импровизации на тему каприйской зимы» есть такие строки:

Лицо, о лицо мое, чье ты?
Для каких же вещей и существ
Ты - лицо?
Что зовется лицом этих темных провалов,

Этих внутренних бездн, где концы и начала,
 Черт не зная, влились в некончаемость линий?
 Есть у леса лицо? Есть лицо у твердыни Этой
 горной?

У природы нет лица. Все русалки, и дриады, и нимфы — игра воображения, — не Действительность. Действительность гораздо больше и глубже всего этого. Рильке вводит термин «Безграничная Действительность». И это самое грандиозное, что он знает. Никакое воображение с *этим* не сравнится.

Да, у гор и деревьев нет лица. Но они живые, бесконечно живые. И надо не придумывать им лицо, а *стать их лицом*. Они ждут лица. Звери имеют лицо, но это лицо только свое — не лицо мира. Рильке чувствует, что зверь как бы тяготится лицом — то есть смутно чувствует задачу, которая дается имеющему лицо. Задача эта по-сильна только человеку.

Не приходят ли звери к нам, будто прося Взять
 лицо? И звериная смутная вся Душа тяготится
 лицом.
 И глядит сквозь него
 Это малое, тайное их существо
 В жизнь. А мы?
 Звери нашей души смущены,
 Но еще не готовы На ничто.
 Им так нужен пастух, нашим душам.

Иными словами — тот, кто имеет лицо, должен отважиться на понимание, что вовне *ничего* нет (должен быть готов на ничто). Всё — внутри. Твое лицо всё вмещает и потому становится лицом всего, лицом мира.

Человек, который чувствует только за себя, за свое малое «я», не лучше зверя, а подчас и много хуже. Но человек создан по образу и подобию Божию. Человек призван вместить в себя весь мир. Из глаз совершенного человека должна глядеть Бесконечность. Он вместил Её. Человек должен преобразиться. — Вместить тот, высший Образ, по которому создан. Задача преобразования человека очень трудна. Неимоверно. Но разрешима. Однако первое условие для тех, кто сознательно хочет решать эту задачу, одно — невозможность отказаться от нее. «Не могу иначе!» Если можешь, откажись, а если не можешь, будь готов на самые тяжелые испытания.

Смутное чувство этой задачи есть у многих. «Мы — гусеницы

ангелов!» — говорил Набоков. Значит, чувствовал нашу незавершенность и великую задачу преображения. Пытался ли он выполнить эту задачу — другой вопрос, и сейчас я его касаться не буду. От задачи этой можно уклониться, отвлечься чем угодно, даже талантом. Но есть души, которые отвлечься от нее не могут. Ничем. Никогда. К ним принадлежит Рильке.

Еще в детстве в его уютный мирок врывалось что-то непредставимое, опрокидывающее весь уют, грозящее гибелью. «То, Громадное», — с дрожью говорил он. Формально говоря, так чувствует не он, а герой его, Мальце Лауридс-Бригге, но нет сомнения, что это его собственные переживания. Всеми силами ребенок хотел бы избавиться от «Громадного», но не мог. Молил взрослых, но взрослые даже не знали, что это такое. Бесконечность стучалась в сердце мальчика, мучила его. Все мечты, всё воображимое было так ничтожно в его глазах перед этой *«Безграничной Действительностью»!*..

Что это такое? Оно прекрасно? Прекраснее всякой мечты? Да, но не только. Оно одновременно и ужасно. И ужас, внушаемый «тем, Громадным», ни с чем не сравним. «Каждый ангел ужасен», — скажет Рильке парадоксальную фразу в своих Дуинских элегиях.

Да, ужасен, ибо он опрокидывает нас, раздвигает нам сердце, может и разорвать его. «Безграничная Действительность» бесконечно больше нас. Когда случается что-то страшное, порой говорят: «Бог посетил». Божье посещение — это не приход Деда Мороза с подарками, это вторжение в нашу размеренную жизнь Безмерного; это гроза, опрокидывающая наши дома, вырывающая с корнем деревья. Это вызов душе — сумеет ли она выдержать и вырасти в ответ «Высшему началу»? Борьба Иакова с ангелом — с Богом самим — есть угодная Богу борьба, растящая душу.

Не станет он искать побед.
Он ждет, чтоб Высшее начало
Его все чаще побеждало,
Чтобы расти ему в ответ.

(Рильке. Перевод Б. Пастернака)

«Прекрасное — та часть ужасного, которую мы можем вместить», — сказал Рильке. Что это значит? Бесконечность страшила нас, только пока она была внешней нам, но если она вмещена внутрь, она стала нами. Мы сами бесконечны и ничто уже не грозит нам. Однако не всё сразу мы можем вместить.

Мы смеем под тугой замок замкнуть всё то,
что обрели когда-то, - Наш тайный клад... И

вновь еще клочок Безмерности вдохнуть
 вовнутрь и спрятать,
 Как истинные властелины.

(Рильке. Перевод Б. Пастернака)

Так кончается «Импровизация на тему каприйской зимы». Задача преобразования осуществляется шаг за шагом, постепенно, бесконечным созерцанием прекрасного и ужасного — всего, что раздвигает наше сердце. И мы прекрасны ровно настолько, сколько смогли вместить в себе подлинной жизни со всей ее красотой и со всеми ужасами, вместить и не сломаться, а вырасти, обретая новую меру и постепенно дорастая до Божественной меры — нашей безмерности. Там — только прекрасное, там — зла нет. Но путь туда лежит через такие пропасти, что пройти, не сломав себе шею, — подвиг. Недаром путников, идущих по этому пути, зовут подвижниками.

Путь в рай лежит через ад. «Держи ум свой в аде и не отчаивайся», — говорил св. Силуан. Это слова, которые прозвучали в самый глубине его души и которые спасли его. Он должен был не бежать в испуге от обступивших его бесов, а переглядеть, т. е. перерасти их и утопить их в огромной бездне собственной души. «Не отчаивайся» — знай, что есть в тебе нечто большее, чем сам ад.

Ну что же, раз пришло, то заходи,
 Огромное, косматое, лихое...
 Мне надо уместить тебя в груди Со всем
 твоим звериным диким воем,
 Чудовищное горе. Время игр Давно прошло.
 Померкли небылицы.
 В мой дом ворвался разъярённый тигр,
 И с этим тигром я должна ужиться.
 Выгаливать нельзя. Иначе съест И ближнего
 и дальнего соседа ~
 Всех, кто беспечно лепится окрест И ничего о
 нем не хочет ведать.
 Не вытолкнуть. Но и не продохнуть.
 О, если бы судьба сняла излишки!
 Что значит всёвмещающая грудь Придется
 мне узнать не понаслышке.

Итак, всёвмещающая грудь или Лицо мира — вот призвание человека. И оно подобно призванию собрать разъятое на части тело Бога и исцелить Его, сделать целым.

Дьявольское могущество есть могущество отдельного творения, противостоящего другим отдельностям и всецелому Творцу. Это

могущество того, кто желает побеждать других, мериться с ними силой и овладевать ими. Божественное могущество есть могущество Того, Кто никого не побеждает, никому не противостоит, а соединяется со всеми в единое целое, восстанавливая расколотую целостность Первоосновы.

Бог никем не овладевает. Он причащается всем и причащает всех Себе.

«Я без Тебя — ничто, но что Ты без меня?» — сказал немецкий мистик XVII века Ангелус Силезиус. Это глубочайшее понимание того, что Бог не может противостоять нам, как рука не может противостоять своему пальцу. Мы так же нужны Богу, как и Он — нам. Только осознав, что мы с ним одно, мы воистину осуществляемся.

Не противостояние, а причастие. Не раздробление, а воссоединение. В мире постоянно идут эти два процесса, пересекающие друг друга.

Но процесс дробления, борьбы, отделения от Творца жизни есть процесс отделения от самой жизни. Он обречён, хотя на короткой дистанции он торжествует победу.

Другой процесс — воссоединения с Творцом жизни, расширения души — преобразования — почти не заметен. Количественно он ничтожен. Сравнимо ли число святых и подвижников со всей остальной массой людей? И однако, на этом ничтожном меньшинстве мир держится.

Мир, отделенный от своего Творца, болен, так же как тяжело больна человеческая душа, отделенная от своей глубины. Преобразование — единственная возможность духовного выздоровления. Преобразование — наша главная задача. И главное условие преобразования — это любовь к тому Образу, по которому мы созданы и который хотим воплотить.

Иов преобразился потому, что любовь к Богу оказалась в нем силой большей, чем его непомерное страдание. Помогло ему только Божоявление, то есть вторжение в сердце любимого образа, который из далекого и смутного стал ослепительно близким, почти осязаемым.

Иов стал подобием Того, которого любил. Только в этом был выход.

Мы становимся тем, что (кого) мы любим. Это самый таинственный и обнадеживающий духовный закон. Любящий Христа, любящий святого, становится подобным им.

Истинная любовь бесконечно самоотверженна и ничего не просит от любимого. Ей ничего не надо, кроме его существования.

Любовь-обладание способна исполнить наши желания, удовлетворить потребности и оставить нас такими, какие мы есть. Но любовь-причастие ничего не хочет для себя. Только для любимого. Она причащает нас любимому. Мы становимся подобными ему. Наше

сердце раскрывается, и любимый входит в нас целиком и творит нас по своему образу. Мы становимся с ним одно. Это и есть преобразование.

Очень затерта, подчас спародирована фраза Достоевского «Мир красота спасет». Но это великое духовное открытие. Тот, кто видит красоту Божьего мира и самого Бога и любит ее, становится прекрасным.

Скрипка Белого Зайца пела: «Все хорошо», а рядом были волки. Все разбежались. Скрипач остался один. Он плакал и играл. Играл и плакал. «Если никто мне не поверит, что ж, пусть тогда меня съедят», — думал он.

И Тот, Кто бесконечно больше маленького зайчика, тоже был беззащитным агнцем и принес Себя в жертву, когда Ему не поверили.

И все-таки «Лев ляжет рядом с агнцем, и дитя будет играть над норою аспида»... И — ничто не приводит меня в такое волнение, как последние слова Апокалипсиса: «И отрёт Бог всякую слезу с очей их. И ни болезни, ни смерти более не будет, ибо прежнее прошло, миновало».

Я знаю, что это метафора.

И я хорошо знаю, что это правда. Большого я сказать не могу.

19 апреля 2002 г.

Григорий Померанц
«Богу надо помочь»

Почему Богу надо помочь? Почему Всемогущий не послал легионы ангелов, чтобы спасти Иисуса? Или помешать Сталину морить голодом крестьян? Помешать Гитлеру истреблять евреев и цыган? Почему в делах человеческих Бог предпочитает действовать только через человеческое сердце? У Него есть ведь другие возможности. Бывают распутья в столкновениях сил природы, когда неувимое прикосновение может изменить весь ход вещей. И незримое прикосновение Святого Духа бесконечное число раз решало в пользу маловероятного (бытия, жизни, свободы) против более вероятного. Шредингер называет жизнь отрицательной энтропией, то есть систематическим нарушением законов термодинамики. Почему Бог не создает ничего вроде этой отрицательной энтропии в борьбе добра со злом, любви с ненавистью?

Христос принял это с одной единой жалобой на кресте: Господи, зачем Ты оставил Меня? Так было надо. Без жалоб Иов принял божественный порядок, не пытаясь спрашивать, почему Бог не посылает свои НЛЮ, когда люди запутываются в своих делах и не могут выпутаться. Спрашивать бесполезно. Причин можно придумать много, но это наши причины, видные с нашего угла. Например — из уважения к человеку, из веры в его способность самому найти Божий след. Или для того, чтобы люди не теряли усердия в созерцании, в стремлении досмотреть мир до Бога, стать собеседниками Бога, сынами Божьими (ведь так легко найти уютный уголок по дороге, не достигнув цели!). Ужасы XX века можно понять как толчок к внутреннему преобразению, о котором люди забыли, увлекшись успехами науки и техники...

Все это может быть и так, а может быть совсем иначе. Например, если человек живет для лучшего (как говорит у Горького Лука) и важен только этот лучший, прошедший через горнило ликования и муки и выросший в своих мучениях... Что если миллионы других, не сумевших вырасти или просто не успевших, погибших в первом

же бою, — не более важны, чем муравьи в полене, брошенном в печку? Янсений, учитель Паскаля, считал, что большинство людей заранее осуждены на роль, близкую к роли муравья. И только великие мучения сделали Иова собеседником Бога.

Даже когда Бог воплотился в человека — многие ли его поняли? И какой ценой?

Без страшного промежутка, без пустоты, в которую бросила Магдалину смерть Христа, — она бы не доросла до Христа. И весь XX век может быть понят как великое испытание, как мучительное осознание перекоса нашей цивилизации.

Путь наш не вьется, как тропки лесов и потоки,
Дивным меандром. Он - краткость, прямая.
Так лишь машина вершит путь свой искусственнокрылый,
Мы ж, как пловцы среди волн, тратим последние силы.

Ясность научно-технического мышления кажется лекарством от безумия массовых репрессий. Но Василий Гроссман увидел статистическое мышление в самом безумии, планирующем репрессии, когда миллионы людей истреблялись как комары или тараканы. Только опыт заставил мыслящего таракана затосковать по упраздненной душе:

Ему, может, легче б было,
Если б знать, что есть душа.
Но наука доказала,
Что души не существует,
Что печенка, кости, сало -
Вот что душу образует.
Есть лишь только сочлененья
И затем соединения.
Против выводов науки
Невозможно устоять.
Таракан, сжимая руки,
Приготовился страдать...

И Олейников плачет над судьбой таракана, как Лебедев, прочитав о мадам Дюбарри, умолявшей палача: еще минуточку, господин палач, еще минуточку...

Бог, витая Духом Своим над Бездной, созерцает мгновения, когда прикосновение его направит хаос к космосу и к жизни. Но чем больше подобия Божьего в существах, созданных в пространстве и времени, тем больше Бог ждет от них умения самим найти Божий след и идти по

Божьему следу, а не от принципа к принципу, и сегодня это ожидание более напряженно, чем прежде.

Вглядываясь в бесконечность пространства и времени, где несутся куда-то, разбегаясь, галактики, мы можем назвать одной из ипостасей вечно живой огонь творчества, уравнивающий холод небытия, уравнивающий инерцию, ведущую к смерти. Это подсказал мне Томас Мертон в своей заметке о Гераклите. Это подсказывают мне стихи Зинаиды Миркиной.

Но Бог не только уравнивает движение материи к распаду. Он создает, где это возможно, близнецов нашей прекрасной Земли — жилища созерцателей, собеседников своих. И созерцание созерцателей погружается в тождество с вечно живым огнем Божьего творчества и поддерживает этот огонь любви своей любовью. И невидимое побратимство созерцателей, рассыпанных в пространстве и времени, непостижимым образом сливается в вечности в единую вторую ипостась, в космического Христа.

Этот образ подсказал мне буддизм. Одно из «тел» Будды в северном буддизме — Вайрочана, космическое «тело» Будды. Слово «тело» — такая же условность, как ипостась, гипостазис, подстановка, подмена неуловимого поворота Единого мысленно зримым образом. В ипостасях или «телах» мы созерцаем повороты, облики Бога, не разрушая Его единства.

Говоря, что Отец отдал на страдание своего Сына, мы вносим в Бога привычные разрывы между предметами, превращая Троицу в три разных существа. На самом деле, Сын отделен от Отца только в наших пространственных представлениях. С Божьей точки зрения ипостаси нераздельны, «Христос в агонии до скончания века» (Паскаль), и Бог сам кричит к Богу, как в стихотворении, которое меня каждый раз потрясает.

Бог в своем тварном образе сам тонкокож и открыт малейшему уколу. Способность к экстазу творчества и способность к мукам от суеты и шума окружающих одна и та же. На ложе созерцания достаточно горошины, чтобы она впилась в плоть, достаточно будней цивилизации, все дальше уходящей от Божьего следа. Осколки обид, возмущения, ненависти, злобы носятся в ауре цивилизации и постоянно ранят созерцателя. Без этой тонкокожести созерцатель и Бога не сумел бы почувствовать. Но созерцатель не выдержал бы своих мук, если бы единство Бога не оборачивалось бы к нему еще одной ипостасью — духом-утешителем, разлитым в природе и воплощенным в искусстве, когда искусство становится божественным, и в человеческом сострадании, когда Бог действует через своих ангелов-хранителей, живущих в человеческих сердцах.

Бог — поэт наивысший, писал Тагор. И красота земли — Божья поэма, каждое дерево — новый стих. Красота земли — воплощение творческой силы Бога как любви, обращенной к созерцателю. И созерцатель отвечает на нее любовью, обращенной к Богу. Он смотрит на дерево, как лирический герой Высоцкого на ошеломившую его женщину: «я ничего не пил, не ел, я только на нее глядел, как смотрят дети...». Так именно смотрит князь Мышкин на дерево: «Разве можно видеть дерево и не быть счастливым?» В известном телесериале эта фраза скомкана, подверстана к другой, поверхностной, но в подлиннике это глубокое убеждение, опирающееся на глубокий опыт. Так можно быть и блаженным от наполнившей тебя благодати. И вот в этом помощь человека Богу.

Любовь Бога требует ответной любви, требует души, раскрывшейся навстречу любви, как Суламифь Соломону. Мейстер Экхарт написал одну из лучших своих проповедей на тему из Песни Песней: «Ибо сильна, как смерть, любовь, свирепа, как преисподняя, ревность; стрелы ее — стрелы огненные, она — пламень всемогущий». Если взглянуть на Песнь Песней глазами историка — это народные песни о любви, но за напряженность чувства они были включены в Священное Писание и вдохновили мистика в его любви к Богу. Любовь к Богу — это любящее созерцание, идущее через Божий след вглубь, до вечно живого огня творчества. Таков человеческий вклад в хоровод духовного огня, который я чувствую воплощенным в рублевской Троице.

Идея, что Богу надо помочь, встретила меня у Бёлля, а ему самому — у какого-то итальянского мыслителя, кажется, Папини. Бёлль ухватился за эту мысль как за выход из кризиса веры. Освенцим не укладывается в традиционное богословие и не укладывается Колыма. Вопли современного Иова требовали каких-то новых ответных слов. Не достаточно было почувствовать величие Бога и потопить в нем свое страдание, надо было почувствовать свою задачу, и эта задача была в словах: «Богу надо помочь». Надо было почувствовать вину человечества и каждого человека за недостаточную помощь Богу и, может быть, в первую очередь — вину праведника. Может быть, именно в этом «все в религии надо начинать с начала», как говорил Бёлль перед смертью.

Освенцим был слишком крупен, слишком хорошо организован — и не он один. Весь XX век окрашен хорошо организованной деятельностью темных вождей. Что можно ответить на вызов «скорбного неверия», как назвал это Семен Людвигович Франк, на искушение манихейского образа мира, расколотого надвое, мира всеблагого, но не всемогущего Бога и всемогущего князя тьмы? Физический мир, целиком отданный раздору, давно бы погиб, ибо

раздор истребляет сам себя, как Гитлер и Сталин, и существование физической вселенной, вопреки инерции саморазрушения, говорит о силе, противостоящей распаду. Но в делах человеческих Богу надо помочь. В делах человеческих Бог Всемогущ в человеческом сердце, когда наша любовь полной мерой отвечает Его любви, когда человеческие сердца полностью откликаются Его сердцу. А пока число сердец, откликающихся Богу, ничтожно мало, пока подавляющее большинство сердец глухо, Бог, присутствующий в своих тонкокожих сыновьях, сопричастных Ему, страдает вместе с ними, и угроза Апокалипсиса по-прежнему висит над нашей планетой.

Многие верующие до сих пор мыслят себе божественное вмешательство, опредмечивая его, воображая себе ангелов, вторгшихся в физический мир. Но в пространстве и времени нет ангелов, кроме тех, которые рождаются в нашем сердце. Другого вместилища для небесных воинств в пространстве и времени нет, и Бог воинств бессилен на земле, пока мы не стали его воинством. Бог не ярмарочный фокусник, он не совершает чудес, поражающих зрение и слух. Чтобы совершилось чудо, нужно сердце, которое раскрылось и повернулось к Богу, как сердце присяжных на процессе Бейлиса. Во время Второй мировой войны были попытки убедить командование ВВС союзников разбомбить газовые камеры Освенцима, но этот призыв не вызвал отклика, а у Бога нет бомбардировщиков. Бог только вдохновил некоторых заключенных, чтобы они молились за своих мучителей и за прекращение ненависти на земле. Записка с одной из таких молитв уцелела, ее часто цитирует Антоний Сурожский. Вторая ипостась складывается из таких сердец. Если бы их было больше, нас не искушало бы скорбное неверие.

То, что я пишу, мне подсказали Мейстер Экхарт и Томас Мертон, Силуан и Антоний, стихи Райнера Мария Рильке и Зинаиды Миркиной. Эти стихи раскрыли передо мной образ Бога, который из века в век отдает себя на распятие и из века в век воскресает. Стихи стерли различие между поворотами Единого, которые в человеческом уме превратились в отдельных лиц, и восстановили единство огненного хора, созерцаемого в творениях Рублева.

Зинаида Миркина

«Богу надо помочь»

I

Как-то раз одна женщина задала мне вопрос: «Будет ли Бог, увиденный лицом к лицу в посмертии, таким, каким мы Его себе сейчас представляем?».

Я онемела. Что мне было ответить? Что Бог непредставим и невообразим? И еще надо было бы сказать ей, что тот, кто не встретил Бога лицом к лицу здесь, не встретит Его и там. Это не только я говорю, но еще и Симеон Новый Богослов. Я повторяю его снова — говорю из своего внутреннего опыта.

Да, встреча лицом к лицу — это, пожалуй, то, для чего мы созданы. И это трудней всего понять умом.

Представим себе, что о Боге не было бы ничего написано, рассказано. Мы не знали бы никаких заповедей, никто нам не говорил, что Бога надо любить, что с Ним надо встречаться лицом к лицу. — Ничего не знаем, как ребенок, только-только открывающий мир.

Мы открываем глаза и встречаемся с миром Божьим, с чудом света, красоты. Мы не знаем, откуда это возникло, кто это создал. Мы ничего не знаем, но мы поражены, потрясены, мы не перестаем удивляться миру, мы полны им, мы бесконечно любим его.

Или — другой вариант. Мир этот — для нас неживая, равнодушная природа, некий фон, на котором разворачивается наша жизнь. Это мы живые, центральные фигуры. Это мы наделяем мир нашими чувствами, мыслями, а сам он — мертвый, неодоушевленный.

Одна молодая женщина, учившая мальчика русскому языку, спросила его: дерево — одушевленный предмет или нет?

— Конечно, одушевленный, — ответил мальчик.

— Ты совершенно прав, но с точки зрения грамматики, это не так. Как не вспомнить здесь снова Витгенштейна: «Мистики правы, но их правота противоречит грамматике».

А другой человек на утверждение семилетней дочки, что дерево — живое, сказал: «Оно не живое, оно мокрое!». И на долгие годы утратил доверие девочки.

«Мы живем в этом мире, если любим его», — сказал Тагор. Да, не любящий мир — сам неодушевленный, неживой. Нас делает живыми наша любовь. И, смею думать, — только она. Все дело в степени и характере этой любви.

Можно быть потрясенным красотой мира до такой степени, что ты как бы досматриваешь мир до его последней глубины — до Сущности — и видишь сердцем эту Сущность, скрытую от глаз, Сущность — Сущего. (Имя библейского Бога Яхве (Иегова) значит — Сущий.) Можно досмотреть творение до его Творца.

Что это значит? Да примерно то же, что значит — досмотреть человека до его души.

Есть известный анекдот (кажется, факт) о разговоре одного знаменитого летчика со священником, который в прошлом был знаменитым хирургом.

— Я был в небе, но Бога нигде не видал, — сказал летчик.

— А я был внутри человеческого организма. Видел сердце, а душу — никогда. Оперировал голову. Видел мозг, а мысли — ни единой.

Разве все, видящие нас глазами, понимают, чувствуют нас? Иными словами — видят нашу душу? Так и душу мира, сущность мира видят далеко не все. Это виденье зависит от глубины взгляда, от глубины сердца глядящего. Сердцу, открывшемуся настезь, открывается мировая всецелость. Это сердце, включив в себя всё и всех, ощутило, что есть еще нечто за всеми пределами (чертами) — какое-то новое качество мира — его беспредельность. Есть таинственное целое, единый организм, в который входит всё — и я в том числе. Палец не только палец — он еще и рука и весь человек. Я не только я. Я еще и лес, и небо, и вся вселенная. Человек, почувствовавший это, как бы пробуждается от сна, от сонного неполного сознания и сознает, чувствует свою внутреннюю бесконечность.

Так происходит встреча лицом к лицу.

Как-то меня спросили: «Как можно любить Бога? Я понимаю любовь к конкретному человеку, но что такое любовь к Богу?»

Да, есть такая Первая заповедь; но как ее исполнить?

Так вот — когда происходит эта встреча лицом к лицу, невозможно не любить Бога. И любовь эта совершенно конкретна, реальна. И может быть более жгучей, чем самая жгучая любовь к конкретному человеку.

Для открывшегося сердца просто невозможно не любить Бога. Сердце переполняется благодарностью и любовью к силе, которая создала это чудо и единит меня с целым миром. Нет большего счастья, чем это чувство единения с Бесконечностью, причастия Ей.

Откуда ты, Весна? Откуда Потоки
этой красоты?

Лист первый, россыпь изумруда.
Свет брызнувший, откуда ты?
Кто автор мировой поэмы?
Кто в этом чуде виноват?
Ответа нет. Деревья немые,
Листы ликуют и молчат.
Кто знает имя миродержца?
Моря и земли обойди,
Не сыщешь никого, но сердце
Выпрыгивает из груди.
И там внутри, в сердечной глубине,
Всю, всю весну вмещаю я.
И сможет только тот, кто любит,
Найти разгадку бытия.
Разлив морей, простор Вселенной,
Мир этот, полный красотой.
Творит Художник совершенный, -
Огонь бессмертный, Дух Святой.

Все это так — для пережившего такую Встречу лицом к лицу.

А для не пережившего? Что значит «любить Бога» для не пережившего живую встречу с Ним? Пустые слова? Не всегда и не совсем. А может быть, и совсем нет.

Человек может еще и не дожить до встречи с Богом и все-таки любить мир, благодарить за чудо жизни, любить людей и все живое, быть добрым и праведным. Как Иов. И его могут ждать такие же страшные испытания, как и библейского Иова.

Здесь уже не раз говорилось о том, как долго и верно оправдывали Бога друзья Иова. Оправдывали Бога и обвиняли Иова. И почему Бог встал на сторону отчаявшегося, проклявшего день своего рождения Иова, а не на сторону его благочестивых друзей — до сих пор остается неясным очень многим людям. Дело в том, что Бог говорит с сердцем, а не с разумом. На доводы разума ответит разум. А Бог предстанет только открывшемуся настежь сердцу. Сердце Иова кричало. Сердца его друзей молчали. Они не дошли до предела всех разумных доводов, а Иов перешел этот предел. И только там, за этим пределом, может произойти встреча с чем-то большим, чем весь ты, ты — отдельный человек. Встреча с мировой всецел остью. С Богом. Эта встреча перевернула сердце Иова. И он понял, что не вправе спрашивать. Его долг отвечать перед Тем, Кто дал ему жизнь. Но ведь Иов не раз говорил в прошлом во время страшных бед: «Бог дал, Бог взял. Все — от Бога!». И не роптал. А вот теперь возроптал. Что Бог хочет от него еще?

То, о чем он и не смел помыслить раньше: — Богоподобия. Сотворчества. Способности отвечать за все.

Творец жизни — не кто-то внешний, не предмет среди предметов (пусть и высший). Творец этот слит с ним — творением, влит внутрь него. Он дал ему нечто большее, чем эта короткая жизнь, — способность к росту, к единению с Бесконечностью. Иов должен был ощутить свою внутреннюю бесконечность и отвечать, а не спрашивать.

Лишь ко мне обращаются сосен вершины И
 пронзительный глаз мирового огня,
 И никто не поможет ни словом единым,
 Не ответит никто никогда за меня.
 Боже мой, мне на смерть Твою надо ответить,
 Созерцай Твой крест. Я же слепну от слез И
 глаза отвожу уже двадцать столетий,
 Задавая Тебе свой ненужный вопрос.

Но что такое мой ответ? Чем я могу ответить Богу? Ростом души. И этот рост начинается с сознания своей малости. С сознания своего бесконечного неоплатного долга перед жизнедавцем. Никаких заслуг у меня нет. Даже если я — человек — безгрешен перед людьми, я не безгрешен перед Богом до тех пор, пока не стал его со-трудником, создателем.

Не Ты мне, а я Тебе должен. С этого начинается рост, тот таинственный рост души, который кончается воскресением. Как это понять?

Ничего, пойму когда-нибудь Почему
 так трудно и так больно.
 Впереди - большой, как небо, путь.
 Неба — много, времени — довольно.
 Ровно столько, сколько надо мне.
 Дуб крыла косматые раскинул.
 Ведь хватило времени сосне Вырасти
 и прошуметь вершиной.
 Все равно — сиянье или мрак —
 Расстояние преодолимо.
 Только бы идти за шагом шаг Внутрь
 себя, а не в обход и мимо.
 Тот, кто бросил семя в темноту,
 Дал душе посильную задачу:
 Вот и я до Бога дорасту,

Если только время не растрочу.

Дорости до Бога... Это посильная нам задача, ведь мы созданы по образу и подобию... Богоподобие еще вовсе не достигнуто нами. Мы переходные существа между зверем и Богом. И помочь Богу — значит осуществить Его замысел о нас.

Быть глиной в Его руках. Дать Ему творить нас. Не мешать Ему. Вот первая наша обязанность.

Мои заслуги? Их немного.
Их в самом деле очень мало.
Я только не мешала Богу
Творить. Надеюсь, не мешала.

Очень надеюсь. Но быть уверенной не могу. Стараюсь, это точно. Изо всех сил стараюсь не мешать Ему. Потому что творить жизнь истинную умеет только Он. Он сотворил всю природу — небо, землю, деревья, горы, воды. И вся природа есть Его слово, обращенное к Душе. Он говорит красотой природы, своих слов и своей воли у природы нет. Сквозь природу проглядывает Бог. Деревья и воды никогда не мешают Ему, не заслоняют Его собой. А у нас есть воля, которая очень часто выражается в том, чтобы утверждать свое малое «я», эго, мешая огромному вселенскому «я». Мы, в отличие от деревьев и рек, можем творить.

Ну вот мы и натворили...

Как Бог создает мир, я не знаю, потому что ум этого познать не может. И на вопросы «где?», «как?» и «почему?» волшебники не отвечают. На все вопросы, направленные вовне, волшебники не отвечают. Хотя именно на них и только на них отвечает наука, та, что изучает внешний мир, материю, а не Дух.

Дух изучению не подлежит. Его не изучают извне, а вдыхают внутрь. И познают только изнутри. Так вот, с тех пор, как создан человек, он создан для того, чтобы вмещать творящий Дух, обращаясь только внутрь. Вмещать Дух -вмещать мир, вершить единение, исцеление раздробленного организма бытия. Такое вмещение внутрь есть зачатие. С него начитается любое творчество, которое, в отличие от простой деятельности, есть всегда зачатие, вынашивание, рождение — воплощение Духа, от которого душа зачала.

Этот дух не всегда божественный, не всегда таинственная целостность, от которой рождается вечно живое.

Можно зачать и от духа стихий, безразличного к добру и злу. Можно зачать и от демонической силы. Творчество может быть

разным. И все-таки сама по себе способность к творчеству есть великая сила. Человеческое творчество, даже и не доросшее до божественного, создало всю культуру. Мы не только «натворили» наши беды, мы еще и «сотворили» нечто прекрасное. Творческое воображение создало мифы, сказки, песни, здания — искусство.

И это ни в коем случае не может отрицаться с религиозной точки зрения. Просто это нельзя объявлять последней ступенью творчества. Творческое воображение — это божественная игра, расцветивающая мир бесконечными красками. Оно как бы создает параллельные миры по своему образу и подобию. Вся природа населена человеком существами, подобными нам. Боги Олимпа, сотворенные человеком, как две капли воды похожи на людей. И оторвавшись от язычества (во всяком случае формально), человек не перестал воображать Бога, то есть творить Его по своему образу и подобию. *Но живой, реальный Бог невообразим.* И задача состоит в том, чтобы дать Ему творить нас по своему образу и подобию.

Разница между творчеством обычным и религиозным — это разница между воображением и созерцанием.

Эту разницу очень хорошо понимал и показал Рильке. Герой его повести Мальте Лауридс-Бригге, так же как и его прекрасная мать, не любили сказок. Сначала это удивляет, но очень скоро понимаешь, в чем тут дело. Все придуманные (воображаемые) чудеса рядом с истинным чудом жизни казались им такими скучными, предсказуемыми, ограниченными...

Всем этим выдумкам Рильке противопоставляет Безграничную Действительность (это его термин), неисчерпаемую и невообразимую, в которую надо уметь вглядываться. Всю жизнь вглядываться — жизни не хватит. Маленький Мальте вместе с матерью всматривались в брюссельские кружева. И это занятие никогда не наскучивало им. Взрослый Рильке всю жизнь всматривался в мир и сумел досмотреть его до живого Бога. Вот как он говорит об этом в своей 4-й Дуинской элегии:

«Мы видим лишь поверхность наших чувств и не вникаем в глубину. Кто не сидел со страхом пред занавесом сердца своего? Но вот он поднялся».¹⁴

«...но я останусь. Все равно останусь.
Мне есть на что смотреть.

14 этого поднявшегося занавеса он сидит и глядит на прежде закрытую сцену, и даже если сцена совершенно опустеет и все перестанут смотреть, всем покажется, что смотреть не на что,

Мой долг взглядеться».

Созерцание — бесконечно пассивное состояние. Полное затихание. Ни движения, не речи, ни даже мысли. Самоисчезновение. Полное очищение сосуда, в который сможет теперь войти то, что есть. Безграничная Действительность. Сущий. Тот, Кто сотворил меня и дал мне возможность творить. Но Он не кончал творить меня. Он и сейчас творит. Но теперь уже вместе со мной. Да, я причащаюсь его Творчеству и творю с Ним вместе себя самое. И это не воображение, а преображение.

Я становлюсь другим существом. Меня нет. Мое малое «я» лопнуло, как почка. А то, что есть, включает в себя всё. Мне не надо воображать наяд и дриад — очеловечивать природу. Я чувствую свое полное единство с ней. Мое лицо, вместившее всё, становится лицом мира. Лицо человека, вместившего мир, бездонно. Это иконный лик. В нем огромный покой и огромная любовь. И каждый, смотрящий в этот лик, знает, что он нужен этому лицу (лику) так же, как и лик этот ему. Вся его сила и величие в том, что Он включает нас в себя, что Он без каждого из нас не полон, не всецел.

Каждый из нас не отрезанный ломоть, не оторванный листок, а живая часть этого таинственного целого, которое творит в каждом, страдает с каждым, и все-таки является спасением для каждого страдающего, для всего смертного.

Спасением? Почему?

Да потому, что, страдая и умирая вместе с тобой, Он дает тебе возможность воскреснуть и жить вечно вместе с Ним.

Ты жив, если не отделим от Него. Это внятно сердцу, а не уму. Ум все разделяет и раскладывает по полочкам. Что такое всемогущество Божье?

С точки зрения ума, логики — пустые слова. Если всемогущ, почему допускает все ужасы мира? Он или не всемогущ, или не добр. Одно из двух. Да, если смотреть извне.

Но в том-то и дело, что всемогущество Божье — не внешнее, а внутреннее. Это не всемогущество отдельного гигантского существа, способного победить других. Это всемогущество единого Духа, дышащего в нас, так же как и в наших врагах. Как Он может разобраться, кто прав, кто виноват? Правая Его рука или левая? Которую из них надо поразить?

И миру неведом

Итог под итогом -

Любая победа

Распятие Бога.

Так в чем же Его всемогущество? Что Он такое?

Оно, как и само Царствие Божие, — не от мира сего. Как известно, на вопрос Пилата Иисусу: «Ты царь иудейский?». Иисус ответил: «Царство Мое не от мира сего». И это не где-то в загробье, это не там и не тут. Это — внутри нас. Это не власть над другими, над внешним миром. Это абсолютная полнота власти над самим собой. И если ты слит с миром, если твое «я» — это целая вселенная, то это власть над вселенной ИЗНУТРИ НЕЕ САМОЙ.

Мы еще совсем не знаем, что можно сделать изнутри вселенной, и все время стремимся к внешней власти над ней, не понимая, что это дьявольская власть, дьявольское могущество.

Бог действует только изнутри. Не изве.

Мы стремимся еще только побеждать и уничтожать побежденное, не догадываясь, что оно — часть нас самих. Мы еще не так далеко ушли от зверей, хотя потенциально мы — боги. Так говорил Иисус своим ученикам. Всемогущим сможет стать только человек обоженный, знающий, что все царства Божьи — Сам Бог — находится ВНУТРИ него. Мы сможем стать всемогущими, только когда воплотим в себе Бога, осуществим богоподобие. Не раньше.

А пока даже Тот, в Ком оно осуществилось, не хотел им воспользоваться. Почему-то Ему надо было пройти через крайнюю степень страдания. И на предложение Петра спасти Его Он, как известно, отвечал: «Отойди от меня, Сатана, о земном думаешь, а не о небесном». И еще Он говорил: «Неужели Отец небесный не послал бы сонмы ангелов, чтобы спасти Меня, если бы на то была Его воля?». Т. е. спастись от распятия Он мог бы, но почему-то нужно было другое.

Я уже говорила раньше, что обе враждующие стороны как бы одинаково дороги Богу и выбор между ними — как выбор между правой и левой рукой. Так ли это? Совсем ли так? Что же, палач и жертва одинаковы в глазах наивысшего Судии?

Вопрос на засыпку. И все же попробую ответить: в известной степени — да. Оба дороги, но поступает с ними Бог по-разному. (Бог или осуществивший свое богоподобие человек.)

С жертвой Бог соединяется. В каждой невинной жертве бьют, казнят Бога. Пока есть на земле невинные жертвы, Бог — с ними и Бог бесконечно страдает. Палач торжествует во внешнем пространстве и бесконечно ущербен во внутреннем. Он сам изгнал Бога из своей души. Его обезбоженная душа — мертва.

В одном из самых поздних рассказов Л. Толстого есть такой эпизод. Несправедливо обиженный человек становится убийцей. Убивает шесть человек. Но шестая жертва становится последней. Это старушка, которая накануне получила пенсию. Зная об этом, он и пришел —

убить и ограбить. А она не спала. Она видела его, входящего с топором. Не испугалась, не закричала, а только с великой болью сказала:

— Сынок, что же ты со своей душой-то делаешь?

Инерция зла была такова, что он все-таки ее убил. Но жить после этого не мог. Донес на себя. И дальше начался долгий путь, приведший ко второму рождению. Палач не знает, что, убивая жертву, он убивает душу свою, Бога в себе. Вот что означают эти невероятные слова Иисуса на кресте: «Прости им, Отче, ибо не ведают, что творят».

Роль Бога или обоженного человека в нашем мире — это роль бесконечного страдальца. Мы же все время просим его о помощи, хотя самый нуждающийся в помощи — это Он, Бог наш.

Мы нередко смешиваем Его с нашими земными владыками и молим, обвиняем, изобличаем Его в жестокости, а то и грозим Ему, как безумный Евгений Медному Всаднику.

«Ужо, строитель чудотворный!»
 А Он молчит. А Он внутри.
 А Он, ветрам судьбы покорный,
 Совсем не просится в цари Земные. И
 Ему похуже,
 Чем нам с тобой. И здесь ключи От
 тайны тайн. - Ну так кому же Грозить?
 Кричать? — Молчи... молчи.
 И помни о великой ночи,
 Когда Он сник перед судьбой
 —Он, всемогущий? — Он не хочет Не
 разделенного с тобой Могушества. —
 Но я не в силах,
 Я не могу. Мне не дано...
 —Он для того сходил в могилу,
 Чтоб стали мы и Он — одно.

Да, сознание наше должно быть перевернуто, как перевернуты фигуры апостолов на иконе Феофана Грека «Преображение». Мы должны осознать, что просим помощи в наших делах у Того, Кто висит на кресте. Не просить, а помочь Ему, должны мы.

* * *

Кто отпустил нас на четыре,
 На все четыре стороны?
 Бог не свободен в этом мире
 Затем, что мы с тобой вольны.
 Вольны проделать, что угодно,
 Вольны собрать любую рать.

Так просто можем, так свободно
И Бога самого распять.
А Он смолчит. Ему подмога Не
подоспела по сей час.
О, дайте же свободу Богу,
Всю жизнь томящемуся в нас.

И может быть, последнее, что я хотела бы добавить, это несколько посильных слов о Божьей Любви к нам. Я уже сравнивала ее с любовью вырезанного сыном материнского сердца. Это так, но так он любит наши бессмертные души. Что же касается смертных тел наших, то Он просто делит с нами все муки — не переставая спрашивать с нас, как с Себя Самого. Это суровая и мудрая любовь, которой мы должны быть достойны.

Не то нам важно, что на сцене,
Не ряд мгновенных изменений,
А то, что есть за сценой — там,
Откуда все диктует нам Наш
Режиссер. И я тогда лишь Жива,
когда смотрю в те дали,
В те жизнетворные просторы,
Где слышен голос Режиссера,
Стоящего на вечной тверди.
Нет, Он совсем не милосерден.
Он страшен, как сама гроза.
Он не осушит нам глаза И не
избавит нас от боли.
Но если мы сыграем роли Свои,
то Он предстанет нам.
И мы тогда очнемся там,
Где боли не было и нет И Дух
горит, как самоцвет,
И нам самим простор Вселенной
Открыт, как мировая сцена.

Григорий Померанц «Вы боги»

Непривычные слова «вы боги» встречаются в Новом Завете один раз, в Евангелии от Иоанна (10, 34-36), перекликаясь с другой особенностью этого Евангелия, с непривычным употреблением множественного числа «дети Божии»:

«Тех же, кто Его принял, кто уверовал в Него, наделил Он правом быть детьми Божьими. Не от влечения плоти и не от воли человеческой, но от Бога они рождены». Подчеркиваю: они, а не только Он. Это хорошо согласуется с разъяснением Никодиму, недоумевавшему, как это можно родиться дважды: «плоть от плоти родится, и дух от духа».

Превосходство Христа над Его учениками выражено только в эпитетах; в разных переводах они разные, например: «Бога не видел никогда и никто, едиnorodный Сын Божий, сущий в недрах Отчих, Он явил». Или «никто, никогда Бога не видел, но единственный, несравненный Сын, Бог, который у самого сердца Отца, открыл Его нам». Иисус достиг самого сердца Отца, становится единственным и несравненным. Но нет полного разрыва между Ним и другими детьми Божьими. Он выше других, но не рождением (все дети Божьи становятся детьми Божьими от Духа, не по плоти). Он выше по полноте обожения. Можно найти аналогию этому в учении об аватарах, воплощениях Вишну. Полных воплощений только два: Кришна и Рама. Они становятся полнотой Бога и оттесняют Вишну в культе своих адептов. Но есть еще множество неполных воплощений: так почитают Ганди и даже Неру. Каждый, кто вступает на путь обожения, становится участником в цепи аватар, воплощений. Вернувшись к христианскому языку — участником богочеловечества.

В споре с фарисеями Христос использует цитату из 81 -го псалма, где речь идет скорее о земных богах, о князьях и вельможах. Так этот псалом понял Державин.

И вот восстал Господь, да судит
Властителей на сонме их.
Доколь, сказал он, суд ваш будет
Щадить неправедных и злых...

Екатерина II, видимо, не читавшая Псалтыри, была возмущена судом над царями, Державин насилу оправдался от обвинения в якобинстве. Вот текст по синодальному переводу:

Бог стал на сонме богов, среди богов произнес суд.
Доколь будете вы судить неправедно и оказывать лицепрятие
нечестивым?

Я сказал: вы боги, и сыны Всевышнего - все вы.
Но вы умрете, как человеки, и падете, как всякий из князей.

Христос толкует псалом по-новому. «Не написано ли в законе вашем «Я сказал: Вы боги»? Если Он назвал богами тех, к которым было слово Божие, и не может нарушиться Писание, — Тому ли, Которого Отец освятил и послал в мир, вы говорите: «богохульствуешь», потому что Я сказал: «Я Сын Божий»? (Ин. 10, 34-36).

Тот, к кому было слово Божие, находится в благодати, делает первый шаг теозиса, встает на лестницу, где на вершине — Христос. Это может случиться с каждым. И Нил Синайский продолжает Давида Псалмопевца и Христа: «К каждому человеку надо подходить, как к богу после Бога».

Есть сходный догмат северного буддизма: «каждый человек по природе Будда, но не каждый это сознает». Или, в одной из сутр, учение о «зародыше просветленного». Это называется татхагатагарбха. Гарбха — зародыш, а татхагата — синоним Будды. Задача человека — растить заложенный в нем зародыш. В переводе на христианский язык, Царствие Божье внутри нас — но берется оно силою и достигается усилием. Оно в глубине сердца, в глубине глубин, и духовный путь — это нелегкий путь в собственную глубину. Родиться от духа — такое же трудное дело, как физические роды, и родовые муки редко бывают короткими. Рождение от духа надо выстрадать, не просто раскрыть глубину, где залив-сердце соединяется с океаническим сердцем. Серафим Саровский назвал это стяжанием Святого Духа. Мотовилов свидетельствовал, что внутренний свет, исходивший от святого, стал видимым наподобие Фаворского света. Слово «теозис» он, может быть, просто не знал. Но по сути то, что он назвал стяжанием Святого Духа, можно назвать и теозисом.

Подобные состояния достигались мистиками в Индии и в исламе. Всюду это вызывало недоумение законников. В исламе за подобные речи казнили, и суфии научились описывать состояние «шатх» обиняками, притчами. Я пересказывал уже притчу Джала-леддина Руми о путнике, который просит впустить его в хижину,

— Кто ты? — спрашивает хозяин.

— Я.

— Здесь нет места для двоих.

Наконец, после многих попыток путник на вопрос «Кто ты?» отвечает «Ты!» — и тогда он слышит: «Войди!»

В истории монотеизма сперва построена была стена между человеком и Богом. Без этого единый, незримый, непостижимый и вездесущий Бог опустил бы на уровень богов Греции или Египта. Затем пришел час пробить эту стену, и Христос стал дверью, прошел через стену и позвал других. Но он все время подчеркивал: Отец Мой более Меня, только Бог благ. Он говорил, что сядет одесную Славы, но не мыслил занять место Отца, как часто происходит в культе. Он чувствовал себя одновременно Сыном Божьим и Сыном человеческим: человеческим по плоти и Божьим по духу.

Мистики переживали время от времени состояние «шатх», состояние «ты пришел к тебе», «стяжание Святого Духа». Христос *жил* в этом состоянии. Но изредка и Он мог это состояние терять. В Гефсиманском саду Он был на грани богооставленности и на кресте воскликнул: «Зачем Ты оставил Меня?».

Впоследствии богословие создало новую стену между Христом, зачатым *во плоти* от Святого Духа, и святыми, рожденными женщиной, зачавшей от мужа. Христос этой стены не создавал. Он влек за собой, через себя, через пробитую дверь, своих учеников, делал их участниками второй ипостаси. И Рейсбрук, видимо, это понял, когда писал, что Второе пришествие совершается в душах святых, совершается в каждый век.

Называя Бога Отцом, Христос высказывал и неравенство Отца и Сына, и их родственную близость. Сын меньше Отца — но может причаститься Отцу, войти в его сердце, сесть одесную Славы. За словом «Отец» — огонь любви, творящей, хранящей все бrenное, — и рушащей его, когда оно созреет для ломки. За словом Сын — творение, открывшее свое сердце Отцу до последней глубины, до того порога, за которым наше сердце и сердце вселенной нельзя разделить. Но никакой равночестности из Евангелия нельзя вывести. Она родилась в интуиции отцов церкви.

И все же, глядя на Троицу Рублева, я чувствую равночестность трех ликов. Как это объяснить? Может быть, интуиция мистиков вышла за

пределы астрономии первых веков и угадала совокупность сынов Божьих в вечной жизни вселенной, в бесконечном пространстве и бесконечном времени, вечно отвечающих своей любовью на любовь Бога-творца. К этому очень близок Ангелус Силезиус, Силезский Вестник, поэт XVII в. По Шефлеру (такой была фамилия Силезского Вестника), ответная любовь тварей к Творцу входит в порядок вселенной, как хворост, который бросаешь, чтобы не погас костер. И люди, то есть твари, способные осознать первую заповедь, для того и созданы, чтобы поддерживать вселенский костер любви. И в людях — вездесущий Бог, раскрывающийся в их сердцах, осуществляет себя как вторую ипостась, дополняющую первую, творческую, и в этом круговороте любви Бог удерживает массы сотворенной материи от распада.

В таком духе можно понять Иоанна Крестителя, сказавшего, что идущий после меня был прежде меня, то есть пришел из вечности, где непостижимым для нас образом вся совокупность обоженных существ, рождающихся, страдающих и умирающих, собирается в один лик, где нет ничего отдельного: отдельной радости и отдельного страдания, отдельного Отца и Сына. К этому тяготеет и образ кричащего Бога Зинаиды Миркиной.

Этому сопротивляется сознание, делящее божественный круговорот любви на отдельные лики, подстановки, ипостаси на место каждого нового поворота божественной цельности, *бесконечноликой* цельности, не вмещающейся в наше расколотое сознание.

В молитве, обращаясь к Богу на ты, мы лепим образ этого ты, к которому обращаемся и которого познаем, как познают друг друга в любви, изнутри собственного сердца. Слова «вы боги», «вы сыны Божьи» и «Царствие Божие внутри вас» одинаково суть метафоры, родившиеся в глубокой молитве. Телесно мы живем в пространстве и времени, а время на санскрите — синоним смерти, — но в глубине глубин сердца, открывая его, мы вечно живем в Боге. Бог прост и вездесущ. В каждой пылинке есть его присутствие. Оно раскрывается в зримой красоте мира и в незримой красоте духа, освещающего нас изнутри, как свеча — фонарик, и каждый из нас может разжечь эту свечу до того, что свет и тепло от огонька будет ощутим в глазах и придаст свет и тепло другим.

Слова здесь — дело второстепенное. Присутствие в твари всего Творца — выше слов. Но в иные минуты чувствуешь, в чем смысл человеческого бытия. И мы отвечаем любовью на любовь. И порывы нашей любви, если она искренна и бескорыстна, даже без осознанной *религии* любви, даже если мы не сознаем, к Кому в конечном счете обращены наши порывы, летят в вечный костер и питают его, не давая миру застыть в вечном холоде.

Зинаида Миркина
«ВЫ БОГИ»

Григорий Соломонович часто приводит рассказ Бубера о том, как он почувствовал, что такое диалог. Началось со спора. Бубер, будучи иудаистом, спорил с христианином. Бубер любил Христа, но считал его великим еврейским пророком. И не более того. Христианин, разумеется, считал его Богом. Спор зашел в тупик. Но вдруг оба спорщика встали, посмотрели в глаза друг другу и — обнялись. «Так совершился диалог», — заключил Бубер. Вне слов, глубже слов, и это прекрасно.

И все-таки спокойно подумаем о сути спора. Великий еврейский пророк или Бог? А может быть, здесь нет непримиримого противоречия и в тупик завела привязанность к словам?

Может быть, главное, что сказал когда-либо Бубер, главное его открытие было в том, что о Боге нельзя говорить в третьем лице. Собственно, это медленно нарастало у некоторых пророков и особенно высказалось в Книге Иова. Но Бубер осознал это внутреннее движение в иудаизме и нашел для него парадоксальное слово. И в этом было движение к Христу. От законодателя в Пятикнижии не было перехода к Христу, от Книги Иова он прямо напрашивается. Это чувствовал Достоевский и высказал Сергей Иосифович Фудель в книге о Достоевском. Религия двигалась, менялась, и Бубер выразил ее движение. Бог для него — не недостижимый законодатель, а собеседник, тот, с кем сердце теснейшим образом связано. Тот, кого знает все сердце и не знает ум. Ибо ум знает только конечное.

Что мы знаем о том, что было до нашего рождения (зачатия) и что будет после смерти? Наше сознание, как фонарь, выхватывает из тьмы какой-то отрезок от и до. Остальное — во тьме. Можно думать, что остального нет и ограничиться отрезком. И тогда человек — конечное существо, носимый ветром листок.

Если же человек чувствует, что за границей, освещенной сознанием, что-то есть, что-то бесконечно большее, чем все, что он видит, слышит и осязает; если он чувствует, что душа его больше и глубже сознания, логического ума, имеющего дело лишь с ясно

очерченными предметами, он чувствует сердцем некую связь с Непостижимым; связь теснейшую, как необорванная пуповина, — и говорит этому Непостижимому — Ты.

Начинаются долгие отношения со своим бесконечным «Ты», и отношения эти в пределе кончаются полным единением: «Я и Ты — одно». Тогда человек выполнил свое предназначение, открыл в себе свое божественное «Я».

Никакой гордыни, никакого равенства с Бесконечным Началом жизни здесь нет и не может быть. Я много раз говорила, что равенство и единство — два совершенно разных понятия. И здесь образ, когда-то найденный мной, полностью совпадает с образом Шанкары: капля ни в коем случае не равна океану, однако едина с ним. Ни рука, ни глаз, никакой другой член тела не равен всему человеку. Но только единство всего этого сделают каждый член живым и всего человека восполненным.

Человек, не преодолевший свою отдельность, отдельность от Целого Вселенной, не мертв физически, но духовно он еще не родился, он лишен чувства Бесконечности, которое одно только делает душу восполненной.

Он воспринимает мир только умом и пятью чувствами. Душа, не открывшая своей бесконечности, бесконечно неудовлетворена. Ее обладатель смертельно скучает, пьет, колется, может быть, совершает преступления, во всяком случае пресыщается жизнью и страдает. Он — лишь часть самого себя. Он не воссоединен с самим собой.

И ничто в жизни, ни минуты счастливой любви, ни плодотворная деятельность, не могут заменить этого воссоединения — нахождения себя. Фауст и любил, и познавал — и все-таки захотел покончить с собой, ибо жизнь его оказалась бессмысленной.

«Я лишь желал. Желанья исполнял. И вновь желал». Кончилось все, как известно, договором с чертом, неким пари человека и черта, из которого человек ценой немалых жертв вышел победителем, отыскав смысл жизни в творчестве. Однако Фаустово решение вопроса не представляется мне предельно глубоким. Да, в творчестве, но в каком? Смыслом жизни нашей является творчество всецелой жизни, сотворчество с Богом, богоподобие.

В одной из моих сказок есть такой мотив: Девочка-волшебница (называемая «Старой Девочкой») хочет, чтобы ее ближайший друг и помощник нашел людей, подобных ей.

«— Но ты бесподобна, — отвечает он.

— Быть бесподобной ужасно, — говорит она. — Очень трудно быть единственной и бесконечно одинокой. Мне необходимо встретиться с подобными себе.

— Вот такими же удивительными феями, от которых лучится розовый свет? — спрашивает он.

— Да нет. Совсем не обязательно, чтобы были в розовом платье, не обязательно девочка, и возраст ни при чем, и даже лицо не обязательно похожее. Может быть ничуть не похоже.

— А... что же обязательно? — недоумевает он.

— Обязательно — уметь создавать миры, а не приходить на готовое».

Да, научиться со-трудничать с Богом — вот что значит осуществить богоподобие.

Обычно настоящий духовный путь начинается с ощущения огромной неудовлетворенности собой. Человек беспощаден к своему эго, к своей ограниченности. И кончается этот путь смертью смертного, конечного «я» и пробуждением вселенского «я», причастием всему живому.

Слова Христа «вы боги», говорят о нашем божественном призвании, о том, что мы можем и должны осуществить свое богоподобие. Воплотить образ Божий, заложенный в нас, — вот наша задача.

Сверкнет у времени граница,
 Когда часы замрут во мне,
 Когда все небо отразится В моей
 сердечной глубине,
 Когда весь купол многозвездный,
 Весь целокупный небосвод С моею
 внутреннею бездной,
 Как взгляд со взглядом, совпадет, -
 Тогда настанет день итога —
 Субботний день. Окончен труд.
 И будет где живому Богу В сём мире
 обрести приют.

Между тем, открытие внутри себя источника жизни означает всемогущество Духа. Да, всемогущество. Дух может все, что ему действительно нужно.

Бог есть Дух. Но вот всемогущество Божье осознается очень поразному. Все трагические страницы Библии и вообще истории человека посвящены вопиющему противоречию между всемогуществом Божиим и ужасами мира.

Один замечательный священник говорил, что понятие о всемогуществе Бога взято у язычников. Это Зевс громовержец был всемогущ. О ветхозаветном невидимом Боге сказано только, что Он исповедим, то есть что Он больше нашего сознания и нашими оценками не

оценивается.

В этом есть своя, даже большая правда. И все-таки Бог всемогущ. Однако не как властитель, управляющий миром извне, а как Дух, управляющий миром изнутри человеческой души. Его всемогущество не внешнее, а внутреннее. Он наш внутренний владыка.

Человек, ставший единым с Богом, человек без капли отдельного, противящегося Целому «эго», обладает этим внутренним всемогуществом.

И Иисус из Назарета им обладал. Но Он не сойдет с креста в угоду толпе, требующей доказательств Его всемогущества. Он не мог этого сделать, но это и не нужно Ему, потому что не нужно Отцу.

Что это значит? В чем воля Отца — этого непостижимого умом «Ты», которому человек Иисус говорит «Да будет воля не моя, а Твоя»?

Эта высшая воля в одном — в преображении, в обожении человека. Если бы Иисус сошел с креста, он удивил бы и подчинил Себе толпу. Но люди остались бы точно такими, какими были. А людям надо показать новый образ, новое небо, новый смысл жизни. И потому нужно всемогущество другого рода — способность вынести всё — все земные муки и дать понять, что есть что-то большее, чем все страдания, большее, чем смерть. Что же это? Преображенный, обоженный человек, способный разделить с Богом всю ответственность за мир и не способный, как и Бог, отделиться ни от кого из людей. Это, может быть, самое таинственное Божье свойство — слитость со всеми нами, добровольная зависимость от нас, т. е. продолжающееся до сих пор творение нас по своему образу и подобию. Воля Божья в том, чтобы человек вошел в Него так же, как Он входит в человека.

А Он стоит у нашей двери.
Он всем открыт. Он так продрог.
Он в темноте ночной затерян -
Неузнанный бездомный Бог.
Да, Тот всесильный, Тот великий,
Кем вся земля сотворена.
Меня пронзают Божьи крики И
Божья боль лишает сна.
Ты знаешь всё и Ты всё можешь,
Но Ты не хочешь жить без нас.
Я отворяю, Боже, Боже,
Всю душу отворю сейчас.
О, эти дни душевной лени!
Взгляд, устремленный на мечту...
Прости меня за промедление,

Прости меня за глухоту.

Апостолы, отрекавшиеся от Него, разбежавшиеся, когда Его схватили, засыпавшие в Его страшный час, вдруг стали *иными*. Стали Ему подобными, совершенно владеющими собою людьми, способными разделить Его муку и Его Душу. Они поняли, наконец, Его не поддающиеся буквальному толкованию слова:

«Я есмь Воскресение и жизнь вечная. Верующий в Меня, если и умрет, оживет, а живущий и верующий в Меня не умрет вовек».

Поняли. Причастились Воскресению и преобразились. Из смертного человека — в *вечного*.

Опять вспоминаю мои сказки, в которых есть правило: «на вопросы «как, где и почему?» волшебники не отвечают». Эти вопросы для поверхности, для ума, а не для самой глубины души. Она здесь *молчит*. Я не знаю, как, каким образом воскрес Христос, но я знаю, что воскресение — не зрелище, а причастие.

Это не Христос, вставший перед физическими глазами, изумивший и доказавший свое могущество, а Христос, оживший внутри нашего сердца и совершенно преобразивший его. Потрясенные апостолы причастились Христу. Их сердца свидетельствовали, что Он — жив.

К Петру Иисус воскресший подступил,
И Петр затрепетал, как лист под вихрем,
И вдруг упал, лишась последних сил.
И всё вокруг, как мертвое, затихло.
Звезда скатилась медленно во тьму,
И след дрожащий был едва заметен.
Воскресший был не видим никому,
Но Петр знал, что значит этот ветер.
Иисус воскресший подступил к Петру,
Сказав: «Ты смог от смертного отречься И
отойти, рыдая, поутру,
Но что теперь ты скажешь — перед ВЕЧНЫМ?
Ведь ты сейчас, как Я, совсем один И между
нами больше нет границы»
И Петр сказал: «Я — Твой, мой Господин,
От самого себя нельзя укрыться».

Этот ВЕТЕР... Внутренний ВЕТЕР в абсолютной внешней тишине... Ветер, дующий в обратном направлении времени, болезни, смерти... Это абсолютная реальность.

Этот ветер нельзя увидеть глазами, осязать кожей. Но человек, осязавший его сердцем, преображается. И это можно увидеть.

Так было с Савлом, ставшим Павлом. Так было со слабыми апостолами, ставшими людьми предельной духовной силы. Смыслом их жизни стала невероятная полнота сердца, если хотите, — всемогущество Духа. Жизнь их полна до предела. Осталась только одна задача: заразить этой наполненностью всех.

Теперь я хочу вернуться к началу — к спору между иудаистом Бубером и христианином. Так кто же был Иисус — великий еврейский пророк или Бог? Я думаю — и то и другое. И сын человеческий и Сын Божий. Одновременно, как и сам Он о Себе говорил. Но ведь Сын Божий значит Мессия, Спаситель. Был ли Он им? Вот о чем спорят евреи и христиане. До сих пор мечта о Мессии — великая еврейская мечта. Он придет, всемогущий и справедливейший, и поставит все в мире на свои места. Он станет на сторону праведных, и наступит время великого торжества истины.

Правда, книги пророков постепенно меняют представление о Мессии, и у Исайи Он становится необычайно близким Иисусу из Назарета. Гораздо ближе к жертвенному Агнцу, чем к Владыке, распоряжающемуся силами мира. Но все-таки в народных головах, да и в головах священнослужителей господствовало представление древнее — о внешнем всемогуществе, о Том, перед которым все падет ниц, побежденное Его силой...

Надо сказать, что представления эти живы до сих пор и отнюдь не только у евреев. Придет кто-то, кто сделает все за нас и для нас...

Но приходит Некто, совершенно не избавивший нас от зла внешнего. Ни нас, ни себя. Сам бесконечно от него страдает. Однако всем собой показывает нам, что есть что-то гораздо большее, чем всё внешнее зло. Источником внешнего зла часто является зло внутреннее, очень долго не замечаемое нами. И с этим-то страшнейшим злом — грехом — можно справиться.

В мир пришел безгрешный человек, который ничем другим от прочих людей не отличается, кроме полного отсутствия греха. Он являет всемогущество терпения и смирения. Он говорит, что только содружество безгрешных людей может избавить мир от зла, что люди должны стать безгрешны, тогда и мир не будет во зле лежать. Наша задача — бороться со злом внутренним, а остальное приложится нам.

В общем-то, и это не ново в иудейской традиции. Все пророки, начиная с Моисея, давшего 10 заповедей, призывали бороться со злом внутренним — с грехом. Иисус сказал, что он пришел не нарушить, а исполнить Закон Моисеев. Однако Иисус не только *призывал* бороться со злом внутренним. Он его победил, отдав за эту победу свою земную жизнь и пойдя на беспредельные страдания.

Его отношения с бесконечным «Ты» закончились полным слиянием Ты

и Я. — Я и Отец — одно.

Он был велик своим смиреньем,
А вовсе не избытком сил. —
Тем, что, вставая на колени,
Он волю высшую творил.
Вот тем, что принимал покорно Из
глубины глубин приказ.
Вот так, как пик высокогорный
Приемлет луч в закатный час.

Бог не имеет зримого образа. Он бесконечен и неохватен зрением. Его образ — совершенный человек. О Христе сказано: «вполне человек и вполне Бог». Человек, воплотивший в себе бесплотного Бога и поставивший эту задачу перед всеми людьми: «Будьте подобны Мне, как я подобен Отцу».

С медлительностью спутанных ветвей Густых
берез и кленов тонконогих Идти за мыслью
тайною Твоей Так, чтоб ни разу не свернуть с
дороги.
И вместе с ветром, ускоряя бег,
Вдруг оседлать крылатую стихию,
Припомнив ясно: каждый человек По мысли
Божьей должен стать Мессией. —
Спасителем. Уже являлся Спас.
Вот Тот, Кто за неведающих ведал,
Уже Один опередил всех нас,
А нам осталось — по живому следу.
С медлительностью спутанных ветвей,
С медлительностью мерного прибора Идти
дорогой крестною Твоей.
Куда — не важно, только бы — с Тобою.

Григорий Померанц

Волшебные прикосновения

Тема волшебного прикосновения приходила ко мне несколькими волнами. Сперва подсказал ее Грэм Грин, мимоходом описав поведение молодых африканцев, ходивших, держась за руки. Я тогда назвал это чувством кожи. Фрейд, возможно, свел бы его к эротике, он и обычай младенцев брать все в рот считает эротикой. Это болезнь разума — пытаться объяснить бесконечную сложность жизни с одной точки зрения, своего рода рак логики (у Маркса, у Фрейда). На самом деле прав Достоевский, младенцы до одного года — совершенно особые существа. Достоевский чувствовал то, что Зинаида Миркина описала в сказке «Ангел»: какой-то ангел неотступно присутствует в жизни младенца. Это, впрочем, не научное определение: младенцы близки к тайне, которую нельзя раскрыть, к тайне нашего перехода из целостного света в раздробленность предметов, людей, зверей.

В старой записной книжке я нашел свою первую попытку показать, что чувство кожи возрождается в ранней влюбленности: «сядем укупечи, вдох пид калыною, и над панами я пан...» Впоследствии я столкнулся с этим в биографии Ольги Григорьевны Шатуновской. Она подчинила своей воле Сурена, своего возлюбленного, и они в конце концов даже спать стали вместе, но не выходя за рамки нежных гимназических ласк. В конце концов Сурен сорвался, во время служебной отлучки не выдержал искушения, и Ольга ему это не простила, вышла с досады за другого. Девичий страх бурных ласк можно понять, по большей части в браке любовь профанируется. Но в идеальном случае чувство кожи сохраняется или всплывает снова и простое прикосновение руки к руке, к плечу сразу отзывается в сердце. В чакре сердца, которую я очень ясно чувствую. И бытовые конфликты смываются.

Что же лежит в основе детского и материнского чувства кожи? Многое мне открыла мать Мария, описав рождение ребенка как агонию утробного младенца. Он так уютно лежал в матке, и вдруг

его подвергают невыносимым мучениям, и он появляется на свет с предсмертным криком. Через мать Марию я почувствовал утробного младенца, на сносях, как человеческое существо, для которого утроба — это космос и биение материнского сердца — это биение сердца мира. Другой источник моей философии — поведение нашей внучки Агнюши. Стоя в манежке, она отвечала воплями ликования на поцелуи солнца. Это было похоже на пение птиц. А потом она говорила Зинаиде Александровне, что раньше, в детстве, она по-настоящему летала (во сне сама Зинаида Александровна летала лет до сорока).

Я думаю, что в позднем утробном существовании ребенку осязательно дано чувство таинственной цельности и потом он вспоминает это чувство на груди у матери, держа её за её руку, хватаясь за её юбку. Это чувство легко переходит на другую любящую женщину: тетю, бабушку. Они становятся, говоря богословским языком, единичными Отцу, зримыми, осязаемыми символами таинственной цельности. В одной скандинавской сказке дети, узнав о светопреставлении, бегут к маме. Главное — добежать до мамы, а она уже что-нибудь придумает. И у взрослых иногда в отчаянном положении рождается вопль: домой, к маме! Или просто — мама!

Если вокруг есть что любить, символами тайны становятся и деревья, и струение воды в ручье, и свет, играющий в листьях, воспринимается как улыбка любви, на которую непременно нужно ответить. И вопли ликования отвечают на красоту, прикоснувшуюся к глазам, к ушам.

Эти вопли доходили до такой силы, что трудно понять, откуда такая сила в крошечной грудке. Громче не кричала даже актриса, изображавшая женскую страсть в фильме Кислёвского, в сцене воссоединения французской модели с польским парикмахером. Но Доминик подтверждала Фрейда, Агнюша его опровергала. Доминик вопила с уровня Эроса, и если бы ей вдруг привиделся Танатос, бог смерти, порыв сразу бы угас. Агнюша вопила с какого-то другого, более глубокого, более целостного уровня, на котором бога смерти нет. Не зная ничего о Боге и богах, она отвечала Богу, создавшему всю эту красоту. Она просто жила в волшебном мире и сама была частью этого волшебства. Слова не вставали между ней и волшебным прикосновением, и обычный летний день на даче был для неё волшебным днем. Это первичное восприятие уже у школьников теряется, теряется в словах, и нужен удар, чтобы его вытащить: удар восторга, удар ужаса. Я рассказывал, как это случалось со мной, у других это было иначе; у многих совсем не было, и их мучает вопрос о смысле жизни. Когда начинает играть скрипка Белого Зайца¹, вопросы исчезают. Все хорошо, все замечательно хорошо, и никогда не поздно

этому поверить. Пусть есть волки и не всегда есть капуста, но хорошо всё, хорошо целое, сколько бы частностей ни рвали нас на части.

Или, если взять более известный текст, это подобно голосу Бога в последних строках Книги Иова, голосу, не ответившему ни на один вопрос, а просто окунувшего Иова в золотой свет (который я однажды видел во сне) и сразу уравновесившего всю бездну мучений. Как — не знаю. Но не сомневаюсь в факте.

Волшебное прикосновение может прийти с любой стороны: от порыва ветра, всколыхнувшего зелень, и от необыкновенных глаз, и от иной сцены, разыгранной артистами...

И сердце бьется в упоенье...

Но нет прикосновения, которое нельзя было бы профанировать. Даже если оно само по себе безупречно. Цветущая сакура не виновата, что люди, собравшиеся полюбоваться ею, по большей части используют обычай просто как предлог посидеть на свежем воздухе и выпить рисовой водки. И до крайности легко профанируются волшебные прикосновения, рождающиеся у домашнего очага или в храме.

О профанации половой любви я уже много писал и ограничусь несколькими добавками. Первая любовь ребенка — к маме, ко всему поколению взрослых, склоняющихся к колыбели. Тут Эрос просто ни при чем. Хотя иная мать, не получив нежности от мужа, зацеловывает младенца, но это выверт. Потом возникают дружбы между сверстниками, по большей части мальчиков с мальчиками и девочек с девочками. В наше время общественное мнение сверстников очень быстро отодвигает предков с их телячьими нежностями на задворки. Но в положенное время возникнет чувство своей мужской неполноты, женской неполноты, и мальчики начинают дружить с девочками.

Слово «дружба» здесь прикрывает довольно сложные отношения. Это нежная дружба, в глубине ее прячется желание, но грубость желания отталкивает, и формы выражения дружбы напоминают детскую нежность: «сядем укупечи, вдвох пид калыною». Просто сядем рядом, и начинается волшебство. «И над панами я пан». Бывают поцелуи, но такие, как с мамой. Когда Анастас Микоян, парень из предместья, поцеловал Олю в засос, она была оскорблена и оттолкнула его. Ей было достаточно того, что Сурен, играя в горелки, догонял ее, обхватывал за талию — и всё. В старое доброе время

Из сказки Зинаиды Миркиной.

такие игры кончались сватовством и влюбленные прикасались друг к другу от гребенок до ног только после благословения церкви, ро-

дителей и общества. Когда прикоснуться уже не стыдно.

Но тут только и начинаются соблазны: мелкие несогласия, столкновения привычек, ссоры... А главное — коварство плоти. Оно использует наше непонимание самих себя, иерархии наших желаний. Свобода верхнего уровня основана на сдержанности «материально-телесного низа», как его окрестил Бахтин. Высвобождение плоти позволяет ей завладеть всем, и тогда дух восстает против своего рабства, Толстой пишет «Крейцерову сонату», Отто Вейнингер — «Пол и характер» и в 22 года кончает с собой. Бердяев тоже считал, что в постели мужчина и женщина ничем не отличаются от животных. Мне ясно, что он просто не умел владеть собой, но если Бердяев запутался, то что спрашивать с других? Мало кому сразу удается крепко держать вожжи, когда кони, пущенные вскачь, почти опрокидывают колесницу и не слышно переключки сердца с сердцем тонкими волшебными биениями.

Чем тут можно помочь? Вспомнить правило Силуана Афонского: «Кушать надо столько, чтобы после этого хотелось молиться...» Но сдержанность — *первый* шаг, и если за ним не пойдет второй и третий, страсть сползет в быт и просто угаснет. Как сохранить (или восстановить) незримую пуповину, переливающую что-то волшебное из сердца в сердце, подобно телесной пуповине в утробе (и вместе с молоком это вспоминалось на материнской груди)? При отроческой влюбленности все воскресает, но грубая яркость страсти смывает нежные полутона, и нужна большая воля любви, чтобы не стать простым сексом. Екатерина Колышкина и Эд Дохерти после брачной ночи шли к причастию, и это само по себе придавало ночной близости характер причастия, своеобразного исполнения второй наибольшей заповеди — о любви к ближнему... Однако таким был не первый их брак. Первый брак Кати Колышкиной, в который она вступила 15 с половиной лет, через несколько лет распался. Правда, без ненависти друг к другу, только с грустью. К сожалению, часто супруги начинают ненавидеть друг друга, ненавидеть само брачное ложе (это замечательно описал Рильке); семья распадается, волшебные прикосновения уступают место крикам, и дети с самого начала своей жизни погружаются в душевный холод.

Профанация храма идет иначе, плоть здесь иная, и иначе она порабощает дух, другими соблазнами. По словам Честертона, возможность взять в рот и проглотить самую суть веры — одно из преимуществ церкви. Это отчасти верно. И верно то, что говорил вл. Антоний, не раз провожавший раненых в последний путь, о возможности быть с умирающим в его агонии, когда протестантский пастор чувствовал себя беспомощным. Литургия, обряды и таинства —

богатство церкви. Песнопения, мерцание свечей перед темными ликами, запах ладана — все это дает чувство тайны, помогает втянуть в атмосферу христианства, облегчить человеку первый шаг в глубину. Но в этой легкости первого шага заложено искушение — так и остановиться на первом шаге, не думать о необходимости долгого пути, о дороге в целую жизнь. Я почти не касался этого раньше, мне не хватало опыта, но попробую опереться на книгу игумена Вениамина Новика «Православие, христианство, демократия». Там четко прописано то, что я угадывал только в общих чертах, — существование нескольких очень разных типов веры, покрытых одной шапкой: православие. В том числе православием считается архаическая религиозность, восходящая к самому грубому язычеству.

Эта архаика тянется еще с избрания веры — за красоту службы в храме св. Софии. Послы великого князя Владимира почувствовали себя вознесенными на небо. Они были очарованы, заколдованы. Но что они поняли в христианстве? Вениамин Новик ссылается на ряд исследований, показавших, что и по сию пору массы православных почти не знают Евангелия, не говоря о стяжании Св. Духа, о теозисе и т. п. Куски Св. Писания читаются в церкви, но невнятно, и к ним не очень прислушиваются. Литургия воспринимается как магический обряд, как заключение союза с племенными святынями, дающими защиту от чужих, темных духов, силу бороться с нечистым, разгадывать его коварные замыслы. На этой основе достоверными становятся «Протоколы сионских мудрецов», и не парадокс, а логическое следствие то, что грубая фальшивка продается в храмах или что важную роль в кампании черносотенцев, раздувавших дело Бейлиса, сыграла организация, возглавляемая православным священником, убежденным сторонником кровавого навета.

Суть православия, по мере его усвоения языческой массой, постепенно сползала с неба на кухню, на меню постных дней. Игумен Вениамин вспомнил название книги одного из современных апологетов, иеромонаха Серафима Роуза «*Вкус православия*». Помянул он и любовь В. В. Розанова к *плоти* православия, при нелюбви к Христу. Розанов — блестящий стилист, из литературы его не выкинешь, я вспоминаю его талантливое описание съестной лавки накануне Великого поста. Просто слюнки текли от запахов всех этих солений и маринадов. И ни слова — о духовном смысле поста.

Читая книгу Новика, можно понять суть той веры, с которой есаул Гонта освящал в церкви нож, прежде чем зарезать свою жену-польку и детей от брака с полькой-католичкой (в очень смягченном виде этот эпизод передан в повести Гоголя «Тарас Бульба»). Не знаю, освящен ли был топор, которым убили Александра Меня. Знаю только слова вл.

Антония, не сомневавшегося, в каких кругах Меня ненавидели: «это убийство не уголовное и не политическое, а изуверское и наш общий позор».

Присутствие плоти в православии — само по себе не беда. Так же как присутствие плоти в семье. Ни одна традиция не строится из одних порывов духа. Есть плоть информации — то, что Павел назвал буквой, — есть плоть обрядности. Все это не беда. Но беда, если плоть, разрастаясь, пожирает дух. В итоге церковь в России не смогла сделать то, что удалось в Италии и Германии после тоталитаризма — возглавить национальное покаяние и помочь созданию христианско-демократической партии. Демократическое крыло церкви очень слабо, и очень шумят православные черносотенцы. В последнем своем интервью Александр Мень назвал это опасностью союза клерикализма с фашизмом. Новик предполагает возможным раскол, отделения от церкви ненависти.

Господство плоти сказывается по-разному. В русском православии — как резкое предпочтение своего, племенного, вплоть до смешения этнически русского с христианской духовностью, так что русский человек как бы становится христианином по плоти (убеждение, высмеянное о Павлом Флоренским); и в тесной связи с этим — параноидный страх и ненависть к чужому. В католичестве, сохраняющем универсализм, это достигается господством рациональных формул, господством логики над созерцанием. Сейчас, спохватившись, чуткие католики ищут возрождения традиций христианской медитации, христианской созерцательности. В поисках образцов Томас Мертон обращался и к России. Но в каждой церкви есть две церкви. По словам Рихарда Вурмбрандта, есть церковь, основанная на ненависти, использующая обряды и догмы, чтобы нападать на других, и есть церковь, основанная на любви. Мертон с восхищением пишет о св. Ниле, но сознательно пропускает титул святого или преподобного, упоминая Иосифа Волоцкого. К этому близок и русский мыслитель, которого я очень люблю, Г. П. Федотов. Победу осифлян над нестяжателями он считал духовной трагедией России XV в.

Внешним образом традиция нестяжательства была затоптана. Но я считаю, что она сохранялась в народных типах отшельников и странников, и гениально чуткая Екатерина Кольшкіна опиралась на нее, создавая свою третью общину в Канаде. В основе ее «пустыни» — молитвенное ожидание волшебного слова, дающего свое направление жизни; я бы сказал, — подсказывающего, куда сегодня ведет «след Божий», не укладывающийся ни в какую логику. Об-ттина, созданная Кольшкіной, — одно из движений, дополняющих зримую церковь.

Зримая церковь никогда не может быть совершенной. Антоний

Сурожский остро чувствовал чрезмерную рациональность, систематизированность католичества и недолюбливал его, но и зримое православие он оценивал очень резко: как религиозную организацию, не имеющую права назвать себя церковью. Какие-то реформы возможны, и я сочувственно отношусь к программе, намеченной Антонием в речи 8 июня 2000 г., и к программе реформ игумена Вениамина. Но приближение зримой церкви к идеалу никогда не может быть полным, в ней всегда оказывается больше духовенства, чем духовности. Церковь, созданная Павлом, со всеми ее правилами, оправдана историей, но оправдана и церковь, созданная Христом: «где двое или трое соберутся во имя Мое, там и Я с вами». Это своего рода семья, и иногда буквально семья. Вместе с отшельниками и странниками и с какой-то частью зримой церкви, малые группы, связанные только духом, составляют церковь незримую, и в ней свободно живет и свободно прикасается к ним дух-утешитель.

Идеальное в религии — такая же редкость, как семья Дохерти, которые за 32 года только один раз поссорились. Поэтом в счастливом конце воцерковления есть такая же смесь истины и лжи, как в Нарру епй традиционного английского романа. Герой Диккенса, помытарившись в трущобах и гостиных, находит счастье в семье. Это правда, потому что создать свой дом легче, чем изменить общество, и в малом углу можно достичь большого счастья. Но насколько прочен этот счастливый угол?

Антоний Блум рассказывает, как матери и бабушке удалось воссоединиться с ним под одной крышей. До этого они ютились по разным углам. В интернате, где он учился, каждый день били. Много лет позже, проехав мимо него, он упал в обморок. Родным об этом нельзя было рассказывать — понимал, что у них нет денег уплатить за лучшую школу. И вдруг — каждый день с мамой и бабушкой. Каждый день окруженный любовью! Но через два месяца Андрею — ему было 14 лет — стало недоставать чего-то. Что с того, что они с матерью и бабушкой любят друг друга? И он решил, что если через год он не найдет более глубокого смысла жизни, то покончит с собой.

О таких людях не пишут в романах — разве только в русских. Писал, впрочем, Паскаль — о самом себе, о тоске, которую в нем вызывает бесконечность пространства и времени, и забросил в русскую и немецкую поэзию трагический образ мыслящего тростника. Но решает не литературный пример. Каждый раз начинается с нуля, с непосредственного чувства. И если не началось с нуля, не заметишь и в книгах: с чего это Левин, счастливый семьянин, прячет от себя веревку, чтобы не повеситься? Дурь мучает. У Андрея Блума это началось. И через год, раскрыв — первый раз в жизни — Евангелие (самое короткое

— от Марка), он почувствовал присутствие Христа. Глаза ничего не видели, но не было никаких сомнений, что рядом с ним — Христос.

Религиозный энтузиазм, охвативший мальчика, вызывал семейные конфликты. «Надо морковку почистить», — сказала бабушка. «Я молюсь», — отвечал Андрей. «Бог велел любить ближних и помогать им. Вот тебе морковка и нож...» Пришлось чистить. Потом возникла более серьезная проблема. Духовник потребовал приготовиться к уходу из семьи. Андрей долго мучился, наконец, он сказал: «Я готов. Куда мне идти?» — «Как куда? Домой», — ответил духовник. Так сложилась эта своеобразная форма монашества, без попирания сыновней любви. И семья, и община, где трое собрались во имя Христа. Безо всякого устава, кроме любви.

Мне кажется, это не только частный случай, скорее — часть общего сближения семейного очага с жертвенником религиозного подвига. Это внутреннее движение чувствовал Мертон, чувствовала Колышкина после долгого опыта одиночества и отрешенности, и такая любовь не поддается профанации, умеет сопротивляться ей.

Достоевский, в «Дневнике писателя», ставит себе вопрос, что бы он выбрал — совершенный мир, без противоречий добра и зла, но без детей, или со всеми ужасами страстей, но с детьми, и выбрал второе. Я думаю, что духовный подвиг должен пройти сквозь одиночество, но заканчиваться он может и в семье.

Общество деловых людей — духовный тупик. Дети его, вместо того, чтобы стать маленькими бизнесменами, превращаются в наркоманов. Но выход из тупика — не назад, а вперед, в сближении семьи с храмом. Один мой родственник, пламенный неофит, упрекал нас с Зиной, что мы превращаем свой дом в церковь. Превращала Зина, не думая создавать церковь. Но в конце концов, наш дом и наш семинар стали очагами, дополняющими церковь. Я думаю, такие очаги или подобные им складываются во многих городах. Впрочем, дух-утешитель веет и помимо семьи, и помимо церкви. Он веет в природе, в высоком искусстве, в одинокой молитве, в созерцании. Он веет, где хочет. И кого коснулось волшебное прикосновение, тот верит Белому Зайцу. Никогда не поздно ему поверить.

Зинаида Миркина

Волшебные прикосновения

Есть притча о Мастере, духовном учителе, столь мудром, что сам Бог решил посоветоваться с ним. Богу понадобилось поиграть с людьми в прятки.

— Ангелы советуют мне спрятаться на дне моря или на вершине самой высокой горы. А ты что скажешь? — спросил Он у Мастера.

— Спрячься в человеческом сердце, — ответил Мастер. — Вот уж куда человек никогда не заглядывает.

Новое здесь именно в последней фразе. Что Бог находится в сердце человека — это как бы давно известно. Но вот что человек туда никогда не заглядывает...

А заглядываем мы туда действительно редко. Заглядывать в сердце — заглядывать в глубину. Жить на поверхности легче. Жить по правилам, которые тебе дали; в мире, который за тебя устроили — это доступно. Выполняешь ты или не выполняешь правила — все равно, живешь в мире, где они работают. В мире более или менее ясном, освещенном внешним светом. В дневном мире. Но на смену дня приходит ночь «с своими страхами и мглами...». Об этом хорошо сказал Тютчев — день есть покров, наброшенный над бездной.

Дневное сознание прячется от бездны. А те, кто в нее вольно или невольно заглядывают, делают шаг с поверхности в глубину, туда, где сердце. Но этот первый шаг еще так далек от спрятанного в сердце Бога.

Первый шаг с поверхности в глубину — это встреча со страхом, с полной незащищенностью. Это кажется падением в провал. Но зерно, бросаемое в землю, также проваливается в полную тьму. Исчезает. И однако это только видимый конец — и невидимое начало новой жизни. «Если зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то много много плода принесет».

Что же происходит с зерном? Прикосновение к смерти оказывается волшебным прикосновением к новой жизни. Провал в глубину оказывается волшебным прикосновением к Вечности.

Где твоя отдельность, твое четко очерченное «я» (эго)? Оно растаяло. *Но это не смерть!* Жизнь не только не кончилась, жизнь только что и началась. Истинная, полная жизнь. И ты вдруг ясно чувствуешь, что глубина твоего сердца — не только твоя. Что на этой глубине твое сердце сливается с другими сердцами. Нет, это все одно и то же Сердце, есть общее Сердце у бесчисленного числа людей, общее сердце мира. Вот здесь-то и спрятан Бог.

И все ушло. Остался только Бог Но
кто мне скажет, что это такое?
Кто погрузиться с головою мог В
бездонность все залившего покоя?
Кто хоть однажды пропустил сквозь грудь
Не видимую глазу ось Вселенной?..
...И всё ушло. Осталась только Суть.
И оказалось, что Она — нетленна.

В одной притче сын задает вопрос отцу, испытавшему встречу с Богом, что это такое? Что он почувствовал?

— Я почувствовал себя дураком, — ответил отец.

— Почему?

— Да потому что я так долго залезал в Дом по приставной лестнице, разбивал окна, изранил себя, а Дверь-то, оказывается, была открытой.

Увидеть Дверь открытой можно, только если ты сам не заслоняешь ее собой. Да, вход во глубину вечного Сердца всегда открыт, но наше слишком не прозрачное эго заслоняет его собой. Нам ужасно трудно сдвинуть это плотное эго с места, обернуться.

Да обернись, пока не поздно!
Все несерьезно! Несерьезно!
Ну как ты мог принять всерьез
Смерть света ночью? Смерть берез
Под зимним ветром? Как ты мог Не
знать, что хлынет в мир поток И
вмиг один омоет всех,
Разбрызгивая свет и смех?!
Не знал? Не знаешь до сих пор,
Откуда входит в мир простор?
Откуда возникает вдруг Смеющийся
над страхом Дух?
Тот, пронизавший даль и близь?
Так обернись же, обернись!..

Обернись внутрь, в глубину. Не ищи под фонарем. Сердце во тьме.

Оно запрятано в груди. А в нем, в самой непроглядной глубине, спрятан Бог.

Да, Бог играет с нами в прятки. Ему нужно, чтобы мы проникли в глубину, оторвались от поверхности. От всего объемлемого умом и видимого глазу, преодолели страх исчезновения своей отдельности, как в великой любви, сливаясь с любимым, утопая в нем. И так вошли бы в то, что больше глаза и ума нашего.

И этому неведомому, бесконечно большему, чем мы, надо позволить коснуться себя. А для этого — глубоко затихнуть, как дети перед сказкой. И увидеть, что

Нет разделений меж нами.
 На всех нас — один небосвод.
 И тихо в неведомом храме
 Служение Богу идет.
 Здесь собраны единоверцы Все
 те, кто узнали давно,
 Что есть у нас общее сердце На
 тысячу тысяч — одно.
 И люди встают на колени Все
 те, кто в безмолвье вошли,
 Чтоб вечного сердца биенье
 Расслышать сквозь шумы земли.

Шумы земли. Шумы, которые прежде всего в нас самих, шумы, которые заглушают Бога.

Наш Бог был вечным шумом оглушен,
 А дьявол — только полной тишиною.

Волшебное прикосновенье — это нечто, оглушающее дьявола. Пока он не оглушен, нечего думать о высшей цели.

Существует столько способов достижения этих высших духовных состояний, столько приемов... Расскажу еще одну притчу.

Ученик медитировал, а Мастер стал рядом с ним шлифовать гвоздем кирпич. Это, конечно, мешало медитации. Что ты делаешь?! — воскликнул ученик.

— Я делаю из кирпича зеркало, — ответил Мастер.

— Да разве это возможно?!

— А разве возможно медитировать вместе с эго, не пытаясь освободиться от него?

Волшебное прикосновение — это освобождающее прикосновение. Прикосновение, дающее свободу... Но кому? Чему?

Выступление по телевидению А. Н. Яковлева закончилось груст-

ными словами: «Я думал, будет великий праздник, когда люди получат свободу. А что вышло?.. Волюшка! Свобода только для себя. Настоящая свобода — это свобода для вас, а потом уж для меня».

Так он закончил. Да, настоящая свобода — это свобода, которую я даю, а не беру себе. Помните слова старого цыгана из пушкинских «Цыган»: «Ты для себя лишь ищешь воли», для своего эго. Но настоящая свобода — это освобождение от эго.

Пока живо и свободно наше эго, сама любовь искажается и подчиняется ему, нашему эго.

«Как плохо быть любимым», — говорит Рильке в своем романе «Записки Мальте-Лауридса Бригге». Слова по первости почти ужаасающие. Но можно вспомнить длинный список горячо любимых людей, начиная с Дездемоны или с лермонтовской Нины Арбениной...

«Мы все убиваем тех, кого любим», — говорил Оскар Уайльд.

Уметь любить — это значит знать тайну волшебного прикосновения. Прикосновения, которое освобождает любимого, а не закрепощает его.

О не пришла ли пора, сосредоточась внутри, не взывать ни к кому

И не ждать ничего от любимых? -

Быть только любящим, только самую любовью,

Чтоб напряжение сердца было подобно стреле на натянутом луке,

Взвиться готовой и вылететь вдаль за пределы себя,

Ибо остаться в пределах себя значит не быть. Ты — нигде.

(Рильке. 1-я Дуинская элегия. Перевод З. Миркиной)

Есть такая притча о рае и аде. Путника привели в рай, и он увидел длинные-длинные столы под великолепными деревьями на фоне дивного пейзажа. За столами люди. На столах — волшебная пища. Но она — жидкая. У людей ложки с длинными ручками. Сам себя ты кормить такой ложкой не сможешь. Но люди кормят друг друга, и лица у них счастливые, благодатные.

В аду точно такие же столы. Только люди сидят изнуренные, голодные, со злыми лицами.

— Почему вы не едите, когда столько еды? Кормите друг друга!

— Чтобы я кормил эту сволочь — моего соседа?!

Так вот — не наесться самому, а прежде всего накормить другого и тем самым расширить пространство своего «я». Любовь — это выход из ограниченного, конечного «я» в безграничность, в свое бесконечное «я», включающее всех.

Это тайна, постигаемая только волшебным прикосновением. Прикосновением, которое пересекает логику, перечеркивает логические

построения и направляет все наше существо в ту самую глубину сердца, где спрятан Бог.

Собранность какая! -
Внутри себя дорога.
Здесь не отвлекает
Ничего от Бога.
Древних лип громады,
Тишина лесная...
Все, что сердцу надо,
Здесь оно узнает.
Вот он - угол Божий,
Крепость миродержца.
Здесь ничто не может
Отвлекать от сердца.

Когда нас ничто не отвлекает от сердца, когда — все наши мысли, желания устремлены в таинственную глубину нашего существа и вливаются туда, как реки в море, тогда может произойти самое главное: раскрытие сердца и освобождение Бога.

Да, свобода истинная начинается с того, что я освобождаю другого — отпускаю его на волю — ты не должник мой, мне от тебя ничего не надо. Я сам питаюсь из внутреннего источника, а не съедаю твою душу. С этого начинается свобода. И кончается она освобождением Того, Кто спрятан в нашей глубине глубин, освобождением Бога, которого мы терзали. Да, мы терзаем Его, не понимая, что подрываем корень собственной жизни. Мы распяли Бога не только тогда, 2000 лет назад, — это делается во все века нашей страшной истории. Мы отделяем Его от себя, отделяем собственную Бесконечность, собственный источник жизни и не ведаем, что творим.

Не иудеи - иудея,
Не дети женщин - сына Девы,
Не Иисуса Назорея,
А то, что там меж ребер, слева.
Не Бога и не страстотерпца,
Разверзшего покров могилы, -
Распяли собственное сердце За
то, что билось и томило,
За то, что ныло и болело
И порывалось вон из клетки Куда-
то в вечность, за пределы,

Очерченные телом этим.
За то, что называло князем Не
князя мира - ком из глины,
За чувство тайной, острой связи С
Незримым, Жгучим и Единым.
За это вечное волнение Перед
немым и непостижимым И
своевольное стремление Назвать
неведомого ближним.
За то, что световые пятна Ему
чертили путь и сроки,
За этот трепет непонятный От
прикасания звезд далеких.
Не человека-страстотерпца,
Ушедшего в провал столетий, -
Распяли собственное сердце И
жили, смерти не заметив.

* * *

Еще одна притча из книги притч: «К Учителю приходили люди и спрашивали — есть ли жизнь после смерти? Он улыбался и не отвечал ни одному. Когда все ушли, ученики спросили, почему он не отвечал? “Скажи же нам теперь, есть ли жизнь после смерти?”»

— Люди никак не могут справиться с этой жизнью, — отвечал Учитель, — и спрашивают о другой. Единственный вопрос, на который надо ответить, — это: есть ли жизнь до смерти?».

Мы не обращаемся внутрь, к источнику жизни, мы обращаемся наружу, бежим от своей глубины на поверхность и все время просим чего-то у Бога, совершенно не чувствуя Его самого и Его связи с нами. Нам нужен не Бог, а дары Божьи. Нам надо тысячу вещей и все мало. Мы все время недовольны тем, что нам дано, и кончаем, как старуха из сказки о золотой рыбке. Старухе показалось мало всего, что давала ей волшебная сила. Она захотела саму волшебную силу подчинить себе.

Мне нередко кажется, что все изобретения интеллекта нашего, все наши атомные и водородные бомбы ведут к тому же. И мир может остаться у разбитого корыта, если мы не отпустим волшебную рыбку на волю и не скажем ей: нам ничего от тебя не надо, только будь.

Это и значит освободить Бога из плена наших желаний, нашего агрессивного эго. Раскрыть наше зажатое страхом, неуверенностью, жадностью сердце и сказать Богу: «Только будь! Мне от Тебя ничего больше не надо». И тогда вдруг простить всех дол~~ж~~ников и узнать в ближних своих братьев и сестер, узнать и позвать в ту глубину, где мы

чувствуем, что ударить другого — это все равно, что ударить себя; что ударяя человека, мы бьем Бога, что все наши удары друг по другу — это удары по Богу, который есть наше общее сердце.

О, Господи, никто не виноват!
Я плачу, бред минувшего отбросив.
Узнайте же меня! Ведь я — ваш брат.
Я ваш, давно потерянный Иосиф...
О, дайте мне прильнуть к груди Отца! Я
— здесь. Вы ничего не совершили.
Пускай, пускай откроются сердца!..
Не знаю, кто из нас лежал в могиле,
Но только знаю: мертвый оживет И
жизнь пойдет с безгрешного начала, С
чистейшего листа... Я здесь. Я тот, Кого
так долго вам недоставало.

Лишь только разверзание сердец...
Я большего не знаю в мире чуда.
У нас один, на всех один Отец.
Так содрогнись и обними, Иуда,
Стоящего перед тобой Христа.
Ведь Он готов принять тебя в объятия.
Он — дверь, что никогда не заперта. Он
— Тот, кто вечно собирает братьев, Не
вспоминая ни одной вины...
Не Он, ты сам себя осудишь строго,
Услышав зов с последней глубины.

М

О Ёлке

не давно хотелось, а сейчас стало как-то необходимо написать о моей Ёлке. Что она для меня такое? Почему так невозможно не строить Ее?

Когда-то, 56 лет назад (в 45-м году), со мной произошло нечто, о чем я много раз говорила. И все же скажу еще раз: Ель перед моим балконом на даче вспыхнула Фаворским светом. О том, что такое Фаворский свет, я узнала гораздо позже. А тогда я увидела его, не зная, что это так называется.

После огромного страдания, вернее, во время страдания, захлебываясь от всех душивших меня «проклятых вопросов», я вдруг увидела Ель всю в огнях. Это было после грозы. Взошло солнце, и сотни, мириады капель вспыхнули невероятным, прожигающим всю душу светом. И вот, в единый миг душа переросла свое страдание, переросла все вопросы, в которых только что тонула. Что-то произошло в душе такое, чего представить себе раньше я никогда не смогла бы. Возможно, так бывает, когда из куколки вылетает бабочка. Душа из

скукоженного комочка превратилась вдруг в крылатое существо, и иначе, чем преображением, это не назовешь.

Много позже, когда я увидела и очень полюбила икону Феофана Грека «Преображение», я там узнала все, что произошло со мной.

По бокам иконы идут четыре человека, Иисус и три ученика. Он хочет *показать* им нечто, что знает сам и чего не знают они — Проявленную Истину.

Где она? Они смотрят на Иисуса. Они оглядываются по сторонам. Но вот Гора. На Горе Иисус, который *просиял*.

А ученики? Что с ними? Они, как планеты, сорвавшиеся со своих орбит. Они перевернуты. Они, кажется, потеряли всякие ориентиры в пространстве и во времени. Никто из них на Иисуса уже не смотрит. На него невозможно смотреть. Его свет прожег их, ослепил. У одного из них глаза совсем закрыты. У двух других открыты, но они смотрят не *на* Иисуса. Они смотрят внутрь себя. Ибо Истина

видна только там — внутри. Свет, прожегший их, открыл им их же Глубину, ввел в эту Глубину, показал, что она есть. *Внутри нас есть источник света.* Просиявший Иисус открыл им этот источник в них самих, прожег вход в Глубину, всегда свою собственную и в то же время не только свою. Она одна на всех. Ты либо вошел туда, либо нет. Если вошел — встретился там с другими, понял, что мы едины.

У всех ветвей дерева — один ствол; у всех наших органов — ушей, глаз и т. п. — одна кровь, одно сердце — единый организм. Тот, кто вошел в единую для всех Глубину, нашел Бога — то, в чем мы едины. Наша целостность, включающая все и всех в себя — вот Он, Бог. Всем открытая тайна, которая всегда остается Тайной, ибо существует только на последней Глубине. Там сияет. Туда зовет.

Я упала на колени. И когда встала с колен, знала: Творец этой красоты *совершенен*. Мы не отдельные разорванные частицы, мы составляем нечто целое. У нас есть общее Сердце. В мире есть величайшая Гармония. И сердце мое, мое маленькое настрадавшееся сердце забыло о своем страдании и трепетало, как струна под пальцами величайшего арфиста: «Только прикоснись! Весь мой смысл в том, чтобы быть Твоей Арфой!»

Елка в моем доме — с моих восьми лет, когда ее разрешили советским детям. А моя любовь к елке началась, кажется, с двух лет. Трудно поверить, но я помню, как меня поднесли к наряженной серебристо-зелеными шарами елочке нашей соседки тети Шуры. Елочка маленькая, стояла на столе. Мама держит меня на руках, а я тянусь, выскальзываю из маминых рук за шаром. Зачарована совершенно. Наверное, ору, чтобы мне дали шар. И добрая тетя Шура снимает с елки чудо из чудес и протягивает мне. И я мгновенно затихаю. И вдруг — шар выскальзывает из ручонки и разбивается на мириады сверкающих дрожащих осколков. Новый крик, но он мгновенно прерывается. Мама рассказывала, что была потрясена, как я моментально затихла, прикованная взглядом к дрожащим переливающимся осколкам на полу.

Вот еще с тех пор — моя любовь к елке. Потом, у подружек, я видела игрушки из детства их родителей (у мамы, к сожалению, все пропало в Гражданскую войну).

Серебряная картонажная рыбка... Она была поистине той самой золотой рыбкой, которая исполняла все заветные желания, сама была заветным желанием, точно знала, что душе нужно, и вела в какое-то неведомое сверкание.

Вела, вела от двух до девятнадцати лет. По каким мытарствам вела!.. И вот привела к Той преобразившей меня вспыхнувшей Ёлке...

Мытарства не кончились. Они стали еще во сто раз больше. Но это

было уже нечто совсем другое — сознательное и осмысленное. Смысл жизни был найден. Бог стал реальностью, постигаемой только в опыте глубочайшего сердца.

И вот, начались *мои* Ёлки (не сразу... надо было еще пять лет пролежать парализованной, а потом встать, но — начались). Точно я получила задание *показать*, собрать и показать ту внутреннюю гармонию мира, которую душа моя *знала*. Собрать осколки, разбросанные на поверхности, и соединить в единое целое, дать Образ.

Что такое Небесный Иерусалим? Это глубинная реальность, которая, как солнце густыми тучами, закрыта нашими иллюзиями — проекциями нашего эго.

Небесный Иерусалим — это внутренний Свет, который не нуждается ни в чем внешнем. «Ни солнца, ни луны там не будет, ибо Господь Бог — светильник их». Это тот незаходящий свет, который сам является своим источником и сам из себя черпает силы. Небесный Иерусалим, Небесный Град, в котором «Бог отрет каждую слезу с очей их, и ни болезней, ни смерти больше не будет, ибо преждее прошло, миновало».

Эти последние слова Апокалипсиса всегда переворачивали мне душу. И я знала, что это правда, правда, правда!

Небесный Иерусалим светится внутри *всегда*. Освободить его от тьмы, скрывающей это свечение, сорвать завесу, дать просверкать нетленному среди тленного мира — вот моя задача. Вот что я делаю, когда создаю мою Ёлку.

Ни одного случайного штриха. Ни одной случайно повешенной ниточки дождя. Каждая игрушка, каждая дождинка, каждый оттенок света должны найти свое точное место, соотношенное с тем, которое у всего есть внутри, в невидимой глазам первооснове жизни.

Сказка? Сказку рассказывает мне сама Ёлка, ибо все на ней *говорит*.

Бог есть Слово? Да. Но это Слово говорит только глубине души. Уши его не слышат, но душа слышит и получает задание перевести это Слово с языка беззвучного на язык звучащий. Озвучить свет.

И еще.

Сражение света с Болью. Свет восходит изнутри наружу. А здесь — Боль. Царство Боли. Каждый год она новая, своя, конкретная. И свет падает на эту Боль, как на дождевые капли на ели или на темень леса. Или — куда бы он ни упал, начинается сражение, которое может превратиться в любовные объятия — в ликование; а может и не превратиться.

Сражение с Болью. Свет должен просквозить вот эту сегодняшнюю боль, растворить ее, сразить. Завтра будет другая, и будет новое

сражение. Свет все тот же, а боль — новая. Да и свет всегда новый. Просто он никогда не тускнеет, но в каждом новом повороте вновь вспыхивает все тот же вечный Свет и творит новое Действо.

Вот это Действо с массой конкретных подробностей, это — новый поворот луча во тьме — новая сказка. Новый путь странника через лабиринты тьмы, новая мистерия, ибо это всегда мистерия — вход в тайну.

Жизнь таинственна, ибо бездонна. Ощущение бездонности, в которой вечно блуждает и никогда не заблудится Свет, — это ощущение и есть счастье.

Всегда трудное счастье, ибо находиться в Бездне всегда нелегко. Но ощущать Бездну и ощущать собственное сердце — это одно и то же. Сердце бездонно. И тот, в ком полностью пробудилось сердце, чувствует великое ликование, ибо внутри этой бездны — Свет.

3, 18 апреля 2001 года

Григорий Померанц Ёлка как образ Вселенной

Недавно — под Новый год, 2004-й, тридцать девятый раз наряжалась в нашем доме ёлка; и рождалась новая сказка. Тридцать девятый раз я беспомощно наблюдал за тем, как все делалось, и мог помочь творчеству почти одним восхищением, разве что повешу, куда укажет палочка, шар или подвяжу раковину. Пытались помочь Зине и другие, но главное никому не удавалось. Главное — это волшебная целостность из разрозненных, готовых заслонить друг друга частей. Легко и радостно создается первое царство, но со вторым начинается мука. Когда оно завершено, первое оказывается в развалинах. И так же с третьим, четвертым, пятым. Единственная ученица, усвоившая кое-что, неплохо создает отдельные царства, но они не складываются в одну цветущую сложность. Целостный мир, в котором царства перекликаются друг с другом, как темы в симфонии, граничит с чудом. И даже когда чудо достигнуто и зритель в восторге, мастер никогда не бывает вполне удовлетворен. Он видит не завершенные или чересчур разросшиеся группы, угрожающие другим, теснящие других, как дерево, разрастаясь, затеняет соседей, он пытается что-то прибавить или убавить, он ищет в цветущей сложности неслышанную простоту.

А потом ёлка начинает сохнуть, ветки, потеряв упругость, не держат как положено игрушечные дворцы, засыхает и падает хвоя,

и приходится маскировать плечи мишурой. И в конце концов, ёлка пахнет пылью. Она состарилась, переживает себя, надо ее разбирать. Елочный век — два, два с половиной месяца. Бывают и преждевременные смерти. Но даже полный ёлочный срок так недолог! Игрушки складываются в ящики, засохшее дерево выбрасывают и сжигают, и чудо целого остается только в памяти творца.

В какой-то миг, глядя на ёлку с одним только шпилем, на игрушки, только вынутые из коробок, мне пришла мысль: не так ли и красота земли? Какая разница для вечной творческой силы — два месяца или два миллиона, два миллиарда лет? «Состоящее из частей подвержено разрушению, — сказал Будда, умирая. — Трудитесь прилежно!..» Дальше не было сил продолжать или это казалось ненужным. Из всего, сказанного раньше, каждый ученик мог понять, что делать. Надо укрощать свою ёлку, чтобы она вернулась в вечную память, из которой мы родились, и не рассыпалась без следа.

Наша прекрасная земля — только ёлка, наряженная вечной волей в пространстве и времени, узел, готовый рассыпаться, рухнуть в хаос — если бы его не поддерживала творческая воля. Эта воля светится сквозь материю, на которую легла рука Творца, сквозь плоть, которую мы можем созерцать, слышать, которой мы можем коснуться. Без дыхания духа эта плоть становится погасшим фонарем. Очарование исчезает. А затем исчезает и сам фонарь. Только образ уходит в память Творца. «Этого довольно: образ дан», — писал Рильке.

Чтобы создать гармонию лесов и полей, гор и вод, надо уравновесить не десяток гирлянд, а миллионы живых царств, буквально (а не только в переносном смысле) пожирающих друг друга. Эта гармония живет, рождает новое, непредвиденное, и равновесие все время нарушается, и в дыры совершенства входит дух разрушения. Он не вечен, но все время рождается вновь из преувеличений, из чрезмерных скоростей круговорота, как пороки — из чрезмерно развитых добродетелей.

Невозможно защитить Иова от ударов судьбы. Невозможно ответить Иову на уровне его вопросов. Что делает Бог, выслушав Иова? Он подымает вопящего человека на свой уровень, на уровень Творца, он дает ему созерцание творческой воли, вечно создающей гармонию из вечно рушащихся частей. И Божья воля, вошедшая в Иова, как бы создает в нем нового Адама, Иов в конце книги как бы воскресает из праха ветхого Иова, и этот новый Иов заново любит и заново творит.

В одной из притч Энтони де Мелло к Мастеру приходит женщина, потерявшая сына. «Я не могу осушить твоих слез, дорогая, — говорит ей Мастер, — но могу научить тебя, как сделать их священными». Продолжу это своими словами: я помогу вплести твою горе, твою

страдание в страдание Бога. Я много раз уже говорил, как на меня действовало стихотворение «Бог кричал». Невыносимое горе, первые месяцы сводившее с ума и после остававшееся скрытой раной, вдруг стало страданием-радостью, посещением Бога, воскресившего во мне любовь и в этой любви — образ ушедшей, и я почувствовал себя вместе с ней причастными Богу. Богу, который в одной из своих ипостасей на небе, а в другой — с каждой страдающей тварью. Этот Бог гонит прочь друзей Иова и знает, что скорее Иов, чем богословы, станет его собеседником и помощником.

Мир существ, наделенных свободой воли, не может быть совершенным, но та же свободная воля призвана действовать, не дожидаясь ангелов, находить Божий след и идти по Божьему следу. Мы призваны помогать Богу, а не ожидать от Бога всего, как младенец от матери. И прежде всего — помогать Богу лепить нас самих.

То, что дается судьбой, — только материал, зеленое дерево, принесенное с ёлочного базара. Мы можем это дерево изломать, можем облепить кое-как, можем превратить в чудо. Из моей судьбы ничего однозначно не следовало. Неудачи сыпались градом. Оставалось чувство умственного превосходства, но оно оказалось ложным, и в какой-то миг я вырвал его из себя. Что же на самом деле копилось, складывалось? Мгновения, когда я не терялся от ударов (хотя бывало — и терялся), когда я выходил из испытания со словами Гамлета: «вы можете меня расстроить, но не играть на мне», когда я учился сознавать свой внутренний стержень и новое испытание только укрепляло его.

Что-то нам дается судьбой или провидением — не все ли равно, каким словом называть Непостижимое, — но внутренний стержень крепнет или гибнет из-за наших собственных усилий и наших собственных промахов и провалов. И в конце жизни нам есть что вернуть в память Бога или нам нечего ему отдать. И в памяти людей мы оставляем образ или расплывшееся пятно.

Когда я думаю о запутанном клубке страданий, в которых ворочается мир, то один из концов, за который тянет ухватиться, — это первые годы жизни. Дети должны расти с любящей матерью, в семье, где нет раздоров, не прячась в сарае от безобразия взрослых, не с нянечками интерната. Рубен Гальего (книгу которого советую прочесть) и сквозь нянечек пробился, но это его заслуга, а не интерната.

Бог очень много прибавляет к дарам, данным еще в утробе, через материнскую любовь, пробудившуюся в сердце женщины. Любовь матери, бабушки, отца — первый образ Божьей любви, на которую ребенок отвечает, даже не зная слова Бог. Семилетняя девочка, живущая в Нью-Йорке, недавно сказала: «когда я что-нибудь люблю или кого-нибудь очень люблю, это я тебя люблю, мамочка!» Это очень

близко (в переводе на язык взрослых) к словам Христа: «Где двое или трое соберутся во имя Мое, там и Я с вами!». И я думаю, что Христос эту детскую близость к себе знал, когда сказал: «если не будете как дети, не войдете в Царство!».

Главный секрет атомной бомбы, — писал генерал Гровс, — это то, что атомная бомба существует. И главный секрет любви — то, что она есть и есть не только в книгах, и она доступна людям. Раскрывшемуся сердцу найдется, кого любить. И спасут мир, если он спасется, — люди, углублявшие и углублявшие свою младенческую способность любить.

Христианская церковь слишком резко поделила мир на отшельников, спасающихся в пустыне, и грешников, которые плодят грешников. Церковь не решила задачу семьи, где дети сохраняют свою связь с Богом через любовь к близким. Я уже приводил слова Рейсбрука о том, что Второе пришествие совершается в душах святых. А я думаю, что тысячелетнее царство праведных совершается в семье, подобной зажженной ёлке, в семье, где мужчина и женщина, еще до детей родили общую душу, где все споры решаются до вечера и прикосновение друг к другу ночью — причастие.

Существа, обладающие свободой воли, не могут избежать ошибок и кризисов. Но из всех кризисов есть два выхода: или вглядываться в то, что болит, и идти вглубь, откуда приходит Дух-утешитель, и прислушиваться к его тихому голосу. Или ищешь, как спрятаться от тоски, и находишь развлечения, увлечения, авторитеты, и становишься громким ничтожеством.

Первый кризис — отрыв от маминой юбки в детскую толпу, со своими вожаками; потом — от игрушек и сказок в мир школьных наук, разрушающих сказки, и в стан мальчишек, вспоминающих воинственных предков, или девочек, вспоминающих древние женские хитрости. А не жить в стае — значит тосковать в одиночестве. Потом вызов пола, захваченность самым грубым, самым пошлым в опыте взрослых — и из этого одичания, из дикости воображения вдруг шагнуть к чувству, затронутому сердцу, возникающий в сердце страх пошлости и давление всех СМИ, утверждающих пошлость. Хоровод ярких, но духовно пустых приманок, отвлекающих от задачи — стать самим собой, собой в своем мужестве, собой в своей женственности, найти контакт с собственной глубиной и, теряя его, находить вновь.

Потом поиски своего места в мире, поиски равновесия между чужим и своим личным толкованием норм, подгонки готового платья по своей фигуре, борьба, редко поддержанная старшими, чаще — подавленная. Порывы влюбленности, тянущие в разные стороны, и поиски подлинной любви, соединяющей два разных существа, как два атома в молекулу, создание единого поля любви, нового вещества

жизни, в которое могут пустить корни дети, свои и чужие. А после лет зрелости — порог старости; силы убывают, а любовь прибывает, сказал один старый священник, и она ищет новых контактов, идет передать вишьрь свой опыт, и вслушаться в опыт детей, заново понять новое детство и новую юность.

В Финляндии попытались упростить образование и свезли ребят из хуторов в интернаты. Сразу же возрос алкоголизм. Оказалось, что общение с детьми удерживает его. Не только взрослые воспитывают детей, и дети воспитывают взрослых. Развиваясь, мы что-то теряем; дети напоминают нам, что мы потеряли, и помогают восстановить его. С детьми мы чувствуем свой тайный внутренний стержень, на который незаметно нарастают годы, складываясь в единый образ.

Так и с биографией страны. У Явы — разорванный образ. Подхватили в Индии буддизм, создали огромный храм Боробудур, — а потом в Южной Индии распространился шиваизм. Боробудур остался мертвым. Но дело этим не кончилось. Религией господ Индии стал ислам; и Ява приняла ислам.

Иначе развивалась Япония. Новое наслаивалось на старое, обогащая его, переплетаясь с ним, но ничего важного не теряя. Россия при крутых поворотах рушит старое, забывает его, а потом с трудом вспоминает то Достоевского, то Рублева. И хорошо, если так, а то ищет свое настоящее и будущее в невозвратимом имперском прошлом, как арабы — в тени халифата.

В судьбе стран виднее то, что не сразу замечаешь в людях. Большинство очень забывчиво. Но у каждого значительного человека есть живая память детства или ранней юности, прежде профессиональной и семейной колеи. Память семи лет, или пятнадцати, семнадцати лет помогает различать свое от чужого, отбирать в потоках впечатлений то, что годно для строительства внутреннего дома, что прирастает к памяти глубины.

Иногда человек потому только и значителен, что продолжает взрослым решать проблемы, озадачившие его в пятнадцать лет. Эйнштейн так объяснял свой выход к новому пониманию пространства и времени. Духовная глубина приоткрывается иногда еще раньше, во всяком случае — не позже, но смотреть в глубину трудно, и крышку колодца закрывают. Сергей Аверинцев говорил, что главный его опыт был в семь лет, когда впервые прочел Евангелие. Он был тихий, болезненный мальчик, во дворе его били, и он боялся туда выходить, много читал. Какие-то куски Евангелия его поразили, и внезапно, на прогулке у стен Троице-Сергиевского монастыря (семья Аверинцева жила по соседству со мной), он смутно почувствовал присутствие Христа. И Сережа говорил нашему общему другу, что его внутренний

возраст семь лет. Это гипербола, но она передавала чувство, что в самом главном, духовном направлении дальше он не пошел.

Отец Сережи, старый профессор, случайно вычеркнутый из расстрельного списка, давал своему сыну читать не советские и не детские книги. Это создало живой мост с традицией Серебряного века. Но то, что Сережа, вырастая, сохранял традицию, что он упорно не принимал советского как своего, — это уже его сознательная воля, это его робкое, но упрямое уклонение от общего пути.

Блум, тогда еще Андрей, пережил встречу с Христом иначе — отчаявшимся юношей, потерявшим веру в Бога. Встреча означала для него крутой перелом, полную перемену. Он готов был даже порвать с мамой и бабушкой, которых очень любил, уйти в монастырь. Это не было детским впечатлением, вполне согласным с духом семьи. Решительность, мужество, способность самому принять решение сказывались и потом, в самые последние годы. От этого его духовное завещание, оставленное нам 8 июня 2000 года: «Нам нужны люди, пережившие встречу — и живущие и мыслящие свободно». Без оглядки на организацию, переставшую быть истинной церковью. Я чувствую в этом дерзновение юности, сохранившееся в мягком, уравновешенном старце. Мягкой была только форма речи 8 июня 2000 г.

Иногда в человеке сразу чувствуется два возраста. Познакомившись с Зиной, я очень скоро сказал ей: Вам не 34 (мы были еще на Вы), а 8 и одновременно 80. Это и сегодня так. От восьми лет — ёлка, а от 80 или даже нескольких сот лет Старой феи — ёлочная сказка.

Я свое раннее детство потерял из-за слишком быстрого развития интеллекта, и мне долго не хватало внутреннего стержня. Я чувствовал, что теряю себя в разных наплывах. И в 16-17 лет началась моя борьба с этой уступчивостью наплывам. Я стал искать самого себя. И хотя годам к 35 что-то уже сложилось, но не во всем. Мои поиски самого себя продолжались. Пожалуй, я до сих пор углубляю эти поиски. А пласт раннего детства я нашел в тех, кого любил и через любовь принял в себя, хотя только сочувствием, без способности играть с маленькими.

Так вокруг стержня нарастают годовые кольца и сильнее становится ствол дерева. Но оно по-прежнему растет и набирает готовность вернуть свой образ в Божью память.

Григорий Померанц
Два начала века

Тема эта, сперва поманившая, вскоре напугала меня: очень уж много наплывало разношерстного материала. Один из друзей подсказал образ: в прошлом начале — воздвижение башен, в нынешнем — крушение башен. В самом деле, рубеж XIX и XX века — переход к строительству высотных зданий: Эйфелева башня, небоскребы Нью-Йорка. А самое ошеломляющее событие последних лет — падение башен 11 сентября.

Это не значит, что в начале XX в. ничто не рушилось. Шаталось многое. Предчувствием краха жили русские поэты-символисты. Но то были предчувствия. И даже революция 1905—1907 гг. — предчувствие, понятое семью одинокими авторами «Вех», лишь предчувствие надвигавшихся потрясений. Русская провинция воспринимала признаки декаданса, то есть упадка, как очередной курьез моды:

... Все в новом декадентском стиле,
Дешево, мило и практично...

Довоенное время в целом всплывало в разговоре как мирное время. В это мирное время все было устойчиво и дешево. Французы его назвали прекрасной эпохой (*Belle époque*). Потом оно стало восприниматься как затянувшийся конец XIX в., до настоящего XX-го (как сказала Ахматова). И Пастернак назвал переломную дату: «1913 год был последним, когда легче было любить, чем ненавидеть».

Можно процитировать других авторов: Маяковского, Ленина, и заметить, что ненавидеть всегда легко. Но сравнительно с тем кипением ненависти, которое началось после июля 1914 г., начало века кажется идиллией. Был погром в Кишиневе (полсотни убитых). Были столыпинские виселицы. Лев Толстой просил, как Са- вельич, чтобы лучше его, старика, повесили. Сейчас никто этого Столыпину не поминает, тысячи повешенных остались в истории, в памяти постсоветской публицистики их нет, мы на тысячи не мерим, у нас счет на миллионы.

Господствующее сознание довоенных лет твердо верит в прогресс. И не просто верит, оно знает, что растет экономика, растет просвещение, растет наука, техника — а значит, жизнь становится лучше. Достоевский точно описал надвигающийся духовный кризис, но его считали неврастеником. Росло и физическое, и духовное богатство. Мудрецы древности перевелись, но ученые открывали взору современников сокровища былых культур. Макс Вебер, соперник Маркса в объяснении генезиса капитализма, считал решающим достоинством христианства «расколдовывание мира», упразднение множества богов во имя одного, далекого и абстрактного; а протестантская этика ценилась им как важнейший фактор первоначального накопления. На духовном уровне — та же базаровская идея: природа не храм, а мастерская. Вера в прогресс носилась в воздухе. Чеховские герои мечтали о прекрасном будущем России через 200, 300 лет. Революционеры старались ускорить историю.

Сейчас образ светлого будущего рухнул. Но не удалось вернуться и к христианскому итогу истории, к образу тысячелетнего царства праведных после Второго пришествия Христа. Современное сознание осталось в Зазеркалье. Мой друг Михаил Блюменкранц пишет: «...Мы живем в полном информационном хаосе, симулирующем наличие исторического космоса. Все эти бесчисленные события не выстраиваются для нас в осмысленный ряд и по большей части оставляют нас совершенно безучастными. Мир для нас так же мозаичен и фрагментарен, как мозаично и фрагментарно наше существование в нем. Мы наглухо закапсулированы в малом времени своего существования, в серой скорлупе будней. Мы монады без окон (в смысле окна к Целостности бытия. — *Г. П.*), но с телеэкранами (вносящими в дом хаос сталкивающихся осколков. — *Г. П.*). Мы давно уже не живем в историческом мире, но мы охотно за ним подглядываем», подглядываемым за обрывками истории. Поток фактов не останавливается, но ни цели, ни смысла в нем не видно. Тенденции, доступные анализу, ведут в пропасть. Хочется бежать от этой перспективы, освободиться «от кошмара истории», как выразился Мирче Элиаде.

Румыния, из которой происходит Элиаде, действительно пережила историю скорее как ряд кошмаров, чем ряд славных событий. Одно завоевание, одно бедствие сменялось другим. Попытка выступить в истории со своим новым словом здесь, впрочем, была, в 30-е годы, но кончилась плачевно. В кругу Кодряну, создателя железной гвардии, возникла теория (или миф), что итальянский фашизм исходил из культа государства, т. е. плоти истории; немецкий фашизм — из нации (души истории). А в Румынии (центра православия после победы атеизма в России) победит фашизм духа, опирающийся на православное

предание. К этому движению примкнуло несколько талантливых молодых людей. Но Кодряну не поладил с королем и был уничтожен, его штаб разгромлен, талантливые молодые люди эмигрировали во Францию. Элиаде стал известен как исследователь и апологет мифологического мышления — Эжен Йонеско, подправивший свое имя и фамилию на французский лад, разочаровавшись в истории, создал театр абсурда. В одной из пьес он описал фашизацию народа как процесс превращения в носорогов. Элиаде в увлечениях юности не раскаивался; они привели его к открытию ценности мифа.

Наряду с распадом образа истории распадается и образ личности. В мире, лишенном цельности, личность тоже не умеет обрести цельность; заглядывая в себя, она не может преодолеть своей осколенности, «обреченность осколка жизнь сосуда вести». Бродский это написал после разрыва с женщиной, но можно понять самый разрыв как следствие осколочного характера, ранящего ближнего своими острыми углами, следствие неспособности создать одно сердце на двоих в браке или, в аскезе, — гармонию двух образов и подобий, мужества и кротости; мужества в борьбе с соблазном и открытости, *уязвимости*, как учил Антоний Сурожский, — в молитве.

Возможно, эта лаконически изложенная формула не совсем понятна, и я попробую пояснить одну метафору другой, которую уже не раз использовал. Сильно развитая личность подобна заливу океана. У нее есть свои берега, иногда очень своеобразные, неповторимые, как в норвежских фиордах, но все фиорды открыты океану, и в океане — их цельность, их общая бесконечность. Другое дело, если выход в океан загроможден или полностью закрыт и личность со всех сторон окружена берегами, отделена от других. Такой закрытый человек может полюбить, но не может ужиться с любимым. Другой — по выражению Сартра — отымает у него пространство, не сливается с ним, а теснит его. Стиснутые вместе, в семье или на пороге семьи, люди начинают ненавидеть друг друга и с болью расстаются. Разумеется, все это метафоры — метафора океана, метафора замкнутого водоема. Но эти метафоры помогают понять внутренние трудности современного человека, не находящего цельности ни в личных контактах, ни в глобальных исторических движениях.

Если не говорить об интеллектуально отсталых политиках США, полных спеси прошлых лет, Запад растерян. История перестала быть бременем белого человека, как выразился Киплинг, мандатом на господство, на колониальное управление азиатами и африканцами, застывшими в своей нищете. Сегодня ветер с Востока задувает ветер с Запада, по крайней мере спорит с ним — и в экономическом развитии, и в международной политике, и в религии. Восточные учения, воспри-

нимаемые сплошь и рядом как *техника* экстаза, увлекают постхристианский Запад, оспаривают монополию христианской традиции.

В начале прошлого века казалось, что гражданские цели и ценности Запада с триумфом распространяются на Восток, взрывая империи (в России, Иране, Китае). Сейчас можно говорить о кризисе свободы. Защита прав человека не выдерживает натиска событий. Приходится удерживать поток иммигрантов, бороться с глобальным террором, и впереди маячит необходимость каких-то ограничений либеральной рыночной экономики, каких-то лимитов развития, сохраняя саму жизнь на Земле от разрушительных триумфов науки.

Вера во всемогущество разума уступает место сознанию его беспомощности в поисках *смысла* личной жизни и смысла истории. От единичного случая духовного кризиса в «скучной истории» чеховского профессора мы пришли к космическому абсурду Беккета — «пустое небо, каменная земля, сжавшийся человек».

Мы снова, как 2000 лет тому назад, в тупике цивилизации, из которого выход только внутрь, в тот внутренний мир, где рождаются новые смыслы, в царство духа, но туда можно войти только нищим, оставив позади свое богатство информации, эрудиции, принципов и правил, — по Божьему следу, как сказал Антоний. Для тех, кто видит это, положение не безнадежно. Но кто видит?

Таких людей немного, но они разбросаны всюду, даже в Америке. Иногда кажется, что родственники князя Мышкина, гонимого «религиозными филологами» на родине, нашли политическое убежище в американском кино. «Форест Гамп» и «Зеленая миля» очень близки мне. Но в целом страна тем меньше способна к повороту внутрь, чем больше она процветает во внешнем. Развитие науки и техники делает нас пленниками строгих инструкций, созданных для спасения от капризов наших машин. Они все больше захватывают наше внимание. Мы не можем пренебрегать инструкциями — иначе будет поломка, авария, катастрофа. А в часы отдыха электроника заполняет остатки восприятия грудой бессвязных фактов. У нас не выходит поворота к тому, что нужно душе, нет самой привычки уходить в созерцание. И сегодня труднее повернуться к царствию, которое внутри нас, чем 2000 лет тому назад.

Потеря контакта с собственной глубиной — начало всех грехов, говорил Антоний Сурожский. Вытащенные на поверхность, мы живем в царстве греха. Само понятие глубины у нас подменено глубиной психологией, глубины которой, фигурально говоря, какие-то подкожные, поверхностные, целиком доступные анализу. Научно обоснованное освобождение биологических программ агрессии и секса от дисциплины культуры делает сердце беспомощным и создает тип

«Чингисхана с телеграфом». Предсказанный еще в XIX в., он становится героем нашего времени в XX в. «Техника во главе с людьми, овладевшими техникой, может и должна творить чудеса», — сказал Сталин. На первое место в общественной жизни выступает техника управления. Техника манипулирования людьми. Не человек овладевает техникой, а техника овладевает человеком и подчиняет его очередному манипулятору, иногда ничтожному.

Мы не можем упразднить мир машин, металлических и социальных машин, не можем упразднить втянутости в процесс нарастающего ускорения и расширения техногенного мира. Не можем рывком остановить рост населения в Азии, Африке, Латинской Америке, а его без современных методов хозяйства и не прокормить. Но можно осознать *задачу* поворота вглубь, задачу равновесия фаустовской культуры дела и забытой культуры созерцания. Отдельный человек, достигнув зрелости, перестает расти и перестает гордиться тем, что он растет физически, и измеряет свой дальнейший рост не в сантиметрах. Примерно такой поворот необходим и в целях национального и мирового развития. Сперва осознаем цели, а потом найдутся и средства. Цели же давно известны. Потеря ориентации произошла не оттого, что буква Библии устарела, а от упадка чувствительности к духу священных книг, от потери прикосновения к непостижимой тайне, одухотворяющей жизнь. Ее можно только почувствовать глубиной сердца, ее нельзя научно познать и передать логически организованным текстом — только притчами, подобиями, стихами, иконой. И такое понимание постепенно возрождается.

Сквозь шум цивилизации пробиваются тихие голоса людей, которые поняли это. Голос Бубера, внезапно осознавшего, что все рассуждения о Боге в третьем лице мало чего стоят, что реальность Бога обнаруживает себя только в разговоре Я-Ты, от сердца к сердцу, в молитве. Голос Мертона, что научить созерцанию так же невозможно, как научить человека быть ангелом, но Бог сам идет навстречу созерцателям и как бы прикасается к ним. Голос Антония, что «трезвость важнее вдохновения» (или, в более осторожной формулировке — необходимо равновесие вдохновения и трезвости, избегая экстаза, разрушающего все ориентиры).

Можно, пожалуй, сказать, что все проблемы сводятся к одной: к восстановлению равновесия. И во внутреннем строе личности, и в развитии цивилизации.

Это равновесие двух вниманий: внимания к инструкциям техногенного мира и к целостной глубине, равновесие духовного богатства и духовной нищеты.

Это равновесие между верностью выбранному пути в глубину и

пониманием близости всех глубин.

Это равновесие между деятельностью человека и природой, между ноосферой и биосферой. Здесь есть своя буква, юридические нормы, правила поведения и свой дух, без которого буква мертвеет и легко сводится к соблюдению формальностей.

Наконец, это равновесие между людьми разной вовлеченности в духовную глубину, разных уровней духовной иерархии. Одни непосредственно переживают то, что Антоний назвал встречей, другие общаются к ней через любовь к пережившим встречу, к образам встречи в искусстве, наконец, через участие в *культе* встречи.

Людей, к которым можно тянуться, не много. Но и в прошлом Нерон был гораздо более известен современникам, чем апостол Павел. Если человечество, перестав расширять власть над природой, обратит свои силы на духовный рост, христианская гипербола тысячелетнего царства станет приближением к действительному итогу истории. В противном случае Бог найдет себе собеседников в других галактиках. Собеседники Бога — зерна космической жатвы. Остальное отпадает, как полова.

Если с этой точки зрения взглянуть на два начала века, то взрыв духовных сил сто лет тому назад открывается взору как бунт против мира рассудка и здравого смысла, *бунт*, смешавший добро и зло — и вообразивший себя выше добра и зла, вплоть до самопародии в стихах Брюсова:

Хочу, чтоб всюду плавала
Свободная ладья.
И Господа, и дьявола
Хочу прославить я.

Сейчас, ценой огромных жертв, ценой страшного исторического опыта, достигнут известный шаг вперед в различении духов, в отделении света от тьмы. Цветаева любила огонь-бел, огонь любви к Богу, но не в этом огне жила. Жил, из поэтов — ее современников, разве только Рильке. Поворот к белому огню начался в русской поэзии с Даниила Андреева, захватил позднего Пастернака и сегодня этот огонь пронизывает все творчество Зинаиды Миркиной.

Нынешняя церковь в России в целом скорее ниже, чем выше дореволюционной (так же как ниже Серебряного века современная поэзия). Но не было сто лет тому назад такого митрополита, как Антоний Сурожский. Для дореволюционного сумбура характерное лицо — Нилус, издатель записок Мотовилова о Серафиме Саровском, и он же — издатель полицейской фальшивки, Протоколов сионских мудрецов.

Дух революции продолжает жить в своего рода большевизме ан-

тибольшевизма. Этот дух проявил себя и в солженицынском стиле полемики, напоминающем яростную полемику Ленина, и в разрушительном пафосе реформ. Но не было до опыта революции такого тонкого различения добра от *идеи добра*, как в записке Иконникова у Василия Гроссмана и в стихах Галича, Коржавина. Не было понимания, что стиль полемики важнее предмета полемики, что без изменения стиля полемики невозможен диалог и мирное распутывание кровотокающих политических узлов.

Зинаида Миркина

Различение духов

В своем романе «Дар» Набоков рисует Чернышевского. Рисует зло, слишком зло. Чернышевский был, по свидетельству современников, человеком добрым и даже жертвенным. Но это был человек, который во имя Добра призывал Русь к топору.

Набоков говорит о Чернышевском с сарказмом. Говорит, что Чернышевский пишет так, будто у него руки в столярном клею и обе левые. У него — голые схемы. Ничего, что поразило бы глаз и потрясло сердце. Да и откуда этому взяться? Чернышевский — слепец, он ничего не видит вокруг себя.

Набокова приводит в ужас убожество Чернышевского, умудрившегося проехать через всю Россию в коляске и ни разу не взглянуть на окружающий пейзаж. Он всю дорогу читал книжки. Видеть мир Божий — праздное занятие, совершенно не интересовавшее его.

XIX век — век разума, век Дела, век набиравшего силу атеизма. Атеизма, приходившего на смену не столько истинной религиозности, сколько привычкам веры, основанной на бездумном послушании, на заведенном предками порядке.

Образованный человек стал задумываться — и порядок зашатался. Уже в начале века в литературе появился Демон, который «презрительным окинул оком творенье Бога своего, и на челе его высоком не отразилось НИЧЕГО». Ничего достойного благословения он не видел. А презирать было что! На страницах книг появляются высоколобые люди, подобные Демону. Они смотрят не вверх, а вниз. И там достаточно пошлого, убогого, достойного презрения.

Онегины и Печорины возвышаются над всей пошлой, скучной толпой, а заодно над всем обыденным. Все творение Боже кажется им таким обыкновенным! Таким недостойным внимания!

Ощущение своего превосходства, загадочный взгляд сверху вниз — ото всего этого веет скрытой силой, не получившей применения. Это завораживает. И как лермонтовская Тамара к Демону,

в плен к новым героям времени попадают одна за другой русские женщины, цельные натуры, сохранившие способность любить — ту самую способность, которую потеряли их избранники.

«Любить? Но кого же? На время — не стоит труда, а вечно любить невозможно...»

И вся жизнь, «как посмотришь с холодным вниманием вокруг, такая пустая и глупая шутка».

Пустота. Тоска. От которой надо бежать. Но куда бежать от самого себя? Чем заполнить пустоту? Одни так и остаются в чайльдгарольдовой позе, а другие бросаются улучшать этот никудышный мир, переворачивать, переделывать.

Ну, а сам презирающий или переделывающий мир человек? Каков он? Может быть, дело было не столько в окружающем мире, сколько в нем самом? В том, что у него внутри? Может быть, надо прежде всего что-то делать с душой своей, а не с другими людьми?

Этот вопрос ставит великая русская литература XIX века. Прежде всего Достоевский и Толстой. И на страницах романов, особенно у Достоевского, идет великое сражение набравших силу демонов, а заодно и мелких бесов, — с душами, носящими в себе Бога.

В «Братьях Карамазовых» целая глава называется «Рго и сопйа». И надо сказать, дьявол оказывается сильным противником. Вся логическая линия, вся доказательная часть на его стороне. Божьи помощники могут только лепетать. Хотя этот беспомощный лепет оказался той силой, на которой чудодейственным образом удержался мир после всех катастроф века грядущего. Но об этом речь впереди.

На страницах романов ничего не ясно, кроме одного: сами высоколобые, опирающиеся на дьявольскую логику, глубоко страдают. На логику опирается ум. А душа задыхается и борется с умом. Как ни отрицается любовь, она пробуждается в душе. Душа любит, а ум не верит любви. И задает вопрос за вопросом. Однако направляются эти вопросы не внутрь, а вовне. Есть ли Бог? Есть ли бессмертие?

И только лепечущие, бесконечно страдающие, но совсем не расколотые, не задают никому вопросов, а напротив — отвечают, но так, что ум этого принять никак не может.

— А тебе что твой Бог делает? — спрашивает Раскольников Соню.

— Все делает, — отвечает задушенная жизнью, бесконечно униженная женщина.

И другой больной герой, разрываемый (и разорванный) людьми на части, говорит знаменитые слова: «Как это можно видеть дерево и не быть счастливым?».

Видеть... Вот кто уж не проехал бы Россию, не глядя на нее. Вот кто понял, что в каждом закате, в каждом луче и в каждом дереве

скрыта великая Весть. Этот человек знал, что говорит, когда произнес свою такую затрепанную, обесцененную сейчас фразу: «Мир красота спасет».

Одного современного духовного учителя спросили: что приведет к спасению? Он ответил: «умение ВИДЕТЬ».

— Видеть что?

— Что золотое ожерелье, о котором ты мечтал, висит у тебя на шее; что змея, которой ты так боялся, — веревка на земле».

По-настоящему видеть — значит доглядеть мир до сути. До Сущего. До Бога. И поняв, что есть Бог, осознать: всё, что тебе нужно, у тебя есть.

Невероятно. Как? При всех тех ужасах, которыми полон мир? Но ведь это — то самое Сонино видение, та уверенность, что Бог ей всё делает...

В другой притче у Учителя спрашивают, что значит быть гением? Он отвечает опять то же: «Уметь видеть».

— Видеть что?

— В гусенице — бабочку. В яйце — орла, в грешнике — святого!»

Видение Сути, которая переходит в провидение. Суть не на поверхности, суть внутри. И если смотреть внутрь...

И если розу доглядеть до чуда...

Но как не видеть?! Как же не понять Откуда
эта розовость, откуда,
Каким потоком льется благодать?

Упругость лепестков... Какая сила В одном
зерне была заключена И так неожиданно
лепестки раскрыла И держит... держит...
Боже, - вот она!

А как благоухает! Неужели Весь этот вал не
опрокинул вас И вы не услышали? Не
прозрели?
Но как же так... Ведь — вот же, вот сейчас...

А если душу доглядеть до Бога...
Но как не видеть? Как же это — нет?..
Нас всех на свете бесконечно много,
Но если — насквозь, если напросвет...
Но если внутрь волной неодолимой
Навзрыд и навзничь... Если суждено

До дна себя... О, только бы не мимо,
А в глубину, в которой мы - одно.

Итак, все упирается в умение видеть, которое является, может быть, самым трудным умением. Но прежде всего должна быть поставлена задача: учиться видеть. И ее пытались ставить великие писатели, но мало кто из читателей понял глубину и насущность этой задачи.

И XIX век в целом такой задачи не поставил. У него была задача другая: прежде всего переделать мир, — оставив «переделывателей» самих, какие они есть, дать себе свободу — свободу всем духовным силам, заключенным в человеке, не разбираясь — от Бога эти духи или от дьявола.

Свобода! — Вот первое слово, которое выносил в себе XIX век и с которым мир вошел в век XX. Но что такое свобода? У нее много лиц.

Я - Божий раб. И нет раба покорней.
А вы свободны. И гордитесь вы
Свободой веток от ствола и корня,
Свободой плеч от тяжелой головы.

Итак, свобода частей или свобода Целого? Свобода меня от Бога или свобода Бога во мне? Истинная свобода — это свобода не только моя, но и свобода всех, ничуть не ущемляющая моей, и моя, ничуть не ущемляющая никого другого.

Это трудная свобода, которой многие и многие предпочитают рабство. Это внутренняя свобода, не зависящая ни от чего внешнего. Для такой свободы надо прежде всего обратиться внутрь, в глубину. А ведь сделать шаг по вертикали труднее всего. По горизонтали шагать легче. Как легче ходить по земле, чем взбираться по канату. Хотя сравнение неточно, недостаточно. Для обретения той свободы, которая является нашей общей, единой свободой, надо дойти до нашей общей всем единой Глубины.

Наш мир божественно прекрасен,
И завещал ему Творец - Нет, не
свободу, а согласие Всех линий,
красок и сердец.

Какая, Господи, свобода?
Ведь за волною вслед волна,
Как раб, не знающий исхода,
Опять бежать обречена.
Какая есть на свете воля,
Когда морской ревущий вал,

Когда бескрайний ветер в поле Не
знает, кто его послал?

Но в совершенстве горных линий
Нам на немых скрижалях дан
Несокрушаемой твердыней
Божественно прекрасный план.

И каждый луч, что в тучах брезжит,
Излом горы - как слом в судьбе,
Неотвратим и неизбежен И
неподвластен сам себе.

И надо нам искать вот эту
Неотвратимость, тот приказ,
Что был на свете раньше света,
Что был нам послан раньше нас.

Есть только лишь одна свобода Для
гор и вод и твари всей - Закон
незримой сверхприроды:
Согласье всех ее частей.

Всякая другая свобода остается мечтой, далекой от реальности, фантомом. И именно к такой фантомной свободе прорывался XX век. Свобода мечты, свобода утопии, свобода всем духам, таящимся в глубине. Жажда освободить, еще не различая, кого именно мы освобождаем. Бутылка была закупорена. Ее надо откупорить и выпустить из нее джинна, что бы он ни принес с собой. Григорий Соломонович уже приводил стихотворение Брюсова, похожее на самопародию:

Хочу, чтоб всюду плавала
Свободная ладья.
И Господа, и дьявола Хочу
прославить я.

Но Брюсов отнюдь не самая замечательная личность начала века. И далеко не лучший из поэтов. Обратимся к Блоку. Поэт действительно великий и властитель дум своего времени. Он стал завоевывать публику, начиная с цикла стихов о Прекрасной Даме. Здесь он еще светлый рыцарь, идущий за Вл. Соловьевым. Он полностью зачарован им. Но Соловьев — человек глубокого духовного опыта. Блок захвачен Соловьевым, но собственный его опыт бесконечно меньше. Он только мечтает о том светлом мире, в котором Соловьев живет.

Стихи о Прекрасной Даме художественно слабые. Настоящий Блок начинается для меня с других сборников. В них почти всюду лирический герой — человек раздвоенный, расколотый на мечту и действительность, любящий свою мечту и чувствующий, что есть сила гораздо большая, чем мечта, что мечта бессильна; и все же он не может и не хочет отказаться от своей светлой мечты.

Он весь — дитя добра и света,

Он весь — свободы торжество, —

скажет он о себе самом в одном из последних своих стихотворений. Но как добраться к действительному, а не грезящемуся свету?

Он весь — свободы торжество... Но какой свободы?

В поэме «Соловьиный сад» есть как бы две свободы. Есть море, куда герой каждое утро спускается, погоняя осла, и подымается, нагрузив этого осла камнями для строительства. Он — рабочий. А по дороге к морю — соловьиный сад.

Вдоль прохладной дороги меж лилий

Однозвучно запели ручьи.

Сладкой песней своей оглушили,

Взяли душу мою соловьи...

Соловьиный сад, в котором смеется и поет девушка в белом платье; сад, где все благовоно и прекрасно, сад, обнесенный недоступной оградой, с которой свисают розы. И вот ограда расступилась, и он вошел в сад и утонул в наслаждении. Сколько времени так прошло, он не знает. Наверно очень много, но вот до него стал доноситься мерный звук прибоя. И морской прибой заглушил соловьиное пенье. Он вырвался из прекрасной мечты, вернулся к суровой Действительности. И там уже все оказалось другим:

И... с тропинки, протоптанной мною,

Там, где хижина прежде была,

Стал спускаться рабочий с киркою,

Погоня чужого осла...

Две свободы столкнулись друг с другом. За видимостью рабства скрывалась другая свобода, свобода другим силам души. Эта свобода желаний сильнее, чем манящая мечта. И все-таки и она не вполне ЕГО свобода. Это свобода — отнюдь не самих светлых сил. Он не может оторваться ни от той, ни от другой.

Мечта и действительность никак не сошлись вместе, как не сошлись в реальности ангелическая девушка в белом платье и стихийная страстная сила — воспетая в Фаине и Снежной маске.

Стихия, живая, сильная, опрокидывающая всё. Он заморожен ею. Она — сила жизни. Правда, кажется, безразличная к добру и злу. А он в глубине души — дитя добра и света. И снова вопрос: как же это совместить?

Кто такая — Незнакомка Блока, та, что среди всей грязи и пошлости остается маняще-прекрасной; та, которой не касаются крики пьяных, около которой сам собой рассеивается угарный чад. Кто она, прорезающая своей красотой этот уродливый мир, как тонкий луч прорезает мрак?

Прекрасная Дама или Фаина? Или, может быть, они сливаются вместе в каком-то далеком, неизвестном «где-то»?

И веют древними поверьями Ее
упругие шелка,
И шляпа с траурными перьями,
И в кольцах узкая рука...

Но вот другое стихотворение, из цикла «Вольные мысли» — «В дюнах»:

Я не люблю пустого словаря Любовных слов
и жалких выражений:
«Ты мой», «Твоя», «Люблю», «Навеки твой».
Я рабства не люблю. Свободным взором
Красивой женщине смотрю в глаза И
говорю: «Сегодня ночь. Но завтра -
Сияющий и новый день. Приди.
Бери меня, торжественная страсть.
А завтра я уйду — и запою».

Так думал я. И вот она пришла И встала не
откосе. Были рыжи Ее глаза от солнца и
песка.
И волосы, смолистые, как сосны,
В отливах синих падали на плечи.
Пришла. Скрестила свой звериный взгляд С
моим звериным взглядом. Засмеялась
Высоким смехом. Бросила в меня Пучок
травы и золотую горсть Песку. Потом —
вскочила И, прыгая, помчалась под откос.
Я гнал ее далёко. Исцарапал Лицо о хвои,
окровавил руки И платье изорвал. Кричал
и гнал Ее, как зверя, вновь кричал и звал,
И страстный голос был, как звуки рога.

Она же оставляла легкий след В зыбучих
дюнах и пропала в соснах,
Когда их заплела ночная синь.

И я лежу, от бега задыхаясь,
Один, в песке. В пылающих глазах Еще
бежит она - и вся хохочет:
Хохочут волосы, хохочут ноги,
Хохочет платье, вздутое от бега...
Лежу и думаю: «Сегодня ночь И завтра
ночь. Я не уйду отсюда,
Пока не затравлю ее, как зверя,
И голосом, зовущим, как рога,
Не прегражу ей путь. И не скажу:
«Моя! Моя!» - И пусть она мне крикнет:
«Твоя! Твоя!»

Вот оно, рабство, которое притягательнее свободы. Но разве он ощущает рабством этот бег, этот хохот, этот разгул всех стихийных сил? Он их сдерживал раньше, но именно им-то и надо дать свободу. Вот что он принял сейчас. Побеждает — свободная стихия. Да, борьба. Да, звериное начало — природное естественное начало. Оно — чисто. В нем нет пошлости. Пошлость — вот от чего отталкивается Блок. И пусть стихия безразлична и добру и злу, но в ней жизненная сила и ей — свобода!

А как же Прекрасная Дама, белое платье, певшее в луче? Это — мечта. А в жизни — прекрасная стихия, которая может обернуться другим лицом, ужасным, как скифы, «своею азиатской рожей». Все равно — правда за жизненной силой, за стихией, могучей, как морской прибор.

Но так как и от небесной мечты отказаться невозможно, то Блок насильственно соединяет оба начала и впереди кровавой революционной толпы в белом венчике из роз появляется Иисус Христос.

Договорившись до этого, Блок замолкает. Душа поражена немотой. Что-то спуталось. Произошла подмена — полное неразличение духов. И Блок еще при жизни умирает.

Другой поэт, Вячеслав Иванов, отнюдь не был поражен немотой. В так называемой «башне Вячеслава Иванова» понятия добра и зла так перемешались, так спутались все нравственные ориентиры, что подчас самые здравые умы теряются в бездорожье. Творится какая-то новая мораль и высоким слогом говорится о весьма низких вещах. Все называется не своими именами, все переосмысливается на свой лад — то есть подлаживается под декадентские извращенные инстинкты и в

воображении своем приближается к сверхчеловеку. Но это в воображении. В действительности с темных сил подсознания снимаются запреты культуры.

О задаче духовного роста и преображении человека нет речи. Воображение заменяет преображение. Преображенный человек не живет в плену воображения. Он причащается Безграничной Действительности, и душа его чувствует Целое Вселенной своим истинным «Я». И это смиреннейшее и ответственнейшее чувство. Такая душа знает, что, ударив кого-нибудь, она ударяет себя; отняв жизнь у кого бы то ни было, убивает себя. Душа, которая имеет высшее веденье — ведение связи всех со всеми. Только такая душа может быть воистину свободной. Но в начале XX века провозглашается другая свобода: непреображенный ограниченный человек хочет стать безгранично свободным. Взрыв всех стихийных сил. Таким взрывом и была революция. И ее подготовили не только прямые ее теоретики, не только слепцы, звавшие Русь к топору, но и поэты и мыслители, освобождавшие стихию в своих душах. Когда Пастернак спросил Марину Цветаеву о ее поэме-сказке «Молодец» — «Это о революции?», она ответила: «Это и есть сама революция!» Сила стихии, вырвавшаяся на свободу и опрокинувшая все на своем пути.

Но Марина Цветаева отнюдь не прославляла упыря. Она была им захвачена, порой раздавлена, но она не только сливалась со стихией, она и боролась с ней. Была зачарована, но приходила в ужас от своей зачарованности и восставала против «чары».

В письме Пастернаку 26-го года она говорит о трех видах огня, подразумевая под этим три вида любви. Душу ее берет в плен огонь-синь — та самая стихия, которая, конечно же, чище, благороднее простого влечения тел друг к другу. Однако сильнее всего ее сердце притягивает другой огонь — «огнь-бел» — пламя без дыма. Это любовь к Богу. Огонь, не гаснущий никогда и не сжигающий никого. Огонь, оставляющий за собой только свет и никакого пепла. За ее стихийными героями тянутся огромные доскутья пепла (так пишет она в том же письме). А любит она по-настоящему тех, за кем этих доскутьев нет и в помине — один свет.

Да, любит носителей белого огня. В самой же слишком часто пылает огонь синий. Она никак не может опрозрачить его, довести, что называется, до белого каления. Она строго судит себя за это. Суд ее слишком прямолинеен, и я с ним не могу согласиться (об этом подробнее в моей книге «Огонь и пепел», глава «При свете совести»).

Но сама постановка вопроса заслуживает глубочайшего уважения.

Во всяком случае, она различает духов. И белый венчик из роз на своего упыря никогда не наденет.

Она знает, что такое истинная белизна, только не верит, что она может победить в искусстве (разве что в исключении — у Рильке).

То, что свобода заводит в пропасть не только крыс, но и детей, она знает и предупреждает об этом в своем «Крысолове». Однако это великое прозрение прозвучало уже после революции. К началу XX века все увлечены свободой. Ее прославляют на все лады, в самых разных группировках. «Свобода приходит нагая, на сердце бросая цветы», — пел чистосердечный Хлебников. Свобода? Люди не спрашивают только — свобода чего? Свобода от чего? Свобода чему?

И вот приходит XX век со своей торжествующей свободой — свободой кровопролитий, свободой ненависти, свободой звериных инстинктов. Все против всех. Брат на брата. Сын на отца.

Волошин принимает революцию как Божий бич, но он различает духов и уже не обманывается никакими красивыми лозунгами. Кровь льется реками. И сколько еще будет впереди! И все во имя свободы, во имя Добра! Вот отчего придет в ужас Василий Гроссман и его уникальный герой Иконников. Добро идет на Добро. Каждая группа пишет на своем знамени «Добро» с большой буквы — и торжествует зло!

Есть от чего отчаяться и потерять всякую веру в Добро, как и саму веру в Бога. Так и выходит с Иконниковым.

XX век разбивает все иллюзии, все утопии, разоблачает все громкие идеи. Все это на глазах превращается в прах и пепел, как подарки Воланда. XX век, начавшийся с великих надежд на освобождение от всяческих оков, доходит до такого удушения всего живого, какого, кажется, еще не знала история. В таких масштабах — не знала.

Развалины веры, развалины утопий, развалины идей. «Сверхдуховная», романтическая Германия рушит и душит целые народы. «Святая Русь» взрывает храмы, морит миллионы людей голодом, гноит в лагерях.

Что же остается? То, что нельзя разрушить, ни заморить голодом, ни сжечь в газовых камерах.

Что же это? Тот ускользающий от всех представлений и определений живой Бог, который может обойтись без храмов и даже без имени. Тот самый, о котором известно только одно — то, что Он есть Любовь.

Вот это, оказывается, осталось. Осталась не истребимая ничем, существующая вопреки всей логике, всей очевидности, не написанная ни на каких знаменах ЖИВАЯ ДОБРОТА, дурацкая доброта — как выразился Иконников.

Простая крестьянка, оказывающая помощь смертельному врагу,

вряд ли помнит заповедь о любви к врагам. Она, может, и Евангелия не читала, но в ее сердце написано, что всякая боль — ее боль. И ничего не может поделаться она с этим неразумным сердцем, с дурацким своим сердцем. А Иконников, видя это, находит вот здесь, в ее живом сердце, потерянного Бога. И воскресает. Он потом умрет в нацистском лагере жертвенной смертью подвижника. Но Дух его уже воскрес.

Один за другим в литературе XX века появляются герои, которые проходят через ад и выходят оттуда с цельными, высветленными душами, выходят чистыми и несломленными.

Те вопросы, которые теоретически ставили герои Достоевского, жизнь ставит практически перед людьми XX века.

И вот, рождаются Иовы XX века, которые, лишась всего, остались лицом к лицу с Тем, Кто жив всегда, *жив без всего*, — с живым Богом. Отодвинуты в сторону все друзья Иова, все идеологи вместе с их идеями, и происходит разговор Сути жизни с живым сердцем.

Из пепла встает Феникс — Дух, которому не нужны никакие подпорки. Он не опирается ни на что внешнее.

Ничего нет. Но жизнь есть. Любовь есть. Свет есть.

Так рождается отнюдь не новая, но вечная религиозность, очищенная от всех временных и пространственных напластований.

Да, ничего нового. Однако все рождается заново. Мы не повторяем истины с чужих слов. Мы их рожаем здесь и сейчас.

Мы немало говорили об Антонии Блуме. И все-таки еще раз обращусь к нему. Этот митрополит сказал в конце жизни: «как хорошо, что церковь и попы не испортили во мне живого чувства Бога».

Есть рассказ о другом духовном учителе, который ко всеобщему удивлению не одобрял идею религиозного воспитания молодежи. Он объяснил это так:

— Сделайте юноше прививку, и вы убережете его от заболевания истиной, когда он повзрослеет.

Речь идет в обоих случаях, конечно, не об упразднении всякого религиозного воспитания, а об изменении его — о замене готовых ответов умением находить их самому каждый раз заново.

Необходимость опыта, а не приобретение знаний и убеждений, — вот что стало насущностью. «Мы теряем шанс сделаться из церковной организации церковью», — сказал Антоний. А церковь, наполненная живым Духом, это собрание тех, кто так или иначе ЗНАЕТ Бога, у него был опыт ВСТРЕЧИ.

Если без этого опыта так или иначе можно было обходиться раньше, то в жесточайшем XX — уже нельзя. И XX век заново открывает то, что нельзя разрушить, что невозможно отнять. «Учись падать и дергаться ни на чем, как звезды». Эти слова из сказки

Михаэля Энде могли бы быть девизом XX века. И еще: учись видеть то, что есть. Не мечтать, не уходить от Действительности, а различать Ее сквозь весь ужас и всю суету, которые Ее заслоняют.

Великий поэт и духовидец XX века Даниил Андреев не мечтает о Боге, он ЗНАЕТ Бога.

И королева Агнесса из его ранней поэмы «Песня о Монсаль- вате» видит не красочный мираж, а то, что есть, — видит сущее. И оно оказывается непредставимо прекрасным. Она видит это и пре- ображается. Сцена просветления Агнесы принадлежит к самым высшим страницам мистической литературы:

Спускался таинственный час на природу.
 И пчелы, и птицы, и ветер утих,
 Как будто сомкнулись прохладные воды И
 низкое солнце алеет сквозь них.
 Дорога исчезла, но всюду, как вести
 Младенческих дней непорочной земли,
 Сплетались у ног мириады созвездий,
 Качаясь и млея вблизи и вдали, —
 То желтых, как солнце, то белых, как пена,
 То нежно подобных морской синеве...
 И сами собой подгибались колена,
 И губы припали к мягкой траве.
 — И не плоть ли Твоя это, Господи,
 Эти листья и камни и реки,
 Ты, сошедший бесшумною поступью
 Тканью мира облечься навеки?..
 Ведь назвал Ты лозу виноградную Своей
 кровью, а хлеб — Своим телом, —
 И навзничь склонилась в глубокие травы,
 Темнеющий взгляд подняла в вышину,
 Где чудно пронзенные светом и славой
 Текли облака к беспечальному сну.
 — Дивно, странно мне... Реки ль вечерние
 Изменили течение прохладное,
 Через сердце мое — текут мерные,
 Точно сок сквозь лозу виноградную...
 Вот и соки зеленые, сонные...
 Смолы желтые, благоухающие...
 Через сердце текут - умиленное...
 Умолкающее...
 Воздыхающее...

Будто благовест!.. Благовест!.. Благовест!..
Будто Сердце Единое в мире!..

Этот свет помог Андрееву пройти через его тюрьмы.

Если XIX век выносил мечту о свободе и задачей начала XX века была именно свобода, то к началу XXI века мы поставлены лицом к лицу перед другой задачей — задачей преображения. Истинного духовного роста и преображения.

Эту задачу чувствовали и Цветаева и Пастернак. Последний часто говорил, что все написанное им — не то, не о том, корил себя за то, что отвлекается от настоящей задачи. В письме к своей кузине Ольге Фрейденберг он даже называл себя посредственностью, потому что истинный гений — этот тот, кто так же просто пишет о Бесконечности, как Бунин о какой-нибудь осени.

Но в стихах его были прорывы к неслыханной простоте, и в позднем творчестве он вполне достиг ее.

В родстве со всем, что есть, уверясь И
знаясь с будущим в быту,
Нельзя в конце не впасть, как в ересь,
В неслыханную простоту.

Неслыханная простота — что это такое? Цельность души, которая нашла то, что потерять невозможно. Может быть, то самое уменьье видеть золотое ожерелье, о котором ты мечтал, висящим у себя на шее. А змею, которой боялся, — простой веревкой на земле. — Видеть вещи такими, какие они есть в глубине своей, в своем сущном.

«Я сейчас предсказывать способна вещим ясновиденьем сивилл», — говорит пастернаковская Магдалина. Великое горе, потеря самого любимого — смысла всей ее жизни, дает ей другое зрение.

Завтра упадет завеса в храме,
Мы собьемся вместе в стороне,
И земля качнется под ногами,
Может быть, из жалости ко мне.
Брошусь на землю у ног распятыя,
Обомру и закушу уста.
Слишком многим руки для объятья
Ты раскинешь по концам креста.

Строки сверхгениальные. Непредставимые строки.

Раскинутые по концам креста руки обнимают мир. Обнимающий всех и вся прибит к кресту. Крест — объятья.

Для кого на свете столько шири,

Столько муки и такая мощь?
Есть ли столько душ и жизней в мире?
Столько поселений, рек и рощ?

Эти строки не были поняты, даже таким поэтом, как Иосиф Бродский. Магдалину он считал лучшим стихотворением Пастернака, но стих о распятии был им воспринят так же, как и презируемым им А. Вознесенским. Оба они поняли это как женскую ревность Магдалины ко всем, кого Иисус может обнять, кроме нее... Женская страсть, уровень стихийных страстей — здесь, сейчас?!

Не понял Бродский и последней поразительной, великой, как целое небо, строфы — она показалась ему пустой, простыми переливами буквы «у».

Но пройдут такие трое суток И
столкнут в такую пустоту,
Что за этот страшный промежуток Я
до Воскресенья дорасту.

Именно в этой строфе лаконично до предела сформулирована задача XXI века. Дорости до Воскресения — это и значит ПРЕОБРАЗИТЬСЯ. Воскресение — не зрелище. Истинное воскресение есть ПРИЧАСТИЕ ВЕЧНОСТИ. И сердце может дорости до этого так же, как гусеница до бабочки, яйцо до орла, грешник до святого.

Наша задача — перерости себя и дорости до Бога, по образу и подобию которого мы созданы. До Того, свобода Которого не ущемит ничьей свободы и явится истинной свободой всех. До Того, Кто связан с каждой звездой и с каждой душой, Кто обнимает, пронизывает всех и вся С собой и в Ком все воскресают.

Дорости до Воскресения — вот она, задача XXI века. Вот с этой задачей мы пришли к его началу. Трудная задача. Бесконечно трудная. Но сейчас уже от нее невозможно отлынивать. Ее надо решать, чтобы выжить.

Указатель имен

- Абеляр Пьер 149
Августин Аврелий Блаженный 98,
107, 150, 164, 188, 244, 257, 270
Аверинцев Сергей Васильевич 202,
203
Аверинцев Сергей Сергеевич 70, 71,
76, 77, 84, 85, 199-214, 328, 329
Аверинцева Наталья Петровна 200
Аверинцевы 203, 204 Адлер Альфред
165 Айхенвальд Юрий
Александрович 169, 170, 239
Аксенов Василий Павлович 165
Александр Невский 115, 202
Альтшулер Борис Львович 24
Ангелус Силезиус (собств. Иоганн
Шефлер), Силезский Вестник 166,
178, 179, 278, 298
Андреев Даниил Леонидович 159,
178, 270, 335, 348, 349 Антоний
Великий (Святой) 22, 23, 157, 252
Антоний Марк 223 Антоний
Сурожский (Андрей Борисович Блум)
43, 100, 101, 103-105, 133, 139, 145,
159, 165, 167, 178, 203, 205-208, 213,
214, 244, 247, 251, 252, 254-256, 284,
309, 311-313, 329, 332-335, 347
Арджуна 36, 39 Аристотель 103, 183
Арним (урожд. Брентано) Беттина
(Элизабет) фон 54, 116 Аспазия
(Аспазия) 45 Астафьев Виктор
Петрович 134 Ахматова Анна
Андреевна 50, 133, 330
- Бабочкин Борис Андреевич 50 Бакин
Кёкутэй (наст. имя Такидзава
Окикуни) 23
Баратынский Евгений Абрамович 62,
88, 89
Баркашов Александр Петрович 169,
172
Басаев Шамиль 25
- Бах Иоганн Себастьян 103, 145, 165,
194, 218
Баха-Алла, Бахаулла (Хусейн Али) 86
Бахрах Александр Васильевич 33,
116, 238
Бахтин Михаил Михайлович 85, 89,
121, 309
Бахтырев Анатолий Иванович 59
Башевис-Зингер Исаак 45, 82
Беатриче (Портинари Беатриче) 33, 75
Бедный Демьян (наст. имя
Е.А.Придворов) 202 Бейлис Менахем
Мендель 284, 310 Бек Татьяна
Александровна 128 Беккет Сэмюэл
333 Белинский Виссарион
Григорьевич 77
Белла Роберт Нилли 169, 170 Бёлль
Генрих 283 Бен Ладен Усама 137, 172
Берберова Нина Николаевна 8
Бергман Ингмар 76 Бердяев Николай
Александрович 116, 129, 238, 309
Березовский Борис Абрамович 185
Бетховен Людвиг ван 51 Блайс
Реджинальд Орас 176 Блок Александр
Александрович 8, 51, 64, 342-344
Блум А.Б. см. Антоний Сурожский
Блюменкранц Михаил Аронович 331
Блюмкин Яков Григорьевич 158
Бовуар Симона де 30 Богораз Лариса
Иосифовна 22

- Болонкин Александр Александрович 23
 Бор Нильс Хенрик Давид 70 Борис и Глеб, князья 133, 135 Босси Габриэла 57
 Брагинская Нина Владимировна 211
 Брежнев Леонид Ильич 134 Бродский Иосиф Александрович 106, 113-117, 143, 332, 350 Брут Марк Юний 223
 Брюсов Валерий Яковлевич 341, 335
 Бубер Мартин 41, 42, 78, 85, 87, 139, 145, 161, 190, 250, 299, 334 Будда (Гаутама Сиддхартха) 37, 43, 65, 82, 89, 101, 130, 183, 221, 251, 268
 Булгаков Сергей Николаевич 37
 Бунин Иван Алексеевич 349 Бухман (Букман) Фрэнк 17, 106, 268 Бэкон Фрэнсис 136
- Вагнер Рихард 200 Валенса Лех 79
 Варлаам Калабрийский 103 Василий Великий (Кесарийский) 41, 92, 97, 254
 Василко Федор Ефимович 206 Вебер Макс 143, 331 Вейнингер Отто 309
 Вениамин, игумен см. Новик В.
 Визель Эли 197, 227 Витгенштейн Людвиг 102, 106, 130, 194, 285
 Владимир Святой 310 Воге Петер 188
 Вознесенский Андрей Андреевич 113, 114, 350
 Волошин Максимилиан Александрович 59, 158, 159, 219, 220, 267, 346
 Воронцов Сергей 88, 89 Вульф Алексей Николаевич 116 Вурмбрандт Рихард 159, 255, 311 Вырикова Зинаида Александровна 211
 Высоцкий Владимир Семенович 283
- Гадамер Ханс Георг 171
 Гайдар Егор Тимурович 21
 Гайдн Франц Йозеф 144
 Галич Александр Аркадьевич 169, 336
 Гальего Рубен Давид Гонсалес 326
 Гальцева Рената Александровна 201
 Ганди Мохандас Карамчанд, Махатма Ганди 295
 Гегель Георг Вильгельм Фридрих 158
 Гейне Генрих 208 Гераклит Эфесский 164, 177, 282 Гёте Иоганн Вольфганг 54, 56, 116 Гехлер Уильям Генри 87
 Гинзбург Евгения Семеновна 165
 Гитлер (наст. фамилия Шикльгрубер) Адольф 57, 169, 280, 284 Гоголь Николай Васильевич 9, 163, 218, 250, 310
 Годунов Борис Федорович 133 Гонта Иван 310
 Горбачев Михаил Сергеевич 186
 Горбунова Л. 54
 Горький Максим (наст. имя А.М.Пешков) 280 Гриб Владимир Романович 124 Григоренко Петр Григорьевич 34, 126, 238
 Григорий Нисский 100, 194 Григорий Палама 103 Грин (наст. фамилия Гриневский) Александр Степанович 68, 76 Грин Грэм 306 Гровс Лесли 327
 Гроссман Василий Семенович 139, 169, 170, 239, 242, 281, 336, 346 Гук Е., баронесса де см. Кольшки-на Е.Ф.
 Гумилев Николай Степанович 37, 50
- Далай Лама XIV, Тензин Гьяцо 107, 132, 136, 172, 186-188, 191, 192, 266
 Даманн (Дамманн) Эрик 187 Данте Алигьери 75, 115, 185 Демокрит 60, 129
 Державин Гавриил Романович 9, 295, 296
 Джебран Халиль Джебран 217, 220, 258
 Джина Махавира Вардхамана 183
 Джорджоне (наст. имя Джорджо Барбарелли да Кастельфранко) 110, 234
 Дикинсон Эмили 247
 Диккенс Чарлз 312 Димитрий (Дмитрий Иванович), царевич 133
 Дицген Иосиф 201 Дмитрий Донской 115, 134 Догэн (Сё-дайси) 97 Доливо Анатолий Леонидович 51 Доронина Ирина Яковлевна 181 Достоевский Федор Михайлович 30, 36, 38, 40-43, 49, 56, 65, 82, 89, 90, 92, 96, 121, 124, 129, 137, 152, 165, 170, 176, 213, 218, 223, 226, 250, 252, 279, 299, 306, 313, 328, 331, 338, 346
 Дохерти Е. см. Кольшкина Е.Ф.
 Дохерти Эдуард Джозеф (Эдди) 153,

- 154, 309, 312 Дохерти, семья 268, 312
 Дрейфус Альфред 211 Дудко
 Дмитрий Сергеевич 23
- Екатерина II, имп. 296
- Желудков Сергей Алексеевич
 (Сергий) 113, 237
- Заболоцкий Николай Алексеевич 157
- Засулич Вера Ивановна 58 Зернов
 Николай Михайлович 206 Зиновьев
 Григорий Евсеевич 134 Золя Эмиль
 211
- Ибн аль Фарид 245 Иван IV Грозный
 214 Иванов Вячеслав Иванович 200,
 344 Ивашкин Александр Васильевич
 95, 96, 98
 Иккью (Иккю) Соджун 187 Иоанн
 Дамаскин 163 Иоанн Креста (Иоанн
 от Креста, Хуан де ла Крус) 176, 178
 Ионеско Эжен 332 Иосиф Волоцкий
 311 Ирина, визант. имп. 23, 81
 Иринея Лионский 167 Исаак Сири
 (Исаак Ниневийский) 210 Искандер
 Фазиль Абдулович 56, 57, 62, 63, 67
 Каверин Вениамин Александрович 6
 Казальс (Касальс) Пабло 53 Казьмин
 Владимир 43, 159 Кальвин Жан 87
 Каменев Лев Борисович 134 Кант
 Иммануил 170, 256 Карамзин
 Николай Михайлович 135 Карнап
 Рудольф 136 Кён Розмари 187, 188
 Керн Анна Петровна 149 Киплинг
 Джозеф Редьярд 332 Киров Сергей
 Миронович 133, 135 Кислѣвский
 (Кеслѣвский, Кесльѣв-ский)
 Кшиштоф 307 Клименкова Татьяна
 Алексеевна 72 Кнабе Георгий
 Степанович 204 Ковальджи Кирилл
 Владимирович 74
 Кодряну Корнелиу Зеля 331, 332
 Козьма Прутков, псевд. А.К.Толстого
 и братьев Жемчужниковых 6
 Колышкина (Колышкина де Гук До-
 херти) Екатерина Федоровна 152154,
 156, 157, 242, 309, 311-313
 Колышкина (урожд. Томсон) Эмма
 159
 Константин I Великий, имп. 80
 Константинов Федор Васильевич 201
 Конфуций (Кун-цзы) 124 Коперник
 Николай 250 Коржавин Наум
 Моисеевич 169, 336 Коро Камиль 234
 Короленко Владимир Галактионович
 6
 Кочетков Георгий (Юрий Серафимо-
 вич) 211, 212
 Красин Виктор Александрович 23
 Красноперов Петр Петрович 31 Крѣз,
 царь 60 Криг Хайнц 17
 Кришнамурти Джидду 31, 36, 52, 65,
 66, 86, 102, 104, 130, 156
 Кумарасвами Ананда Кентиш 209
 Кун Агнесса 47
 Кураев Андрей Вячеславович 186,
 193 Лаоцзы (наст. имя Ли Эр) 95, 132,
 194
 Левинас Эммануэль 85, 137, 170, 171
 Левкипп 60
 Лелеков Леонид Аркадьевич 210
 Ленин (Ульянов) Владимир Ильич
 169, 201, 330, 336 Лермонтов Михаил
 Юрьевич 249 Ли Бо 95, 194 Линкольн
 Авраам 182 Линьцзи (Линь-цзи) 101,
 186 Липкин Семен Израилевич 90
 Лиссеран Жак 225 Лихачев Дмитрий
 Сергеевич 202 Лотман Юрий
 Михайлович 204 Лютер Мартин 87,
 88 Лядская Ольга Александровна 211
- Майданович Елена Львовна 206, 210,
 251
 Макклелланд Дэвид 185
 Максим Исповедник 81
 Мандельштам Осип
 Эмильевич 51,
 52, 91-93, 96, 97, 133, 174, 238, 251
 Маркова Вера Николаевна 247 Марк
 Карл 184, 306, 331 Марсель Габриэль
 Оноре 85, 139, 140 Мастерс Роберт
 252 Маяковский Владимир
 Владимирович 330
 Медовой Илья Борисович 209 Мейн
 Джон 172, 190 Мелихов (наст.
 фамилия Мейлах) Александр
 Мотельевич 62, 63, 66, 67, 128, 133,
 184, 204 Мелло Энтони де 325

- Менделеева (Менделеева-Блок) Любовь Дмитриевна 8
 Мень Александр Владимирович 86, 311
 Мертон Томас 97, 103, 106, 107, 132, 141, 142, 145-152, 156, 157, 222, 242-244, 267, 282, 284, 311, 313, 334
 Мехлис Лев Захарович 202
 Микоян Анастас Иванович 308
 Милош Чеслав 105, 166, 175, 185
 Мирбах Вильгельм 158
 Миркина Зинаида Александровна 5-7, 9-13, 16, 18, 27, 38, 42, 44, 50, 53, 54, 69, 81, 94, 96, 104, 120, 123, 159-164, 173, 176, 178, 195, 198, 200, 220, 233, 235-237, 239, 240, 245, 266, 267, 282, 284, 298, 306, 317, 329, 335
 Михайлов Михайло (Михаил Николаевич) 181, 182
 Моисеев Никита Николаевич 70
 Мольер (наст. имя Жан Батист Поклен) 185
 Монтень Мишель де 117
 Монтини Джованни Баттиста (Павел VI) 154
 Мопассан Ги де 46
 Мотовилов Николай Александрович 266, 296, 335
 Моцарт Вольфганг Амадей 174, 218
 Мраморнов Олег Борисович 163
 Муравьева Ирина Игнатьевна 14, 35, 50, 74, 198, 223, 224
- Набоков Владимир Владимирович 36, 276, 337
 Нагарджуна 101, 193
 Надсон Семен Яковлевич 53
 Неизвестный Эрнст Иосифович 67
 Нерон Клавдий Цезарь 60, 61, 253, 335
 Неру Джавахарлал 295
 Несс (Нэсс) Арне Декке Эйде 187
 Нил Синайский 296
 Нил Сорский 194, 311
 Нилус Сергей Александрович 335
 Нистер (Нистер) (псевд.; наст. имя П.М.Каганович) 7
 Новик Вениамин (Валерий Николаевич) 310-312
- Орджоникидзе Григорий Константинович 133
 Ошеров Владимир Михайлович 70, 77, 78
- Палама см. Григорий Палама
 Пан Юнь 40
 Пантофель-Нечецкая Дебора Яковлевна 51
 Папини Джованни 283
 Парменид из Элеи 129
 Парнок София Яковлевна 31
 Паскаль Блез 52, 96, 104, 270, 271, 281, 312
 Пастернак Борис Леонидович 93, 105, 112-114, 141, 146, 228, 238, 276, 277, 330, 335, 345, 349
 Пастернак, Елена Владимировна и Евгений Борисович 113
 Паулюс Фридрих 125
 Перикл 45
 Петкевич Тамара Владиславовна 227
 Петр I Великий, имп. 139
 Петров Иван Ефимович 203
 Петровых Мария Сергеевна 94
 Петрушевская Людмила Стефановна 71
 Пикар (Пикард) Макс 148
 Пинский Леонид Ефимович 124, 129, 158, 224
 Платон 85, 193
 Померанц Григорий Соломонович 5-7, 9-16, 134
 Понтий Пилат 117, 292
 Попов Юрий Николаевич 201, 202
 Поппер Карл Раймунд 171
 Пушкин Александр Сергеевич 22, 31, 45, 56, 64, 110, 116, 129, 149, 185
- Равель Морис 51
 Радек Карл 158
 Раджниш Бхагаван Шри 252
 Рамакришна (наст. имя Гададхар Чаттерджи) 36, 97, 156, 183, 218
 Ранке Леопольд фон 73
 Раппопорт Анна Соломоновна 93
 Рассел Бертран 129
 Рафаэль Санти 234
 Рейсбрук Иоганн (Ян ван Рейсбрук) 166, 167, 178, 207, 214, 267, 297, 327
 Рембо Артюр 151
 Рембрандт Харменс ван Рейн 236, 237
 Ренуар Огюст 52
 Рильке Райнер Мария 1, 26, 33, 35, 37, 44, 46, 52, 54, 68, 94, 99, 103, 116, 164, 173, 178, 211, 220, 228, 233, 234, 246, 267, 274-277, 284, 290, 309, 317, 325, 335, 346
 Римини Франческа да 115
 Роднянская Ирина Бенционовна 201
 Розанов Василий Васильевич 310
 Роллан Ромен 6, 30
 Рублев Андрей 43, 53, 103, 112, 140, 194, 236, 284, 297, 328
 Руми Джалаледдин ибн 103, 122,

- 297 Руофф Зельма Федоровна 267
Рютер Розмари 148, 244
- Саломатов Андрей Васильевич 66
Санд Жорж (наст. имя Аврора Дюдеван) 53, 74
Сандино Аугусто Сесар 171 Сартр
Жан Поль 25, 332 Сафо (Сапфо) 45
Сахаров Андрей Дмитриевич 24, 201
Святополк Окаянный 133 Седакова
Ольга Александровна 213, 214
Селиверстов Юрий Иванович 121
Семенов Георгий Витальевич 75
Сенгор Леопольд Седар 103 Сенека
Луций Анней 60 Сент-Экзюпери
Антуан де 39, 53-55,
85, 91, 106, 136, 248
Серафим Роуз (Роуз Юджин Деннис)
310
Серафим Саровский 36, 65, 97, 266,
296, 335
Сервет Мигель 87
Силезский Вестник см. Ангелус Силезиус (И.Шефлер)
Силуан Афонский (Семен Иванович Антонов) 22, 65, 86, 94, 96, 99, 103, 104, 107, 122, 178, 191, 218, 222, 239, 284, 309
Симеон Новый Богослов 104, 285
Синявский Андрей Донатович (Абрам Терц) 182 Смит Марджи 148, 149
Смоктунувский Иннокентий Михайлович 34
Сократ 84, 85, 193
Солженицын Александр Исаевич 26, 182
Соловьев Владимир Сергеевич 73, 74, 86, 236, 341, 342
Солон 60
Софроний (Сергей Семенович Сахаров) 238
Спиноза Бенедикт 204
Сталин (Джугашвили) Иосиф Виссарионович 57, 126, 133, 134, 158, 203, 280, 284, 334
Стендаль (наст. имя Анри Мари Бейль) 30, 46, 124, 144, 147, 149
Стилихон Флавий 193 Столыпин
Петр Аркадьевич 330 Суворов
Александр Васильевич 202 Судзуки
Дайзетцу 107, 132, 172, 186, 190, 209, 239, 251
Сурков Алексей Александрович 51
Суслов Михаил Андреевич 134 Сутин
Хаим 39
Сухомлинский Василий Александрович 7
Тагор Рабиндранат 11, 39, 116, 164, 239, 283
Тайлор Эдуард Бернетт 100
Тарковский Андрей Арсеньевич 201
Твердислова Елена Сергеевна 79
Тейяр де Шарден Мари Жозеф Пьер 120
Тертуллиан Квинт Септимий Флоренс 102, 132
Тиберий Клавдий Нерон 82 Тиллих
Пауль 37, 83, 146, 204 Тимофеевский
Александр Павлович 139
Толстой Лев Николаевич 26, 29, 30, 31, 36, 46, 53, 57, 74, 129, 152, 223, 249, 250, 293, 309, 330, 338 Троицкий
Лев Давыдович 158 Трубецкой
Евгений Николаевич 74, 191
Тютчев Федор Иванович 26, 36, 52, 61, 68, 94, 107, 129, 194, 223, 250, 314
Уайльд Оскар 317 Уоттс Алан
Уилсон 251 Успенский Глеб
Иванович 110
Фадеев Александр Александрович 211
Федоров Евгений Борисович 9, 49
Федотов Георгий Петрович 311
Феодосий I Великий, имп. 80 Феофан
Грек 272, 293, 321 Ферреро Вилли 51
Флоренский Павел Александрович 311
Фома Аквинский 28, 99, 102, 121, 210 Фонвизина Надежда Дмитриевна 42, 92
Форест Джим 147, 148 Франк Семен
Людвигович 283 Фрейд Зигмунд 120, 121, 165, 181, 306, 307
Фрейденберг Ольга Михайловна 349
Фримен Лаврентий (Лоренс) 189
Фромм Эрих 140
Фудель Сергей Иосифович 37, 299
Фукидид 45

- Хабермас Юрген 143, 144 Хайдеггер Мартин 129, 203 Хакуин 131
Халладж, Мансур ал-Халладж 96
Хлебников Велемир (Виктор Владимирович) 346
Ховельсен Лайф (Лейф) 243, 268
Ходасевич Владислав Фелицианович 8
Хоршовский Мечислав 53 Хулберт Алистер 170
- Цветаяева Марина Ивановна 33, 50, 68, 114, 115, 117, 151, 157, 158, 233, 238, 241, 251, 252, 335, 345, 349 Цвингли Ульрих 87 Цезарь Гай Юлий 32
- Чайковский Петр Ильич 31, 52, 144
Чернышевский Николай Гаврилович 337
Честертон Гилберт Кит 309 Чехов Антон Павлович 30, 144, 252 Чжао-Чжоу 251
Чиликина Александра Николаевна 200 Чичибабин Борис Алексеевич 11, 12 Чуковский Корней Иванович 201
Чумакина Людмила Ивановна 59
- Шаламов Варлам Тихонович 182
Шанкара (Ади Шанкара, Шанкара-чарья) 101, 129, 130, 166, 300
Шатуновская Ольга Григорьевна 134, 135, 306
Швейцер Альберт 21
Шверник Николай Михайлович 133-135
Шекспир Уильям 129 Шелепин Александр Николаевич 134 Шелли Перси Биш 74 Шиллер Фридрих 46
Шишков Александр Семенович 135
Шнитке Альфред Гарриевич 28, 95, 96, 98
Шолохов Михаил Александрович 23
Шопен Фридерик 53, 74 Шохин Владимир Кириллович 186 Шпенглер Освальд 172 Шперри Пьер 136, 137, 143 Шредингер Эрвин 130, 280
Штейнер Рудольф 43, 97, 103, 252
- Щедрин Н., Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович (наст. фамилия Салтыков, псевд. Щедрин) 169
- Эйнштейн Альберт 250
Эйхман Карл 25
Экхарт Иоганн, Мейстер Экхарт 45, 84, 158, 178, 190, 198, 244, 283, 284
Элиаде Мирче 331, 332 Элоиза (Фульбер Элоиза) 149 Эминова Светлана Мироновна 146 Энгельс Фридрих 61 Энде Михаэль 122, 160, 256, 348 Эпиктет 60, 62 Эпикур 60, 62
- Юнг Карл Густав 166, 178, 181, 267
Юсупов Николай Борисович 56
- Ягодин Геннадий Алексеевич 171
Яджнавалкья 167
Якир Петр Ионович 23
Яковлев Александр Николаевич 317
Янкелевич Ефрем 225
Янсений (Янсен) Корнелий 281
Ярослав Мудрый 133

Содержание

А все-таки оно есть. Методология счастья. О поэтессе Зинаиде Миркиной и философе Григории Померанце. <i>Евгений Ямбург</i>	5
Предисловие	17

Григорий Померанц. I. Лекции конца века

Работа любви	21
Обладание и причастие	128
Религиозная музыкальность	143
Вавилонская башня цивилизации.....	168
Разговор с Бесконечным.....	196
След личности. Памяти Сергея Аверинцева	199

Зинаида Миркина, Григорий Померанц. II. Лекции, прочитанные совместно

<i>Григорий Померанц. О смысле страдания</i>	217
<i>Роль и место Зинаиды Миркиной</i>	227
<i>Григорий Померанц. Одиноко прочерченный путь</i>	233
<i>Роль и место Зинаиды Миркиной. Что такое великое одиночество?</i>	245
<i>Григорий Померанц. Метафизическое мужество</i>	249
<i>Зинаида Миркина. Метафизическое мужество</i>	256
<i>Григорий Померанц. Преображение</i>	266
<i>Зинаида Миркина. О Преображении</i>	269

Григорий Милорадович «Будничная записка»

280
285

<i>Зинаида Миркина. «Богу надо помочь»</i>	285
<i>Григорий Померанц. «Вы боги»</i>	295
<i>Зинаида Миркина. «Вы боги»</i>	299
<i>Григорий Померанц. Волшебные прикосновения</i>	306
<i>Зинаида Миркина. Волшебные прикосновения</i>	314
<i>Зинаида Миркина. О Ёлке</i>	321
<i>Григорий Померанц. Ёлка как образ Вселенной</i>	324
<i>Григорий Померанц. Два начала века</i>	330
<i>Зинаида Миркина. Различение духов</i>	337
<i>Указатель имен. Составитель Е. Н. Балашова</i>	351

**Григорий Померанц
Зинаида Миркина
Работа любви**

Корректор Г.Э. Великовская
Макет и оформление Ю.В. Балабанов

По издательским вопросам обращаться:
«Центр гуманитарных инициатив»
е-тай: ишкшда@уапйех.ги, итЪоок@таЦ.ги.
Руководитель центра Соснов П.В.

Комплектование библиотек, продажа в России и странах СНГ
ООО «Издательство «Академический проект»:
111399, Москва, ул. Мартеновская д.3
Тел. (495) 305-37-02, е-тай т&@арго§ес1.ги, ЬИр://арго§ес1.ги

Комплектование библиотек, оптовая продажа в Санкт-Петербурге
ООО «Университетская книга-СПб»
Тел. (812)640-08-71, е-тай: икш§а1@'й'е81саЦ.пе1
в Москве ООО «Университетская книга-СПб»
Тел. (495)915-32-84, е-тай: икт§а-т@ЦЪй.ги

Розничная продажа в Санкт-Петербурге:
магазин «Книжный окоп»
В.О., Тучков пер., 11. Тел.: (812)323-85-84

Розничная продажа в Москве:
м'й'й'.по1аЪе.пе.ги (495) 745-15-36

Подписано в печать 05.04.2013
Гарнитура №№1опТТ. Формат 60х90 ¹/₁₆. Бумага офсетная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 22,5. Уч.-изд. л. 22,5
Тираж 2000 экз. Заказ № 408

Отпечатано на цифровой струйной печатной машине ОСЕ
на базе «Чеховского Печатного Двора»
Московская область, Чехов г., ул. Полиграфистов, 1

Книги, подготовленные Центром гуманитарных

научно-информационных исследований ИНИОН РАН

*Руководитель Центра Л.В. Скворцов
Главный редактор и автор проектов С.Я. Левит*

Серия «Лики культуры»

- Буркхардт Я. Культура Возрождения в Италии / Пер. с нем. М.: Юристь, 1996. 591 с. - (Серия «Лики культуры»).
- Вебер М. Избранное. Образ общества / Пер. с нем. - Сост. С.Я. Левит. - М.: Юристь, 1994. 704 с/ - «Серия «Лики культуры»»).
- Виндельбанд В. Избранное: Дух и история. Пер. с нем. - Сост. С.Я. Левит. - М.: Юристь, 1995, 687 с/ - (Серия «Лики культуры»»).
- Зиммель Г. Избранное. Том 1. Философия культуры. - Сост. С.Я. Левит, Л.В. Скворцов. - М.: Юристь, 1996. 671 с/ - (Серия «Лики культуры»»)
- Зиммель Г. Избранное. Том 2. Созерцание жизни. Пер. с нем. - Сост. С.Я. Левит, Л.В. Скворцов. - М.: Юристь, 1996. 607 с/ - (Серия «Лики культуры»»).
- Кассирер Э. Избранное. Опыт о человеке. - Сост. С.Я. Левит. - М.: Гардарика, 1998. - 784 с/ (Серия «Лики культуры»»).
- Культурология. XX век: Антология. - Сост. С.Я. Левит. - М.: Юристь, 1995. 703 с/ - (Серия «Лики культуры»»).
- Лики культуры: Альманах. Том I. - Сост. С.Я. Левит. М.: Юристь, 1995. 527 с/ - (Серия «Лики культуры»»).
- Манхейм К. Диагноз нашего времени / Пер. с нем. и англ. - Сост. С.Я. Левит. - М.: Юристь, 1994. 700 с/ - (Серия «Лики культуры»»).
- Опыт тысячелетия. Средние века и эпоха Возрождения: Быт, нравы, идеалы. - Сост. И.А. Дворецкая, О.Ф. Кудрявцев, М.А. Тимофеев. - М.: Юристь, 1996. 575 с/ - (Серия «Лики культуры»»).
- Померанц Г. Выход из транс. М.: Юристь, 1995. 575 с/ - (Серия «Лики культуры»»).
- Психоанализ и культура: Избранные труды Карен Хорни и Эриха Фромма / Пер. с англ. - Сост. А.М. Руккевич. - М.: Юристь, 1995. 623 с/ - (Серия «Лики культуры»»).
- Тиллих П. Избранное: Теология культуры. Пер. с англ.; Сост. С.Я. Левит, С.В. Лё-зов. - М.: Юристь, 1995, 479 с/ (Серия «Лики культуры»»).
- Трельх Э. Историзм и его проблемы. Логическая проблема философии истории / Пер. с нем. - М.: Юристь, 1994. 719 с/ - (Серия «Лики культуры»»).
- Христос и культура. Избранные труды Ричарда Нибура и Райнхольда Нибура / Пер. с англ. - Сост. П.С. Гуревич, С.Я. Левит. - М.: Юристь, 1996. 575 с. - (Серия «Лики культуры»»).

Серия «Витта сиИголоше»

- Культурология. Энциклопедия. В 2-х т. Том 1 / Главный редактор и автор проекта С.Я. Левит. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2007. - 1392 с/ (Серия «Витта сиИголоше»»).
- Культурология. Энциклопедия. В 2-х т. Том 2 / Главный редактор и автор проекта С.Я. Левит. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2007. - 1184 с/ (Серия «Витта сиИголоше»»).
- Лексикон неклассики. Художественно-эстетическая культура XX века / Под ред. В.В. Бычкова. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2003. - 607 с/ (Серия «Витта сиИголоше»»).
- Портреты историков: Время и судьбы. В 2 т. Том 1. Отечественная история. - Сост. Г.Н. Севостьянов, Л.Т. Мильская. - Москва-Иерусалим: Университетская книга, Севбап, 2000. 432 с. - (Витта сиИголоше»»).

- Портреты историков: Время и судьба. В 2 т. Том 2. Всеобщая история. - Сост. Г.Н. Севостьянов, Л.Т. Мильская. - Москва-Иерусалим: Университетская книга, СевБапт, 2000. 464 с. - (8итта си1ниго1о§ше).
- Словарь персонажей русской литературы: Вторая половина XVIII-XIX в. - Сост. Г.А. Гудимова. - М. - СПб.: Университетская книга, 2000. 362 с/ - (Серия «8итта си1ниго1о§ше»).
- Словарь средневековой культуры / Под ред. А.Я. Гуревича. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2003. - 632 с. (Серия «8итта си1ниго1о§ше»).
- Словарь средневековой культуры / Под ред. А.Я. Гуревича. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2007. - 624 с/ (Серия «8итта си1ниго1о§ше»).

* * *

- Культурология XX век. Словарь. Главный редактор, составитель и автор проекта С.Я. Левит. - СПб.: Университетская книга, 1997. - 640 с.
- Культурология. XX. Энциклопедия. Т. 1. Главный редактор и автор проекта С.Я. Левит. - СПб.: Университетская книга, 1998. - 447 с/
- Культурология. XX век. Энциклопедия. Т. 2. Главный редактор, составитель и автор проекта С.А. Левит. - СПб.: Университетская книга, 1998. - 447 с/
- Лапланш Ж., Понталис Ж.-Б. Словарь по психоанализу / Пер. с франц. и науч. ред. Н.С. Автономовой. 2-е изд., перераб. и доп. СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2010. - 751 с/

Серия «Книга света»

- Адорно Т. Избранное: Социология музыки. Пер. с нем. - Сост. С.Я. Левит, С.Ю. Хурумов. - М.; СПб.: Университетская книга, 1998. 445 с/ - (Серия «Книга света»).
- Адорно Т. Избранное. Социология музыки. Пер. с нем. - Сост. С.Я. Левит, С.Ю. Хурумов. 2-е изд. М.: Российская политическая энциклопедия, 2008. - 448 с. (Серия «Книга света»).
- Арон Р. Избранное: Введение в философию истории. Пер. с фр. - Сост. И.А. Гобозов. - М.: ПЕР СЭ; СПб.: Университетская книга, 2000. 543 с/ - (Серия «Книга света»).
- Арон Р. Избранное. Измерения исторического сознания. Пер. с франц. - М., 2004. - 528 с. (Серия «Книга света»).
- Ауэрбах Э. Мимесис. Изображение действительности в западноевропейской литературе. Пер. с нем. - М.: ПЕР СЭ; СПб.: Университетская книга, 2000. - 511 с/ - (Серия «Книга света»).
- Ауэрбах Э. Данте - поэт земного мира. Пер. с нем. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004. - 208 с/ («Книга света»).
- Башляр Г. Избранное. Научный рационализм. Пер. с франц. СПб.; М.: Университетская книга, 2000. - 395 с/
- Башляр Г. Избранное. Поэтика пространства. Пер. с франц. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004. - 376 с/ - («Книга света»).
- Башляр Г. Избранное. Поэтика грёзы / Гастон Башляр; пер. с фр. - Сост. С.Я. Левит. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2009. - 440 с. - (Серия «Книга света»).
- Бенедикт Р. Хризантема и меч: Модели японской культуры / Пер. с англ. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004. - 256 с/ (Серия «Книга света»).
- Бергсон А. Избранное: Сознание и жизнь / Анри Бергсон; [пер. с фр.] - Сост. И.И. Блауберг. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. - 399 с/ - («Книга света»).
- Брендлер Г. Мартин Лютер. Теология и революция. М.; СПб.: Университетская книга, 2000. - 368 с/ («Книга света»).
- Бульман Р. Избранное: Вера и понимание. Том 1-11 / Пер. с нем., сост. С. Лезов. - М.:

- Российская политическая энциклопедия. (РОССПЭН), 2004. - 752 с/ (Серия «Книга света»).
- Бурдах К. Реформация. Ренессанс. Гуманизм / Пер. с нем. - М.: Российская политическая энциклопедия. (РОССПЭН), 2004. - 2008 с/ (Серия «Книга света»).
- Буркхардт Я. Размышления о всемирной истории / Пер. с нем. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004. - 560 с/ - («Книга света»).
- Вебер А. Избранное. Кризис европейской культуры. Пер. с нем. - Сост. С.Я. Левит. СПб.: Университетская книга, 1998. - 565 с/ - (Серия «Книга света»).
- Вебер М. Избранное. Протестантская этика и дух капитализма. - 2-е изд., доп. и испр. - Сост. Ю.Н. Давыдов. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2006. - 656 с/ - (Серия «Книга света»).
- Вебер Марианна. Жизнь и творчество Макса Вебера / Пер. с нем. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2007. - 656 с/ - (Серия «Книга света»).
- Гегель Г.В.Ф. Философия религии: В 2 т. Т. 1. - 2-е изд., испр. - Сост. А.В. Гулыга. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2007. - 415 с/ - (Серия «Книга света»).
- Гегель Г.В.Ф. Философия религии: В 2 т. Т. 2. - 2-е изд., испр. - Сост. А.В. Гулыга. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2007. - 383 с/ - (Серия «Книга света»).
- Дильтей В. Воззрение на мир и исследование человека со времен Возрождения и Реформации. М.-Иерусалим: Университетская книга, СевБапт, 2000. 464 с/ - (Серия «Книга света»).
- Жильсон Э. Избранное. Том 1. Томизм. Введение в философию св. Фомы Аквинского. М.; СПб.: Университетская книга, 1999. 496 с/ - (Серия «Книга света»).
- Жильсон Э. Избранное: Христианская философия / Пер. с франц. и англ. - Сост. Р.А. Гальцева. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004. - 704 с/ - (Серия «Книга света»).
- Жильсон Э. Живопись и реальность / Пер. с франц. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004. - 368 с/ - (Серия «Книга света»).
- Калер Э. Избранное. Выход из лабиринта / Эрих Калер; пер. с англ. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2008. - 336 с/ - (Серия «Книга света»).
- Кассирер Э. Избранное: Индивид и космос. Пер. с нем.; англ.; лат.; Сост. С.Я. Левит. - М.; СПб.: Университетская книга, 2000. - 654 с/ - (Серия «Книга света»).
- Кассирер Э. Философия символических форм. Т. 1. Язык. Пер. с нем. - М.; СПб.: Университетская книга, 2002. - 272 с/ - («Книга света»).
- Кассирер Э. Философия символических форм. Т. 2. Мифологическое мышление. Пер. с нем. - М.; СПб., 2002. - 280 с/ - («Книга света»).
- Кассирер Э. Философия символических форм. Т. 3. Феноменология познания. Пер. с нем. - СПб.: Университетская книга, 2002. - 398 с/ - («Книга света»).
- Кассирер Э. Философия Просвещения. Пер. с нем. - М.; СПб.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004. - 400 с/ - («Книга света»).
- Кассирер Э. Жизнь и учение И. Канта. Пер. с нем. - СПб.; М.: Университетская книга, 1997. - 447 с/ («Книга света»).
- Кристева Ю. Избранные труды. Разрушение поэтики / Пер. с франц. - Сост. Г.К. Косиков. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004. - 656 с/ (Серия «Книга света»).
- Лакруа Ж. Избранное: Персонализм / Пер. с франц. - Сост. И.С. Вдовина, С.Я. Левит. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004. - 608 с/ (Серия «Книга света»).
- Левинас Э. Избранное. Тотальность и Бесконечное. Пер. с франц. - Сост. С.Я. Левит. - М.; СПб.: Университетская книга, 2000. - 416 с/ - (Серия «Книга света»).
- Левинас Э. Избранное. Трудная свобода / Пер. с франц. - Сост. С.Я. Левит. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004. - 752 с/ - («Книга света»).
- Леви-Строс К. Мифологии. В 4-х тт. Том 1. Сырое и приготовленное. М.; СПб.: Университетская книга, 1999. - 406 с/ - («Книга света»).
- Леви-Строс К. Мифологии. В 4-х тт. Том 2. От мёда к пеплу. М.; СПб.: Универси-

- тетская книга, 2000. - 442 с/ - («Книга света»).
- Левин-Строс К. Мифология. В 4-х тт. Том 3. Происхождение застольных обычаев. М.: СПб.: Университетская книга, 2000. - 461 с/ - («Книга света»).
- Левин-Строс К. Мифология: Человек гольф. М.: ИД «Флюид», 2007. - 784 с/ - ВМюШеса Iпйшша.
- Малиновский Б. Избранное. Динамика культуры / Пер. с англ. - Сост. Л.А. Мостова. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004. - 959 с/ - (Серия «Книга света»).
- Малиновский Б. Избранное. Аргonautы западной части Тихого океана / Пер. с англ. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004. - 552 с. - (Серия «Книга света»).
- Манхейм К. Избранное: Диагноз нашего времени / К. Манхейм; пер. с нем. и англ. - Сост. С.Я. Левит. - М.: Изд-во «РАО Говорящая книга», 2010. - 744 с/ - (Серия «Книга света»).
- Манхейм К. Избранное: Социология культуры. - М., СПб., 2000. - 501 с/ - («Книга света»).
- Маритен Ж. Творческая интуиция в искусстве и поэзии / Пер. с франц. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004. - 400 с/, илл. - (Серия «Книга света»).
- Маритен Ж. Избранное: Величие и нищета метафизики / Пер. с франц. - Сост. Гальцева. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004. - 608 с/ - (Серия «Книга света»).
- Мейнеке Ф. Возникновение историзма / Пер. с нем. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004. - 480 с/ - (Серия «Книга света»).
- Плеснер Х. Ступени органического и человек: Введение в философскую антропологию / Пер. с нем. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004. - 368 с/ - (Серия «Книга света»).
- Рикёр П. Время и рассказ. Т. 1. Интрига и исторический рассказ. Пер. с фр. М.; СПб.: Университетская книга, 1998. - 313 с/ - (Серия «Книга света»).
- Рикёр П. Время и рассказ. Том 2. Конфигурации в вымышленном рассказе. - Пер. с франц. М.; СПб.: Университетская книга, 2000. - 224 с/ - («Книга света»).
- Рикёр П. Путь признания. Три очерка / Поль Рикёр; Пер. с фр. И.И. Блауберг, И.С. Вдовиной. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. - 268 с/ - («Книга света»).
- Розеншток-Хюсси О. Язык рода человеческого. Пер. с англ. и нем. М.; СПб.: Университетская книга. 2000. - 698 с/ - («Книга света»).
- Салимбене де Адам. Хроника / Пер. с лат. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004. - 984 с/ (Серия «Книга света»).
- Тиллих П. Систематическая теология. Т. 1-2. - М.; СПб., 2000. - 463 с/ - («Книга света»).
- Тиллих П. Систематическая теология. Т. 3. М.-СПб.: Университетская книга, 2000. - 415 с/ - (Серия «Книга света»).
- Тишнер Ю. Избранное / Том 1. Мышление в категориях ценности / Пер. с польского. - Сост. Е.С. Твердислова. - М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2005. - 432 с/ - (Серия «Книга света»).
- Тишнер Ю. Избранное / Том 2. Философия драмы. Спор о существовании человека / Пер. с польского. - Сост. Е.С. Твердислова. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2005. - 488 с/ - (Серия «Книга света»).
- Фуко М. История безумия в классическую эпоху. Пер. с франц. СПб., 1997. - 575 с/ - (Серия «Книга света»).
- Христос Яннарас. Избранное. Личность и Эрос / Пер. с греч. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2005. - 480 с/ - (Серия «Книга света»).
- Христос или Закон? Апостол Павел глазами новозаветной науки. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2006. - 608 с/ - (Серия «Книга света»).
- Шастель А. Искусство и гуманизм в Флоренции времен Лоренцо Великолепного / Андре Шастель. Пер. с фр. - М; СПб.: Университетская книга, 2001. - 720 с/ - (Серия

- «Книга света»).
- Шелер М. Проблемы социологии знания. - М.: Институт общегуманитарных исследований. 2011. - 320 с/ - (Серия «Книга света»).
- Шюц А. Избранное: Мир, светящийся смыслом / Пер. с нем. и англ. - Сост. Н.М. Смирнова. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004. - 1056 с/ - («Книга света»).
- Экхарт М. Об отрешенности / Пер. с нем. М.; СПб.: Университетская книга, 2001. - 432 с/ - (Серия «Книга света»).
- Элиас Н. О процессе цивилизации. Социогенетические и психогенетические исследования. Том 1. Изменения в поведении высшего слоя мирян в странах Запада. М.; СПб.: Университетская книга, 2001. - 332 с/ - (Серия «Книга света»).
- Элиас Н. О процессе цивилизации. Социогенетические и психогенетические исследования. Том 2. Изменения в обществе. Проект теории цивилизации. М.; СПб.: Университетская книга, 2001. - 382 с/ - (Серия «Книга света»).
- Элиот Т.С. Избранное. Т. 1-2. Религия, культура, литература / Пер. с англ. - Сост. Т.Н. Красавченко. - М.: Российская политическая энциклопедия. (РОССПЭН), 2004. - 752 с/ - («Книга света»).
- Серия «Российские Пропилеи»
- Автономова Н.С. Открытая структура: Якобсон-Бахтин-Лотман-Гаспаров / Н.С. Автономова. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2009. - 503 с/ - (Серия «Российские Пропилеи»).
- Автономова Н.С. Философский язык Жака Деррида / Н.С. Автономова. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2011. - 510 с/ - (Серия «Российские Пропилеи»).
- Буслав Ф.И. Догадки и мечтания о первобытном человечестве. - Сост. А.Л. Топорков. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2006. - 704 с/ - (Серия «Российские Пропилеи»).
- Бычков В.В. 2000 лет христианской культуры 8иЪ време аевШеБса. В 2-х тт. Том 1. Раннее христианство. Византия. М.-СПб.: Университетская книга, 1999. - 575 с. - (Серия «Российские Пропилеи»).
- Бычков В.В. 2000 лет христианской культуры 8иЪ време аевШеЙса. В 2-х тт. Том 2. Славянский мир. Древняя Русь. Россия. М.-СПб.: Университетская книга, 1999. - 527 с/ - (Серия «Российские Пропилеи»).
- Бычков В.В. 2000 лет христианской культуры 8иЪ време аевШеЙса. В 2-х тт. Том 1. Раннее христианство. Византия. М.: ООО «Изд-во МБА», 2007. - 575 с., илл. - (Серия «Российские Пропилеи»).
- Бычков В.В. 2000 лет христианской культуры 8иЪ време аевШеЙса. В 2-х тт. Том 2. Славянский мир. Древняя Русь. Россия. М.: ООО «Изд-во МБА», 2007. - 527 с/., илл. - (Серия «Российские Пропилеи»).
- Бычков В.В. Эстетическая аура бытия. Современная эстетика как наука и философия искусства / В.В. Бычков. М.: ООО «Изд. МБА», 2010. - 784 с/ - (Серия «Российские Пропилеи»).
- Бычков В.В. Древнерусская эстетика / В.В. Бычков - СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2011. - 832 с/ - илл. - (Серия «Российские Пропилеи»).
- Великовский С.И. Умозрение и словесность. Очерки французской культуры. М.- СПб.: Университетская книга, 1998. - 711 с/ - («Серия «Российские Пропилеи»).
- Великовский С. В скрещенье лучей. Очерки французской поэзии XIX-XX веков / С.И. Великовский. - М.: Центр гуманитарных инициатив, 2012. - 415 с/ - (Серия «Российские Пропилеи»).
- Веселовский А.Н. Избранное: Историческая поэтика. - Сост. И.О. Шайтанов. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2006. - 688 с/ - (Серия «Российские Пропилеи»).
- Веселовский А.Н. Избранное: На пути к исторической поэтике / А.Н. Веселовский. - Сост. И.О. Шайтанов. - М.: «Автокнига», 2010. - 688 с/ - (Серия «Российские Пропилеи»).
- Веселовский А.Н. Избранное: Традиционная духовная культура / А.Н. Веселовский. -

- Сост. Т.В. Говенька. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2009. - 624 с/ - (Серия «Российские Пропилеи»).
- Веселовский А.Н. Избранное: Историческая поэтика. - 2-е изд. испр. - Сост. И.О. Шайтанов. - СПб.: «Университетская книга», 2011. - 687 с/ - (Серия «Российские Пропилеи»).
- Габричевский А.Г. Биография и культура: документы, письма, воспоминания: в 2 кн. - Сост. О.С. Северцева. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2011. - 775 с/, ил. - (Серия «Российские Пропилеи»).
- Галинская И.Л. Потаенный мир писателя. - М.; СПб.: Летний сад, 2007. - 424 с/ - (Серия «Российские Пропилеи»).
- Гальцева Р.А. Знаки эпохи. Философская полемика. М.: Летний сад, 2008. - 668 с/ - (Серия «Российские Пропилеи»).
- Гальцева Р.А., Роднянская И.Б. К портретам русских мыслителей. М.: Петроглиф; Татьяна день, 2012. - 748 с/ (Серия «Российские Пропилеи»).
- Гачев Г. 60 дней в мышлении (Самозарождение жанра). - М.; СПб.: Летний сад. - 480 с/ - (Серия «Российские Пропилеи»).
- Гершензон М. Избранное. Том 1. Мудрость Пушкина. - Сост. С.Я. Левит. Москва-Иерусалим: Университетская книга, СевЪапт, 2000. - 592 с/ - (Серия «Российские Пропилеи»).
- Гершензон М. Избранное. Том 2. Молодая Россия. - Сост. С.Я. Левит. Москва-Иерусалим: Университетская книга, СевЪапт, 2000. - 576 с - (Серия «Российские Пропилеи»).
- Гершензон М. Избранное. Т. 3. Образы прошлого. - Сост. С.Я. Левит. Москва-Иерусалим: Университетская книга, СевЪапт, 2000. - 704 с/ - (Серия «Российские Пропилеи»).
- Гершензон М.О. Избранное. Т. 4. Тройственный образ совершенства. - Сост. С.Я. Левит, Л.Т. Мильская. Москва-Иерусалим: Университетская книга. СевЪапт, 2000. - 640 с/ - (Серия «Российские Пропилеи»).
- Гершензон М.О. Избранное. Мудрость Пушкина. - Сост. С.Я. Левит. М.: Изд-во МБА, 2007. - 656 с/ - (Серия «Российские Пропилеи»).
- Гуревич А.Я. Избранные труды. Том 1. Древние германцы. Викинги. М.-СПб.: Университетская книга, 1999. - 360 с/ - (Серия «Российские Пропилеи»).
- Гуревич А. Я. Избранные труды. Том 2. Средневековый мир. М.-СПб.: Университетская книга, 1999. - 560 с/ - (Серия «Российские Пропилеи»).
- Гуревич А.Я. Индивид и социум на средневековом Западе. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2005. - 424 с/, илл. - (Серия «Российские Пропилеи»).
- Другие Средние века. К 75-летию А.Я. Гуревича. — Сост. И.В. Дубровский, С.В. Оболенская, М.Ю. Парамонова. М.; СПб.: Университетская книга, 1999. - 463 с/ - (Серия «Российские Пропилеи»).
- Егоров Б.Ф. Избранное. Эстетические идеи в России XIX века. - М.: Летний сад, 2009. - 664 с/ - (Серия «Российские Пропилеи»).
- Исупов К.Г. Русская философская культура / К.Г. Исупов. - СПб.: Университетская книга, 2010. - 592 с/ - (Серия «Российские Пропилеи»).
- Кантор В.К. Русская классика, или Бытие России. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2005. - 768 с/ - (Серия «Российские Пропилеи»).
- Кантор В.К. Санкт-Петербург: Российская империя против российского хаоса. К проблеме имперского сознания в России / В.К. Кантор. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2008. - 542 с/ - (Серия «Российские Пропилеи»).
- Кантор В.К. «Судить Божью тварь». Пророческий пафос Достоевского: Очерки / В.К. Кантор. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. - 422 с/ - (Серия «Российские Пропилеи»).
- Кантор В.К. «Крушение кумиров», или Одоление соблазнов (становление философского пространства в России) / В.К. Кантор. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2011. - 608 с/ - (Серия «Российские Пропилеи»).
- Кнабе Г. Избранные труды. Теория и история культуры. - М.-СПб.: Летний сад; М.:

- Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2006. - 1200 с/ - (Серия «Российские Пропилеи»).
- Лёзов С. Попытка понимания: Избранные работы. - М.-СПб.: Университетская книга, 1998. - 575 с/ - (Серия «Российские Пропилеи»).
- Медушевская О. Теория исторического познания: Избранные произведения / О.М. Медушевская. - СПб.: Изд-во «Университетская книга». 2010. - 572 с/ - (Серия «Российские Пропилеи»).
- Мильдон В.И. Санскрит во льдах, или возвращение из Офира: Очерк русской литературной утопии и утопического сознания. - М.: «Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2006. - 288 с/ - (Серия «Российские Пропилеи»).
- Пивоваров Ю. Полная гибель всерьез. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004. - 319 с/ - (Серия «Российские Пропилеи»).
- Померанц Г. Страстная односторонность бесстрастие духа. - СПб.: Университетская книга, 1998. - 617 с/ - (Серия «Российские Пропилеи»).
- Померанц Г.С. Открытость бездне: Встречи с Достоевским. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2003. - 352 с/ - (Серия «Российские Пропилеи»).
- Померанц Г.С. Сны земли. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004. - 464 с/ - (Серия «Российские Пропилеи»).
- Померанц Г.С. Дороги духа и зигзаги истории / Г.С. Померанц. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2008. - 384 с/ - (Серия «Российские Пропилеи»).
- Померанц Г.С. Выход из транса / Г.С. Померанц. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. - 583 с/ - (Серия «Российские Пропилеи»).
- Пушкин в русской философской критике. Конец XIX-XX век. М.-СПб.: Университетская книга, 1999. - 591 с/ - (Серия «Российские Пропилеи»).
- Сафонов В.И. Избранное. Давайте переписываться с американскою быстротою...». Переписка 1880- 1905 годов. - Сост. Е.Д. Кривицкая, Л.Л. Тумаринсон. - СПб.: Петроглиф, 2011. - 760 с/ - илл. - (Серия «Российские Пропилеи»).
- Стравинский И.Ф. Хроника. Поэтика. - Сост. С.И. Савенко. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004. - 368 с/ - (Серия «Российские Пропилеи»).
- Ткаченко Г.А. Избранные труды. Китайская космология и антропология / Г.А. Ткаченко, - М.: ООО «РАО Говорящая книга», 2008. - 362+ххтх с. - (Серия «Российские Пропилеи»).
- Трубникова Н. Традиция «исконной просветленности в японской философской мысли / Н.Н. Трубникова. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. - 414 с/ - (Серия «Российские Пропилеи»).
- Цимбаев Н.И. Историософия на развалинах империи. - М.: Издательский дом Международного университета в Москве, 2007. - 616 с/ - (Серия «Российские Пропилеи»).
- Шмит Ф. Избранное. Искусство: Проблемы теории и истории. М.: Центр гуманитарных инициатив, 2012. - (Серия «Российские Пропилеи»).
- Шпет Г. Мысль и слово. Избранные труды. Сост. Т.Г. Щедрина. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2005. - 688 с/ - (Серия «Российские Пропилеи»).
- Шпет Г. РЫГворЪа №1а118: Избранные психолого-педагогические труды / Отв. ред.-сост. Т.Г. Щедрина. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2006. - 624 с/ - (Серия «Российские Пропилеи»).
- Шпет Г.Г. Искусство как вид знания. Избранные труды по философии культуры / Отв. ред.-сост. Т.Г. Щедрина. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2007. - 712 с/ - (Серия «Российские Пропилеи»).
- Густав Шпет: Жизнь в письмах. Эпистолярное наследие / Отв. ред. и сост. Т.Г. Щедрина. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2005. - 720 с/ - (Серия «Российские Пропилеи»).

- Шпет Г.Г. Очерк развития русской философии. I / Г.Г. Шпет; отв. ред.-сост. Т.Г. Щедрина. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2008. - 592 с/ - (Серия «Российские Пропилеи»).
- Шпет Г.Г. Очерк развития русской философии II. Материалы. Реконструкция Т.Г. Щедриной. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2009. - 848 с/ - (Серия «Российские Пропилеи»)
- Шпет Г. Философия и наука. Лекционные курсы / Г.Г.Шпет; отв. ред.-сост. Т.Г. Щедрина. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. - 496 с/ - (Серия «Российские Пропилеи»).
- Шпет Г.Г. Философская критика: отзывы, рецензии, обзоры / Г.Г. Шпет. - Сост. Т.Г. Щедрина. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. - 487 с/ - (Серия «Российские Пропилеи»).
- Щедрина Т.Г. Архив эпохи: тематическое единство русской философии. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2008. - 391 с/; илл. - (Серия «Российские Пропилеи»).
- Щукин В.Г. Российский гений просвещения. Исследования в области мифопоэтики и истории идей. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2007. - 608 с/ - (Серия «Российские Пропилеи»).
- Юдина М.В. Лучи Божественной любви. Литературное наследие. - Сост. А.М. Кузнецов. М.-СПб.: Университетская книга, 1999. - 815 с/ - (Серия «Российские Пропилеи»).
- Юдина М.В. Высокий стойкий дух. Переписка 1918- 1945 гг. Сост. А.М. Кузнецов. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2006. - 656 с. - (Серия «Российские Пропилеи»).
- Юдина М.В. Обреченная абстракции, символике и бесплотности музыки. Переписка 1946- 1955 гг. - Сост. А.М. Кузнецов. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2008. - 592 с/; илл. - (Серия «Российские Пропилеи»). Юдина М.В. Смысла. Переписка 1956- 1959 гг. / М.В. Юдина. - Сост. А.М. Кузнецов. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2008. - 600 с/ - (Серия «Российские Пропилеи»).
- Юдина М.В. В искусстве радостно быть вместе. Переписка 1959- 1961 гг. / М.В. Юдина. - Сост. А.М. Кузнецов. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2009. - 815 с/; илл. - (Серия «Российские Пропилеи»). Юдина М. Дух дышит, где хочет. Переписка 1961- 1963 гг. / М.В. Юдина. - Сост. А.М. Кузнецов. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. - 855 с/; илл. - (Серия «Российские Пропилеи»).
- Юдина М.В. Нереальность зла. Переписка 1964- 1966 гг. / Мария Юдина. - Сост. А.М. Кузнецов. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. - 677 с/; илл. - (Серия «Российские Пропилеи»).